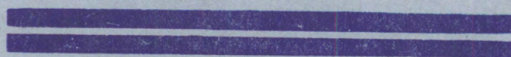


Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1



1976

1976



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1976 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕРГЕЙ СМИРНОВ — Из цикла «Мое и наше», стихи	3
В. ЕЖОВ, А. МИХАЛКОВ-КОНЧАЛОВСКИЙ — Сибиряда, кинороман	5
ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ — Мечта, стихи	126
ЮРИЙ БОНДАРЕВ — Страницы из записной книжки	131
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ — Баллада о преодолении земного притяжения, стихи	143

ПУБЛИЦИСТИКА

Л. БАБИЧЕНКО — Вильгельм Пик. К 100-летию со дня рождения	145
-----------------------------------------------------------	-----

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

РАБОЧИЕ-ПОЭТЫ ВЕЛИКОЙ СТРОЙКИ: Евгений Кувайцев. Даешь в четыре!; Ночью светло...; Мои вдохновенные строчки...— Инна Лимонова. Мои Челны; Горизонт; Поэзии немереные силы...; Я счастлива, как птица, оттого...; Не плачем: бережем ресницы — тушь...; За кистью тянется февраль...— Юрий Малков. Баллада о стройке; Работа; Я верю снам...; Свет.— Руслан Галимов. Осень опустила...; Он сидел, слегка подогнув ногу...; Сегодня думал я...— Владимир Погапов. Чеканка. Стихи	152
А. ПРИСТАВКИН — Еще один день с Алексеем Болдыревым	161
ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА — Тогда, в июле	183

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЩЕДРИНЕ. К 150-летию со дня рождения. Публикация и предисловие С. А. Макашина	199
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. ДУБРОВИН — «Требуется новая сила и смелость...» Заметки о типическом в нашем искусстве	230
ВИЛЬ БЫКОВ — По следам Джека Лондона. К 100-летию со дня рождения	241
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Л. Финк. Путешествие за край факта.— Владимир Канторович. Летопись современности.— Б. Ростоцкий. Станиславский и мировой театр.— А. Зверев. Где улица корчится безъязыкая...	255
<i>Политика и наука</i>	
В. Ефимов. Партия — руководитель экономики.— Л. Смирнов. Борьба с антисоветским подпольем.— А. Дружинин. Мрачный мир.	270
КОРОТКО О КНИГАХ — В. Камянов.— Чингиз Гусейнов. Угловой дом. Повести и рассказы. ♦ Станислав Золотцев.— Игорь Волгин. Шесть утра. Стихи. ♦ Н. Беккерман.— Альберт Усольцев. Светлые поляны. Повесть. ♦ А. Кузнецов.— Велько Петрович. Избранное. ♦ А. Чистов.— А. В. Кошурин. Так живем и работаем. ♦ В. Волков.— О. Дарусенков, Б. Горбачев, В. Ткаченко. Куба — остров созидания. ♦ Э. Кузьмина.— Геворг Эмин. Век. Земля. Любовь. Стихи	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

★

ИЗ ЦИКЛА «МОЕ И НАШЕ»

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

В любом труде со мною — Муза,
Богиня
творческой страды.
Служу Советскому Союзу!
Ему — все думы, все труды.

Любая трудность не обуза
В дороге
звездной и земной.
Служу Советскому Союзу!
Горжусь,
что он
гордится мной.

ЛИЧНАЯ ПРОГРАММА

Жить.
Мерить
суши и моря.
И верить,
Что живешь не зря.
Вбирать.
Итожить
все и вся.
И приносить
Не унося!

ЖАЖДА ПОИСКА

Жажда поиска — старая фраза,
А в практическом смысле — нова.
Вот выходишь из дома —
и сразу
Буйство солнца,
Теплынь,
Синева.

Вновь цветет наша старая ива.
Рой пчелиный все это учел.

И на иве,
 цветущей красиво,
Превеликое множество пчел.

Вьются,
Шарят, в барашках по пояс.
В чем тут дело? —
 не каждый поймет...

Видно,
Ищут не мед,
 а прополис,
Тот,
Который дороже,
Чем мед.



В. ЕЖОВ,
А. МИХАЛКОВ-КОНЧАЛОВСКИЙ

★

СИБИРИАДА

Кинороман

Часть первая

ПРОКЛЯТАЯ ЗЕМЛЯ

Кинохроника. Фотодокументы.
Холмистые равнины Америки. Здесь при бурении водяного колодца ударил первый фонтан нефти.
Довольные, измазанные нефтью лица американских фермеров.
Тонна нефти стоила сотни долларов.
Сюда приехал молодой священник.
Девятнадцатилетний юноша с Библией стоит около дилижанса.
Через пятнадцать лет он стал одним из богатейших людей мира, хозяином и основателем нефтяной компании «Стандард ойл».
Его имя Джон Дэвисон Рокфеллер!
Новый век. Фантастический. Неизвестный. Полный надежд.
Революция и техника. Революция в науке. Революция в модах.
Социальная революция.
Поезда движутся все быстрее. Воздушные шары поднимаются все выше.
Аэропланы — этот странный аттракцион — взлетали, летали и падали на землю.
Традиция веков — коронованные особы.
Электричество. Свет. Телефон. Телеграф. Кинематограф.
Ромен Роллан.
Лев Толстой.
Бернард Шоу.
Промышленные города Америки.
Новое топливо — нефть, жидкий уголь. Вышки, вышки... В Америке, в Европе — по всему миру.
Большая часть добываемой нефти принадлежала компании «Стандард ойл» и ее хозяевам.
Вот они, Джон Дэвисон Рокфеллер и сыновья, — веселые, раскрасневшиеся после игры в теннис.
Голод в Индии. Тысячи трупов по берегу Ганга.
Всемирная выставка в Париже.
Великая русская река Волга.
Предприятия Путиловых — молодой капитализм в России.
Лапотники, старая крестьянская Русь у заводских ворот.
Ночлежки, нищета и гной.

Студенты — традиционные бунтари, далекие, заоблачные идеалы. Жандармы — традиционная фигура в российском пейзаже. Богатая, обильная страна дремала, ждала своего часа.

Начало XX века

Тобольская каторжная тюрьма. Сырое мрачное стойло для людей. По коридору тюрьмы шел надзиратель. Остановился, крикнул в глазок камеры:

— Политический заключенный Родион Климентов!.. На выход!

В камере с пола поднялся один из заключенных. И хотя каторжная одежда равняла всех, в нем по обличию можно было угадать городского мастерового человека. Он постоял малость, внутренне к чему-то готовясь, оглядел товарищей.

— Что ж... Попрощаемся, братцы, на всякий случай...

Попрошались. Молча.

Надзиратель запер дверь камеры, повел Родиона по коридору.

На заснеженном поле, окруженном лесом, неподалеку от реки стояло странное сооружение: помесь лодки с санями, какие-то рычаги, рулевое управление и огромный парус, сшитый из полосатой матрасной материи. Около лодки-саней толпился народ из разной тюремной начальственной сволочи: надзиратели, стражники, жандармы. Чуть поодаль стоял сам начальник тобольской каторги, жандармский полковник, а рядом с ним его дочка, толстенная, хорошенькая булка в нарядной меховой шубке. Она все время прыгала на месте, беспрестанно повторяя:

— Ну, папочка, папочка!.. Ну, скорее!.. Я хочу кататься! Я хочу кататься!

Сюда стражники подвели Родиона Климентова. Полковник строго посмотрел на него:

— Готов?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

— Приступай.

Девочка завизжала от восторга, бросилась к лодке-саням, уселась там.

От сизых рож тюремщиков валил пар. Мороз, как и полагалось в ту пору, был нешуточный, сибирский.

Родион, одетый в тюремную куртку с двумя желтыми бубновыми тузами на спине — знаком политического заключенного, поеживался.

— Одежку б какую, ваше высокоблагородие! На ветру будет свежевато.

Полковник повернул голову к стражнику.

Тот понял, вытянулся:

— Есть, ваше высокоблагородие!

Он снял с себя полушубок, кинул Родиону. Родион напялил полушубок, постучал ногой об ногу, намекая, что и ногам тоже не сладко в холодных тюремных кóтах.

Стражник послушно сбросил с себя валенки, остался на снегу в одних портянках. Родион сбросил с ног коты, остался на снегу бо-сой. Валенки надевать не спешил, усмехнувшись, сказал:

— Портянки тоже давай!

Стражник вопросительно посмотрел на полковника. Тот чуть шевельнул бровью. Стражник без вдоха разматал портянки. Осторожно положил их на валенки.

Родион обулся.

Полковник посмотрел на черные босые лапы стражника, негромко приказал:

— Пшел.

Стражник, чуть шевеля в колючем снегу пальцами, вытянулся, заискивающе заглянул полковнику в глаза.

— Разрешите, ваше высокоблагородие!.. Мы постоим.

Полковник равнодушно отвернулся.

Родион поймал его взгляд.

— Ваше высокоблагородие... прикажите их благородию малость обождать,— он кивнул на девочку,— надо бы опробовать... кружочек — вдруг чего не сработает по первому разу... Риск...

— Я тебе дам не сработает! — пригрозил полковник. Повернулся к дочери и сказал по-французски: — Катрин, выйди на минуту.

— Нет, папá, нет!

— Екатерина!

Екатерина, надув губки, вылезла из ветрохода. Полковник кивнул толстому жандарму, тот уселся на заднюю скамеечку, перекрестился.

Родион лихо прыгнул в ветроход. Оглянулся, подмигнул, весело попросил стражу:

— Подтолкните... послушнички!

Солдаты навалились. Родион распустил парус, ветер ударил в него, и ветроход сначала медленно, а потом все быстрее пошел, полетел по снежной равнине.

Рожи всей команды расплылись от удовольствия. А босоногий стражник, переступая на цыпочках околелыми ногами, восторженно приговаривал:

— Мать честная... истинно ветроход!.. От поше-ел!.. От-от полете-ел!.. Чеши, родима-ай!.. Хрен его теперь догнать, ваше высокоблагородие!

Он сияющими глазами смотрел на полковника. Тот, к счастью, ничего не слышал. Около него прыгала, визжа от восторга, девочка:

— Хочу кататься!.. Хочу кататься!..

Ветроход, описав большой круг, приближался. Поравнявшись с командой, Родион вдруг резко накренил свои сани-лодку, вильнул, и толстый жандарм кувыркнулся, вылетел, зарылся лицом в снег.

Родион выпрямил ветроход и полетел по прямой к реке. К ее уходящему вдаль заснеженному ледяному полю.

Еще никто ничего не успел понять, а Родион оглянулся в последний раз, озорно прокричал:

— Адьё, ваше высокопревосходительство!

И пошел, понесся вдоль реки, продолжая ликующе и бессвязно кричать:

— Э-эй!.. Залетная-я!.. Мамочки-и!.. Ласточки-и-и!..

— Остановить!.. Догнать!.. Негодяи!.. Всех перестреляю!..— расшвирипел полковник.

Девочка заревела, затопала ногами. Запрыгали ее помпончики, задрожали оборочки:

— Хочу кататься!.. Хочу кататься!..

Первым рванул в сторону тюрьмы босоногий стражник, за ним — остальные.

Взрывая снежные заносы, переносясь через дымящиеся полыньи, летел по реке ветроход. Родион кричал ликующую песню свободы...

Вдали позади него появились всадники. Погоня медленно приближалась.

Впереди всех скакал босой стражник. Он что-то кричал, глаза его сияли — ему нравилось все это.

Широкая полоса чистого, сверкающего под солнцем льда, освобожденного от снега ветром, показалась впереди. Отражаясь во льду, пролетел, пересек эту полосу ветроход. А у лошадей на этой полосе сразу заскользили, разъехались ноги, лошади и всадники шлепнулись на лед, покатались, один босоногий благополучно миновал полосу. Ветроход был совсем недалеко.

Родион оглянулся, отодвинул тайную дощечку. Под ней в борту оказалось углубление, там лежали сухари и два непонятных черных шара. Он взял один из этих шаров, сильно стукнул им о борт ветрохода, и тогда что-то зашипело, затрещало, и из маленького отверстия закурился дымок — это была самодельная бомба. Родион выждал с минуту, а потом швырнул бомбу через плечо.

Шарахнул взрыв, и огромная полынья дымящейся черной воды открылась позади ветрохода.

Конь, тревожно заржав, вместе с босоногим полетел в воду. К счастью для них, здесь было неглубоко. Босоногий выбрался на лед, с него ручьями струилась вода, и он на глазах стал превращаться в сосульку. Перекрестившись от радости и глядя на удаляющийся ветроход, босоногий стражник с удовольствием сказал:

— Я говорил: хрен его догонишь, ваше высокоблагородие!

Летел по заснеженной реке ветроход.

В далекой таежной глуши, на крутом речном берегу стояло небольшое село Елань. Оно было все огорожено высоким забором из плотно пригнанных толстых стволов, заостренных вверху. Резные ворота, двустворчатые, тяжелые, закрывали вход в село. В полуверсте от села, ниже по реке, на том же крутом берегу виднелось кладбище.

От села вниз по пологой дороге, проложенной наискось кручи, не совсем твердой походкой шел Ерофей Соломин. Пятидесятилетний, весь заросший ярко-рыжей бородой, он был в роскошной медвежьей шубе до пят, в шапке из голубого соболя.

В утренней тишине был слышен скрип его шагов да постреливали деревья от страшного мороза.

На льду он остановился у широкой полыньи, сбросил с себя шубу, шапку, валенки и оказался в одних домотканых подштанниках.

Он малость постоял на краю полыньи, морщась от тяжелого похмелья, икнул, перекрестился и ахнул в воду... Вынырнув, он схватился за ледяной край, поднял голову и обомлел: снизу по реке со страшной скоростью прямо на него летело какое-то полосатое чудище.

— Господи, — еле выговорил Ерофей.

Зажмурил глаза. Потряс головой. Опять посмотрел — чудище приближалось...

Ерофей тихо унырнул под лед. Чудище прошуршало, просвистело, пролетело над ним.

Сильно изменившийся, весь почерневший, с лихорадочно блестящими глазами, Родион, еле двигая окоченевшими руками, с трудом повернул свой ветроход к берегу, взлетел по дороге вверх, к селу, и, не сумев затормозить, с ходу врезался в ворота.

С треском распахнулись створки. Мачта, упав, оглушила Родиона и все накрыла полосатым парусом.

И снова наступила полная тишина... Было слышно только чье-то сладкое похрапывание.

Родион очнулся, выбрался из-под паруса, с трудом поднялся на ноги, выпрямился. Так стоял он, чуть покачиваясь, не в силах сделать шага, настороженно обводя взглядом все, что было перед ним.

А перед ним была широкая улица. По одну сторону ее стоял порядок домов, в свою очередь отгороженных одним общим глухим забором. И по другую сторону порядок домов, окруженных таким же забором. Все ворота перед домами были распахнуты настежь.

Еще посреди улицы почему-то стоял хантыйский чум и рядом с ним упряжка оленей.

Родион расслышал храп. Повернул голову. Неподалеку в сугробе снега, раскинув руки, лежал на спине здоровенный рыжий мужик. Он крепко спал, а рядом сидела и сторожила его сон остроухая сибирская лайка.

Родион заметил за столбом ближайших ворот мальчишку лет двенадцати. Поманил его пальцем. Мальчишка долго стоял не двигаясь, потом не спеша подошел к Родиону. Стоял молча, спокойно смотрел. Из ворот показалась рыжая девчонка лет десяти. Паренек только оглянулся на нее, она остановилась шагах в двух позади.

— Ты кто? — спросил паренька Родион.

— Устюжанин. Колька.

— А она? — кивнул Родион на девчонку.

— Настасья, — ответил Колька.

— Сестренка?

— Не-е, зачем же. Она рыжая. Соломинская... Все Соломины, — паренек кивнул на забор на противоположной стороне улицы, — рыжие. А мы, Устюжанины, черные. — Он снял шапку, показал голову.

— Понятно... Подружка, значит.

— Невеста... — небрежно пояснил Колька. — Подрастет — женюсь.

— Любишь, значит, — вполне серьезно заключил Родион.

— Да у Соломиных девки больно хороши, мы, Устюжанины, испокон веков на них женимся... А ты кто будешь?

— Родион.

— По случаю или по нужде к нам какой?

— По случаю.

— Дак чего ж на морозе языком чесать? Проходи в дом, гостем будешь.

Родион с трудом попытался сделать шаг негнувшимися ногами, пошатнулся. Колька подставил плечо. Родион положил руку на плечо мальчика, и они пошли к дому. Настя шла за ними.

Родион вздохнул.

— Чего-то нога ничего не чувствует.

— Ничего, разойдется, — успокоил Колька и по-хозяйски приказал Насте: — Ты на стол собери, поскорей.

— Было бы чего собирать, собрала бы, — дернула плечом девчонка.

— Из дому принеси. У вас много.

Настя побежала через дорогу к себе, на соломинскую половину деревни.

Родион и Колька зашли в дом.

Родион уселся на лавку, привалился к стене, обвел воспаленными от бессонницы глазами избу.

В избе было, как говорится, шаром покати: большой рубленый из плах стол, деревянные лавки, печь и кровать, тоже самодельная, застланная звериными шкурами. На столе стоял пустой штоф и миска с остатками моченой брусники. Разное небогатое барахлишко ви-

село на огромных рогах изюбрей, прибитых по стенам. Над кроватью висело ружье. В углу — одна-единственная потемневшая икона.

— Сейчас Настька поесть принесет...— ободряюще сказал Колька,— у Соломиных бога-атая еда.

— А мать где?

— Утонула в речке на пасху...

Родион помолчал.

— А отец?

— В тайге. Непугевый он — дорогу рубит.

— Какую дорогу?

— Дорогу...— Колька кивнул на пустой штоф: — Как выпьет — в тайгу уходит, дорогу рубить.

— Куда дорогу-то?

— На звезду ведет.

Родион подумал, помолчал, сказал решительно:

— Это хорошо.

Колька вздохнул.

— Да чего хорошего-то? Непутевый он. Был самый лучший охотник, а теперь все позабросил — одна дорога у него на уме!.. Мы, Устюжанины, такие: чего в башку втемяшится — колом не вышибешь! Вечный дед говорит: Устюжанины — чертово семя!

— Какой вечный дед?

— Вечный... На заимке живет с медведем.

— Почему вечный?

— Живет... Всегда.

Дверь открылась, вошла Настя с миской, закутанной полотенцем. Поставила перед Родионом горячие пельмени. Сама чинно уселась на лавку. Родион жадно проглотил горячий пельмень.

— А где остальные-то людишки? Никого не видать.

— Свалились все,— спокойно пояснил Колька.— Две недели пили. Поп приехал. У нас поп раз в три года приезжает. По зиме. В другое время не добраться. Вот и пьют: кому крестить, кому отпевать, кому свадьбу играть.

Родион рассмеялся.

— Значит, всех чохом?

— Ага.

Родион решительно отодвинул миску.

— Больше нельзя. Пять дён не ел.

Он широко зевнул.

— Вон кровать, ложись, спи.

Родион свалился на кровать. Колька набросил на него шкуру, открыл с головой.

В избу, торопясь, вошли двое: средних лет хант и красивая хант-ийка лет шестнадцати, в расшитой шубке.

Иноходец просеменил к кровати и бухнулся перед ней на колени. Горько заплакал, начал бессвязно умолять, мешая русские и хант-ийские слова:

— Ты великий охотник! Ты справедливый охотник! Твой все ханты знают, Афоня!..— говорил он, обращаясь к закрытому шкурой Родиону, принимая его за отца Кольки.— Федька соболя стрелял!.. Ох, как много соболя стрелял! Белку стрелял, куницу стрелял!.. Соломин все забирай! Ничего не давай! Федька голодом помирай! Дочка голодом помирай!.. Бери Катьку, Афоня!.. Федьку спасай!..

Родион откинул шкуру, сел на кровати. Хант вскочил, испуганно захлопал глазами. Катька, наоборот, не мигая, уставилась на Родиона.

Колька заливался смехом:

— Кому нужна твоя Катька, косоглазая чумичка!.. Тебе сколько

раз отец говорил: сам виноват!.. Он за тебя больше заступаться не будет!..

Родион остановил его:

— Обожди, Колька. В чем дело?

— Да он каждый год плачет! — махнул рукой парень. — За бутылку водки всех соболей отдаст, потом плачет, назад просит! А кто ж ему назад отдаст? Соломины — они не дураки.

— погоди. — Морщась от боли, Родион встал. — За бутылку водки соболей? Это ж разбой!

Хант снова упал на колени, заплакал, протянул руки к Родиону:

— Твоя добрый человек!.. Спасай Федьку!

Родион протянул ему руку:

— Встань! Пошли, разберемся... — Он посмотрел на Кольку: — Как же так? Человека обидели, а ты смеешься?

— Да что ж инородцы — они дурные!

Родион покачал головой.

— Эх ты! Отец у тебя трудящий — дорогу рубит, а ты...

Колька с недоумением смотрел на Родиона: он впервые видел, чтоб к инородцам так относились. Родион пошел к двери. Колька забежал вперед, загородил дорогу:

— Не ходи к Соломиным!

— Почему?

— Не ходи. Лучше отца подожди!.. Или вот ружье возьми.

Родион посмотрел на Кольку, положил ему руку на голову, постоял, потом подмигнул и ступил за порог.

Перед тем как пройти во двор Соломиных, Родион подошел к ветроходу, поднял парус, открыл тайничок и незаметно для остальных положил в карман бомбу.

У входа в рубленый лабаз, в котором были видны сверкающие в полосах солнца висящие и наваленные на прилавке дорогие меха, стаял Родион, хант Федька с дочкой и Колька с Настей.

Напротив Родиона стояли Соломины — отец с сыновьями Петром и Василием, чуть в стороне молодые соломинские девки в собольих, беличьих и огненно-рыжих лисьих шубках, в таких же шапочках или просто в накинутых на плечи ярких платках.

Разговаривали между собой только Родион и Ерофей. Остальные молча слушали. Разговор шел глаза в глаза, внешне очень спокойно, на длинных, напряженных паузах.

— Кому, говоришь, отдать-то? — это спрашивает Ерофей.

Пауза.

— Человеку.

Пауза.

— Это кто ж человек-то?.. Он?.. — Ерофей чуть взглянул на ханта.

Пауза.

Родион прикрыл глаза.

— Н-да... — протянул Ерофей. — А тогда ж кто ты будешь?

Пауза.

— Прохожий.

Пауза.

— Странник вроде?.. Станный человек?.. — повторил Ерофей.

Пауза.

— Вроде.

Колька затаив дыхание во все глаза смотрел на Родиона. Так же внимательно, волчком, смотрел на Родиона младший отпрыск Ерофея — рыжеволосый пятнадцатилетний Спиридон.

— А ежели не отдам? — усмехаясь, спросил Ерофей.

Пауза.

— Лучше отдать, — по-прежнему очень спокойно сказал Родион.

Пауза.

— Жалко. Теперь ведь оно мое, добро-то.

Родион чуть прикрыл глаза. Пауза.

— А может, отдать? — Ерофей посмотрел на сыновей. — По-божьему... По-справедливому...

И тут не выдержал длинный, с руками до колен, Петр. В бешенстве задохнулся:

— Я ему сейчас отдам!.. Мать его!..

Он одним длинным прыжком кинулся на Родиона, чтобы смять, задушить. Родион сделал неуловимый выпад — и Петр отлетел, рухнул, ударившись о круглый торец сруба.

Все замерли.

Василий Соломин медленно потянулся за слегой. Ерофей покоился на него, едва заметно шевельнул пальцем. Василий замер на месте. Соломинские девки с ужасом и восхищением смотрели на Родиона. Колька был в восторге. А в глазах хантыйки светилось откровенное обожание.

Петр медленно поднялся, вытер кровь на скуле, тупо поглядел на ладонь.

Ерофей очень ласково спросил:

— Получил, Петруша?.. Поделом тебе!.. Нельзя обижать странника... Вот господь тебя и наказал. Правильно наказал!

Ерофей вдруг оживился и даже повеселел, повернулся к ханту Федьке:

— Эй ты, божий волдырь! Так и быть — забирай свои хвостышки!

Федька не двигался, дрожал от страха.

— Иди, иди, косоглазый, не бойся!

Федька посмотрел на Родиона. Тот слегка склонил голову. Федька, продолжая дрожать, бочком пошел в амбар. Там он схватил в охапку связки беличьих, куньих и собольих шкур, засеменял обратно.

Ерофей Соломин протянул руку, вытянул из охапки пару соболей.

— Парочку-то оставь, пил, однако ж, водочку-то...

И он, не глядя, швырнул в амбар мягкие, струящиеся на лету соболей шкурки.

Федька, подхватив не сводящую с Родиона влюбленных глаз дочь, рванул с соломинского двора.

Ерофей с улыбкой взглянул на Родиона.

— Вот и все, и делов-то. Господи! Тьфу!.. Прошу в дом, справедливый человек... Хлеб-соль завсегда найдутся и чарочка к ним!

Родион, подыгрывая ему, в той же интонации ответил:

— Спасибо, хозяин... Некогда мне. Поспать... и дальше ехать надо.

— А на чем поедешь-то?.. Сломал ты свою байдовину.

— Починить можно.

— И воротца сломал.

— Ворота тоже починить можно.

Ерофей согласно кивнул:

— Можно... А поспать, что ж? Места много... Уложим... — Он коротко глянул на Василия, на Петра, с ненавистью глядевших на Родиона: — Заходи, не бойся...

Родион чуть усмехнулся и, прихрамывая, направился к дому. Ерофей отсек взглядом девок, пошел открывать «гостю» дверь. Колька, оценив ситуацию, бросился со двора.

Ерофей открыл дверь, сказал Родиону, поклонившись:

— Проходи, раздевайся...

— Я так,— сказал Родион, не снимая полушубка.— Не отошел еще, семь суток на морозе.

— Откуда ж пожаловал, если не секрет?

— Из Тобольска.

— Борзо! — удивился Ерофей.— За семь-то дён... От Тобольска до нас тыща верст будет. Шестнадцать гусиных перелетов. Да, смелый ты человек. Величать-то тебя как? А то пропадешь, и поминать не знаем, кого...

Петр в это время оказался почти за спиной Родиона. В руке у него был тяжелый серебряный штоф с водкой. Ерофей посмотрел на него, но приказа в его взгляде еще не было. Ему еще хотелось поговорить.

— Родионом звали.

— Наливай, Петруша,— обратился Ерофей к старшему сыну.— Выпей с Родионом. Прости его с богом.

Петр, поморщившись разбитой скулой, налил Родиону полный стакан водки. Налил себе. Они выпили без улыбки, глядя друг другу в глаза.

Ерофей глянул на среднего сына:

— Теперь ты, Васятка.

Другой сын налил Родиону и себе по полному стакану. Родион выпил и с ним.

— А теперь меня уважь, Родион!.

— Многовато будет.

— А ты поешь... Закуси...

Они выпили. Ерофей запил квасом. Родион бросил в рот грибок. Оглядел стол, избу, пузатые комоды, сверкающий золотом угол с иконостасом.

— Богато живете.

— Тайга кормит...— скромно ответил Ерофей.— Ежели кто работает.

Родион усмехнулся:

— Видал я вашу работу.

— Это ведь там, в России, в городах... собьются в кучу людишки-то и рвут друг у друга, вот им и не хватает... А у нас здесь — простор, воля... Мы ведь как любим: чтоб нам — никто и мы — никому.

— Это точно,— снова усмехнулся Родион.

Тепло и водка сморили его. Больше всего ему хотелось упасть и тут же заснуть. Но он держался. Держался из последних сил.

— Да-а-а...— погладил бороду Ерофей.— Однако ж смел ты, Родион... Ох и смел... Один... в тайге...

— Мне тайга не самый страх...

— Ну не скажи-и... Тайга — она у-у-у... И зверь задрать может, и в полынью провалишься, а ежели человек какой недобрый встретится... И найти некому... Зимой снежком заметет, летом в болото утянет... Наша сторона для пришлого — проклятая земля! Это мы обвыклись за двести лет...

Петр снова очутился за спиной Родиона... Василий посмотрел на Ерофея.

В это время во дворе вдруг кто-то запел. Могучий, но заметно осипший хриплый бас выводил:

Тебя я, вольный сын эфира-а-а-а...

Хлопнула дверь в сенях.

Возьму в надзвездные кра-я-а-а...

В избу ввалился поп. От порога он пробасил:

— Мир вам, православные... Новопреставленные... младенцы...

Поп был пьяница, озорник и, по-видимому, расстрига. Сейчас его трепал сильный колотун, трясущимися руками он пытался развернуть бумагу.

— ...новопреставленного... младенца...— Поп так и не смог вернуть бумагу, посмотрел на Ерофея и наугад ляпнул: — Егория?

— Нет, батюшка,— ответил Ерофей.

— Аграфену? — не задумываясь, выпалил поп.

— Нет.

Поп сдался. С ненавистью посмотрел на водку. Сквозь зубы сказал:

— Накропи влаги, православный! Страшусь, душа на небо отойдет!

Ерофей с готовностью налил полный стакан водки, подал попу:

— С богом, батюшка.

Поп, забыв перекреститься, еле поймал ртом стакан в трясущейся руке, с жадным отвращением выцедил водку. Двумя пальцами поймал ягодку бруснички. Закусил.

— А новопреставленный младенец, батюшка... через двор.

Поп посмотрел на Ерофея и, подмигнув, склонил голову направо, как бы спрашивая — там?

Ерофей, тоже молча, утвердительно склонил голову.

Поп пошел к двери.

В сенях снова раздался его бас, теперь уже значительно окрепший:

И будешь ты ца-а-арицей ми-и-ира-а!

Подруга первая моя-а-а!

Ерофей склонился к окну, проследил за попом, пока тот не дошел до калитки, потом обернулся к сидевшим за столом.

Те курили. Молча. Напряженно. Только потрескивали сгоревшие до пальцев окурки.

Ерофей медленно выговорил:

— Ты, Родиоша, не робей, мы люди хорошие...

— Сейчас в Сибири все хорошие люди на каторге! — ответил Родион и привстал не в силах бороться со сном.— Ладно, соснуть надобно!

Он снял с себя полушубок, свернул его, бросил на лавку под иконами.

Все трое уставились на его тюремную куртку с бубновыми тузами.

— Каторжник...— прошептал Василий.

— Вона что, Родион...— протянул Ерофей.— Значит, ты с тобольской ярмарки утек...

Родион укладывался на лавку:

— Может, и оттуда.

— Один?.. Аль еще кто с тобой?

— Может, один, а может, и еще кто со мной,— спокойно ответил Родион.

Он положил голову на полушубок, закрыл глаза. Но ему мешала бомба в кармане брюк. Он достал ее, приподнялся, посмотрел, куда бы положить, и наконец пристроил ее над собой, на полку, где

стояла большая икона. Он еще раз посмотрел на Соломиных и сказал, подмигнув:

— Не трогать.

Снова откинул голову на полушубок, закрыл глаза и провалился в сон.

Прямая, как стрела, просека в тайге. Это Афонина дорога.

Дорога эта вела неизвестно куда, на звезду. Она тянулась уже версты на две. Большая часть ее была расчищена, дальше попадались пни, которые ждали лета. По этой дороге бежал Колька Устюжанин, шлепая по снегу подбитыми мехом короткими охотничьими лыжами.

Дорога кончилась, уперлась в тайгу. Здесь подрубал высокую ель отец Кольки — Афанасий, здоровенный, косматый, как таежный леший. От него валил пар. Он был в одной рубахе. Полушубок его валялся в стороне на снегу, а рядом с ним яростно урчала и извивалась огромная желтоглазая рысь. Она грызла, не отпуская, длинную жердину, которая была продета между ее связанных лап. Колька подбежал к отцу, коротко глянул на рысь, на отца, у которого из-под разодранной рубахи было видно голое плечо, исполосованное когтями зверя, на красные комья снега, которые, по-видимому, прикладывал к плечу отец.

— поймал, однако ж, кошку-то? — кивнул Колька на урчащую рысь.

Афанасий, продолжая рубить, не оборачиваясь ответил:

— Три раза прыгала, стерва... Полушубок попортила...

— Ничо, Настька заштопает... Тять! — позвал Колька отца.

— Ну?

— В село сходить надо.

Афанасий продолжал рубить.

— Пропади пропадом ваше село!.. Хоть бы прорубиться отсюда поскорее!

— Надо, тять... Там человека жизни решить могут!..

— Кто?

— Соломины.

Афанасий, продолжая рубить, спокойно сказал:

— Эти могут... Что за человек-то?

— Неизвестный. Снизу пришел.

— Что за человек?

— Хороший человек.

— Снизу-то хороший?

— За Федьку-самоеда заступился. Его шкурки у Ерофея отнял, а Петруху ихнего об сарай мордой приложил.

Афанасий перестал рубить, впервые поглядел на Кольку. Протянул с некоторым восхищением:

— Ничаво-о! — Он накинул полушубок, встал на лыжи: — Бери кошку, пошли.

Отец и сын взялись за концы жерди, подняли рысь и быстро заскользили на лыжах к селу.

Родион храпел на лавке. Соломины все так же стояли вокруг, смотрели на бомбу, не понимая, что это такое. Острое любопытство разбирало их.

— Что это? — шепотом спросил Петр.

Ерофей и Василий молчали. Они постояли еще. Потом Петр, взглянув на спящего Родиона, на цыпочках подошел к иконе, взял бомбу и так же тихо отошел назад.

— Чижолая...

— Дай-ка сюда...— протянул руку Василий.

— Погоди,— отстранил его Петр, рассматривая бомбу.— Дырка какая-то...

Он боязливо сунул палец в дыру. Василий схватился за бомбу, но Петр вырвал, не дал. В это время во сне повернулся Родион. Петр испугался, стукнул бомбу о пол, бомба сразу зашипела, из отверстия полетели искры, она подкатилась к ногам Ерофея.

— Бомба!..— с ужасом выдохнул Ерофей.

Он отшатнулся, а Петр и Василий тут же рванули к двери. Ерофей схватил, поймал Петра за шиворот.

— А добро?!

Петр схватил бомбу, и все трое, давясь в дверях, вывалились из избы.

Хитрый Василий остался в сенях и, прикрыв дверь, смотрел в щелку.

По двору мчался Ерофей, а за ним Петр с шипящей бомбой в руках.

— Отстань, сатана! — кричал Ерофей.— Бросай ее, тыдыть твою.

Одуревший от ужаса, Петр остановился, замахнулся в сторону коровника.

— Скотина! — заорал Ерофей.

Петр кинулся в сторону амбара.

— Меха! — снова раздался голос отца.

Бомба зашипела, затрещала громче, гуще посыпались искры.

— Бросай! — завопил Ерофей, упал на землю, на снег и на четырех конечностях, как собака, поскакал к амбару.

Петр снова замахнулся, чтобы бросить бомбу в окошко бани, но в это время в дверях ее показались распаренные, голые, визжащие соломинские девки.

В отчаянии Петр заверещал, закрутился на месте.

И тут его озарило — он увидел нужник. В два длинных прыжка он достиг его, рванул дверь, швырнул бомбу в отверстие. Сам кинулся прочь.

Раздался чудовищный взрыв...

Нужник, рассыпаясь, взлетел на воздух. Поднялись недра. Огромный кусок дерьма достиг Петра, ударил в спину, пригнул к земле.

Одна из икон в доме Соломиных от взрыва сорвалась со стены, упала на спящего Родиона.

Он поднялся, зевнул, посидел малость, приходя в себя. Потом накинул на плечи полушубок и хотел привстать, но схватился за ногу и со стоном рухнул на лавку...

В воротах соломинского подворья появились Афанасий и Колька. На плечах они держали прогнувшуюся жердь, на которой с рычанием извивалась связанная рысь.

Афанасий оглядел двор, разметанный нужник, раскиданных и еще не пришедших в себя Соломиных.

— Куда гостя-то девали? — Афанасий потянул носом.— Да что у вас дух такой поганый?

Ерофей и Петр со своих мест лежа смотрели на Устюжаниных.

— Кончили гостя, что ли? — допытывался Афанасий.

Ерофей молча покачал головой.

— А где он?

Ерофей кивнул в сторону дома.

— Вот — бери кошку,— Афанасий показал на рысь,— давай бутель!

На крыльце показался Василий. Не заметив Афанасия, крикнул отцу:

— Батя! Каторжный-то совсем занемог, можно бы и того!
— Я те дам «того», сучий потрох!..— грозно надвинулся на сразу струхнувшего Василия Афанасий.— Ну-ка, пропусти!

По улице деревни шел маленький приземистый старик, крепкий, ясноглазый, усмешливый, с белой апостольской бородой. Рядом с ним, степенно переваливаясь, ковылял медведь. Собаки выскакивали из ворот, но подойти боялись и предпочитали заливаться хриплым лаем за заборами. А медведю все было безразлично, он шел, сонно понурившись, волоча на спине дедову торбу.

Настька накрывала на стол, как взрослая суежилась по хозяйству. Колька подбрасывал дрова в жарко натопленную, гудевшую печь.

Родион полулежал на лавке, обессиленно прислонившись к стене. Кружные капли пота выступали на его почерневшем, изможденном лице. Афанасий поставил с грохотом бутылку на стол, откупорил ее.

— Ну, выпьем со знакомством! — Он налил себе, Родиону.

Родион покачал головой.

— Не-е!.. Ехать!.. Ехать мне надо!

— Куда тебе ехать! — Афанасий взял стопку. Настя осуждающе посмотрела на него. Он прижал ей нос пальцем и выпил, понюхал шапку.— Тебе отлежаться надо!

Родион горько усмехнулся.

— Отлежаться!.. Да я ж беглый, Афанасий. Каторжный я!

— Знаю... Убил, что ли, кого?

Родион покачал головой.

— А за что ж тебя?

— За что? — Глаза Родиона засветились.— За идею! За мечту, можно сказать, человечества!..

— Ну-у-у!

— Точно! — Родион, тяжело дыша, расстегнул намокшую от пота рубашку.— Что-то меня так в жар и кидает!

На его впалой груди поблескивали начищенные, оттертые рубашкой два соединенных между собой звена цепи, висевшие на узком сыромятном ремешке.

— Что это у тебя? — удивился Афанасий.

— Это?.. Звенья... На этой цепи я сидел четыре годика, как Томмазо Кампанелла!

— Кто-кто?

— Кампанелла Томмазо! — Родион достал из-за пазухи потертую, зачитанную до дыр книжку, бережно расправил листки.

— Вот эту книжку я наизусть знаю! Тут об нем все написано! Вот он...— Родион ткнул пальцем в гравюру-портрет.— Триста лет назад жил в Италии... Такая земля. Далеко, у теплого моря! Но там у них тоже свои тираны и кровопийцы есть!

Афанасий вздохнул.

— Этого добра везде хватает!

— А тогда они еще почище наших царей да губернаторов были! Томмазо поначалу монах был. Самые-то ученые тогда в монастырях жили! Очень он хотел счастье для народа добыть! Придумал построить такой город, какого на земле никогда-никогда не было! Чтобы не было ни бедных, ни богатых и каждый чтоб свою работу делал, какую хочет!

Афанасий слушал, раскрыв рот. Настька и Колька тоже слушали, разглядывая портрет в книжке Родиона. Тот продолжал:

- А если кому тяжело одному — ему все сообща помогут!..
- Ну, это он хватил!
- Точно! — с жаром подтвердил Родион. — Чтобы все одной семьей жили! Один за всех, а все за одного! И назвал Томмазо свой город Городом Солнца.
- Ладно!
- А Колька мечтательно повторил:
- Город Солнца!
- Ага! — вновь подхватил Родион. — Там ведь у них тепло, снегу вовсе не бывает!
- Ну да?
- Точно!
- Афанасий покачал головой.
- Это плохо. Без морозу нет здоровья — гниль одна!
- Колька в нетерпении дотронулся до Родиона.
- А дальше что с ним стало?
- Родион продолжал:
- Так вот... Собрал Кампанелла вокруг себя верных людей, и все бы у них получилось, да только в последний момент — предатель... И всех погубил... А светлого человека Томмазу Кампанеллу посадили на цепь в каземат, — он взялся за звенья цепи, — вроде как меня. Правда, его пытали, на дыбу вздергивали, на кол сажали, но он все равно не отрекся ни от единого слова!
- Афанасий восхищенно покачал головой:
- Это мужик!.. Пил?
- Не знаю.
- Афанасий убежденно стукнул кулаком по столу:
- Пил!
- Он налил себе еще одну стопку и залпом опрокинул.
- Родион попытался подняться, поморщился.
- Нога-то у меня совсем отнялась.
- Давай-ка развяжем!
- Афанасий помог Родиону стащить пимы и озадаченно покачал головой, разглядывая синюю распухшую ногу Родиона. Пальцы на ноге стали фиолетовыми до черноты.
- Э-э-э, брат, отморозил не на шутку. Надо за дедом посылать!
- В этот момент в сенях раздался дребезжащий голос:
- А чего посылать? Вот он — я!
- В избу вошел бородатый дед, которого мы уже видели. За ним ввалился медведь.
- Афанасий вытаращил глаза.
- А я о тебе только подумал!
- Потому и зашел, что подумал! — ответил старик, обернулся к медведю с упреком: — Ну вот, наследил! Я ж просил тебя подождать!
- Медведь понуро покачал головой, взял веник, стал затирать свои мокрые следы.
- Родион удивленно смотрел на медведя.
- Гляди-ка, Топтыгин — соображает!
- Вечный дед махнул рукой:
- Какой там соображает! Он наполовину в спячке — зима ведь!.. Ну что, сильно прихватило?
- Он склонился к ноге Родиона. Родион, не отвечая, пристально смотрел на него:
- Ты, что ли, Вечный?
- Вечный дед, не поднимая головы, тихо ответил:
- Кличут так.

— Об тебе в остроге молва идет! Говорят, беглых лечишь!
— Беглый, не беглый, все одно — человек!
— Подымай меня, а то мне ехать надо!
— Быстрый какой! Тебе до великого поста лежать.
— Лежать?! Да что ты! За мной жандармы по следу идут.
— Давай, дедусь, лечи его, чтоб завтра на ногах был! — вмешался Афанасий. — Ты ведь можешь! А то его, как Томмазу, на дыбу подцепят!

— Кого-кого? — заинтересовался Вечный дед.

Колька живо вступил в разговор.

— Монах такой был — Томмаза! — Он показал картинку в книжке. — Хотел, чтобы все люди счастливые были, чтоб ни бедных, ни богатых!

Вечный дед кивнул головой.

— Это, что ли, один за всех и все за одного?

Родион удивился:

— Откуда знаешь?

Вечный дед рылся в торбе, доставал примочки, пучки сухих трав.

— Разные людюшки из тайги выползают... сказывали. Ну что там у них в России творится?

Родион радостно засмеялся.

— Такое творится! Вот-вот загуляет, запляшет... петушок красный! Свобода идет!

Вечный дед глянул на Родиона. Его глаза светились такой безумной, отчаянной решимостью, что дед только вздохнул и покачал головой:

— Да-а!.. Наделаешь ты еще делов, божий человек! Вот тебе травка, приложишь к ноге в ночь, а вот бутылка, натирать будешь завтра.

— Завтра маслена, — сказал Афанасий, — мы его блинами лечить будем!..

Он, хлебнувши еще одну и уже совсем закосевший, вдруг закручинился, пустил слезу.

— Ты что, Афоня? — спросил Вечный дед.

— Томмазу жалко... Люди-то, а? Люди какие были! — Он горько вздохнул. — А я что?.. Рублю дорогу, по пуп в снегу, да еще все смеются...

— А как же? Ведешь ее не знамо куда... к нечистому в болото.

— Я ее на звезду правлю...

Родион, улыбаясь сквозь боль, подмигнул Афанасию.

— Правильно делаешь, Афанасий! Помрешь — после тебя дорога останется! Люди ее так и будут называть: Афонина дорога.

Афанасий от радости даже встал. Победно поглядел на деда, на Кольку, потрепал сына за вихры.

— Слышите, что человек говорит?! Дай я тебя обниму, Родиоша! Выпьем за Томмазу!

Афанасий выпил. Последняя стопка привела его в состояние особого подъема.

— Колька, где топор? Мне пора!

— В сенях.

— Да ведь ночь на дворе! — сказал Вечный дед.

— А мне и надо — звезда выйдет...

Среди синих снегов протянулась прямая, как стрела, просека. Над черными застывшими в ледяном сне кедрами и елями мерцала, светилась яркая звездочка...

Откуда-то издали, из чащи, доносились гулкие, четкие удары топора о дерево...

Родион и Колька ладили ветроход. Колька стоял на крыше сарая, крепил к концу новой мачты парус.

Родион возился внизу, проверял управление. Он хоть и прихрамывал, но заметно посвежел, повеселел.

Колька скользнул с крыши вниз по мачте.

— Готово.

— У меня тоже.

Родион, возбужденный, радостный, повернулся к парню. Тот стоял тихий, грустный, водил рукой по свежевыструганной мачте.

— Ну вот, Колька. Сейчас мы его с тобой испробуем. Всех покачаем, и я полечу!

Колька вздохнул:

— Остался бы на праздники-то? Я бы тебя на Чертову гриву сводил.

— Это что еще за Чертова грива?

— Место такое... заколдованное. Ханты туда никого не пускают, а мы пойдем!

— Почему не пускают?

— У них это место святое, что ли... Хант Федька говорит, у них там бог живет какой-то! Всех огнем жгет!

— Это все от темноты, вера эта!

Колька понизил голос:

— А чего ж там тогда огни по всему болоту?

— Да ну-у...

— Вода сама горит! А болото, знаешь, какое! Без конца, без краю, и дна тоже нет! И все огнем полыхает! По ночам на небе даже сполохи!

— Интересно. Сходил бы я, Коля, с тобой, да мне нельзя тут больше оставаться.— Он уперся руками в ветроход.— Помоги-ка выкатить.

За воротами послышался залиvistый перебор гармони.

Из ворот села вырвалась на простор разукрашенная тройка. Взрывая снег, кони — ленты в гривах — понеслись к реке.

В Елани масленица. Веселая масленица. Гармошки заливаются по всем дворам.

В резных санях Ерофей Соломин. Празднично одетый. Сам правит. Шуба нараспашку...

У реки осадил коней. Не спеша подошел к обрыву.

Здесь собралось почти все село. Веселый, хмельной от праздника народ.

Родион на прощание катал на своем ветроходе всех желающих.

Искрился под ярким солнцем снег, сверкал лед на реке, искрились и сверкали глаза мальчишек и девчонок. Они не спускали глаз с ветрохода. Не меньше были ошеломлены и взрослые.

А ветроход летел по реке — легкий, красивый, послушный воле Родиона.

В ветроходе сидел Вечный дед. Родион, смеясь, оглядывался на него. Он заложил крутой вираж и хитрым ручным верчеванием направил ветроход к берегу.

На берегу, у самого льда, стоял Колька и важно, как будто это он построил ветроход, руководил желающими кататься, объясняя, употребляя непонятные слова: «давление ветра», «механика», «руль».

Настя старалась быть чинной, но каждый раз, как только ветроход подходил к берегу или уносился от него, она оглушительно визжала. Колька морщился и снисходительно смотрел на нее.

Вечный дед, довольный, вылез из ветрохода.

Колька начал усаживать очередную партию ребяташек, а к Родиону подошел Ерофей Соломин, поздоровался с ним.

— Починил, значит, байдовину-то?

— И воротца тоже починил.— Родион пристально посмотрел на него.

— Покидаешь нас, Родиоша?

— Надо.

— На блинки я пришел тебя пригласить... Масленая. Не побрезгуй наших блинков отведать. Приходи, я всех, все село зову.

— Спасибо,— не сразу ответил Родион.— Зайду.

В это время у ветрохода началась возня. Колька и Спиридон тянули в разные стороны Настю, которая собралась полезть в машину. Колька схватил Спиридона за грудки, они оба покатались в снег. Ерофей, не двигаясь, смотрел с усмешкой, не вмешивался. Родион подошел, начал разнимать ребят.

— Вы чего не поделили?

Настя стояла расстроенная до слез.

— Кататься захотела! — зло крикнул Спиридон.— Я ей покатаюсь!

— Да чего тебе — жалко? — спросил Родион.

— Ладно, Спиря, пуцай катается!..— разрешил Ерофей.— Катайся, дочка, катайся!

Настя радостно кинулась в машину.

Родион кивнул Спиридону:

— И ты полезай... Хочешь покататься?

Спиридон молчал. Ему, видно, до смерти хотелось прокатиться, но он с независимым видом покачал головой.

— Зачем он нам нужен? — крикнул Колька.— Не будет он кататься!

Родион укоризненно глянул на него:

— А тебе что — жалко? Если хочешь, чтобы все были равны, сам должен первым поделиться!

Колька потупился.

— Ну, полезай! — снова пригласил Родион Спиридона.

Тот молчал, глядел на отца, который внимательно слушал Родиона.

Ерофей ухмыльнулся:

— Не-е... Он в меня — мы лошадам больше доверяем!

— Ну, ваше дело!

Родион полез в ветроход, подсаживая Кольку.

Спиридон, наклонив голову, с завистью глядел вслед удаляющемуся ветроходу.

Веселился народ, звенели частушки...

Три соломинские девки у пылающей печи в несколько сковородок работали блины. В гостях у Соломиных почти все село. На столе горы блинов, горькие и сладкие вина, закуска к ним: балычок красной соленой рыбы, корчажки со сметаной, топленным маслом и икрой.

Хмельные бабки под иконами на три голоса пели старинную жалостную песню про Парашу Жемчугову.

Афанасий, который начал праздновать масленицу раньше всех, сидел рядом с Ерофеем и, растроганный песней, говорил своему соседу малопослушным языком:

— Помру я, и ты помрешь... от тебя что останется? Пшик! А от меня — дорога. Люди так и будут называть — Афонина дорога...

— Правильно. Давай выпьем за твою дорогу!

Он подлил Афанасию, сам отпил глоток, а Афанасий стакан.

— А Томмаза? — вспомнил Афанасий. — Он триста лет назад жил. Знаешь, какой человек был? Выпьем за него!

В последний раз на прощанье Родион катал своего маленького друга Кольку и Настю. Руки Кольки лежали на рычагах, и Родион вместе с ним закладывал крутые виражи зигзагами... Это был какой-то сказочный танец. Колька был счастлив, и Настя визжала от восторга.

...Они остановили ветроход у берега, привязали его к толстому колу. Ветроход упруго рвался вперед, подрагивая под напором ветра. Все трое пошли к селу.

Едва Родион ступил за калитку двора Устюжаниных, как на него с двух сторон набросились два человека. Это были уже знакомые нам жандармы.

Родион крикнул Кольке:

— Тащи котомку!

Тот кинулся в избу.

Родион увернулся. Один из жандармов потерял равновесие и рухнул в снег. Второй, наткнувшись на выставленный Родионом кулак, отлетел на несколько метров и с грохотом повалил поленницу дров. Он замотал головой, ошалело улыбаясь, и мы узнали в нем того самого жандарма, который отдал Родиону свои валенки.

— Во дает! — восхищенно проговорил жандарм, наблюдая за тем, как Родион обменивался с усатым жандармом увесистыми тумаками.

Из дома выскочил Колька с котомкой.

Только его Родион и ждал. Могучим ударом он сбил усатого жандарма, подхватил котомку и метнулся в ворота. Колька за ним.

— Родион! Я с тобой!

Они побежали по улице в сторону реки.

Спиридон закидывал промасленной ветошью ветроход. Потом закоченелыми руками ломал спички, пытаясь их зажечь. Наконец это ему удалось, и огонь весело побежал по ветоши, охватив ветроход. Воровато оглянувшись, Спиридон увидел бегущего по косогору к реке Родиона, за которым с криками бежали два жандарма.

Причальная веревка перегорела, и пылающий ветроход, кренясь под напором ветра, медленно покати по льду прочь от берега.

Пламя с треском бежало вверх по парусам.

Родион остановился на берегу, задыхаясь и отирая пот. А Колька с отчаянным криком кинулся к пылающему ветроходу, стал закидывать его снегом, но было уже поздно: паруса прогорели и только черный пепел веялся по ветру. Спиридона давно уже и след простыл.

Родион повернулся к подбежавшим запыхавшимся жандармам:

— Ваша взяла.

— Руки! — скомандовал усатый жандарм, доставая из-за пазухи звенящие кандалы.

— Да куда я от вас теперь убегу. — Родион устало улыбнулся. — Нашли все-таки...

— Ох и гнали, ох и гнали! — покачал головой восторженный жандарм. — А то без тебя в остроге-то скука! Тоска одна, ей-богу!

В избе Соломиных гульба была в полном разгаре. Заливалась гармошка, трещали полы от топотухи...

В избу ворвался Колька, закричал:

— Тятя! Там Родиона жандармы увозят!

На секунду музыка оборвалась, потом гармонист заиграл снова, все зашумели, повалили к дверям.

Колька подскочил к отцу, начал дергать, трясти его.

— Тятя!.. Тятя!

Афанасий поднял от стола голову. В пьяных глазах его не было никакого соображения.

— Тятя! Там Родиона увозят!

Афанасий на мгновение очнулся, ударил кулаком по столу.

— В-выпьем... за Родиона!

И голова его снова упала на грудь.

Колька в отчаянии бросился из избы. Изба опустела. За столом остался только пьяный Афанасий, трезвый Ерофей и три старухи, которые продолжали песню про Парашу Жемчугову. Ерофей не спеша налил себе полную чарку водки, перекрестился, выпил. Не спеша закусил. Не спеша поднялся и, накинув на плечо шубу, вышел из избы.

Ерофей остановился в воротах. Пьяная толпа весело шумела, шла за санями, на которых увозили Родиона.

Родион встретился взглядом с Ерофеем, усмехнулся.

Ерофей крикнул жандармам:

— Блинков бы поели на дорожку!

Жандармы переглянулись.

— Некогда, — отрубил Родион, — нам скорее в город нужно.

Ерофей засмеялся, хлопнул себя по бокам.

— А тебе-то куда спешить? Годом раньше, годом позже.

...Сани выехали за околицу. Люди остановились. Колька и Настя стояли в толпе, крепко взявшись за руки. И вдруг Колька рванулся с места, побежал за возком.

Настя видела, как он догнал его, пощел рядом.

Старухи под иконостасом все еще никак не могли закончить песню. Афанасий вдруг вскинулся, замотал головой, пьяно уставился на старух:

— Где мой топор?

Старухи продолжали петь.

— Где моя дорога?!

Он тяжело поднялся, сдвигая в сторону всю посуду на столе.

Колька шел рядом с возком, держась за развод.

Родион молчал. Проезжали мимо сгоревшего, черневшего на льду, обуглившегося остова ветрохода. Колька посмотрел на него, заговорил:

— Какой ветроход был! Если бы Соломины его не сожгли, мы бы давно убежали!

Родион внимательно посмотрел на Кольку.

Тот уверенно сказал:

— Ну ничего, мы еще вернемся!

— Кто мы-то?

— Мы с тобой.

— А ты далеко?

— С тобой... на каторгу.

Родион не смог ничего сказать, грустно смотрел на Кольку. А Колька торопливо продолжал:

— Ты не думай, еды у нас много.— Он похлопал по котомке.— Я пельменей положил, а Настька блинов притащила... утром еще...

Родион молчал. Колька продолжал:

— Ты думаешь, я тебе помешаю? Я места много не займу.

Усатый стражник не оглядываясь заметил:

— У нас там просторно, на всю Россию места хватит.

Родион резко крикнул ему:

— Останови!

Возок остановился. Родион наклонился к Кольке, тихо заговорил:

— Спасибо, Николай. Ты настоящий друг! Тебе сейчас не надо со мной ехать. Ты подожди здесь.

— Кого ждать-то?! — Голос Кольки зазвенел.— Кого ждать? К нам сюда, кроме попа да сборщика податей, никто и не доберется никогда!

— Приедут, Коля, люди. Приедут... И до вашего села жизнь докатится. Ты только жди.

Родион расстегнул рубаху, снял с шеи заветный талисман — звенья цепи на ремешке — и протянул его Кольке:

— Жди и помни! Помни своего Родиона и наш Город Солнца! — Закричал жандармам: — Трогай!

Стражник хлестнул лошадь, возок рванулся с места.

Колька постоял секунду, сорвал с плеча котомку, закричал:

— Роди-он!.. Котомку!

Возок уносился вдаль.

Колька стоял, смотрел до тех пор, пока возок не скрылся за поворотом реки.

Афанасий в одной рубахе с остервенением рубил трехсотлетний кедр...

Бросил в сторону топор. Уперся руками в огромное дерево плечом. Кедр дрогнул, сначала медленно, потом все быстрее начал падать, сокрушая все на своем пути...

Кинохроника. Фотодокументы. Десятые годы.

В Венесуэле забил фонтан нефти. США прибегают к насильному открытию концессий.

Двигатель внутреннего сгорания стал основным видом развития транспорта.

Автомобиль.

Аэроплан.

Трактор.

Машинное отделение эсминца.

Европа, Япония, Америка спешно вооружались.

Все немецкие крейсера, флот США, а также Балтийский и Черноморский флоты царской России перешли на нефтяное топливо.

Своя нефть была у американцев и русских...

Война. Первая империалистическая.

Окопы. Кровь. Смерть.

Невинные летательные аппараты превращаются в бомбовозы.

Баки аэропланов заправляются бензином.

Танки. Подвозят цистерны с горючим к колонне невиданных машин — танков.

Вся Европа изрыта окопами.
 Русские войска в пинских болотах.
 Немецкие подводные лодки отрезали атлантические пути под-
 воза нефти из Америки в Европу.

У союзников начался нефтяной голод.

Стоят аэропланы.

Замерли, словно доисторические животные, танки.

Во Франции мобилизованы все нефтяные и бензиновые ресурсы
 страны — тысячи грузовиков и автомобилей вытянулись в колонны
 по дорогам Европы: перевозили войска.

Париж. Национальная ассамблея.

Клемансо посылает президенту Америки Вильсону телеграмму:

*«Если союзники не хотят проиграть войну, они должны поза-
 ботиться о том, чтобы сражающаяся Франция получила горячее,
 необходимое как кровь в грядущих боях...»*

Президент Вильсон встретился с Рокфеллером.

Президент улыбался Рокфеллеру.

И Рокфеллер кивнул головой.

Суда-нефтевозы с надписями «Стандард ойл» под охраной воен-
 ных эскортов тронулись через океан в Европу.

И снова пошли в бой танки.

И бомбовозы повисли над окопами.

Горы трупов — вот апогей этой цивилизации.

Социалистическая революция в России.

Первое в мире государство рабочих и крестьян.

Красный флаг.

Ленин.

Конгресс Коминтерна в Петрограде.

А в это время в Лондоне сияли хрустальные люстры на тор-
 жественном обеде по случаю разгрома кайзеровской Германии. Две
 тысячи богатейших людей мира — буржуи и политики слушали
 лорда Керзона.

Керзон выступает:

«Союзники приплыли к победе на волнах нефти...»

Среди этих людей сидел один из самых ярых врагов советской
 власти — сэр Детердинг, нефтяной магнат Великобритании.

Он начал тоже скромно — клерком в голландской нефтяной
 компании.

Потом основал нефтяной картель — «Ройял датч-Шелл».

Приобрел провинциальные нефтяные концессии... Как не хотелось
 сэру Детердингу расставаться с бакинскими и грозненскими промыш-
 слами!

Это он финансировал оккупацию Закавказья английскими
 войсками.

7 июля 1918 года в час ночи Ленин в телеграмме Сталину
 в Царицын высказывает опасение, что убийство немецкого посла
 Мирбаха может спровоцировать захват бакинской нефти.

Английские войска оккупируют Баку.

Расстрел бакинских комиссаров.

Детердинг улыбается.

Голод. Республика в кольце фронтов.

Красная Армия. Ее боевые славные комиссары.

Киров выступает:

«Нефтяные промыслы России — это нефтяное кладбище...»

Нефтяные вышки — разоренные, развалившиеся...
Юденич ведет с собой готовое Северо-Западное правительство.
Во главе его бывший нефтяной промышленник Лианозов — компаньон сэра Детердинга.

Юденич и Лианозов позируют перед киноаппаратом...
Детердинг финансировал диверсии на национализированных большевиками нефтяных промыслах.

Пылают нефтехранилища Грозного.
На скамье подсудимых английский шпион Рейли — чекисты конвоируют.

Пылают нефтяные пожары в Грозном.

Нефтяной голод сковывал страну.

24 апреля 1919 года Ленин телеграфирует в Астрахань:

«Нужда в нефти отчаянная. Все стремления направьте к быстрейшему получению нефти...»

Стоят броневики.

Замерли аэропланы.

Заржавленные перевернутые железнодорожные цистерны.

28 апреля 1920 года Красная Армия вступила в Баку.

Радостные люди встречают красноармейцев.

...А здесь нежно зеленели березы в разливе темной таежной хвой. Среди зеленых берегов катила река, по-весеннему полноводная. На берегу ее все так же дремало село Елань. А от села через всю тайгу шла просека. Прямая, как стрела, — до самого горизонта.

Уже верст на десять проложил Афанасий свою дорогу. Вся дорога внакат была вымощена ровными ошкуренными бревнышками, через болота — гати, через ручьи и овраги наведены были аккуратные мостики с резными перильцами.

И сейчас в конце дороги гулко на весь лес раздавалось: вжик-вжик-вжик-вжик.

Афанасий с сыном пилили здоровенный кедр.

Афанасий заметно постарел, сгорбил, клочковатая борода поседела. А уж Николай вымахал в здоровенного молодца. Легкий пушок вместо бороды, черные вьющиеся кудри.

Отец с сыном взялись за длинные топорича, подрубили кедр, потом вдвоем навалились. Дерево медленно рухнуло с оглушительным пушечным треском...

Афанасий отер ладонью лоб:

— Шабаш!

Они прошли к шалашу, сооруженному неподалеку. Место вокруг шалаша было обжито — на веревке висела сушеная рыба, лежала сложенная поленица дров. На широченном пне, который заменял стол, лежала в узелке снедь. Афанасий вынес из шалаша бутыл, поставил на пень. Николай со своего края поставил крынку с молоком.

Каждый хлебнул своего. Афанасий взял ломоть пирога, стал кусывать. Пирог пришелся ему по душе, он причмокнул.

Николай не без гордости сообщил:

— Настька пекла!

— М-м-м... — Афанасий прожевал. — Не обженились ишо?

Николай укоризненно покачал головой:

— Что ж ты так, папаня! Уж тебя я позову — придешь?

— Неохота мне в вашу деревню ходить, но ради такого случая придется!.. Скоро?

— Скоро! Уж дом поставили — Филя с отцом кладет...

Налетел ветер. Зашелестели кусты, заметались тревожно солнечные блики по серебристым ольховым веткам.

Афанасий перестал жевать, повел носом, подозрительно глянул на сына:

— Ты что?

— Что? — не понял тот.

— Не можешь в сторону отойти?

— Это не я, папаня, вот тебе крест! — Николай перекрестился.

— Вот нечисть! Как от Чертовой гривы потянет, так на всю тайгу вонища! Что ж это за чудище такое?..

Афоня встал, подтянул штаны. Встал и Николай.

Оба смотрели туда, в черную стену сырого леса, куда упиралась дорога. Николай глянул на отца:

— Ты чего?

— Так... Бывает, ты в деревню уйдешь, я один рублю — чую: на меня оттуда кто-то смотрит... Аж в пот бросает от страха.

— Да, папаня... — тихо сказал Николай. — Куда ж мы с тобой рубимся?

Афанасий сердито глянул на сына:

— Куда, куда!.. На звезду!

— Да это я понимаю, а по земле куда это получается? Сдается мне, что на самую Чертову гриву...

— Ну? — Афанасий, прищурившись, глянул на Николая. — А за Чертовой гривой что?

— Болото.

— А за болотом?

— Опять болото.

— А за тем болотом?

— Не знаю.

— Вот! Может, там оно и есть?

— Что? — спросил Николай.

— Оно самое! — многозначительно проговорил Афанасий. — Куда мы дорогу ведем!

Николай пристально глянул на отца.

— А может, оно там? — Он указал пальцем в небо. — Или там? — Он направил палец в землю.

Афанасий подумал, решительно покачал головой:

— Нет... Там — сердце чует! — Он указал в черную, непроницаемую для солнечных лучей тайгу, перегородившую дорогу.

И вдруг Афанасий замер с полукрытым ртом. В кустах мелькнула и скрылась чья-то тень.

— Видал? — выпучив глаза, спросил Афанасий.

— Видал, — шепотом ответил Николай.

— Для медведя больно шустрый! — прошептал Афанасий.

В это время с другой стороны, за их спинами, хрустнула ветка. Там за стволем ели явно кто-то притаился.

— Эй, кто там? — хрипло крикнул Афанасий, сжимая в руках топориче. — А ну выходи!

— Папань, гляди, там тоже! — срывающимся от волнения голосом прошептал Николай, указывая в другую сторону.

Афанасий мотнул головой, приложился к бутылке и заревел на весь лес:

— А ну выходи, мать твою!

Из-за ели робко выглянул маленький кривоногий человечек. Это был хант Федька. Он был очень взволнован, дрожал.

— Не сердись, Афанасий, Федька друг твой... Федька спасай Афанасий, Федька спасай Николка...

— Чего спасать-то? — не понимал Афанасий.

Федька подошел, его била дрожь.

— Туда дорога руби! — Хант показал в сторону. — Туда нельзя!

— Еще чего!

— Федька любит Афанасий, — в голосе ханта просквозила угроза, — Федька не хочет, чтобы Афанасий пропадай! Совсем пропадай!

— Ты толком говори, косоглазый!

— Туда дорога руби! Туда нельзя!

— Тьфу! Пошел отсюда! — Афанасий тронулся было к срубленному дереву, но Федька бухнулся в ноги и схватился за подол его рубахи.

За деревьями послышались размеренные удары бубна и пронзительное завывание.

Николай глянул в ту сторону. Меж стволов мелькало несколько кружащихся фигур вокруг человека с бубном в маске.

Среди кустов светились раскосые глаза, с любопытством смотрящие на Устюжаниных.

Федька умолял:

— Не ходи, Афанасий! — Слезы потекли по его щекам. — Не ходи! Чертова грива прорубишь — смерть будет! Тебе смерть, твоя сын смерть, Федька смерть, Федькина жена смерть, Федькины детишки смерть — все смерть!..

— Ничаво, бог спасет! — Афанасий вырвал рубаху из Федькиных рук, поплевал на руки и, перешагнув через ханта, обернулся к сыну. — Бери топор, сынок.

Хант поднялся с колен, взгляд его потух, он равнодушно глянул на Устюжаниных и сказал тихо:

— Федька все сказал, смотри, Афанасий! — И понуро поплелся в чашу.

Звуки бубна затихли меж деревьев...

Через тайгу, пересекая уходящую вдаль Афонину дорогу, ехали верхом в сторону села по тропинке Петр и Спиридон Соломины, теперь уже вымахавшие в здоровенных парней.

Они вели за собой на поводу еще двух лошадей, на которых были навьючены большие тюки.

Недалеко от двора Соломиных белел свежетесаными бревнами высокий новенький сруб.

Плотник Ермолай с сыном Филей, здоровенным двадцатилетним молодцом, ладили последний венец. Оба были рыжеволосы, знать, Соломиным родня.

Сюда подошел Ерофей Соломин, придирчиво оглядывая сруб.

— Ну вот, Ерофей Палыч, принимай работу! — крикнул сверху Ермолай. — Ведро вина готовь!

— Ведро уже ждет, — сказал Ерофей, обошел сруб, ковырнул пальцем вязку, покачал головой. — Работы еще сколько! Конопатить, крышу ставить! Ну, это уж мои лбы приедут. А с вами расчет!

Ермолай спустился вниз.

Филька остался наверху — тюкал топором, доделывал.

Ерофей мусолил бумажки.

— Эх, хорошо поставили, как для себя! — похвалил свою работу шустрый коренастый Ермолай. — Ты не жалея, подкинь еще пару красненьких!

— Боюсь, разбогатеете шибко,— улыбнулся Ерофей.— Разлени-тесь!

— Да-а, в таком тереме только с молодухой и жить! — вздохнул Ермолай.

— Молодухе и ставим! — ответил Ерофей.

— Клавку, что ли, просватал? А то засиделась девка!

Ерофей покачал головой.

— Это для Настеньки.

Филька наверху бросил тесать, замер.

— Рано вроде...— растерянно пробормотал Ермолай, глядя на сына.

— Я бы подождал, да, боюсь, Устюжанин Колька с Настькой ждуть не будут... Чую — невтерпеж им.

Филька мягко прыгнул со сруба на землю.

— Дядя Ерофей, а как же я? — тихо пробасил он.

— Ты что?

Филька обернулся к отцу.

— Тятя, он же нам обещал!..

— Точно, Ерофей! — встрепенулся Ермолай.— Ты Настаську обе-щал за Филиппа уговорить...

— Пробовал, Ермолай, не получилось.

— Кому отдаешь?! — Ермолай горестно махнул рукой.— Э-э!.. Устюжанины — они все беспутные! Пустые люди!

— Конечно, твой Филя мне больше по душе, чем Николай Устю-жанин. И фамилия у нас одна.

— Ну да. Фамилия-то у нас одна,— угрюмо заметил Филька.— Только как-то все получается, что мы с папаней на тебя работаем, а не ты на нас!

— Филька, цыц! — прикрикнул Ермолай.

Ерофей ласково улыбнулся, потом вздохнул:

— Что поделаешь, Филя. Ты что, мою Настьку не знаешь? Ведь не ее выбирают, а она выбирает!

— Знал бы, не стал сруб ладить,— угрюмо сказал Филя.

— А я потому и не говорил,— довольно ухмыльнулся Ерофей.

— Ладно,— вздохнул Филька.— Свадьбы еще не было.

И он с невиданной силой метнул топор в стену дома. Лезвие его наполовину вонзилось в свежее смолистое бревно.

Филя пошел по двору, загребая ногами золотые стружки.

— Филька, вернись! — тонким голосом приказал Ермолай.

Он подбежал к намертво всаженному топору, попробовал выдер-нуть, потом повис на топорнице, беспомощно перебирая ногами.

Ерофей укоризненно покачал головой вслед Фильке.

Филька ушел, не обернувшись.

Ерофей зашел в дом, гаркнул:

— Настька! Там Филька Соломин проходу не дает! Ты все-таки подумай!

Ответа не было.

— Настя... — позвал Ерофей.

— Ну? — раздался грудной голос Насти из светлицы.

— Да выдь ты!

Из-за ситцевого полога появилась Настя Соломина — теперь уже девятнадцатилетняя красавица, рыжеволосая, зеленоглазая, в золо-тых крапинках веснушек, с высокой — хоть пятак клади! — грудью, в руках она держала только что вычищенный карабин.

— Там Филька Соломин...— начал было Ерофей.

— Слышала,— перебила его Настя, проверяя затвор карабина.— Еще что?

— Ничего...— растерянно сказал Ерофей и сел на лавку.

Настя положила карабин на стол, прошла в кухню, вынесла оттуда торбу и стала складывать в нее приготовленную на столе еду.

— В лес, к Кольке? — спросил Ерофей.

— Ну!

— Вы там смотрите у меня, в лесу...— строго начал было Ерофей, но Настя только глянула на него из-под тяжелых ресниц, отец осекся, заморгал, приложил руку к сердцу и просительно проговорил:— Христом-богом молю, Настенька, вы уж там потерпите до свадьбы, а то я знаю: Устюжанины, они народ шустрый!

— Тятя,— снисходительно улыбнулась Настя,— ты меня не обижай. Куда патроны дел?

— В сенях, в красном сундучке.

В это время во дворе радостно залаяли, завизжали собаки, заскрипели отворяемые ворота. Ерофей кинулся к окну.

— Что такое? Никак ребята вернулись! — Он испуганно перекрестился.

Петр и Спиридон Соломины заезжали во двор, заводили навьюченных коней. Увидев их, выбежали во двор остальные Соломины. Окружили возвратившихся из города. Все собрались — сплошь рыжие головы,— мужики, бабы, ребятишки, невестки, зятья, внуки.

— Что стряслось? — спросил Ерофей.

Петр утер пот с лица.

— Беда, отец! Революция у них!

— Чего?

— Революция.

— Тьфу, заладил одно! Ты толком говори!

— Народ бунтует. Купцы все разбежались. Лавки закрыты. Торговли нет.

— А куда царь смотрит?

Спиридон, радостно встречая в разговор, пояснил:

— Да царя нету!

Ерофей растерянно перекрестился.

— Как?.. Давно?..

Петр сжал челюсти, поиграл желваками.

— А так. Уже три года как скинули — революция! А в тайге тоже кругом стреляют. Каждый сам себе атаман! Как мы только ноги унесли! Думали, весь мех отымут и самих порешат...

Ерофей покачал головой.

— Та-ак...

Мать Дарья поджала губы.

— Как теперь Настьку выдавать? Мы за ней тыщу рублей положили...

Ерофей махнул рукой.

— Ничего... Николай и так возьмет. Устюжанины — голь перекатная!.. Дом мы им построили да соболей дадим...

На крыльце стояла Настя, одетая в дорожку, с карабином и котомкой через плечо.

Ерофей принял решение.

— Значит так. Ворота — на замок!

Спиридон нагнулся к отцу, с азартом заговорил:

— Батя, сейчас бы любо обратно в город махнуть! Налегке!

— Это еще зачем?

— Пока кутерьма идет, можно чего и добыть!
Ерофей иронически смазал его по лицу:
— Можно. Дырку в голову...— Властно: — Все! Теперь туды дорога вовсе заказана! И никому ни слова! В город только мы ездим. Три года не слышали и еще десять лет без этой революции проживем, только чтоб язык за зубами! А революция — она как ливень: там выпала, а здесь авось стороной пройдет...

Настя шла по улице. Когда она поравнялась с воротами сарая, чья-то могучая рука стиснула ее повыше локтя и рванула в сторону.

Со скрипом захлопнулась дверь, и в сарае стало темно.
Настя не успела опомниться, но уже разглядела в темноте потное лицо Фильки. Он взял ее за плечи мягко, но властно, прижал к стене, глядя в глаза. Позади Фильки стоял бык, тяжело вздыхая.

— Ну что ты, Филя, опять? — сказала Настя. — Мы же с тобой все переговорили.

Он молчал, потом медленно приблизил свое лицо к ее губам.

Настя отвернулась.

— Пусти, Филя, — тихо попросила она.

Филя уткнулся лицом ей в волосы, проговорил:

— Разве он любить может, как я!

Настя вдруг ласково погладила его по голове, сказала:

— Иди, Филя.

— Ладно... Свадьбы еще не было, — глухо сказал Филя и с размаху хватил кулаком промеж рогов сунувшегося было к ним быка. Вскрипнув, бык рухнул на колени, уткнулся мордой в землю.

— Фу! Мать твою... — испугался Филя и бросился подымать за рога нокаутированного быка.

Настя выскользнула из сарая.

По Афониной дороге, по ровно уложенной гати, по узорчатым мосткам широким легким шагом шла, придерживая рукой карабин, Настя...

Николай разделявал поваленный кедр — обрубал сучья, ошкуривал ствол.

Настя подошла, остановилась неподалеку. Николай глянул на нее, заработал теперь еще пуще. Настя стояла, молчала.

— Чего пришла? — наконец спросил Николай.

— Еду принесла, — Настя едва заметно улыбнулась, — а ты что, не рад?

— А чего радоваться-то, — отвечал Николай, не прекращая работы, — коли ты к себе даже подойти не даешь?

— До свадьбы нельзя, — вздохнула Настя.

— Ну вот и я сбежал из села до свадьбы... Я ведь тоже не железный — тоскую! — Николай с размаху хватил топором по бревну.

— Коль... — сказала Настя.

— Ну?

— Да погоди ты рубить!

— А поцеловать дашь? — Николай с остервенением рубил.

— В щеку поцелуй.

— В губы.

— В щеку.

— В губы!!

Настя помедлила, потом согласилась:

— Ну ладно — один раз.

Николай глянул на Настю, всадил топор в ствол, отер губы, подошел, приблизил свое лицо к ней. Настя смотрела на него не моргая.

Николай осторожно прикоснулся губами к ее губам, она не шевельнулась. Так и стояли они, слившись в долгим поцелуе. Чирикали птицы, тихо качались верхушки деревьев.

Настя закрыла глаза, обвила руками Николая. Николай зашевелился, обнял Настю, крепко прижал, потом стал ласкать ее волосы, плечи, грудь...

Настя застонала и стала вырываться, но Николай был силен.

Наконец ей удалось оттолкнуть его:

— Уйди!

— Давай еще, ну давай! — хрипло выдохнул он и хотел обнять Настю, но она успела сорвать с плеча карабин.

— Хватит, не балуй!

Николай вздохнул, взъерошил себе волосы, сел на поваленное дерево.

Настя присела тоже на безопасном расстоянии, огляделась:

— А Афанасий где?

— В шалаше, отдохнуть прилег... Старый стал, устает.

— Пить меньше надо! — отрезала Настя.

Николай помолчал, потом, не подымая головы, сказал:

— Настьк!

— Ну?

— Не могу я так! Давай жениться!

— Вот отец Никодим приедет — поженимся.

— Это ж до яблочного спаса ждать! — с отчаянием воскликнул Николай. — Ну давай убежим, что ли... В Россию, куда глаза глядят!

— Туда нельзя сейчас, Коленька, — вздохнула Настя.

— Почему?

— Там эта... как ее?..

— Что?

— Ну как ее... когда народ бунтует...

— Революция?! — Николай подпрыгнул от неожиданности.

— Во-во! И царя скинули.

— И царя скинули?! — Николай вдруг подозрительно глянул на нее. — А ты откуда знаешь?

— Наши в городе были. Еле убежали оттуда...

Но Николай больше не слушал ее, вскочил, заходил по поляне:

— Революция! Ай, Родион, добился своего! Настьк, надо бежать немедленно, а, Настьк! Найдем Родиона... Только где его искать-то? Небось он сейчас где-нибудь Город Солнца ставит! Ладно, все равно найдем! Он нас к себе возьмет, людьми будем...

— А как же свадьба? Дом нам построили, соболей в приданое дадут...

— Какое там! Ехать надо!

— А свадьба?

— Какая еще свадьба! — отмахнулся Николай. — Поп теперь совсем и не приедет! Проживем и без венца!

Настя покачала головой, сказала твердо:

— Невенчанная я с тобой никуда не поеду!

— Тогда я один уеду! — обиженно махнул рукой Николай.

— Что ты сказал? — тихо спросила Настя, и зеленые глаза ее сузились.

— Со мной не хочешь — один уеду, завтра же!

— Один уедешь? — повторила Настя. — Без меня, значит, уедешь? — Она встала, перекинула карабин через плечо. — Ты мне больше на глаза не появляйся! Я тебя не люблю вовсе!

— Что-о?! — вскипел Николай.

— Ни капельки! — Настя повернулась и пошла прочь по дороге.—
И не подходи ко мне больше! И не подходи!

— И не приду! — вслед ей заорал Николай.

— И не приходи! — кричала не оборачиваясь Настя.— Знать тебя не хочу!.. За Фильку замуж выйду!

— Что-о? — в бешенстве заорал Николай, хватаясь за топор.

Из шалаша, выпучив глаза, глядел на них ничего не понимающий спросонья всклокоченный Афанасий.

— За Фильку выйду! Он меня любит! — уже откуда-то издали раздавался голос Насти.

— Ну и выходи! Тужить не будем! — Николай не помня себя метнулся к здоровенной ели и начал рубить ее под корень.— Тужить не будем! Тужить не будем...

Звонко стучал топор. Во все стороны летела смолистая щепка.

Афанасий, почесываясь, вылез из шалаша, подошел к сыну, внимательно глядя на него.

— Ты зачем эту елку рубишь? — спросил он.

Николай продолжал махать топором, в ярости бормоча:

— Тужить не будем! Подумаешь! Солома рыжая! Тужить не будем!..

— Колька! — позвал Афанасий.— Эта ж елка посторонняя! Она нам не мешает!..

Николай выпрямился, неподвижно глядя в одну точку. Постоял, потом отбросил топор и заорал не своим голосом:

— Настя-я-я!

Эхо разнесло крик по всему лесу.

Настя не откликнулась, ее уже не было видно на прямой, как стрела, дороге.

Николай побежал к селу...

Николай подбежал к калитке соломинского двора. Перед ней со слегой в руках, словно стражник с алебардой, стоял рыжий Спиридон. Теперь он уже не волчонком, а взрослым волком смотрел на Николая.

Николай тяжело дышал.

— Настя дома?

Спиридон злорадно ослабил.

— Не велела тебя пускать.

Николай рванулся вперед, пытаясь отстранить Спиридона.

— Пусти!

— Нет.

Спиридон выставил вперед слегу, преградил путь Николаю.

Николай вдруг очень миролюбиво попросил:

— Позови!.. Она же невеста моя, дурак!..

Спиридон постоял еще немного, отшвырнул слегу и пошел во двор, закрыв за собой калитку.

Николай стоял, ждал...

Отворилась калитка, и вышла Настя. Губы ее были упрямо поджаты, она не глядела на Николая.

Николай жалобно попросил:

— Настя, прости!

— Нет,— поджала губы невеста.

— Настя... прости, не могу я без тебя!..

— Не прощу!

— Ну что мне сделать?! Хочешь, я на колени встану?

Настя упрямо молчала. Николай бухнулся на колени.

— Ну... простишь?

Настя упрямо прошептала:

— Не прошу.

Она стояла, опустив глаза, внешне все такая же холодная, недоступная. Николай начал постепенно «заводиться».

— Та-ак... Ничего. Простишь! Я ведь отсюда никуда не уйду, так и буду стоять на коленках! Пока не простишь... День буду стоять, неделю, пока не помру, стоять буду! Плохо ты Устюжаниных знаешь!

— Ну и стой! Мне-то что? Все равно не прошу! Плохо ты Соломиных знаешь!

Она повернулась и пошла домой.

Николай стоял на коленях посреди улицы перед домом Соломиных.

Через некоторое время снова появился Спиридон. Он оперся плечом о воротный столб и, пощелкивая кедровые орешки, с издевательской усмешкой поглядывал на Николая.

Ребятишки из соседних дворов, увидев стоящего на коленях Николая, удивленно выглядывали из ворот, а некоторые, посмелее, выходили на улицу, тихо шли к нему.

Спиридон кинул в Николая кедровый орешек, попал ему в лоб — Николай не повернул к нему головы. Спиридон кинул еще один орешек, Николай так взглянул на него, что Спиридон убрался за ворота.

Ерофей гладил безучастно сидевшую на лавке Настю.

— Совсем поругались?

— Навеки, тятя.

— Вот и ладно, доченька... вот и добро! Давно бы так. Он тебе не ровня — голь перекатная! Еще дом построили! — Настя кивнула. — Ты не горюй, доченька, есть у тебя другой жених! Куды лучше!

— Да, тятя, да...

В распахнутые ворота села с громким мычанием ввалилось стадо. Скотина спешила к своим дворам, а посреди улицы все так же упрямо стоял на коленях Николай. Коровы косились на него, нехотя обходили, задевая боками, хлестали кистями хвостов. Николай мужественно стоял, утонув в гуще стада.

Мать Настя — Дарья — распахнула ворота, пустила коров. Увидев Николая, она открыла рот, перекрестилась.

Стадо прошло. Оседала пыль. Старый пастух, шедший за стадом, увидев стоящего на коленях Николая, остановился, захлопал глазами.

— Никак ты, Кольша? Потерял, что ли, чо, племяш?

Николай молчал, не смотрел на него.

— Может, занемог?

Николай молчал.

Пастух постоял еще немного и пошел, удивленно оглядываясь, бормоча про себя:

— Никак спятил...

В сумерках к воротам Соломиных подошли Спиридон и Филя. Попрощались. Спиридон ушел домой, а Филя еще постоял. Глядел на Николая.

Николай зло спросил:

— Чего смотришь? Обрадовался!

— Свадьбы еще не было, — сказал Филя вроде бы спокойно.

Николай усмехнулся уверенно:

— Будет. Ты лучше иди дом достраивай; а то нам с Настькой жить негде!

— Ладно...— не сразу согласился Филя.— Сейчас пойду, дострою... Всю жизнь помнить будешь!

Филя в задумчивости подошел к срубам, которые они ладили с отцом. Постоял, внимательно оглядел его, словно бы примериваясь. Потом решил. Без особого труда выдернул из стены свой топор, полез наверх. Здесь изловчился, прихватил и, крикнув, вывернул огромное кедровое бревно из верхнего венца и бросил его на землю.

Вдалеке ворчал гром, вспыхивали зарницы. Приближалась гроза.

В доме Соломиных все давно спали. Из углов избы с лавок и полатей доносился разноголосый храп и посвист.

В маленькой комнатке-каморке на широкой пуховой кровати лежала Настя. Она смотрела в потолок.

На дворе шумела гроза. Сильный дождь хлестал в стекла. Молния заливала светом Настину каморку. Грохотал гром...

Настя откинула одеяло, прыгнула с кровати и в одной рубашке выскользнула в дверь.

Укрывшись рогожей, Настя под проливным дождем босая пробежала по лужам к забору. Прильнула к щели рядом с калиткой.

Свет молнии выхватил из кромешной тьмы стоящего на коленях прямо перед ней Николая.

А Филя этой грозной ночью рушил построенный им для Насти и Николая дом. В исступлении он скидывал со стены бревна венца за венцом.

Ливень хлестал по его напряженной мускулистой спине, и его лицо, перекошенное от натуги, при вспышках молний казалось вырубленным из камня...

Утром вновь засияло солнце и осветило деревню. На месте, где вчера стоял новый дом, валялись четыре груды бревен — все, что осталось от каждой стены.

От мокрого дерева на солнышке шел пар.

Сидел, понурившись, угрюмый Филя и курил самокрутку. Лицо его за ночь осунулось, мокрые волосы прилипли ко лбу. Огромные натруженные руки тяжело лежали на коленях.

Снова мычало стадо за забором. Мать Насти — бабка Дарья — открыла ворота, чтобы выгнать коров, и опять увидела Николая.

Колени его утонули в грязи, мокрые пряди волос свисали по небритым щекам, зато лицо было чисто вымыто, в глазах же таился безумный блеск от бессонницы и изнеможения.

Бабка Дарья вбежала в дом, стала будить Ерофея. Он громко гукнул, дернулся, сел в кровати и устоялся на нее. Она перекрестилась.

— Стоит!

— Мать честная...— запустил лапу в затылок Ерофей, потянулся за портками.

Из калитки вышел Ерофей. Шагнул к Николаю. Очень миролюбиво обратился к парню:

— Слышь, Николай... Хватит! Уходи! Не срами девку... И себя тоже.

Николай, преодолевая страшную усталость, упрямо смотрел на Ерофея. Хрипло проговорил:

— Пускай сама скажет.

— Уходи! — повысил голос Ерофей. — Добром прошу! Уходи, а не то силой заставим!..

И тут Ерофей услышал крики.

В конце улицы, у его нового дома, собиралась толпа.

— Что стряслось? — пробормотал Ерофей и побежал по улице, обегая непросохшие лужи.

Настя в своей горенке лежала на постели поверх одеяла, в платье, уткнувшись лицом в подушку. Открылась дверь, и Ерофей с порога заорал:

— Там Филя весь сруб по бревнышку раскатал! Вчистую!

Настя подняла голову, неожиданно приснула:

— Вот леший!

— Она зубы скалит! Жить-то где будете с Колькой?

— Не нужен ему никакой дом! И венчаться он тоже не хочет.

Ерофей недоуменно спросил:

— А чего же он тогда на коленках стоит?

Настя не без гордости ответила:

— Чтобы я с ним в Россию убежала! Революцию делать!

— Чаво?!

— В Россию... Революцию делать.

Ерофей остолбенел, еле выговорил:

— Революцию?!

Кинулся к двери, заорал:

— Петруха-а!.. Васька!.. Спиридо-он!..— Спихватившись, он повернулся к Насте. — Постой-постой... А кто же ему про эту... про революцию-то сказал?.. Ты?!

Он замахнулся, чтобы ударить дочь, но Настя так глянула на него, что рука у Ерофея застыла в воздухе.

— У-у-у... — застонал он в бессильной ярости. — Уродил идолище на свою голову!

Он махнул рукой, сел на лавку и... заплакал.

Из последних сил стоял на коленях Николай. Он слышал неразборчивые крики и шум, доносившиеся из избы Соломиных. Потом шум и возню на их дворе.

Наконец с треском распахнулись ворота и на улицу вылетела телега, запряженная парой коней. В телеге сидели Ерофей, Петр, Василий и Спиридон.

Ерофей на секунду задержал коней. Братья спрыгнули на землю, схватили Николая, бросили его в телегу. Прыгнули в нее сами. Коня помчались к выезду из села. Братья держали обессиленного Николая, наперебой кричали ему в лицо:

— Мы тебе покажем, как Настю увозить!

— Мы тебе покажем революцию!

— В реку его!

Ерофей, обернувшись, попросил:

— Тише, сынки, тише!..

Ерофей осадил коней у обрыва, под которым стоял когда-то ветроход Родюна. Теперь на воде чернели большие лодки, в которых перевозили скот и сено.

Братья прыгнули на землю, сбросили Николая. Он с трудом поднялся, разогнул затекшие ноги. Ерофей тоже не спеша спустился с телеги, шагнул к Николаю.

— Ну, вот что, родимый... Настю тебе не видать!.. А сам садись-ка в любую лодку и поезжай с богом. В Россию... революцию делать...

— А не уедешь — убьем! — сказал Петр.

— Да! Вот тут и утопим,— подхватил Спиридон.

Николай с презрением оглядел всех, спокойно сказал:

— Я без Насти никуда не уеду. Испугались революции-то? Скоро всех вас укоротят! Хватит остяков давить!

— Заткнись, гад! — завизжал Спиридон. И ударил Николая в пах. Николай согнулся, а потом, разгибаясь, развернулся и со всей силой хватил Спиридона в ухо так, что тот отлетел, рухнул с обрыва, покатылся с десятиметровой высоты и шлепнулся на песок у лодки.

К Николаю метнулся Василий. Николай упал ему под ноги. Василий споткнулся и также покатылся с обрыва вниз, к своему брату. Петр упал на Николая и начал его душить. Николай вывернулся, обхватил его руками, они покатались и тоже сорвались с обрыва.

На песке все три брата навалились на обессиленного Николая, начали его избивать.

Ерофей ходил вокруг, приговаривал:

— Легче, сынки, легче... Не до смерти!

Братья схватили за ноги избитого Николая, поволокли его по песку, бросили в лодку. Сорвали цепь, спихнули лодку в воду.

Николай приподнялся в лодке и хрипло прокричал:

— Я еще вернусь!.. Я вас всех достигну!

Тяжелая палка просвистела в воздухе, ударила его в лоб. Николай рухнул на дно лодки. Затих.

Братья Соломины, тяжело дыша, смотрели ему вслед...

Наверху, на обрыве, крестился Ерофей.

А лодка, влекомая течением, виляя и покачиваясь, уплывала вдаль, таяла в сумерках.

Афанасий, размахисто работая топором, подрубал очередное дерево на своей дороге.

Топор смачно вонзался в белую древесину, летела щепа — толстенный ствол держался сейчас на недорубке толщиной в ладонь: пора было валить.

Афанасий отложил топор, примерился, поплевал на руки, дышать ему было тяжело, пот заливал глаза. Он привалился к стволу и налег. Дерево не поддавалось. Афанасий натужился, жилы вздулись у него на лбу, на шее, он зажмурил глаза, и вдруг руки его безвольно упали, он привалился лицом к теплой коре, задышал сильнее, чаще, глухо простонал, потом оттолкнулся от дерева и пошел, не видя перед собой ничего, загребая ногами.

Он хватал ртом воздух, глаза его вылезли из орбит. Рванув на груди рубаху, он задышал еще чаще, воздух с охриплым свистом вырвался из его груди. Ноги подкосились, и он с размаху упал вперед лицом вниз, потом перекатился на спину.

Широко раскинув руки, он лежал с раскрытым ртом, сияясь вздохнуть.

Высоко над ним, над черной кроной кедра ясным светом сияла его заветная звезда.

Афанасий больше не дышал. Взгляд его тускнел, и звезда дрожала, трепетала, как потухшее пламя свечи... И вдруг могучая крона

подрубленного кедра дрогнула и медленно пошла вниз все быстрее и быстрее...

Высокий кедр рухнул, накрыл мягко, похоронил под своей широкой темной кроной Афанасия Устюжанина...

Ночь. Храп и посвист в доме Соломиных. Все утомонились и крепко спали в этот предрассветный час.

В своей горенке у двери стояла одетая Настя с карабином на плече и котомкой в руках. Она долго прислушивалась. Тихо пропела дверь. Настя замерла на секунду, шагнула в спальню, где стояла кровать отца с матерью. Настя на цыпочках прошла дальше, около самой кровати скрипнула половица... Ерофей взметнулся, громко гукнул, как филин, невидящими глазами в упор посмотрел на Настю. Настя обмерла... Ерофей снова упал на подушку.

Передохнув, Настя пошла дальше, минуя во тьме спящих братьев, сестер. Только трепетный свет лампадки освещал ей путь.

Настя выскользнула из избы в сени, прикрыла за собой тяжелую дверь.

Настя легко сбежала с крыльца, пересекла двор и стала отпирать калитку.

На улице в темноте вдруг кто-то крепко схватил ее за руку, рванул с дороги к забору. Настя тихо вскрикнула и увидела близко склоненное к ней лицо Фили.

— Ты куда?

— Пусти меня, Филя.

— Не пущу! Знаю, куда ты бежишь.

Настя вдруг крепко поцеловала Филю в губы. Он обмяк, отпустил ее руку. Она ласково погладила его по голове.

— Прости, Филя. Я не люблю тебя. Ты хороший парень. А я люблю его. Жизни мне без него нет...

Она повернулась, побежала.

Филя стоял не двигаясь, смотрел ей вслед.

Настя выбежала из ворот села, остановилась, в последний раз посмотрела на свой дом, перекрестилась и побежала через луг наискось к реке.

Настя бежала, летела по берегу...

То поднимаясь на кручи, мелькая среди деревьев, то спускаясь снова к воде, по белому песку берегового откоса, то по мелкой воде залива, поднимая брызги и распугивая рыб...

Ей долго нужно было бежать, и она, не останавливаясь ни на секунду, бежала... бежала... бежала, обгоняя текущую воду...

Темная лодка, покачиваясь, плыла по реке, на дне ее в полузабытьи лежал Николай.

Лодка то цеплялась за отмели, и ее раззорачивало. То тихо пересекала широкий плес, то мчалась быстрее по стремнине, когда суживались берега реки.

С каждой секундой светлело небо. Первая розовая полоска зари обозначалась впереди.

В волнах заревого света, среди белых берез, среди темно-зеленых таежных елей бежала Настя.

Она выбежала на обрыв — увидела лодку с Николаем, которая выплывала навстречу ей из-за поворота.

Настя шагнула в воду, прошла по отмели. Намокший подол платья потемнел.

Лодка приближалась. Настя зашла по грудь в воду, поплыла. Она плыла по-мужски — широкими взмахами.

Уцепилась за борт, перевалилась через него — там, на дне, лежал Николай. Настя залезла в лодку, легла рядом со своим суженым, приговаривая нежные слова, обняла его, прижалась.

Николай застонал.

Настя заплакала, улыбнулась, расстегнула на Николае рубашку.

А на груди Николая на кожаном ремешке висели два тускло поблескивающих, соединенных между собой звена цепи. Той самой цепи, на которой томился когда-то в сыром каземате верный последователь Томмазо Кампанеллы, политический каторжник Родион Климентов.

Лодка покачивалась на слабой волне, уплывала все дальше. Она уносила Николая и Настю навстречу солнцу, поднимающемуся над могучей рекой. Уносила навстречу большой и счастливой жизни.

Часть вторая

ИСХОД

Кинохроника.

Фотодокументы.

На полях страны еще бушевали битвы.

Фронты гражданской войны.

Последние пароходы интервентов. Бегство из Мурманска.

Бегство из Крыма.

Победа!

Декабрь 1920 года. Восьмой Всероссийский съезд Советов.

Выступает Ленин:

«Дело с нефтью идет хорошо, и мы начинаем становиться на собственные ноги и с топливом...»

План ГОЭЛРО.

Награждение бакинских рабочих орденом Красного Знамени за самоотверженный труд по обеспечению Советской страны нефтью.

Улыбаются гордо посланцы Азербайджана.

Но в стране царили разруха и голод.

1921 год.

Разбираются взорванные железнодорожные составы.

Рабочий трудится, не зная отдыха.

Крестьянин трудится, не зная отдыха.

Детердинг настолько уверен в скором падении Советов, что скупает по дешевке акции и права на нефтяные разработки у бывших владельцев — Манташева, Нобеля, Лианозова.

В то же время он не скупится на финансирование подрывной деятельности и террористических актов в Закавказье.

Взорванное здание партийной школы.

У стены трупы, накрытые рогожей.

Зверски замученный милиционер.

Пожар ремонтных мастерских.

Чекисты осматривают трупы сгоревших при пожаре.

Апрель 1922 года.

В это же время начиналась война между двумя нефтяными магнатами — Детердингом и Рокфеллером. Компания «Ройял датч-Шелл»

предъявила ультиматум «Стандард ойл», угрожая снизить цены на нефть на мировом рынке.

Война самая настоящая!

Развернулась она в Мексике.

Президент Пасейро Диац убит.

В результате переворота диктатор Мадейра — ставленник Детердинга.

Мадейра убит. Тело распростерто в луже крови в кабинете.

Оружие путчистам покупалось на деньги Детердинга.

Гора расстрелянных.

Женщины бьются над телами.

В нефтяной порт Тампико входят американские военные корабли.

Угрюмо смотрят мексиканские докеры на сгруженные с судов пушки и ящики с боеприпасами...

А Россия оживала после стольких лет разрухи, голода!

Пошли нефтеналивные суда под советскими флагами.

Покатались составы с нефтью.

На мировой арене появляется новая сила — советская нефть. Революционная страна изъявляет готовность торговать нефтью на мировом рынке.

После стольких боев!

Первый трактор.

Первый автомобиль.

Электрическая лампочка на селе.

Первая борозда.

Улыбается крестьянин.

Кадры из фильма «Старое и новое» Эйзенштейна.

Страшное горе постигло страну — Ленин умер!

Скорбит мир.

Тысячи людей. Зимний морозный рассвет.

Кадры из фильма «Три песни о Ленине» Вертова.

Ленинский призыв в партию.

Красноармейцы принимают присягу.

Рабочий врубает станок.

Страна строит новую индустрию.

Страна строит новую культуру.

Страна строит новое государство!

Маяковский на трибуне.

Тысячи людей — его слушатели.

Новая школа — приехала Крупская.

Рокфеллер предпринимает стратегический ход против Детердинга — он покупает у СССР миллионы тонн нефтепродуктов.

Сэр Детердинг в гневе! Страну Советов надо уничтожить, пока она не окрепла. Он принимал участие в организации и финансировании нового похода Антанты. Его усилия совпадают с интересами мирового капитала.

Задача — втянуть в военный конфликт.

Цель — уничтожить.

1927 год.

Нападение на торговое представительство в Лондоне.

Выбитые окна. Раненые, окровавленные люди.

Демонстрации протеста.

Дипломатические отношения СССР и Великобритании прерваны.

Убийство советского полпреда в Польше Войкова.

Нападение на советское консульство в Нанкине.

Выломанные двери. Ветер гонит обрывки бумаг.

Китайские полицейские выводят с руками на затылке советских дипломатов.

Белоказки стоят под ружьем в Маньчжурии.

Китайские милитаристы захватили КВЖД.

Предательство Чан Кай-ши китайской революции.

Стремление мирового империализма втянуть Советский Союз в мировой военный конфликт.

Сжигают на площади чучело Детердинга. Тысячи людей на митинге.

Наши танки.

Боевые самолеты.

Наша армия.

Наши военачальники.

1928 год.

В своем роскошном поместье Детердинг организовал королевскую охоту на глухарей.

На эту охоту был приглашен Рокфеллер.

Вот они позируют с ружьями — два благопристойных джентльмена...

На этой встрече был заключен договор — внешне продолжать войну для поддержания высоких цен на нефть, а на самом деле объединиться в крупнейший нефтяной картель. В него вошли американские и английские компании.

Сэр Генри Детердинг:

«Кто захватит нефть, тот захватит власть!»

Германия. Провокация фашистов-чернорубашечников.

Сборища на улицах. Полиция не вмешивается.

1930 год.

Парламент Аргентины национализировал природное топливо и его разработки.

Сэр Детердинг посовещался с мистером Рокфеллером.

Военный переворот в Аргентине, закон о национализации отменен...

...А здесь, в Елани, все было по-старому...

Шумела тайга, как и сотни лет назад.

Елань стояла, окруженная частоколом, запертая от сторонних людей знакомыми нам тяжелыми резными воротами. Тишина...

Но вот по воде откуда-то издали донеслась никогда не певая здесь песня:

Мы красные солдаты,
За бедный люд стоим.
Свои поля и хаты
Мы в битве отстоим.

По реке к селу, тархтя мотором, двигалась большая лодка-баркас. В лодке сидели двое — тридцатилетний Николай Устюжанин со своим десятилетним сыном Алешкой. Они громко и весело горлачили:

Все пушки-пушки грохотали,
Трещал наш пулемет,
Бандиты отступали,
Мы смело шли вперед...

На Николае военная фуражка, длинное черное пальто, подпоясанное широким ремнем с кобурой. На Алешке старенькая куртка и засаленная кепка с переломанным козырьком.

Мы долго голодали
По милости царей,
И слезы мы глотали
От тяжести цепей...

Они подъехали к берегу, привязали лодку к мосткам. Закинув за плечи вещевые мешки, зашагали в гору, к селу.

Все пушки-пушки грохотали,
Трещал наш пулемет,
Бандиты отступали,
Мы смело шли вперед...

Отец с сыном шли в ногу, громко пели. Резные ворота надвигались на них. Вокруг ничего живого не было видно...

Настало время, братья,
Всех палачей разбить,
Чтоб старый мир проклятый
Не смог вас задушить!...

Все пушки-пушки грохотали...

Внезапно грохнул выстрел, с головы Николая сорвалась фуражка. Оба упали на землю, залегли.

— Что это, папаня?.. Белые? — тихо спросил Алешка.

— Не признали, — усмехнулся Николай, вытащил наган, подождал, потом крикнул: — Что же вы, паразиты, делаете?! Мы же свои!..

Медленно, со скрипом стали открываться ворота.

За ними стояли несколько человек.

Николай с Алешкой подошли, увидели среди других Спиридона, Петра, Фрола с карабинами в руках.

— Что ж так плохо стреляете? — усмехнулся Николай. — Разучились?

— Пока пугали, — ответил Спиридон.

— А зачем пугать-то?

— Тревожат часто, вот и пугаем.

— Бандиты?

— Всякие... — Он разглядывал, узнавал Николая. — Пожаловал?

— Пожаловал, — сказал Николай, глядя в глаза Спиридону.

— А где Настька? — спросил Петр.

— Нет Насти... — Николай вздохнул.

— А где она? — спросил Спиридон.

— Расстреляли... Белые.

— Загубил дочку, варнак! — послышался глухой старческий голос.

Мужики расступились, и Николай увидел старого Ерофея. Ерофей, опираясь на палку, вышел вперед, глядел из-под седых бровей на Николая.

— Не уберег, значит...

Николай молчал, потом, жестко улыбнувшись, скинул фуражку и поклонился в пояс Соломиньым:

— Здравствуйте, сродственнички. Низкий поклон вам за то, что побили меня тогда и выкинули из деревни... Зато к людям попал... Ума-разума набрался! А теперь вот! — Он вынул из кармана гимнастерки бумагу. — Мандат мой от советской власти!.. Это наган к нему! — Николай вытащил и показал вороненую сталь. — А вот это сын

мой, Алексей Устюжанин! Приехали к вам. Новую жизнь будем строить!

Николай надел фуражку, надвинул до самых глаз.

Сродственники озадаченно молчали.

Николай взял сына за руку и попер прямо на Ерофея. Тот вынужден был уступить ему дорогу, что в этих краях не особенно любили делать.

Николай направился по улице к своему дому.

— Слышь... погоди!.. — растерянно крикнул Ерофей. — Поговорить надо!

— Завтра приходите. Поговорим! — ответил Николай. — Сегодня спать буду!..

Утром в избе Устюжаниных сидели мужики. Молчали, курили, ждали, пока проснется Николай.

Тот храпел на пустой деревянной кровати, накрывшись своим черным пальто. На полу рядом стояли его сапоги.

В доме было пусто. Кроме кровати, на которой спал хозяин, тянулись по стенам лавки и стоял почерневший большой стол из рубленых плах.

Алешка, стоя на лавке, приколачивал к стене большой плакат. На нем был изображен красноармеец. Он смотрел на мужиков неистовым строгим взглядом, вперяя в них свой указательный палец.

Мужики невольно ежились, поглядывая друг на друга, отводя глаза.

Алешка прикрепил плакат, спрыгнул с лавки, оглядел избу и, подойдя к висевшей в углу иконе, стал ее снимать со стены.

— Что ж это ты, бесенок, делаешь? — спросил Ерофей.

— В сарай отнесу!.. Нам нельзя, чтоб она тут висела! Это все опиум для народа!.. — объяснил Алешка, с трудом таща икону к двери. — Бога-то ведь нет!

Мужики оторопело глядели на мальчишку. Один Фрол усмехнулся, покачал головой.

— Это кто ж тебе сказал? — хрипло спросил Ерофей.

— Марья Иванна, наша воспитательница в детдоме.

Ерофей привстал и залепил мальчишке подзатыльник.

Алешка бросил икону, подскочил к отцовской кровати, вытащил у него из-под головы наган:

— Ты что дерешься, контра?! Враз застрелю!..

Ерофей скорбно глядел на него, покачивая головой.

Фрол сказал:

— Нехорошо, Алексей... Это ж твой дед родной!

— Какой еще дед?

— Отец твоей матери, — пояснил Фрол. — Ты мать-то помнишь?

Алеша опустил глаза:

— Я маленький был, когда она померла...

Проснулся Николай, рывком поднялся, сел, оглядел мужиков, мельком глянул на Алешку с наганом.

— Здравствуйте, Николай Афанасьевич! — поздоровались те.

— Здорово! Я сейчас, — ответил Николай и прошел к двери. На груди у него на ремешке позвякивали два тускло поблескивающих, соединенных между собой звена цепи.

Мужики молчали. Алешка накрывал на стол. Принес чугунок с картошкой, положил два ломтя хлеба и соль в тряпице.

На дворе Николай подошел к кадке с водой, с размаху опустил в нее голову и туловище по пояс... Постоял так и вынырнул, шумно

отфыркиваясь, потом надел на мокрое тело гимнастерку и, причесываясь костяным гребнем, пошел в избу.

Николай сел к столу, вывалил из чугуна картошку и глянул на мужиков, которые сидели вдоль стены.

— Угощайтесь.

— Спасибо, отобедали.

Николай почистил картошку, макнул ее в соль, начал есть. Алешка примостился рядом.

Мужики смотрели на него, потом Ерофей сказал:

— Значит, так и живешь?

— Как? — не понял Николай.

— Ну вот так.— Ерофей кивнул на стол.— На досках ешь, как беглый какой!.. Без бабы!

— Какая еще баба! — отрезал Николай.— Когда сейчас такой момент!

— Какой момент? — спросили мужики.

— А что, вы разве не знаете?

— Откудова!.. Кто же до нас доберется!

— С прошлого лета никого не было!

— Самый тяжелый момент настал. Плохо в стране. Внутренний враг изнутри точит!.. А снаружи тоже на части СССР порвать хотят... В Англии Керзон, в Маньчжурии казаки атамана Семенова, а тут еще китайцы КВЖД отняли!..

— Значит, война? — спросил Ерофей.

— Пока еще нет, но мирно жить нам не дадут!.. А времени мало! Так что государству оборону крепить надо... круговую! Самолеты нужны, танки, станки всякие. Теперь на нашу Сибирь тоже большая надежда... Ученые люди говорят, что в недрах здешних всего навалом — металлов разных, уголька, нефти. И всего этого нужно побольше и поскорее... Это и есть главная наша задача!

— А ты сам по какой линии пошел? — спросил старый плотник Ермолай.

— Я?.. Я по линии внутреннего врага! — Николай обвел мужиков ясными глазами.— Вырываю с корнем!

— Понятно,— кивнул Ерофей и жестом остановил Спиридона, который хотел что-то сказать.

— Ты там Фильку моего не видел? — интересовался Ермолай.

— Видать не видел, но слышал — в армию он подался. Командиром будет!

— И этот тоже, значит, насовсем убежал,— вздохнул Ермолай.

— Значит, начальником будешь вместо Фрола? — спросил Ерофей.

— Да, буду у вас председателем сельсовета. Начнем строить новую жизнь... А для начала есть дело — серьезное, политическое.— Николай перестал жевать, обвел мужиков взглядом.— Куда Гуляева дели?

— Кого? — не понял Ермолай.

— Геолога Гуляева, начальника партии, что нефть здесь искал, а? Только начистоту!

Мужики потупились, отвели глаза, помрачнели. Николай наблюдал за ними.

Ерофей развел руками и, глядя прямо в глаза Устюжанину, сказал:

— Сам знаешь, тайга.

— Ты мне брось темнить, тайгой пугать! Давайте по порядку... Геологи приезжали?

— Прошлой осенью были.

— Буровую ставили?

— Много разных ящиков навезли. Все в лес утащили.

— Куда ж все подевалось?

Мужики снова переглянулись, потом один сказал:

— Тайга! Разбежались. Кто в болоте потоп, кто на зверя, может, наскочил, кто сам сбег, и бандиты тут все время шастают! Это тебе не Россия — Сибирь.

Николай прищурился:

— Ну смотрите, мужики, смотрите!..

— Ты погоди, Николай,— примирительно сказал Ерофей.— Сам знаешь, в наших краях приезжому нелегко прижиться! Это мы пообвыкли, а для пришлого наша земля — проклятая!.. А они, мало того, свою каланчу задумали на Чертовой гриве ставить!

— Ну и что?

— Сам, что ли, не понимаешь? Место какое..

— Да вы что, в леших до сих пор верите? — усмехнулся Николай.— Вы мне бросьте тут чертовщину разводите!

— Бога нет, чертей тоже! — вдруг громко сказал Алешка.

— Мы туда не ходим!

— Да вы что, и вправду боитесь?

— Сходи сам, узнаешь!

— И схожу. Напарник мне нужен.

Мужики засмеялись:

— А кто с тобой пойдет?

Николай вздохнул и покачал головой:

— Одичали вы здесь совсем!.. Сидите, забором отгородились от мира, от жизни. Страна без топлива задыхается, революция в опасности, а вы тут еще в чертей верите! Ну, учтите,— он постучал пальцем по столу,— учтите, мужики, пока я до дела не дойду, я вас в покое не оставлю! Можете идти.

Мужики поднялись, затолпились в дверях.

— Фрол Захарыч, ты останься,— сказал Николай.

Фрол — черноголовый, из Устюжаниных,— стуча деревянной ногой, вернулся и сел к столу.

— Алешка, сбегай на улицу, поищи товарищей! — сказал Николай.

Они остались вдвоем.

Николай посмотрел на Фрола, помолчал, потом спросил:

— Партийный?

— Нет.

— Сочувствуешь?

— Всем организмом. Красный партизан.

— Лады. Понимаешь ситуацию?

Фрол вздохнул, покачал головой:

— Дело-то больно темное! А меня как раз в это время в Елани не было. К сестре ездил на Конду дом ставить. Приехали-то они при мне. Рабочие были так, народ случайный, шарыги, а начальник вроде мужик толковый, знающий..

— Мужик настоящий,— сказал Николай.— Друг он мне был. Многое мне объяснил. И главное — верил, что у нас нефть тут есть! Понимаешь, какое это богатство? Что бы здесь теперь было, если бы нашли?! Дорогу бы сюда железную провели, электричество! Люди бы совсем другую жизнь увидели! Будь оно все проклято! — Николай постучал кулаком по столу.— Ну-у, я все равно докопаюсь, а ты мне помоги.

— Темное дело! — опять покачал головой Фрол.— Одно чую — Соломины чего-то знают!

Николай встал из-за стола, надел ремень с кобурой.

— Пошли!

...Они вышли из ворот. К ним подбежал Алешка. В калитке соседнего дома стояла рыжеволосая, веснушчатая, с большими зелеными глазами баба лет тридцати пяти.

— Здрасьте, Николай Афанасьич! — застенчиво улыбнулась она.

Николай остановился.

— Анфиска?

— Узнали...

— Здравствуй,— протянул он руку.

Она неумело подала свою, покраснела от удовольствия.

Помолчали. Она сказала:

— Если что надо по соседству — заходите!

— Спасибо!

Они пошли дальше.

— Ладная бабенка! — крутнул головой Фрол.— Вдова. Кирюху в гражданскую убило! И детей не оставил. Мается одна.

В избе за столом сидели сыновья Ерофей Спиридон, Петр, у стены стояла бабка Дарья.

Напротив через стол — Николай с сыном.

Бабка не отрываясь смотрела на внука.

Ерофей только посмотрел на Дарью. Она начала носить на стол. Поставила расписной штоф, тот самый, которым когда-то Петр чуть не убил Родиона. Потом понесла шаньги, грибки, пироги, осетрину копченую, разную моченую ягоду и т. д.

Алешка никогда в жизни не видел столько яств сразу. Он неудержимо глотал слюни, провожая широко раскрытыми глазами каждое кушанье.

Бабка Дарья жалеючи глядела на внука.

Николай оглядел стол.

— Ничего живете, подходяще! Сюда бы рабочих и крестьян из России.

— У нас все свое, из тайги,— сказал Ерофей, наливая.

Николай усмехнулся:

— А тайга-то чья?

— Как чья?! Ничья!

— Была ничья,— сказал Николай.— А теперь народная! Ну ладно, об этом потом... Вам еще много нужно разъяснить... Давайте о деле.

— Вышьем сначала, чего по-сухому переть!

Николай покачал головой, отодвинул стакан:

— Не пьем!

— Ну хошь поешь тогда пирога горячего! — Ерофей обернулся к внуку.— Давай, внучок, с рыбкой!

Алешка посмотрел на отца.

Николай хмуро покачал головой:

— Обедали!

Алешка отодвинул тарелку.

Дарья заплакала, ушла.

— Ну что ж, тогда о деле,— сухо сказал Ерофей.— Ты на Чертову гриву лучше не ходи! Проклятое это место... Живым оттуда трудно выбраться.

— Странные тут дела. Ну ладно, с Чертовой гривой я сам разберусь. Ну а вы-то что, и вправду не знаете, куда Гуляев делся? Может быть, убили его?

— Может, убили, а может, и нет...— сказал Ерофей, переглянувшись с сыновьями.

— Если не убили, тогда где он? Уж кто-кто, а ты, Ерофей Петрович, должен знать!

— Не знаю, нет.

— Врешь! — резко выкрикнул Николай.

Ерофей помолчал.

Спиридон сказал:

— Это что, у вас, партийных, так заведено — на старших орать?

— Погоди! — сказал Ерофей.

Николай встал.

— Значит, разговора не получилось. Пошли, Алеха!

От порога он обернулся и весело сказал:

— Ну, родственнички, не дай бог, если с Гуляевым что-нибудь по вашей вине случилось!

Утром Николай проснулся на своей незастланной кровати, потянулся к табурету взять штаны и вскочил в испуге — одежды на месте не было, сапог тоже. Николай сунул руку в изголовье и облегченно перевел дух — оружие было на месте. Он покрутил барабан — все семь патронов сидели в гнездах.

Из горницы доносилось шлепанье мокрой тряпки о пол.

Николай накинул на голое тело свое черное пальто, которым он накрывался, и выглянул из светелки. То, что он увидел, повергло его в изумление.

Стол был сдвинут в сторону, и какая-то баба с подоткнутым подолом мыла полы. Николай посмотрел на ее белые ноги и спросил:

— Ты чего здесь делаешь?

Баба выпрямилась, откинула рыжие волосы тыльной стороной ладони и улыбнулась. Это была Анфиса.

— Проснулись? — спросила в свою очередь она.

— А где Алешка?

— Здесь я, папаня! — раздался звонкий голос с кухни. — Картошку варю!

Николай повернулся к Анфисе.

— Одежку мою ты взяла?

— Во дворе, скоро высохнет!.. Да вы спите, рано еще!

Николай досадливо покачал головой:

— Рано! Я и так проспал! — И он вышел.

Совершив умывание в бочке по своему нехитрому способу, он натянул на себя мокрые портки и гимнастерку, снял с кольев вымытые сапоги. Причесываясь костяным гребешком, пошел в дом.

Как и вчера, Алешка опрокинул на стол чугунок с картошкой, достал воблу.

— Садись с нами, — пригласил Анфису Николай.

Анфиса села за стол, стала ловко чистить картошку. Подала Алешке, Николаю, потом очистила себе. Сказала, улыбаясь:

— Плохо живешь, начальник.

— Не хуже других.

— Ладно уж. Пирогов вам сегодня напекую. Только печь плохо тянет. Дымоход засорился.

— Надо почистить.

— А ершик у тебя есть?

— Найдется, — улыбнулся Николай.

Они замолчали... Ели, поглядывая друг на друга...

На следующий день утром Николай и Алешка выходили за ворота деревни. Их провожал Фрол.

— Мы к обеду вернемся,— сказал Николай.

— Не зарекайся. Чертова грива — это и есть Чертова грива! А может, не пойдете одни-то?

— Да я дорогу примерно помню.

— Пойти бы мне с вами...

— Да куда тебе с деревяшкой!

— Это точно — не пролезу!

— Ну, бывай!

— Поосторожней там!

Николай махнул рукой.

Они подошли к кладбищу. На старых могилах чернели покосившиеся кресты. А на дощечках по всему кладбищу только и значились две фамилии: Устюжанины и Соломины.

Они остановились у могилы с большим резным крестом.

— Папаня, а ведь кресты над могилами — это тоже религия. Надо бы их порубить!

— Помолчи...

Алешка замолчал, рассеянно разглядывая могилы.

Николай же, наоборот, сосредоточенно думал о своем. Шумели деревья, звонко пели птицы.

Николай развернул Алешку к реке, обвел рукой все вокруг и, глядя вдаль, сказал:

— Вот это и есть наша родина, сынок! Хорошего мало, а все равно дороже ее не найти. Эх, Алешка... Думал я, мечтал... Сделаем революцию и сразу будем здесь Город Солнца строить! Да, видно, мне не судьба. Пока еще черной работы по горло. Это уж тебе придется...

Они вышли на Афонину дорогу. Она уходила вдаль, прямая, разрезая тайгу надвое.

Николай остановил Алешку.

— Гляди! Это дорога наша, устюжанинская! Ее мой отец, а твой дед, рубил. Так и зовется она — Афонина дорога! Десять верст с половиной прошел. Всю жизнь рубил, на ней и помер!

— Куда дорога-то? — спросил Алешка.

— На звезду вел... Вон там над ней вечером встает звезда. Светила она ему, он на нее и шел.

— Один рубил?

— Один. Я дурак был молодой — мало помогал... А то бы еще дальше провели!

Он взял сына за руку, и они пошли по дороге.

— А ты будешь ее дальше рубить?

— Конечно! Только теперь мне люди помогут.

— Я тоже тебе буду помогать! Всегда. Правда, папаня?

Николай положил ему руку на плечо.

Они уходили по дороге все дальше и дальше в глубь тихой, замершей тайги.

Теперь они пробились через бурелом и валежник, через чащу злых колючих деревьев.

Алешка старался не отставать от отца.

— Без дороги-то совсем плохо! — пыхтя, сказал он.

— Не дурак твой дед был!

Алешка огляделся:

— Папаня, по-моему, мы здесь уже были!

— Молчи, Алешка, молчи — сейчас разберемся!
— Мы заблудились, да?
— Замолчи! — рассердился Николай.
Небо заволокло тучами. Пошел мелкий моросящий дождь.
В лесу стало совсем темно и страшно...
Они продирались сквозь сухой, мертвый лес. Ветви цеплялись за одежду, царапали лицо, руки.
Николай посмотрел на небо.
— Этот дождь не скоро кончится! — Он остановился и решительно повернул. — Пошли назад!
— Куда назад?
— Куда-нибудь туда! — Николай прошел несколько шагов, в растерянности остановился и вдруг громко закричал: — Эй!.. Э-эй-й!!
Ответа не было.
Алешка захныкал.
— Ты чего? — строго спросил Николай.
— Пропадем! — сказал Алешка.
— Я же с тобой — ты не бойся! — сказал Николай.
— Я не боюсь.
— Два дня будем ходить, три — все равно куда-нибудь выберемся! Наган есть, спички тоже... Не пропадем!..
Они снова двинулись через сухой лес и скоро вышли на пологий, изломанной линией уходящий в глубину тайги холм. За деревьями чувствовалось свободное пространство.
Николай и Алешка поднялись, и перед ними открылось огромное болото.
— Вот она, Чертова грива, — сказал Николай. — А где ж буровая?
Болото простиралось до горизонта. Редкие деревья, покосившись, торчали над его темной поверхностью. Николай шагнул вперед, пробуя кочку. Она выдержала. Он шагнул еще раз и сразу же провалился по пояс в густую черную жижу.
Алешка отпрянул.
Николай стоял по пояс в болоте, глядел в небо. Верха деревьев почти касались мрачного низкого неба.
— Папаня, а ведь мы не выберемся! — с тоской сказал Алешка.
— Подай сук! — сказал Николай.
Алешка протянул ему толстую ветку. Николай осторожно стал выбирать. Из черной болотной жижи с бульканьем побежали пузырьки. Они поднимались на поверхность в разных местах.
— Пахнет нехорошо, — поморщился Алешка.
— Да, дух тяжелый, — кивнул Николай.
Он выбрался на твердое место и огляделся.
— Нам туда не пройти. И буровой что-то не видно...
— Пойдем домой, — сказал Алешка, — у меня голова болит.
— Надо местность разведать, — сказал Николай и полез на здоровую раздвоенную ель.
Обламывая сапогами мелкие сучки, он все время срывался, но упорно лез наверх.
Алешка смотрел на него, съежившись от холода.
Николай скрылся среди ветвей.
Какой-то шорох привлек внимание Алешки. Он глянул в сторону и окаменел.
Среди переплетенных сухих ветвей смутно виднелся кто-то маленький, приземистый, с горбом...
— Папаня, — в ужасе закричал Алешка, — папаня!!
Посыпались сломанные ветки, и Николай сверзился на землю.

- Ты что?
- Там... там... кто-то... — лепетал Алешка, указывая пальцем. Николай выхватил наган, побежал и скоро вернулся:
- Показалось... — Лицо его было поцарапано, гимнастерка порвалась. — Давай сучья собирай, обсушимся, отдохнем...
- Они начали собирать валежник, складывать костер у самого края болота.
- Тяжело дышать, — сказал Алешка, — чем это воняет?
- Отец не отвечал. Он, застыв, косил глаза в темноту под деревьями.
- Ты что? — шепотом спросил Алешка.
- Н-ничего... Посиди, я сам наломаю..
- Николай, снова замерев, прислушался.
- Алешка хотел что-то сказать, но отец сгреб его в охапку и, зажав ему рот рукой, прижался с ним к стволу дерева.
- Он затаил дыхание. Пот выступил у него на лбу.
- Под чьими-то приближающимися шагами похрустывал валежник. Николай выпустил Алешку и кинулся из-за дерева в чащу.
- Стой! — крикнул он, выхватывая наган.
- Алешка, замерев, слушал.
- Потом раздался выстрел. Кто-то пронзительно заверещал, жалобно выкрикнул:
- Не надо!.. Не надо!..
- Появился Николай. Он тащил за собой упирающегося маленького раскосого человечка с мешком за плечами. Усадил его рядом с кучей хвороста.
- Ты кто такой?
- Федька я, Федька...
- Помню. — Николай рассмеялся и обернулся к сыну. — Это хант Федька. Ну и напугал ты нас!
- Федька засмеялся:
- Я сам очень пугался!
- Николай приблизился к Федьке, принюхался. Сморгнувшись:
- Да ты пьяный совсем!
- Правильно, начальник, осень пианы!
- Где буровая вышка?
- Там! Там... — Хант махнул рукой в сторону болота, над которым поднимались испарения необычного желтого цвета. — Туда не пройдешь... Пусто, народ нету — ушел народ... Очень проклятый земля! — И Федька радостно засмеялся.
- А ты начальника знал, Гуляева?
- Знала, знала, — закивал Федька головой и снова улыбнулся. — Хороший был начальник!
- А где он сейчас?
- Федька хитро улыбнулся.
- Федька не знает, Соломин знает, Соломина спроси! — Федька развязал мешок и достал четверть. — Выпить надо! — И он протянул бутылку с мутным самогоном Николаю.
- Откуда это у тебя? — спросил Николай.
- Соломина давал. Спиридон... Моя друг!
- За что?
- Федька подмигнул и улыбнулся:
- Любит Федьку! Сейчас чум ходить, жинку поить, старуху поить, малых деток тоже поить — все спать ложатся...
- Николай привстал и с размаху хватил четверть о дерево, вдрызг безги разбил.

Федька замер на секунду, потом обхватил голову руками и заплакал, как ребенок:

— Что наделал, начальник! Бедный, бедный Федька! Полгода работал, полгода ходил тайга, соболев стрелил семь штука, куница стрелил десять штука, белка стрелил — не считал. Все Соломина давал за огненный вода...— Федька кинулся и из оставшейся стекляшки стал вылизывать самогон, раскровавив губы.

— Значит, Соломины продолжают свое,— сказал Николай, доставая спички.— Ну ничего... разберемся! — Он зажег спичку, поднес к валежнику.

— Не надо! Не надо огонь! — заверещал Федька, кидаясь к Николаю.

Но было уже поздно — валежник вспыхнул, загорелся, словно облитый бензином, и пламя тут же перекинулось на воду. Синие языки заплясали по воде, разбегаясь во все стороны.

Николай и Алешка, отпрянув, оцепенели.

Федька кинулся на колени и пронзительно завыл какие-то заклипания, стучаясь головой о землю.

— Что это... папаня? — прошептал Алешка.

— Кто его знает.— Николай сам был ошеломлен.— Газ, что ли, какой... А может, еще что...— Он поднял Федьку.— Пойдем, покажешь дорогу.

— Нга! Нга... Злой дух Нга! — повторял Федька испуганно.— Нельзя огонь!.. Сегодня Нга добрый, совсем мало огонь!.. Когда Нга злой — все в огне погибай!..

Алешка, держась за отца, уходил, оглядываясь на болото. Огни, танцующие на поверхности ряски, убежали к горизонту, вдаль. Чем дальше они убежали, тем больше их становилось, они множились, и сухая сосна, что была в полукилометре от берега, вдруг занялась и беззвучно запылала...

— Ну что же вы! — укоризненно всплеснула руками Анфиса, встречая входящих в избу Николая и Алешку.— Совсем запропались!.. Три раза печку растапливала! Проходите...

— Там огни горят на болоте! — закричал Алешка и вдруг замер на месте, потому что увидел стол.

Чего тут только не было! И маринованные грузди, и сметана, и пирожки, и сотовый мед.

Алешка стоял словно замороженный, не в силах оторвать глаз. Николай стоял рядом.

— А это что, папаня?

— Это пирог с осетриной.

— А это?

— Это вроде медвежий окорок.

— А это?

— Я сам забыл, вроде с творогом...

Анфиса внесла огромную миску с дымящимися пельменями.

— А это что?! — закричал Алешка, указывая на миску.

— А это, брат...— Николай безнадежно махнул рукой,— сейчас узнаешь! — И попросил Анфису: — Мне бы руки сполоснуть...

— В сенях, сейчас солью.

В полумраке сеней Анфиса зачерпнула ковшом и стала поливать Николаю на руки. Потом подала чистый рушник. Он глянул на богатую вышивку. Таким чистым полотенцем он не вытирался со времен Насти.

У Анфисы в полутьме светились зеленые глаза. Она протянула

к нему руку и оторвала висящую на нитке пуговицу на кармане гимнастерки.

— Ужо пришью,— сказала она шепотом.

— Шесть лет мне баба полотенце не подавала,— тихо сказал Николай.

— Тяжело,— шепотом отвечала Анфиса.

— Чего мужа-то себе не подобрала?

— Не всякий мил, кто глаза пялит.

— На Настьку ты мою похожа,— сказал Николай, глядя ей в глаза.

Анфиса не опустила взгляда.

— Чай, сестра двоюродная.

Николай вернул рушник.

— Проходи.— Она прижалась к дверной коробке, загородив проход.

Николай, опустив глаза, протиснулся в избу...

...Алешка, откинувшись к стенке, сидел на лавке. Он хватал ртом воздух и разглядывал свой набитый пельменями живот.

Николай сидел, положив голову на руки, и многозначительно глядел на Анфису.

— Ты пирожка еще попробуй, Алешенька,— сказала Анфиса.

Тот помотал головой:

— Не могу, тетя Анфиса, я лучше с собой возьму, можно?

— Дурачок, завтра придешь, я тебе подогрею...

— Ну, спасибо,— вздохнул Николай, поднялся.— А то у него глаза слипаются.

Анфиса встала проводить гостей. На пороге взяла Николая за рукав и просто сказала:

— Может, останешься?.. Я бы баньку затопила...

Николай молча освободил руку и, покачав головой, пошел за Алешкой.

Изба Устюжаниных сиротливо темнела пустыми углами.

Николай зажег лампу, сел за пустой стол, закурил.

Алешка потянулся:

— Здорово наелись! Как буржуи — от пуза!

Николай кивнул.

— Папань, а папань...— сказал Алешка.

— Что?

— А хорошо буржуем быть.. иногда, правда?

Николай сверкнул глазами и вlepил сыну затрещину. Тот отскочил и закричал:

— Ты что дерешься? Сам жрешь, а дерешься?!

— Ишь ты! В буржуи захотелось! — выкрикнул Николай.— А ну марш спать!

Алешка полез на печь.

Николай задумчиво глядел на огонь лампы. Потом сказал:

— Надо бы тебя кормить хорошо, да не могу! Жизнь наша с тобой другая...

Сын не отвечал.

— Алеш! — позвал Николай.

Ответа не было.

Николай затушил папиросу.

— Ладно, спи. Я скоро вернусь.

Он затушил лампу, вышел.

На крыльце своего дома стояла Анфиса. Она словно ждала его. Устюжанин поднялся по ступенькам, Анфиса протянула руки и тихо сказала:

— Иди ко мне.

Потом они лежали в темной светелке на широкой лебяжьей перине. Николай курил, а Анфиса, положив голову ему на грудь, разглядывала его лицо, гладила морщины...

Свет керосиновой лампы из горницы слабо освещал ее влажные губы, широко раскрытые глаза, мягкое, рассыпавшееся по белым плечам золото волос...

И еще лампа освещала слезу, катившуюся по щеке Николая.

— Не тужи, не плачь,— говорила Анфиса.— Все будет хорошо. Ты просто устал от этой своей жизни... надорвался. Я тебя выхожу, вот увидишь!.. Ты поверь, я все равно сейчас самая счастливая — ты мой! Мой!..

Николай не отвечал, только вздохнул.

И она вдруг запела тихо и ласково:

Свила птаха гне-е-здышко
Не в кусте осиново-ом...

Она глянула на Николая и снова начала:

Свила птаха гнездышко
Не в кусте осиново-ом...

Николай стал тихо подпевать:

Свила его пташечка
На розовом кусте...

В пустой горнице потрескивала лампа. На столе стояла неубранная посуда. А из светлицы лилась старинная сибирская песня, которую пели Анфиса и Николай:

Шла к обедне вдову-у-шка,
Черный плат накинута,
Черный плат накинута-у-ула,
В малиновый развод...

В дверь поколошматили.

Анфиса, оправляя на себе платье, пробежала из светелки к дверям.

— Кто там?

— Соломины, открывай!

В горницу вошел Ерофей с сыновьями — Спиридоном и Петром. Под мышкой у Петра тускло блестела полная самогона четверть. Все трое были заметно навеселе.

Из светлицы, застегивая гимнастерку, вышел Николай.

Ерофей кинул Анфисе большую связку соболей, та едва поймала.

— Вот тебе, молодуха. На обзаведение,— довольно сказал старик.— Шубейку соберешь.

Гости прошли к столу, не дожидаясь приглашения, рассаживаясь. Ерофей глянул на Николая:

— Вот вы, noneshnie,— все не так! Нет чтобы по-христиански обвенчаться, свадьбу сыграть путем, а уж потом черта тешить! Соберай стол, племянница, поздравим вас по-родственному!

Анфиса засуетилась, Николай присел к гостям.

Петр разливал первач по стаканам, Ерофей подмигнул Устюжанину:

— Ведь ты, Николай, с нами второй раз роднишься! Значит, судьба никуда от нас не деться!

Подняли стаканы, затихли. Старик Соломин сказал:

— Настьку не уберег — бог тебе судья! А уж Анфиску береги! Чокнулись, выпили.

Ерофей понюхал соленый грибок и кивнул Устюжанину:

— Ты мужик толковый, только упрямый больно!

— Это точно, — кивнул Николай. — Так где же все-таки Гуляев?

— Дался тебе этот Гуляев! — добродушно всплеснул руками Ерофей. — Да на что он тебе теперь?

— Значит, знаете, где он?

— Ну, знаем, — сказал Спиридон.

— Жив он? — спросил Николай.

— Хорошо ему, хорошо, — сказал старик. — Не хуже, чем тебе!

И Соломины рассмеялись, переглядываясь.

— И ему хорошо, — сказал Спиридон. — и нам тоже! Слава богу, не нашел он ничего, а нашел бы он эту нефть или что там... понастроили бы дорог, наперлось бы сюда голодранцев со всей Руси, все разорили бы, вошь гифозную завезли, заразу... Такая бы жизнь началась!

— Прекрасная жизнь, — сказал Николай. — Приехали бы люди, электричество бы провели, город открыли, школу, больницу...

Спиридон усмехнулся:

— То-то ты от этой жизни — не успел приехать, к Анфисе в пещину нырнул!

— Цыц, ты! — сказал Ерофей. — Тебе бы в его шкуре побывать — понял бы!

Николай стиснул зубы, помолчал, потом обернулся к старику:

— Где он? Где Гуляев?

— От тебя скрывается... В тайге. Вы же вон какие горячие: как что — сразу за наган! А в чем его вина? Искал он нефть вашу, не нашел, рабочие его разбежались! Измучился он вконец, заболел, плюнул он на вашу идею и решил здесь по-человечески пожить!

Николай покачал головой, сказал:

— Не может быть, чтобы Мишка Гуляев предал! Мы же его год ищем!

Спиридон торжествующе гоготнул:

— Да вам его не сыскать! Он в такие места ушел! Вам туда в жизни не добраться!

Устюжанин оглядел всех твердым взглядом:

— Ну вот что, родственнички! Не верю я вам, что Мишка Гуляев контрой стал, предателем.

— Это почему же сразу «предателем»? — спросил Спиридон.

— А потому, — тихо сказал Николай, — что у нас таких буровых четыре... на всю Западную Сибирь! Мы для них оборудование на золото в Англии покутали! Такое дело начинаем! И чтоб он в такой трудный для нас момент все бросил, пустил средства на ветер — не верю! Убили вы его!

Ерофей оглядел сыновей, потом, решившись, махнул рукой:

— Ну ладно, скажем. Гуляев на нашей Клавке женился, так что он теперь и твой родственник! Мы почему гуляем — дочка у него родилась, у твоего Мишки Гуляева! Внучка мне, стало быть! Так что давай-ка, Петруша, наливай!

Петр наполнил стаканы.

Николай, пораженный, молчал. Чокнулись без слов. Николай выпил до дна, водка на него не действовала. Он провел ладонью по глазам и тихо сказал:

— Лучше бы вы его убили...
— Чего же лучше? — ухмыльнулся Спиридон.
— Потому что пощады ему не будет, ежели он изменник! А я должен его арестовать!

— Не горячись, Колька! — примирительно сказал Ерофей. — Сам подумай, неужто мы Гуляева, своего зятя, выдадим? Тебе что — скажешь, не нашел Гуляева, и баста! Советская власть и без него устоит — она крепкая! А тебе с нами лучше в мире жить — в тайге наособицу опасно. Мы тебе здесь подмога, и нам свой человек у советской власти тоже пригодится.

Николай задумчиво кивнул головой:

— Я вам пригожусь...

Дом Ерофея Соломина давно проснулся.

Бабы задавали корм скотине.

Устюжанин оставил Фрола и Ермолая во дворе, а сам прошел в избу.

Ерофей с сыновьями завтракали. На столе пыхтел самовар.

— Здравствуйте, — с порога сказал Устюжанин.

— А-а, Кольша, — протянул Ерофей, — садись с нами.

— Некогда, спасибо... Вот какое дело, Спиридон, ты доедай и поедешь со мной к Гуляеву — покажешь, где он скрывается.

Спиридон нагло хмыкнул, посмотрел на отца.

— А вот это видел? — И Спиридон выставил кукиш.

— Ерофей Палыч, прикажи сыну!

Старик покачал головой:

— Нет, такого приказу я ему не дам. Мы людей не выдаем.

— Да? — Николай прищурился. — А Родиона?

— Чего вспомнил!.. Ладно! — Ерофей махнул рукой. — Ты или садись за стол, или убирайся отсюда!

— Ну вот что, — тихо сказал Николай. — Тогда слушайте! Я тебя, Спиридон Соломин, именем советской власти арестую. Поедешь под охраной в город. Там с тобой разберутся! Полчаса на сборы!

Соломины замерли.

Николай обратился к старику:

— А тебя, Ерофей Палыч, попрошу со мной выйти!

— Ага, — с готовностью кивнул Ерофей, потом выразительно посмотрел на сыновей.

Те что-то поняли, тоже переглянулись.

Ерофей встал из-за стола.

Во дворе Николай поднялся к лабазам, кивнул на пудовый замок:

— Отопри!

— Ага, — согласно кивнул Ерофей. — Сейчас. Катька, принеси ключи!

Восьмилетняя рыжая девчонка стремглав кинулась в избу.

В избе у запотевшего окна стоял Спиридон с винчестером, набивая магазин патронами. Он порывисто обернулся на вбежавшую девчонку.

— Чего ты?

— Дедушка ключи просит.

Спиридон снял со стены связку ключей, кинул их через стол девчонке, вытер рукавом стекло, преник к нему.

Ерофей скинул замок, распахнул лабазную дверь.

В лабазе было сухо, светло. И, как прежде, рядами висели до-

рогие, сверкающие, переливающиеся в полосах света меха. Много мехов.

Устюжанин, стоя на пороге, покачал головой:

— Ну что, Ерофей Палыч, продолжаете разбойничать? Все грабите хантов-то?..

— Мы не разбойники, мы добытчики...— пожал плечами Ерофей.

— Скажи, чтобы свечку принесли,— сказал Николай.

— Ага,— с готовностью кивнул Ерофей и обернулся к внучке: — Катька, принеси свечку!

Во дворе тем временем собралась уже вся родня. Молча наблюдали.

Катька вбежала в избу.

Спиридон у окна, тяжело и гневно дыша, сжимал ружье.

— Дедушка свечу просит!

Николай спокойно продолжал говорить:

— Я вчера Федьку встретил, ханта, на болоте...

— Конечно, есть кое-что и от них, от инородцев, но мы и сами добываем.

— А куда сдаете?

— Любители есть...

— Это и есть грабеж! — жестко сказал Николай. — Леса и недра, Ерофей Палыч, сейчас принадлежат народу, и распоряжаться ими может только советская власть. Вон кедрач у тебя лежит только что из тайги.

— Ну?

— Так ведь ты его украл!

— У кого?

— У народа! Там, в России, его просто так не срубишь, а сюда советская власть еще не добралась, вот вы и разбойничаете, как при царе... Но это теперь кончилось, Ерофей Палыч, навсегда! Теперь каждое дерево беречь будем!..

— Так что же, мне теперь и в лес не ходить? — грустно спросил Ерофей. — А ягоды, грибы, к примеру?

— Грибы и ягоды можно,— сказал Николай.

— Ну, значит, прокормимся,— ехидно ответил Ерофей.

Николай взял свечу, протянул ее Ерофею:

— Держи.

Тот перекрестился, взял свечу.

Николай достал из кармана кусочек сургуча, монету и, капая расплавленным сургучом на пальцы Ерофея, залил монету и обрывком шпагата опечатал двери лабаза. На сургуче явственно пропечатался герб.

— Упаси господь, Ерофей Палыч, тебя сорвать этот шнурочек! Ответишь по закону...

Ерофей побледнел. В это время с крыльца дома раздался истошный крик:

— Уйди, враг! Уйди со двора!!!

Это выбежал на крыльцо Спиридон. Он кричал, задыхаясь от бешенства. Винчестер в его руках ходил ходуном.

— Уйди, кому говорят! Устюжанин, ты меня знаешь!..— Спиридон задыхался, медленно поднимая винчестер.— Не вводи в грех!.. Уходи, а то жизни решу!..

Николай спокойно смотрел в его сторону. Домочадцы отшатнулись от лабаза, замерли.

— Последний раз прошу! Ну?!

Тут Спиридон почувствовал, как между лопаток в спину ему уперлось ружье, и он услышал спокойный голос Фрола:

— Не балуй. Брось оружие...

Спиридон замер. Фрол повторил:

— Ну, быстро!

Спиридон в бессильной ярости с размаху швырнул винчестер на землю. Ружье, ударившись о землю, разрядилось с оглушительным выстрелом. И весь заряд вошел в бок девятипудового борова, который, похрюкивая, грелся на солнышке. Боров вскочил с душераздирающим визгом, не разбирая дороги, сшибая все на своем пути, понесся по двору. В конце концов он вышиб рылом калитку, и пронзительный визг стал замирать где-то за кладбищем...

— Свяжите ему руки! — сказал Николай Фролу и Ермолаю.

Ерофей поднял на Николая пронзительный взгляд:

— Христом-богом молю тебя, сынок, не доводи до греха! Уходи!

— Ну чего вы? — заторопил Николай Фрола и Ермолая. — Я же сказал — вяжите!

Ерофей прикрыл глаза и сказал:

— Ну, пусть будет так! Делай, что велят, сынок!

Спиридон с ненавистью посмотрел на Николая, пересилив себя, покорно протянул руки.

На берегу реки собралось почти все село.

Увозили арестованного Спиридона. У мостков тарахтел мотором баркас, на котором несколько дней назад сюда приехал Николай Устюжанин с сыном.

Связанный Спиридон стоял независимо, с ухмылкой глядя на небо.

Устюжанин наставлял Фрола:

— Не тяжело тебе будет на одной ноге? Справишься? — спрашивал Николай. — До поста путь неблизкий — суток трое не поступишь...

— Справлюсь, — уверенно кивнул Фрол.

— Довезти надо.

— Довезу. — Фрол кивнул на Спиридона. — Он знает, как я стреляю!

Спиридон свободной походкой прошел на мостки вслед за Фролом, остановился, поклонился односельчанам, весело сказал:

— Прощайте, люди добрые! Не поминайте лихом!..

Бабка Дарья заметалась, заголосила. Анфиса обняла ее, прижала к себе. Она тоже плакала.

Ерофей и Петр стояли насупившись.

Фрол, сжав губы, сидел в лодке, курил. Карабин лежал у него на коленях.

— Ничего, — сказал Устюжанин Спиридону, — вы меня тогда по реке спустили, я через это человеком стал! Прокатись и ты... Еще благодарить меня будешь!

Спиридон с ненавистью глянул на него, рассмеялся:

— А я и сейчас готов тебе в ножки поклониться! За все!

Баркас тронулся. Соломинские бабы заголосили еще сильнее.

— Прощай, отец! — крикнул Спиридон.

Ерофей отер слезу, срывающимся голосом прокричал:

— Смотри, не будь дураком!

— Ладно!

Близился вечер. В своей пустой, неуютной избе Николай за столом чистил наган. Алешка ему помогал.

— Ну и правильно, не ходи к ней больше! — говорил Алешка. — Что мы с тобой, одни не проживем? Правда?

Николай с признательностью глянул на сына, вздохнул:

— Эх, Алеха, Алеха, ероха, воха...— И опять замолчал, не спеша собирая наган.

— Есть хочешь? — спросил сын.

Отец покачал головой.

— Я тоже не хочу,— сказал Алешка. Он положил голову на руки и сказал: — И чего ж там горело вчера, на Чертовой гриве?.. Вода же не горит...

— Газ это.

— Откуда газ под водой?

— Не знаю, Алеха.— Отец вздохнул.— Я ведь не шибко грамотный. Все некогда было... Придется тебе за меня учиться как следует. Вот порядок тут наведем — на рабфак пойдешь. А там все узнаешь, чем Сибирь наша богата. Точно?

Алешка кивнул, потом спросил:

— Папаня, а ведь правда чертей нету?

— Нету.

— А леших?

— Чему вас только Марь Иванна учила?

— Она говорит — точно нету!

— Вот видишь.

— Так это ж в городе. А тут лес... болото...

Алешка замолчал. Скрипнула дверь.

Николай повернулся.

У порога стояла Анфиса. Опустив руки, привалившись спиной к косяку, она смотрела на них.

— Пойдемте, я ужин приготовила,— наконец сказала Анфиса.

Николай молчал. Алешка перевел взгляд с отца на Анфису.

— Не обижай меня, Коля. Страшно мне теперь одной опять оставаться... И Алешка мне твой как родной. Не обижай меня!

Она подошла к Николаю сзади, склонилась и крепко обняла его.

— Ты только верь мне — будет у нас с тобой распрекрасная жизнь!

Николай вздохнул:

— Нету у меня пока права на эту распрекрасную жизнь, Анфиса.— Он зажмурился и добавил: — Уходи!..

Анфиса горько улыбнулась.

— Дурачок ты...— Она разжала объятия и легко вышла из избы. Тишина давила на Николая и Алешку.

Алешка вскочил, подбежал к окну, вглядываясь в сумерки.

Устюжанин сидел, машинально перебирая детали нагана.

Алешка прижался лбом к холодному стеклу и сказал:

— Папаня, поедем отсюда в город... Я в детдом обратно хочу!..

— Держись, Алешка... держись! — ответил Устюжанин, не подымая головы.

Ночью, когда вся деревня спала, чья-то тень прокралась вдоль забора соломинского дома, перелезла через калитку, залаял было пес, но тут же замолчал, завизжал радостно.

Человек постучал в дверь. Открыл Ерофей с лампой; в неровном свете блеснуло мокрое, поцарапанное лицо Спиридона. Ерофей ахнул и пропустил сына, торопливо закрыл за ним дверь...

Той же ночью Николай сидел за столом и писал письмо.

В углу на лавке спал, укрытый его черным пальто, Алешка.

Николай медленно выводил буквы. Он писал:

«В Центральный Комитет Ленинской партии большевиков. В этот

трудный для нашей Родины момент, когда каждый коммунист-большевик должен быть беспощадно бдительным и нестигаемым...»

Спиридон и Петр тихо шли вдоль улицы, свернули за угол, стали ощупывать доски в заборе. Из-под полы у Спиридона высовывался ствол карабина...

Николай писал дальше:

«...я встретил несознательную женщину-вдову, а поскольку я сам шесть лет как вдовый...»

Две доски были выдернуты из забора, и теперь в проеме виднелось освещенное окно. За окном в свете керосиновой лампы склонился над столом Николай. Тихо клацнул затвор, Спиридон поднял карабин, начал целиться...

Рука Николая писала:

«...завелась во мне ненужная жалостливость и слабина, а классовый враг...»

Через окно грянул выстрел.

Николай уронил голову на письмо. По бумаге поползла кровь, смешалась с пролитыми чернилами.

Алешка вскочил, ничего не соображая:

— Что? Что?

На крыльце затопали, дверь распахнулась. Вошли Спиридон и Петр.

— Пойдем, Алеша,— сказал жестко Спиридон, взял его за руку, повел за собой.

Алешку забило мелкой дрожью.

Николай застонал, значит, жив еще был, зашевелился, упал на пол, приподнял руку.

Братья застыли в дверях.

— Живой!..— прошептал Петр, кинулся к столу, взял на руки Николая и, дунув, загасил лампу.

Они шли огородами. Тащили, поддерживая с двух сторон, Устюжанина. Он хрипел, стонал, ноги его волочились. Повизгивал от страха ошалевший Алешка — ничего не понимал, что случилось и кто стрелял в отца.

— Молчи, молчи, Алексей! — шептал Спиридон.— Потерпи, Николай, потерпи, скоро уже!..

Внесли в дом. Положили на лавку. Безмолвно затаились бабы.

— Примочки, травы где?

— Мать, скорее! — торопил Спиридон.

Разорвали рубаху, останавливали кровь.

Ерофей сидел неподвижный, окаменевший.

Алешка забился в угол, на него никто не обращал внимания.

Потом вдруг спины вокруг Николая выпрямились, и бабка Дарья перекрестилась, а за ней и все остальные.

Ерофей встал, прошелся к Николаю, прикрыл ему веки черным корявым пальцем.

— Гроб мой с чердака достаньте и рубаху мою белую...

— Торопиться надо, отец...— сказал Спиридон.

— Похороним, как положено у православных.— Он сорвал с шеи Николая ремешок со звеньями цепи и отбросил в сторону. Они, звякнув, упали у ног Алешки.— И креста на нем нет,— сказал Ерофей.

У Алешки глаза вдруг стали большими-большими...

Распахнулась дверь. На пороге стояла Анфиса. С распущенными волосами, в накинутаю на растянутую блузу шали. Лицо ее было мертвенно-бледно.

Взгляд ее остановился на лежащем Николае, потом она подняла голову и хрипло проговорила:

— Ненавижу!.. Ненавижу вас всех!..

Алешка встал, украдкой поднял ремешок со звеньями цепи и, наталкиваясь на суетившихся людей, прошел в сени. Выпил из ведра воды. Увидел прислоненное к косяку Спиридоново ружье. Схватил его и выскочил из избы.

Деревня еще спала. Брезжил рассвет. Алешка бежал что есть духу. Потом услышал топот. Оглянулся и увидел в рассветных сумерках фигуру Петра.

Петр бежал молча, большими шагами.

Мальчик скатился к реке.

С трудом развязал лодку и стал лихорадочно грести.

Весла не слушались, лодка медленно и беспомощно выбиралась на стремнину.

Он видел, как Петр метнулся по берегу, одним рывком толкнул лодку в воду и стремительно заработал веслами.

Его лодка быстро нагоняла Алексея.

— Вертайся, Алеша,— тихо, но отчетливо позвал Петр,— вертайся. Нечего тебе по детdomам жить! С нами будешь!

Алеша не отвечая поднял ружье.

Петр перестал грести, опустил весла, лодка по инерции приближалась к Алеше.

— Ну, стреляй, стреляй в дядьку!

Мальчик выстрелил — правое весло Петра перебило пополам, и лодка закружилась на месте.

Алеша снова схватился за весла. Лодка Петра отдалялась все дальше и дальше.

Из тумана доносился голос Петра:

— Алешка! Алешка! Алексей!.. Вертайся!.. Четыреста верст!.. Пропадешь!..

Алеша выпрямился и крикнул в туман:

— Слышишь, Петр! Ты Спиридону передай, передай ему — я до него...

И вдруг он заплакал, зарыдал, закрывая лицо руками...

Ранним утром пастух, выгонявший еланское стадо, остановился, пораженный, перед воротами соломинского подворья.

Спиридон, Петр и Василий на руках выносили гроб. За гробом шли старый Ерофей, Дарья, заплаканные бабы, зятя...

...Хоронили на кладбище. Стояли молча, торжественно. Ерофей прочитал молитву. Комья земли застучали по крышке гроба.

Вдоль реки ковылял на своей деревяшке Фрол. Лицо его было черно, измученно. Одежда порвалась, измочалилась. Фрол остановился, оглядел всех, потом глянул на могилу, на крест.

Спиридон, не спуская глаз, смотрел на него.

Лицо Фрола исказилось ненавистью.

— Всех вас арестовать надо! — сказал он тихо.

— Арестовывай! — спокойно отвечал Спиридон.

Фрол посмотрел на ружья, которые поблескивали в руках мужиков, достал махорку, закурил.

Спиридон с Василием вкапывали добротню, по-соломински сколоченный крест с резной надписью «Николай Устюжанин».

...Туман поднимался над темной водой. Мощное течение несло лодку с Алексеем все дальше и дальше вниз, туда, где над широким разливом воды вставало бронзовое солнце...

Кинохроника. Фотодокументы.
 А страна строилась. Росла.
 Корчевала вековую отсталость и темноту.
 1930 год. XVI съезд ВКП(б).
 Перевооружение народного хозяйства на ос-
 нове современной техники.
 Сдан в эксплуатацию Сталинградский тракторный.
 Московский автомобильный.
 Горьковский автомобильный.
 Заливают горючее в первый трактор. Улыбаются радостные лица.
 Трактор выезжает из цеха. Аплодисменты. Оркестр. Цветы.
 За пятилетку выпущено сто тысяч тракторов.
 Днепрогэс.
 Открытие.
 Митинг. Оркестры.
 Радость строителей.
 Моторы, моторы... до горизонта моторы.
 И для каждого нужно горючее.
 Выездная сессия АН СССР.
 Академик И. М. Губкин:

«В создании топливной базы Сибири крупную роль будет играть нефть. Сейчас надо искать нефть на восток от Урала!»

Выходят в далекие маршруты поисковики, геологи, сейсмологи.
 «Стандард ойл» закупает у короля Саудовской Аравии право на разведку нефти. Доверенное лицо Рокфеллера— Дональд Стивенс.
 Стивенс и король Ибн Сауд. За спиной Ибн Сауда его брат Фейсал.

Потом состоялся военный парад — Фейсал командует армией.
 Дональд Стивенс улыбается.
 1934 год. XVII съезд ВКП(б).
 Особое значение съезд придает изысканию
 новых нефтяных баз...

Ставятся первые колонковые вышки на берегах таежных речушек.
 Нехитрая техника.
 Лошадь тащит оборудование по непроходимой дороге.
 1933 год. Приходит к власти в Германии Гитлер.
 Гигантский парад фашистов.
 Сотни коммунистов брошены в тюрьмы.
 Гитлер:

«Тысячелетний рейх будет опорой мировой цивилизации!..»

На всю страну прогремел трудовой подвиг Алексея Стаханова.
 Вот его встречают друзья с цветами.
 102 тонны угля в смену— мировой рекорд!
 Последователи Алексея Стаханова во всех областях народного хозяйства.
 Трактористы.
 Доярки.
 Рабочие.
 Телеграмма геолога Васильева в редакцию газеты:

«Указание о выходе нефти на Югане подтвердилось. Необходимы детальные геологоразведочные работы».

Начало геологических изысканий в Советской Арктике, в особенности на минеральное топливо и металлы.

1936 год. Германия и Япония заключают антикоминтерновский пакт. К ним примыкает Италия.

Японский посол пожимает руку Гитлеру. Оба позируют для исторической фотографии. Улыбки.

Гитлер:

«Мы создали самое мощное в мире государство! Оплот против большевизма!»

Италия и Германия помогают фашистам в борьбе с республиканской Испанией.

Американские кредиты восстановили экономическую мощь Германии.

VIII Чрезвычайный съезд Советов.

Все эксплуататорские классы в СССР ликвидированы... Класс крестьян перестал быть классом мелких производителей, привязанных к клочку земли...

XVIII съезд ВКП(б).

Война фашистских государств против свободлюбивых народов — угроза делу мира во всем мире.

Япония приступила к захвату континентального Китая.

Тысячи японских солдат на дорогах.

Горят испанские города.

Беженцы, столпившиеся в порту.

Испанские матери целуют плачущих детей.

Новые военные заводы в Германии.

Германия ввела войска в Австрию.

Мессершмитт на испытаниях своего нового истребителя.

Немецкие танки.

Цех моторов. На стене портрет Гитлера.

Японские подводные лодки.

Американский авианосец «Шарп» сходит со стапелей.

Машинное отделение сияет чистотой.

Дизельные установки. Самые мощные в мире!

Потребление нефти в мире за десять лет возросло в 5 раз.

В Аравии ударил мощный газовый фонтан. На открытие эксплуатационной скважины приехал Дональд Стивенс.

Через год в Аравии уже стояли десятки нефтяных вышек.

10 тысяч баррелей в день!

Грузятся в порту нефтеналивные суда с эмблемой «Стандард ойл».

Организована «Арабиан-американ ойл компани»!

Через пустыни протянулись нефтепроводы к портам. Здесь теснятся нефтеналивные суда под американскими флагами.

...А здесь все было, как когда-то.

Шумела тайга.

Медведица с выводком резвилась на отмели.

Небольшое тихое лебединое озеро притаилось в глухой тайге.

Высокие кедры стеной окружили темную глубокую воду. Солнечные лучи полосами пробивались сквозь густые кроны.

Белые дикие лебеди скользили по воде и ослепительно вспыхивали, попадая в солнечные пятна.

Вдруг птицы тревожно загоготали и поплыли к берегу — в воду вбежала рыжеволосая девчонка, видно соломинская.

Она играла, кувыркалась в воде, радуясь теплоте солнечному дню. Она гонялась за лебедями, и те даже не очень боялись ее — на-верно, привыкли.

Наигравшись, Тайка вылезла из воды во всей красоте своей пятнадцатилетней юности. Она бежала по отмели обнаженная — ей некого стесняться — к брошенному у кустов платьишку.

Подбежав, она в ужасе застыла на месте.

Около ее одежды, прислонясь к кедру, полулежал мертвый человек. На вид это был парень лет семнадцати. Опухшее, расцарапанное лицо его было облеплено мошкой. Одежда порвана, перепачкана болотной тиной, за спиной валялся пустой вещевой мешок.

Парень еле слышно простонал и посмотрел невидящим взглядом на Тайку.

Тайка заверещала на весь лес и кинулась бежать, сверкая между кустов голой спиной.

— Погоди! — еле слышно прохрипел парень. — Стой!..

Он снова уронил голову на грудь и замер в полузабытьи...

Переполощенные криком девочки, лебеди сделали несколько кругов над озером и, свистя крыльями, снова опустились на воду.

Послышались голоса. Из лесу появился Вечный дед, а за ним в длинной дедовой рубахе шла перепуганная Тайка.

Дед спокойно подошел к парню, тронул его за плечо.

Тайка схватила платье и отскочила.

Парень поднял веки и так же невидяще глянул на деда.

Дед покачал головой и стал поднимать его.

— Помоги-ка! — приказал он девочке.

— Боюсь, — призналась Тайка.

— Дура! Вот выходим его, тогда будешь бояться! — кряхтя, сказал дед, подымая парня.

Тайка подхватила знакомого с другого бока.

Они поволокли парня в лес. Рубаха его расстегнулась, и на тонкой шее стал виден ремешок, на котором поблескивали два сцепленных звена цепи.

Среди деревьев показалась заимка Вечного деда.

— Беглый небось, — сказала Тайка.

— Сразу уж «беглый»! — сердито ответил дед.

— Точно беглый — легкий уж больно!

— Может, беглый, а может, и наоборот, — пробормотал дед. — Ладно, отойдет — расскажет. Ты гляди, в деревне — ни-ни! Ни слова!

Тайка кивнула:

— Не маленькая.

Парень проснулся в избе Вечного деда. В горнице никого не было. Вечернее солнце нежарко било в окна, освещая простенькую утварь, пучки разных трав, развешенных по стенам.

Парень недоуменно оглядывался. На лавке аккуратно лежала его выстиранная одежда и мешок. Спohватившись, он кинулся к мешку, нащупал там что-то ему нужное и успокоился. Оделся, встал и подошел к окну: за забором сплошной стеной стояла тайга.

Парень вытащил из мешка финский нож и бережно сунул его за голенище сапога.

— Проснулся? — услышал он за спиной.

В дверях стоял Вечный дед, в руках он держал плошку с сотым медом.

Парень посмотрел на деда и сказал:

— А я, дед, тебя знаю.

— Меня многие знают.
 — Ты Вечный дед.
 — Кличут так, — согласился дед.
 — Значит, я в Елани, — с облегчением сказал парень.
 — Выходит, так. — Дед стал собирать на стол. — А ты кто будешь?

Парень хитро улыбнулся и подмигнул деду:

— Да никто!
 — Ну да, — спокойно согласился дед, — а откуда?
 — Ниоткуда.
 — Ну-ну... — Дед понимающе закивал. — Бывает. Ты поешь.
 Парень подошел к столу, отщипнул от лепешки корочку, пожевал.

— Неохота.
 — Выпьешь? — предложил дед.
 — Нет. — Парень посмотрел в окно и поинтересовался: — Что село-то, стоит?

— Не провалилось ишо... А тебе кто нужен?
 — Соломины мне нужны, дед, — помедлив, сказал парень. — Дело есть.

— Соломиных много было... Вон девка, которая нашла тебя, тоже Соломина. Много было, да почти никого не осталось.

— А Спиридон? — вроде нехотя поинтересовался парень.

— А зачем тебе Спиридон?

— Серьезное дело у меня к нему. Наказать его должен. Клятву дал.

— Э-э-э... опоздал, милый. Его советская власть уже давно наказала — шестой год сидит.

Парень опешил:

— Как сидит?

— Убил он Николку Устюжанина, слышал про такого?

— Это отец мой.

— Я так и думал, — не удивился дед. — Алешка?

— Ну. — Алешка помолчал, потом вдруг грубо спросил: — Чего уставился?

— Смотрю. — Дед изучал Алешку. — Сам-то сидел?

— Не твое дело!.. Сколько ему дали?

— Кому?

— Спиридону.

— Десять годочков.

Алеша налил из штофа полстакана, выпил.

— Ничего... не уйдет! Дождусь его! Достану. Ничего!

Он поднял вещевой мешок и направился к двери.

— Бывай, дед!

— Да ты хоть побудь здесь, на родной земле, сил наберись.

Алеша обернулся в дверях и криво усмехнулся:

— Да ты что, старый хрен, чокнулся?! Чтоб я, Алеха Устюжанин, свою солнечную юность сгноил в твоих болотах?! Бывай! Через четыре года увидимся, если не загнешься!

Хлопнула дверь. Вечный дед в задумчивости сидел за столом, улыбался.

Алеша пошел по тропинке и почти сразу вышел на Афонину дорогу. Она была все такая же — немного узковатая, прямая, как стрела, пролегшая среди тайги. Только слегка покосились перильца у мостков и трава кое-где густо проросла меж кедрового наката.

Алешка шел по дороге в сторону Елани, когда ему показалось, что кто-то идет за ним. Он оглянулся — никого. Прошел еще сотню метров — опять почувствовал чей-то взгляд на своей спине. Позади — никого, только прямая, как стрела, дорога, стиснутая могучими стволами деревьев.

Алексей ускорил шаг, потом быстро оглянулся. Там, куда устремлялась Афониная дорога, совсем низко над горизонтом бледно мерцала звездочка. Стояла удивительная тишина. Алеше почему-то стало страшно, он отер лоб, проверил финку в сапоге и быстрым шагом направился к Елани.

Он вышел из леса у кладбища и шел теперь по знакомой до щемящей боли тропинке вдоль реки. Здесь они шли когда-то с отцом.

У могилы отца Алешка остановился.

Он увидел деревянный крест, поставленный Соломинными, и прибитую к нему, видно уже другими, дощечку с красной звездочкой и надпись: «Николай Афанасьевич Устюжанин (1897—1932), большевик, красноармеец, пал от злодейской руки классового врага».

Алеша постоял, опершись о невысокую ограду, потом вытащил из-за голенища нож и с яростью зашвырнул его далеко в кусты. Слезы потекли у него из глаз, и он опустился на землю, привалившись к ограде. Он плакал долго. Стало смеркаться.

Вдруг он ощутил легкий удар в плечо, и к ногам его упала шишка. Алеша вздрогнул, вытер слезы, оглянулся — никого.

— Эй, кто там? — спросил Алешка.

Ответа не было.

Не успел он отвернуться, снова кедровая шишка небожно ударила в спину.

— Эй ты! Поймаю — убью! — угрожающе крикнул Алешка и резко вскочил.

Ему померещилась чья-то метнувшаяся за соседнюю могилу тень. Он бросился туда и столкнулся нос к носу со стоящей за деревом рыжей девчонкой. Лицо ее ему было смутно знакомо.

Это была Тайка. Она стояла неподвижно и во все глаза с улыбкой глядела на Алешу.

— Ты кто? — спросил Алексей.

Тайка не ответила, только моргнула.

— Это ты меня нашла?

Она улыбнулась и отрицательно покачала головой.

— Ты что, немая?

Тайка кивнула — мол, угадал.

— А может быть, и глухая?

Она снова кивнула.

— Это ты мне одежду отстирала?

Тайка отрицательно замотала головой, глядя на Алешу во все глаза.

Алешка помолчал, потом спросил:

— Ты в Елани живешь?

Тайка не ответила снова и задрала голову.

Над деревьями раздались далекие тоскливые крики. В вечернем небе, освещенные солнцем, парили розовые птицы.

— Гуси, — сказал Алешка.

— Лебеди, — поправила Тайка.

Алешка проводил птиц взглядом и задумчиво произнес:

— А я пять тысяч километров сюда пер... И все зря.

Тая покачала головой, глядя ему в глаза.

— Нет, не зря.

— Деда ни за что обидел,— вздохнул Алексей.— Психанул. Мне только в колонии и жить.

— Ты что, сбежал?

— Беспризорничал — попал в колонию для малолетних... Слушай, у тебя есть где переночевать?

— А у вас же дом стоит пустой... заочеленный..

— Не хочу я туда!

— У нас места полно. Мы с теткой Пелагеей вдвоем живем...— сказала Тая и направилась в сторону села, откуда доносился собачий лай и мычание коров.

Алеша направился следом.

Звездочка над Афониной дорогой поднялась и светила в темном небе во всю силу своей яркости.

Тая открыла скрипучую дверь сарая. Сквозь прорехи в соломенной крыше виднелось ночное небо. Тайка поднялась по лесенке, ведущей на чердачный настил, заваленный сеном.

— Алеша,— позвала она,— ужинать пойдём.

Алеша не отвечал. Он лежал, раскинувшись в сене, спал.

Тайка постояла, посмотрела и тихо спустилась вниз.

Скрипнула за ней дверь. Завозились потревоженные куры.

На следующее утро к еланскому берегу подплыла баржа, на которой шло шумное гулянье. Заливалась гармонь, парни и мужики все как один были во хмелю. И пели уже порядком охрипшими голосами.

Баржа пристала к берегу под кладбищем, и с катера на берег сошел плотный пожилой человек в военной форме в сопровождении другого, гражданского. Они поднялись по косогору и направились в сторону села. Военный прихрамывал на левую ногу.

...Солнечные лучи прошивали соломенную крышу сарая. Кудахтали куры, Алешка и Тайка сидели наверху, на чердачном настиле, под самой крышей.

— ...а еще Сочи есть, Туапсе... Черное море — это вещь! На бережных по вечерам рестораны, музыка, парочки танго танцуют!

— Чего?

— Танго.

— Танго? — переспросила задумчиво Тая.

Алешка пристально посмотрел на нее.

— Ты танцевать-то умеешь?

— Танго — нет...— Тая опустила глаза.

— Хочешь, научу? — Алешка вскочил, раскидал ногами сено на настиле.— Иди сюда!

Военный в сопровождении штатского подходил к деревне. Они прошли распахнутые, покосившиеся резные ворота и зашагали по улице.

Тая стояла напротив Алешки, нерешительно глядя на него.

— Да ты ближе подойди!

Тая переступила шагком поближе.

— Да еще ближе! Я тебя обнять должен, а ты меня — вот так! — Алешка пытался прихватить ее за талию, но она увернулась и залиvisto засмеялась.

— Нет,— хохотала Тайка,— это не танго.

— Я-то знаю! — сердился Алешка.
 — Я тоже знаю — такие танцы после свадьбы танцуют!
 — Да чтоб мне провалиться! Ты хоть в кино-то видела?
 — Видела. В Мужах кино видела — такого не показывали!
 — Метелка ты деревенская! — презрительно процедил Алексей. — Мала еще танцевать! Вот годика через четыре покажу!..
 Тайка перестала смеяться, лицо ее выразило отчаянную решимость — даже капельки пота выступили на веснушчатом носу.
 Она подошла к Алексею вплотную и сказала тихо:
 — Ну? Давай учи!
 Алексей обнял ее, и она прижалась к нему, обняла обеими руками.
 — Да ты не цепляйся! — Алексей вспыхнул, оторвал ее от себя. — Это ж танец, руку мне на плечо, вот так.
 И он запел вполголоса:

Утомленное солнце
 Нежно с морем прощалось.
 В этот час ты призналась,
 Что нет любви...

...Военный и штатский шли теперь в сопровождении Фрола — бывшего красного партизана, который с трудом поспевал за ними, ковыляя на деревянной ноге.
 Они молча шли мимо домов, многие из которых были заброшены.
 Прошли мимо соломинского дома с заколоченными ставнями, но раскрытыми воротами амбаров, мимо сгнившего, покосившегося забора устюжанинского подворья..
 Лица у всех троих были сосредоточенны и угрюмы..

Алешка, тихонько напевая, вел в танце обомлевшую от восторга Тайку. Тихонько напевал:

Расстаемся, я не стану злиться —
 Виноваты в этом я и ты!
 Утомленное солнце
 Нежно с морем прощалось.
 В этот час ты призналась,
 Что нет любви...

— Тайка! — послышалось со двора. — Тая!
 Тая в руках Алексея от счастья ничего не слышала.
 Бабка Пелагея, сгорбленная, сухонькая старушка, заглянула в сарай.
 — Цыпа, цыпа, цыпа!.. — Она принялась кидать корм курам.
 В этот момент настил с треском проломился, и сверху на бабу рухнули Алексей и Тайка. Закудахтали, заметались по сараю куры.
 Бабка шарахнулась в сторону. Тайка вскочила, оправляя платьишко, а Алешка так и остался лежать в сене, заливаясь смехом.
 — Охальник! — запричитала бабка Пелагея. — Все вы, Устюжанины, такие! Посватайся сначала, а потом на сеновал девку волоки!
 — Мне свататься рано, бабка! — развалившись на сене, отвечал Алешка. — Я еще несовершеннолетний!
 С улицы донесся заунывный звон. Кто-то стучал в железный обруч, что висел у сельсовета.
 — Батюшки! Давно не колотили! — насторожилась бабка, обернулась к Тайке: — Ну-ка сбегай к сельсовету, узнай, зачем кличут.

К сельсовету сходился народ — старики, бабы, ребятишки. Фрол бросил стучать и подошел к военному, который сидел за вынесенным на улицу канцелярским столом.

— Все собрались? — спросил военком.

— Вроде все, — сказал Фрол, оглядывая людей.

— Бабки Пелагеи нет, — сказала бабка с ребенком на руках.

— И моя старуха с печи не слезает с осени, — сообщил Потапыч.

Военком выглядел усталым, побриться на барже ему не удалось. Он поднялся из-за стола.

— Товарищи, как вам известно, двадцать второго июня фашистская Германия вероломно напала на нашу страну!

Народ зашевелился, зашумел:

— Кто напал?

— Чево-о?..

— Когда это?

— Били уж немца-то!

— Вы что, не знаете?.. — Изумленный военком вышел из-за стола. — Война! Война, товарищи, с немцами! Третью неделю война!

Народ оторопел и смолк на мгновение. И сразу заголосили бабки, заговорили разом мужики.

Шестидесятилетний сын кричал глухому древнему отцу:

— Война с германцами!..

— Опять с германцем, мать его... — качал головой дед.

— Тихо, товарищи! — Военком поднял руку. — В соответствии с решением правительства объявлена всеобщая мобилизация мужского населения тысяча восемьсот восемьдесят шестого — тысяча девятьсот двадцать третьего годов рождения!..

Люди снова притихли, и вперед вышел рябой рыжий Степан:

— Эх, мил человек, у нас призывного возраста всего двое — от Устюжаниных Фрол, от Соломиных я; на двоих по три ноги да по три руки! — Он махнул пустым рукавом. — Отвоевались уже! А молодых не осталось — в города ушли!

— Как же вы тут живете? — не выдержал, вмешался штатский, приехавший с военкомом.

— Да так и живем: бабы да старики!

— А ребятишки чьи? — любопытствовал военком.

— А все мои да Фрола, — сказал Степан.

— Шишек-то у них на двоих две — в гражданку не оторвало, уберегли! — крикнула здоровенная краснолицая баба с ребенком на руках, видно жена Степана.

Кто-то засмеялся, на него цыкнули.

Военком покачал головой, воспаленными от бессонницы глазами оглядел толпу. Люди стояли и смотрели на него. Рыжие — соломинские, черные — устюжанинские. Детишки тоже присмирели, жались к ногам взрослых, глазели.

— Ну что ж, Фрол Пантелеевич, давай списки, для порядку проверим, — сказал военком.

— А что их проверять-то? Все, кто был призывного возраста, давно в зверосовхоз переехали...

— А у вас что?

— У нас этот... как его... филиал.

— А кто в филиале?

— Фрол да я, — подал голос Степан.

Алешка висел под самой крышей, шарил по застрехам в соломе, распугивал кур. Он то и дело вытаскивал оттуда свежие яйца и складывал их в кошелку. Бабка Пелагея стояла внизу — руководила.

В сарай вбежала раскрасневшаяся Тайка.

— Война, бабушка, война! — радостно сообщила она.

Алешка от неожиданности чуть не свалился.

— Где?

— У сельсовета на войну собирают!

Алексей кубарем скатился вниз, кинул бабке кошелку, та с перепугу не удержала ее — яйца полетели на землю.

Военком в сопровождении штатского направился к реке. Фрол провожал их.

От пристани доносилось удалое пение. Переборы гармошки, хриплые выкрики — гулянье, видимо, было в полном разгаре.

Военком с улыбкой смотрел с обрыва, потом сказал с гордостью:

— Хоть и глушь таежная, а от каждого села, видишь, каких молодцов набрали!

Фрол виновато вздохнул, почесал в затылке.

— За Елань обидно. На фронте представлена не будет.

— Ладно, не расстраивайся, — успокоил его военком. — Чего-чего, а народу в России хватит!

Они уже подходили к мосткам.

— Военком, ты кого привел? — весело кричали с баржи. — Ему на клюке воевать несподручно будет!

— стакан пропустит, завоюет! — ответил бородатый мужик, примостившийся на корме с самодельным удилицем.

Военком вздохнул:

— Ну, бывай! — Он подал руку Фролу.

— погоди! Э-э-эй!.. Пстой!

На косогоре показался Алешка. За ним бежала далеко отставшая Тайка.

Военком переглянулся со штатским, взглянул на Фрола. Алешка, не разбирая дороги, бежал к мосткам.

— Берлин взяли? — Он с трудом переводил дыхание.

Военком с грустью посмотрел на него и не ответил. Алешка тяжело дышал.

— Меня... на войну... запишите!

— Кто таков? — спросил военком. — Откуда?

— Отсюда...

Военком посмотрел на Фрола. Тот покачал головой.

Тайка подбежала и остановилась поодаль, прислушиваясь к разговору.

— Я Устюжанин Алексей Николаевич.

Фрол недоверчиво покачал головой, вглядываясь в лицо Алеши.

— Алексей?! Приехал? Приехал! Алеха! — радостно подтвердил он военкому, подковылял к Алексею и обнял его. — Вылитый Николай. Где ж ты был?

— Далеко, дядя Фрол. — Алексей высвободился из объятий Фрола и обернулся к военкому. — Ну что, берете?

— Кружка, ложка, две пары белья с тобой? — скороговоркой спросил военком.

— Все, все с собой! — кивнул Алексей.

— Документ?

Алексей протянул метрику. Военком заглянул в нее.

— Ты ж несовершеннолетний.

— А вы гляньте — через три дня у меня день рождения.

Военком проверил, сунул метрику в карман.

— Садись! — Он кивнул в сторону баржи.

— Видишь, Алешка, и поговорить не успели — война! — развел руками Фрол.

— Ничего! Скоро встретимся! — Алешка перескочил на баржу, где сразу же попал в водоворот веселья и хмельной беспечности.

Чья-то рука услужливо протянула ему полный до краев стакан. Фрол улыбнулся военкому:

— Ну вот, и от Елани солдат нашелся!

Наверху, на косогоре, стояли еланские бабы с ребятишками на руках.

Тая переминалась с ноги на ногу и все не решалась окликнуть Алексея.

А он в окружении новобранцев уже отплясывал лихую чечетку. Круг расступился, давая ему место. Захлебывалась переборами гармонь.

Буксир дал гудок и дернул баржу.

— Алеша! — закричала Тая и побежала по берегу. — Алеша!

Алексей остановился. Только сейчас он вспомнил о ней и побежал к борту:

— Тайка!..

Хор на барже дружно грянул:

На диком бреге Иртыша
Стоял Ермак, объятый думой...

Военком на барже, а Фрол на берегу торжественно взяли под козырек.

— Ты приедешь еще?

— А ты будешь ждать меня?

Тая бежала молча.

— Ждать-то будешь? — хитро улыбаясь, повторил Алексей.

— Буду! Я буду тебя ждать всю жизнь! — крикнула Тайка и, неожиданно споткнувшись, растянулась на песке.

На барже загоготали.

Баржа уходила все дальше и дальше по сибирской реке, и песня звучала уже за излучиной, отдаваясь эхом в дремучей тайге, и, спугнув медведицу с медвежонком, унеслась к небу.

А в небе струился клин белых лебедей...

Раннее утро. Бело-желтая, зеленоватая бескрайняя пустыня с проблесками свинцовой воды...

Песок. Песок, грязь, тина, островки жухлой травы, полосы мелкой воды. Гнилое море.

Ничего живого. Редко покажется птица, просвистит по песку ветер, а так все тишина, пустыня.

Группа солдат числом около роты двигалась через эту пустыню. Солдаты обессилели, брели кое-как, в разбитых сапогах, грязном, порванном обмундировании. Измученные лошади тянули орудия. Телеги были нагружены понтонами, на них лежали раненые. Раненых сопровождала глазастая медсестра Зойка. Она также устала до предела, но все же изредка поглядывала на идущего рядом с лошадью парня и, если он оглядывался, неизменно улыбалась ему. А парень, которому она улыбалась, был Алексей Устюжанин, рядовой солдат этой измотанной в боях части.

Алексей время от времени оглядывался на Зойку, брел, поглаживая голову санитарного мерина, кормил его кусочками хлеба. Понеслась гул приближающихся самолетов, кто-то крикнул: «Воздух!» — и все бросились врассыпную. Со страшным ревом и свистом с неба одна за другой сыпались бомбы, накрыли вжавшихся в землю

людей; дико взвыла, заржала лошадь; взрывы разметали одну из телег, опрокинули пушку, подняли тучу песка, нарыли глубоких воронок...

Издали было видно, как медленно начали подниматься солдаты, помогали встать раненым, осматривали убитых, потом они снова собрались все вместе, снова кое-как построились и опять двинулись дальше в том направлении, в котором шли.

Солдаты уходили, шли, пока не скрылись из глаз в этой бело-желтой пустыне...

И снова тишина, только кричала непонятно какая птица...

Ветер начал тихо наметать белый песок на тела убитых...

И вдруг один из небольших песчаных холмов зашевелился и из-под песка на свет вылез солдат. Это был Алексей Устюжанин. Он отряхнулся, видно, был оглушен и ослеплен, выплюнул песок, стряхнул с глаз, долго крутил головой. А затем пополз, ничего не видя... Наткнулся на убитого, ощупал его, свернул в сторону, обессилев, полегал, снова пополз... Он долго полз вдоль узкой полоски воды, затем все-таки свернул и нашел эту воду. Начал промывать глаза, полил из пригоршни, снова промывал глаза, тер их, пытался смотреть, но так ничего и не видел... Он долго сидел, напуганный этим, и вдруг впереди начали проявляться предметы. Он обрадованно засмеялся, посмотрел в одну сторону, потом повернулся в другую и застыл в ужасе: перед ним на белом песке лежала оторванная голова лошади, которую он совсем еще недавно кормил...

Алексей сидел потрясенный, с трудом сдерживая тошноту. Потом он поднялся и побрел несколько левее того направления, в котором ушли солдаты...

Он пересек полоску мелкой воды, вышел на узкую песчаную косу, на которой также виднелись следы бомбежки, полузанесенные песком тела убитых солдат, разбитая в щепки арба, вздувшийся труп лошади...

По мокрой полоске песка боком бежал маленький черный краб. За ним наблюдал человек в офицерском морском плаще. Он сидел на земле, привалившись своей могучей спиной к выветрившейся глыбе песчаника. По золотым нашивкам на рукаве было видно, что это старший офицер флота, капитан второго ранга. Фуражки на его голове не было, волосы были растрепаны, небритое лицо до крайности измождено. Оно было почти черным, видно было, что капитан очень страдает. В нем с трудом можно было узнать бывшего веселого еланского плотника Филю Соломина, соперника Николая Устюжанина, сына Ермолая.

Он услышал чьи-то тихие шаги по песку — то брел Алексей. Капитан равнодушно посмотрел на солдата. Алексей увидел живые глаза, испугался, остановился.

— Иди, иди, — сухо сказал Соломин.

— Куда? — растерянно спросил Алексей.

— Туда тебе идти. — Капитан указал рукой, в которой был зажат пистолет. — Неправильно идешь.

Алексей не двигался, смотрел на него. Где-то вдали послышался орудейный гул.

— Ну чего стоишь, уходи скорей!

— А вы?

Соломин отвернулся.

— Вы ранены? Я вам помогу!

Алексей шагнул к Соломину.

— Не подходи! — стиснул тот пистолет. — Кру-угом! Ну! — Он поморщился.

Алексей сделал к нему еще один шаг.

— Я дотащу! Я здоровый!

— Дотащишь...

Соломин прикрыл глаза, потом распахнул плащ и китель: в животе его зияла страшная рваная рана, видны были пульсирующие кишки. Алексей даже простонал, с шумом втянул в себя воздух. Потом он сорвался с места и побежал в ту сторону, откуда шел. Соломин даже не посмотрел ему вслед. Снова стал разглядывать краба, который копошился у его ноги.

Крабик спрятался в нору, от воды бочком до белому песку катился другой.

Алексей, шумно дыша, торопливо шел, волочил за собой доски от разбитой арбы, две каски. Он свалил все это неподалеку от Соломина.

— Сейчас чувилек свяжем и поплывем, — ободряюще сказал он. — По воде-то легче тащить...

— Чувилек? — повторил Соломин знакомое ему слово и даже чуть посветлел лицом. — Сибиряк, что ли?

— Точно.

— Это ж надо, — усмехнулся Соломин.

Алеша начал торопливо связывать вожжами доски, сооружать небольшой плот, а сам рассказывал:

— Я в песке зарытый лежал, бомбой закопало. Похоронило напроць. Очнулся — тьма. Ну, думаю, в могиле! Куда копать, а где верх, где низ? Все-таки откопался. Вылез, а сам ничего не вижу!.. Ползаю, как крот, а вода рядом! Оклемался, гляжу, а около ног голова Тристана — мерин у нас был, санитарный. Чудно! Голова лежит оторванная, а я его хлебом только что кормил...

И тут Алексей вдруг замолчал, опустил на песок, уронил бесильно руки, глядя в одну точку. Весь поник. Соломин смотрел на его спину. После долгого молчания Алексей тихо сказал:

— И Зойку, наверно, убило..

Он встал, подошел к Соломину. Вынул из-за пазухи несколько индивидуальных пакетов, стал рвать бумагу.

— У убитых взял, — пояснил он. — Давайте раздеваться, товарищ кавторанг, надо вас перевязать.

Он начал осторожно снимать плащ с Соломина. Соломин побледнел, капли пота выступили на его лице. Он скрипнул зубами, закрыл глаза, тихо сказал:

— Солдат, я скоро потеряю сознание... Если буду просить воды: не давай, понял? Это смерть, понял?

— Я знаю.

Соломин уронил голову, его тело стало тяжелым и непослушным.

По бескрайнему разливу тихой, теплой и мутной воды Гнилого моря брел Алексей. Глубина была чуть выше колен. Он тащил за собой плотик, на котором лежал Соломин, привязанный вожжами. Он был без сознания, время от времени говорил что-то неразборчивое, выкрикивал. Алексей механически, больше для себя, отвечал ему. Он устал почти до полного равнодушия ко всему.

— Пить! — просил Соломин.

— Нельзя!

— Пить!.. Дайте воды... воды! Воды дайте, воды!..

— Нельзя. Мне Зойка объясняла: при ранениях в живот воды не дают. Чудак ты, непонятливый, хошь и капитан второго ранга.

Офицер долго молчал, потом снова жалобно заговорил:

— Мама... пить... Мамочка... Горит все!.. Попить!..

Солнце пекло нещадно. У Алексея почернели, потрескались губы. Каска пригибала голову книзу.

Внезапно раздался гул приближающегося самолета. Алексей остановился, задрав голову. Старался разглядеть, чей это самолет. Но против солнца он ничего не мог различить. А когда самолет пролетел над ним, он увидел на его брюхе жирный черный крест. Летчик, видимо, заметил бредущего по воде солдата. Самолет развернулся и стал снижаться. Алексей испуганно огляделся — спрятаться было некуда. Самолет совсем низко с ревом несся на него. Алексей беспомощно заскулил, обхватил голову руками и плюхнулся лицом в воду.

Черная тень промелькнула, и ветер рванул рябь по воде.

Алексей вынырнул, отплевываясь, вскочил, схватился за автомат, но вспомнил, что это бесполезно. Он начал материться, потрясая кулаком:

— Гад!.. Сволочь!.. Сука!..

А самолет снова заходил на него. Снова повторился весь маневр. Самолет опустился на этот раз еще ниже, он летел, почти касаясь брюхом воды. Это было так страшно, что Алешка не выдержал, кинулся в сторону, споткнулся, упал, зарылся головой в грязь и тину.

Короткая пулеметная очередь подняла фонтанчики на воде. Самолет с ревом пронесся над плотиком и, набирая высоту, ушел, пропал в небе.

Алексей медленно поднялся, весь залепленный грязью. Он попытался поднять руку и вскрикнул — пуля задела предплечье, на рукаве задела кровь. Зажимая руку, Алексей побрел к плоту.

— Сволочь! Сволочь! Сволочь! — Он увидел открытые глаза офицера.— Ушел все-таки, сволочь!

— Водку пьешь? — спросил Соломин, пытаясь улыбнуться.

— Я все пью,— с наигранной лихостью ответил Алексей.

— А чего больше всего любишь?

— Шампанское,— признался Алексей.

— Останемся живы — ящик шампанского с меня.

Алексей поднял набухшую от воды веревку и побрел дальше, таща за собой плот.

Ночь. Ясное, с крупными звездами южное небо. В тишине слышался негромкий плеск и журчание воды.

Алексей шел, тащил за собой плотик с Соломиным, с трудом поднимая голову, смотрел на луну, на широкую лунную дорогу в спокойной воде. Где-то очень далеко, внизу, на небосклоне светилась, мерцала яркая звездочка — это была звезда его деда, Афонина звезда...

...Светало. Густой туман спустился на воду. Обволакивал все вокруг.

Алексей брел не зная куда, механически передвигая ноги. Ему казалось, что он идет по бесконечному кругу. Туман съедал не только пространство, но и звуки.

Соломин не подавал никаких признаков жизни. И наконец у Алексея кончились силы... Он остановился и в наступившей тишине вдруг явственно слышал чавканье шагов по воде.

Алексей не поверил своим ушам. Он начал оглядываться по сторонам, но густой туман все заслонял. Звук шагов непрестанно раздавался и слева и справа. Начали вырисовываться неясные силуэты, человеческие фигуры, бредущие в воде... Алексей оцепенел, ждал, боялся оказаться замеченным... И тут раздался сиплый голос:

— А вот еще... Одного типа послали в разведку...

Алексей радостно заорал:
 — Свои!.. Ребята!.. Это вы?!
 Он кинулся к солдатам.
 — Алешка! — обрадовался старшина. — Жив, паразит?!
 Алексея окружили солдаты.
 — Ну, ты даешь!
 — А мы уж тебя похоронили, — сказал осипший.
 — Ты откуда вылез-то?
 — А кто это с тобой? Кого тащишь?
 Счастливый Алексей горячо, сбивчиво заговорил:
 — В песке я зарытый лежал! Меня бомбой закопало... Потом оклемался, вот капитана нашел, у него живот разворочен.
 — Живой он? — спросил кто-то.
 — Не знаю...
 Кто-то потрогал лоб Соломина.
 — Кажись, живой...
 — А потом во, глядите, ранило меня! Самолет, гадюка, играть со мной решил!.. Я сейчас иду, думаю — все, кранты, а тут вы, ребята...
 Губы Алексея задрожали, он заплакал и уткнулся лицом в медали старшины.
 Сиплый удивленно сказал:
 — Вот чудило, чего ж ты плачешь, живой ведь...
 Старшина провел рукой по спине Алексея, ответил, вздохнув:
 — Живому только и поплакать...
 ...Солдаты подхватили раненого Соломина, потащили к понтону, на котором вокруг пушки лежали раненые.
 — Зойка, принимай!
 Медсестра вытаращила большие глаза, будто и не спала вовсе. Закричала:
 — Осторожнее, идола!
 Один из солдат подмигнул ей и сказал:
 — Алешка твой там малость размок.
 Зойка ахнула, спрыгнула в воду и побежала.
 Подбежав к Алексею, она схватила его за руку.
 — Алеша!
 — Зойка! Живая! А я думал, тебя убило!
 — Дурак!
 — Сама дура!
 Зойка обняла Алексея и поцеловала в губы.
 — Ну, дает! — сказал осипший.
 Вставало солнце. Гуман на глазах редел, расходился клочьями. Передние солдаты уже выходили на песчаный берег, по которому, взрывая песок, неся командирский вездеход морской пехоты.
 С переднего сиденья высунулся, открыв дверцу, капитан первого ранга с жестким, суровым лицом и воспаленными от усталости глазами.
 — Командира ко мне! — строго крикнул он.
 Старшина одернул гимнастерку, вытянулся:
 — Товарищ капитан первого ранга!
 — Вы офицера морской пехоты не подбирали? — перебил старшину капитан.
 — Есть один, товарищ капитан первого ранга, только что обнаружился! Вон на понтоне...
 Капитан первого ранга выпрыгнул из вездехода, побежал прямо по воде к понтону, взглянул и закрыл глаза, крепко зажмурился и так, не открывая глаз, спросил:
 — Живой?

— Живой,— ответила Зойка.

Капитан первого ранга наклонился к Соломину, бережно дотронулся до него, позвал:

— Филипп...

Соломин тихо застонал, не открывая глаз.

— Очень тяжелое ранение в брюшную полость,— пояснила Зойка.

— Живой,— тихо повторил каперанг, морщась и кусая усы.

Он повернулся к вездеходу, взмахнул рукой. Вездеход рванулся прямо в воду, подкатил к понтону. Из него выскочили здоровенные моряки, бережно подхватили, подняли, как пух, беспамятного Соломина.

— Кто? — спросил каперанг, обращаясь к старшине.

— Вас не понял, товарищ капитан первого ранга! — вытянулся старшина.

— Кто спас?

— Мальчонка есть у нас, Устюжанин, рядовой.. Всю ночь его тащил, сам раненый был. Тащил всю ночь, один.. на себе.

— Устюжанина ко мне!

Алексей шагнул вперед, смущенно и неловко вытянулся. Капитан первого ранга вынул из планшета листок бумаги, макнул в воду чернильный карандаш:

— Значит, Устюжанин?

— Так точно! — еще больше вытянулся Алексей.

— Имя?

— Алексей Николаевич.

Капитан первого ранга начал быстро что-то писать. Вдалеке слышались разрывы. Донесся грохот орудий. Каперанг кончил писать, протянул старшине бумажку и вдруг стал отвинчивать орден Красной Звезды со своего кителя.

— Эх, Алексей Николаевич,— сказал он Устюжанину с неожиданно мягкой улыбкой,— если бы ты только знал, кого спас! Родина тебе этого никогда не забудет.

Он протянул орден Алексею:

— Носи!

Алексей растерянно взял орден.

— Для меня этот человек...— начал снова капитан первого ранга, потом запнулся и только тихо добавил: — Эх, только бы выжил!

Он обнял Алексея, крепко расцеловал и прыгнул в кабину вездехода. Вездеход взревел, рванулся к берегу.

Ошеломленные происшедшим, все стояли неподвижно, провожая глазами машину.

Осипший покачал головой:

— Ну, Алеха!.. Звездочка тебе прямо с неба упала! А ты тут воюешь, воюешь... и никакого на тебя внимания!..

Старшина повернулся к нему, сказал:

— Не тужи, Разгибаев, война не завтра кончается, успеешь и ты отличиться!

Война кончилась не завтра...

Впереди было много путей-дорог...

Еще много смертельных боев.

Кинохроника. Фотодокументы.

Шла самая разрушительная война XX века.

Кровь войны — топливо. Все, несущее смерть в этой войне, движется — по земле, по воде, по воздуху.

Сотни самолетов с фашистской свастикой заправляются горючим...
Танки, танки... Подъезжают автозаправщики, заправляют топливом, на баках можно прочесть надпись «Стандарт ойл».

Войска Муссолини захватили Ливию. Фашистский надзор над всеми нефтяными районами, где властвовали англичане.

Но сэр Генри Детердинг не забыл девиза «кто захватит нефть — захватит власть!».

В Африку прибыл экспедиционный корпус Роммеля.

Вот он, «лис пустыни», Роммель, с биноклем на вездеходе. На фоне песков нефтяные вышки.

Победы Роммеля над англичанами были сокрушительными.

В это же время японцы захватили нефтеносные районы Юго-Восточной Азии — Суматру, Борнео, Голландскую Индию.

Но ход войны решался на полях России.

1942 год. Январь.

Гитлер понял, что идея «молниеносной» войны потерпела крах. Нужно было готовиться к длительной позиционной войне. Для решения стратегических задач нужны неограниченные запасы энергии.

Секретное донесение советской разведки:

«Ставка Гитлера предполагает развернутое наступление группировки «Клейст» — Дон, Астрахань, Сталинград, Баку...»

Фашистские войска наступали на нефтеносные районы.

Немецкая танковая армия двигалась в сторону Грозного. Она взяла Анапу, Новороссийск, Краснодарский край, Нальчик и двигалась на Клухорский перевал.

Волга была практически перерезана.

День и ночь трудились нефтяники Баку и Грозного.

Плакат на буровой вышке: «Все для фронта, все для победы!»

Цех снарядов. У станка мальчик. Ростом мал, еле достает до станка — под ногами ящик.

Плакат: «В труде, как в бою!»

Гитлер убежден в скором захвате русской нефти.

Сформирован «Германский комитет по управлению нефтеразработками Закавказья».

Специальный поезд с техническим оборудованием для скорейшего пуска захваченных нефтяных промыслов.

На платформах — буровые станки.

Рядом немецкий часовой.

В особом вагоне размещался весь административный аппарат — от управляющего до главного технолога. Чисто немецкая предусмотрительность — знали, что на местных нефтяников надеяться нечего!

Ноябрь.

...Войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление.

22 немецкие дивизии оказались в кольце.

Сокрушительный разгром немцев под Сталинградом!

1943 год. Гитлер объявляет тотальную мобилизацию.

Курская дуга.

В операциях с обеих сторон принимало участие свыше 5 тысяч танков.

Больше 20 тысяч тонн горючего в день.

А битва продолжалась месяц...

Разгром немцев на Курской дуге означал коренной перелом во второй мировой войне.

А потом зазвенела победа!

И поверженные фашистские знамена падали на землю перед Мавзолеем.

И женщины встречали поезда с возвратившимися мужьями и солдатами.

Объятия и слезы.

Уже восстанавливались города.

Уже пахарь вышел на мирную землю.

Радость и надежда по всему миру.

...К тихому еланскому берегу пристала моторка, из нее выскочил старый, сгорбленный Фрол Устюжанин. Он кричал что-то, нам неслышное, ковылял к нескольким женщинам, полоскавшим белье у мостков. В руках у Фрола трепыхалась на ветру газета.

Женщины окружили Фрола, заплакали, стали обнимать его. Одна из них — тоненькая, в огромном, не по росту ватнике — отошла в сторонку, утирая слезы. Она встала у самой воды, глядя вдаль, туда, откуда приходили в Елань все добрые и недобрые вести...

Это была повзрослевшая за пять нелегких лет Тая...

А в это время по полям и перелескам польской земли летел, украшенный портретом вождя и цветами, эшелон с солдатами-победителями.

Теплушки были настезь распахнуты. Листва зеленых деревьев билась о стены. Гремели песни, заливались трофейные аккордеоны.

Солдаты возвращались домой.

Резкое солнце било сквозь ветки, выхватывая из тьмы вагона счастливые лица и среди них — лицо Алексея Устюжанина, гвардии сержанта, кавалера орденов и медалей, вспыхивающих у него на груди.

Мелькнул и пролетел мимо полосатый пограничный столб.

— Граница! — закричал кто-то, и все кинулись к дверям.

Алексей, потный, веселый, обнимал сразу двух девушек-связисток и целовал их — то одну, то другую.

Мимо плыли родные широкие поля.

Одна из девушек заплакала и тихо сказала:

— Россия.

— Утри слезки, Маруся! — перекрывая паровозный гудок, закричал Алексей. — Мы живем! Теперь на земле мир и покой! И полный порядок...

6 августа 1945 года.

Огромный смертоносный гриб висит над японским городом Хиросимой.

Последнее достижение цивилизации ознаменовалось гибелью сотен тысяч невинных людей.

Вот они, обожженные, изъеденные язвами лучевых поражений, безжизненно лежат в коридорах клиник и госпиталей. Обреченные на умирание...

Нет, человечеству суждено пройти еще несколько кругов истории, прежде чем оно поймет, что мир хрупок, что от людей зависит — будет цвести земля или превратится в выжженную, мертвую планету...

Часть третья

АФОНИНА ЗВЕЗДА

Новая эпоха. Послевоенная.

Мир жил, двигался, дышал...

Словно вихрь проносятся перед нами кадры кинохроники, фотографии...

Встающий из руин Сталинград...

Академик И. В. Курчатов — выдающийся ученый в области атомной энергии.

С. П. Королев со своим коллективом ученых-ракетостроителей.

Киножурнал «Наука и техника». Диктор:

«Производство мощных турбобуров для бурения глубоких скважин налажено на Новокраматорском заводе...»

1947 год. Сан-Франциско. Заседание ООН.

Выступление постоянного представителя СССР Я. А. Малика.

Правительство Советского Союза поддерживает создание в Палестине двух равноправных суверенных государств — Израиля и Палестины.

Через шесть месяцев Израиль напал на Палестину и захватил нефтеносный район полуострова...

1947 год. Тюмень.

Поиски нефти.

Начало систематических геологоразведочных работ.

1950 год. Правительство Ирана заявило о своем намерении национализировать нефтепромыслы, принадлежащие английским монополиям.

Покушение на директора мексиканской национальной нефтяной компании Кастейро.

При расследовании Кастейро показал, что «Стандард ойл» предложила взятку в размере 10 миллионов долларов в любой банк мира за контракт, дающий возможность получить часть промыслов.

Проектирование атомохода «Ленин».

Пуск в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции.

Новая техника, новые мощности, новые показатели...

А в это время над Кореей на бреющем полете неслись американские истребители, сбрасывая напалм.

Горели хижины. Бежали обгоревшие женщины, прикрывая детей своими телами...

Цивилизация несла людям не только счастье.

Но венцом этого десятилетия, первого мирного десятилетия в нашей стране, — спутник!

Радостные лица москвичей.

Сыплются праздничные листовки с неба.

В далекой сибирской тайге геологи слушают радио.

1958 год. Верховный Совет СССР.

Решение об одностороннем прекращении Советским Союзом испытаний атомного и водородного оружия.

Революция двигалась по земле через континенты и океаны...

И вот она уже на американском континенте.

Куба!

Фидель Кастро. Площадь Хосе Марти. Массовый митинг.

...А в это время в США начиналась новая предвыборная кампания.

От демократов — Джон Кеннеди.

Семейство Кеннеди, крупнейшие промышленники Америки. Джон Кеннеди, будущий президент, родился в 1917 году.

Кеннеди:

«Одна из проблем, мешающих нашему обществу,— непомерные цены на нефть, контроль над которыми в руках нефтепромышленников...»

Эти слова не могли понравиться ни одному нефтяному магнату. Особенно Ханту.

Сидней Хант — родился в 1897 году. Техасец. Состояние вложено в разработку нефтяных скважин. Точной цифры его состояния назвать нельзя. Глава техасских нефтяных королей.

В предвыборной кампании Хант финансировал кандидатуру Линдона Джонсона.

Линдон Джонсон — родился в 1908 году. Техасец. Преподаватель. В издательстве, принадлежащем Ханту, вышла подробная биография кандидата. Когда стало ясно, что на съезде демократической партии победит Кеннеди, Хант уговорил Джонсона принять пост вице-президента. Слово чувствовал, что Кеннеди не уйдет со своего поста живым...

А Джон Кеннеди праздновал победу...

Мангышлак. Нефтеразработки на полуострове.

Заседание Экспертного совета Госплана СССР.

Предполагается строительство ГЭС на Нижней Оби. Создание Нижнеобского моря приведет к интенсивному развитию промышленности Западной Сибири...

Торжественное учреждение ОПЕК — организации стран — экспортеров нефти. Делегации: Ирак, Иран, Венесуэла, Кувейт, Саудовская Аравия, Ливия, Алжир, Индонезия.

Центр тяжести из промышленных стран смещался в страны развивающиеся — новая фаза в мировой истории.

1963 год. Кеннеди:

«...подвергаю сомнению налоговую льготу. Бесконтрольные прибыли нефтяных компаний ухудшают экономическое положение в стране...»

В Белом доме президент встречается с большой группой нефтепромышленников по их просьбе.

Один из лидеров после встречи заявляет журналистам:

«Мы не удовлетворены встречей...»

Через несколько дней Джон Кеннеди получил пулевые ранения в момент, когда президентский кортеж направлялся из Далласского аэропорта к залу аукционов...

Скончался в госпитале от ран.

Похороны Кеннеди. Жаклин Кеннеди, рядом с ней новый президент Линдон Джонсон...

Дорога к нефти не расходится с дорогой к власти.

Опасная дорога... смертельная дорога.

А в далекие таежные дали уходили геологи-поисковики.

Тащили на себе нехитрую амуницию.

Пробирались топями и болотами.

Вытаскивали из-под льда провалившийся трактор...

1965 год. Автомобильный салон в Лондоне.

Сияют лаком самые разнообразные модели, изящные линии, плавные формы — «роллс-ройс», «ситроен», «линкольн», «паккард»...

Автомобиль из средства транспорта становится бичом, господином человека!

Их уже так много, автомобилей. Они запрудили улицы крупных городов.

Гигантские, многокилометровые заторы на дорогах. Загрязнение воздуха на улицах мировых столиц достигло критического уровня.

В Токио на перекрестках — специальные установки, к которым, взяв в руки маску, приникают пешеходы за глотком свежего воздуха...

Авиационный салон в Париже.

Военные самолеты — американские, английские, французские: хищные, заостренные формы, мощное вооружение.

Все выше, все дальше, все быстрее!

...А оторванная рука у этого вьетнамского мальчика не стоит ничего. Она бесценна. Он сидит над телом убитой матери в дыму напалма и плачет, зовет ее...

Гонка вооружений нарастала.

Новые модели авиаматов.

Атомные подводные лодки.

Мощное ракетное оружие.

Склад атомных боеголовок...

Цены на жидкое топливо подскочили.

Недовольство трудящихся Парижа, Лондона, Нью-Йорка...

Демонстрация, плакаты, пикеты...

Роберт Кеннеди. Выступление на предвыборном митинге:

«Надо дать потребителю приемлемые цены, и прежде всего приемлемые цены на бензин!..»

Журнал «Ойл энд гэз»:

«Роберт Кеннеди расценивается как угроза промышленности...»

6 июня 1968 года этой угрозы не стало.

Роберт Кеннеди падает с окровавленной головой.

Паника в толпе.

Схваченный убийца...

Итальянские газеты:

«Крупнейший нефтепромышленник — случайная катастрофа или убийство?..»

Дорога к нефти — опасная дорога, смертельная дорога...

Вихри истории реяли над миром, и каждый человек, будь то

рабочий,

докер,

пахарь,

ученый,

мать с ребенком —

каждый! — частица этого мира, своим делом, сам не чувствуя, не вдумываясь в смысл каждой прожитой секунды, творил эту историю.

А здесь, в Елани, казалось, все было по-прежнему. Неподвижная стена кедровой тайги окружала село. Река катилась через лесные завалы.

Дымилась подернутые дымкой бескрайние болота.

Потайное озеро все так же отражало черной неподвижной бездонной водой завороченные папоротники и исполинские кедрачи...

И жизнь в Елани словно тоже остановилась. Всегда была глухой, а стала еще вроде глуше. Народу поубавилось. Мощные почерневшие срубы кое-где покосились. Многие были забиты досками.

И на улице безлюдье. Тишь.

Скрежет металла разорвал эту сонную тишину. На реке чуть пониже кладбища стояла у берега баржа.

Ревели дизели тракторов, медленно сползавших по трещавшим сходям на песчаный бугор. Визжали лебедки: многие десятки тонн железа — сварные конструкции, оборудование буровой выгружалось с баржи. Крики, ругань, смех...

А к селу по заросшей дороге, урча, полз бульдозер. За рычагами сидел бывший солдат Алексей Устюжанин — такой, каким он стал через пятнадцать лет после войны. Такой же жилистый, с белозубой улыбкой, только глаза вроде бы малость выцвели.

Рядом с Алексеем бригадир, буровой мастер Тофик Рустамов. Смуглый гигант, чернобровый, черноусый, весь в густом черно-волосье.

— Сейчас мы их порадуем, — засмеялся Алексей. — Интересно, кто-нибудь хоть из моей родни остался?

Дорога вела вверх, где на горе чернели мощные рубленые ворота. Забор, что когда-то окружал Елань, почти весь сгнил, повалился, и только ворота стояли теперь словно мемориал той жизни, которой жило когда-то село.

— Что-то живых людей не видно, — заметил Тофик.

— Стесняются, — снисходительно улыбнулся Алексей, — они ведь и трактора, наверно, ни разу не видали!

Бульдозер остановился перед воротами. Их резные полураскрытые створы загоразивали проезд.

Тофик оценивающе оглядел искусную резьбу по кедру, чмокнул:

— Хорошая работа. Теперь так даже в Баку не делают...

Алешка соскочил на землю, толкнул створку, она не поддавалась — видно, петли заржавели.

— Не заперто, их толкнуть малость... — залезая в кабину, сказал Устюжанин.

— Зачем толкать? Пешком пройдем.

— Не-е, Тофик! Устюжанин на родину вернулся! Шутишь, такая техника в руках — а ты пешком. Пусть привыкают! — Он взялся за рычаг.

Бульдозер медленно подъехал к воротам и осторожно толкнул их. Створки не поддавались. Алешка поднажал.

Ржавые петли застонали и лопнули, ворота распахнулись — правая створка, описав полукруг, медленно завалилась в лопухи, а левая пропустила бульдозер, с пронзительным визгом вернулась назад, оторвалась от скобы и, продолжая движение, рухнула на дорогу...

Бульдозер с ревом шел посреди улицы.

Алешка, высунувшись из кабины, озорно орал:

— Привет землякам от нефтяников Каспия! Привет труженикам села от рабочего класса Башкирии!

Открывались калитки, ворота, и старушки разного калибра появились на улице. Молча провожали взглядом ревущее, лязгающее гусеницами чудовище.

Бульдозер развернулся в конце улицы и пошел обратно.

— Есть где жить ребятам, — заметил Тофик. — Хозяйки тоже подходящие — моложе семнадцати лет...

— Значит, по ночам спать будем, — сказал Алексей.

На выезде из села бульдозеру пришлось остановиться: в проеме ворот, не уступая дороги, стояли двое — кражистый, крепкий старик с сиво-рыжей бородой и молодая женщина. Они несли сеть, ведро с рыбой. Мокрая юбка бабы была подоткнута, и белая нога высоко обнажена. Оба смотрели на приезжих — старик гневно, женщина с игривой улыбкой.

— Останови! — сказал Тофик.

Когда мотор заглох, старик сердито заговорил:

— Что же вы, сукины дети, добро рушите?! Мешали они вам?! — Он ткнул пальцем в ворота.

— А на хрена тебе ворота, дед, если забора нету, — высунулся из кабины Алексей.

— Эти ворота люди делали, мастера... На века делали, а вы корчите, идола!

— Не жалея, дед, — куражился Алексей, — мы тебе скоро железные ворота поставим, с завитушками, а тебя в проходной посадим!

Тофик перебил его:

— Погоди!

Он вылез из кабины, пошел к воротам.

— Не сердись, отец, это нетрудно поправить. — Рустамов принялся подымать створку, но даже при его силе это ему не удавалось.

Старик стал помогать.

— Новые петли надо ставить, — покраснев от натуги, говорил Тофик.

— Двести лет стояли! — не мог успокоиться старик.

— Да ладно тебе, Спиридон, врать-то — двести лет! — досадливо прикрикнула женщина. — Чего пристал со своими гнилушками! Огораживать-то давно нечего!

Алешка выпрыгнул из кабины, подошел, заглянул в ведро.

— Ого! Хороша рыбка! Бредешок не дашь половить?

— Бредешок не мой, — покачала она головой.

— Может, рыбкой угостите?

— Рыбка тоже не моя.

— А чья же?

— Рыбка речкина, — усмехнулась женщина.

— А сама чья?

— Да уж не ваша!

— Не скажите! — Алексей «настроился на волну» и теперь заходил на первый вираж. — Не скажите! Мы ведь сюда не на один день приехали, полгода пробудем. Так что все может случиться... Еланская?

— А какая ж?

— Соломина, значит?

Она удивленно уставилась на Алексея.

— Откуда знаете?

Он подмигнул:

— Да кто же не знает, что самые красивые девки в Сибири из Соломиных! Всем известно: как Уральский хребет переехал — лучшие девки в Елани, соломинские, рыжие!

Женщина пристально посмотрела на Алексея, что-то во взгляде ее изменилось.

Алексей зашел на второй вираж:

— Вот и я как услышал, так сразу сюда, к вам, в Елань. Давайте знакомиться...

— Давайте, Алексей Николаевич. — Она протянула руку.

Алексей опешил:

— А вы откуда...

— А у нас тоже в Елани известно: как в Сибири появляется бабник — значит, Устюжанин Алексей... Верно?

— Ну, ты даешь! — заржал Алексей, но вдруг прищурился и, наставив на нее палец, сказал: — Точно! Медсанбат, Второй Украинский фронт!

Она покачала головой.

Алешка наморщил лоб, вспоминая:

— Мурманск? Ресторан «Кавказский»?.. Сдаюсь, — развел руками, — напомним..

— Танго, — сказала она. — Утомленное солнце...

— Точно! — обрадованно заорал Алеша. — Сочи! Вспомнил!

Он обнял ее за плечи.

Она засмеялась и показала на сарай за покосившимся забором.

— Не Сочи, а вон тот сарай... Вы меня танцевать учили...

— Теперь точно! Вспомнил!.. Тофик, иди сюда! Я тебя познакомлю!

Тофик, который возился со второй створкой ворот, выпрямился, достал гребешок и, расчесывая бакенбарды, усы и брови, степенно подошел.

— Знакомься, — сказал Алешка, — моя старая знакомая!.. Можно сказать, первая любовь — Соломина Рая.

— Тая, — поправила она.

— Ну да, Тая, — без смущения кивнул Алешка.

Теперь наконец он действительно вспомнил ее.

Тофик почтительно пожал протянутую руку. Такие женщины ему очень нравились. Он покосился на подоткнутую юбку. Тая заметила, оправила подол.

Алешка заходил на третий вираж:

— А это Тофик Закирович Рустамов, мой непосредственный начальник, знатный нефтяник из Баку, орденоседец, мастер спорта... — Алеша сделал паузу и скромно закончил: — Хороший семьянин, пятеро детей...

Тофик метнул взгляд на друга, потупил глаза.

Тая ласково улыбнулась «хорошему семьянину», разглядывая его вороненные усы и блестящие глаза. Такие мужчины ей тоже иногда нравились. Она собралась что-то сказать, но в это время у нее за спиной раздался хриплый голос:

— Рыбу отнеси, вертихвостка!

Все оглянулись.

Старик исподлобья смотрел на Таю.

— Да ты что раскомандовался? — вскипела Тая. — Ты кто мне, отец или муж! Скажи спасибо, что еще помогаю тебе, хрычу старому!

Спиридон молча смотрел на нее.

Тая осеклась, нехотя подняла бадью и, покачивая бедрами, пошла к избе.

Старик стоял, расставив ноги, словно врос в землю, готовый к падению. Он пристально смотрел на Устюжанина. Тот тоже глядел. С ухмылочкой.

— Добрался, племянничек? — наконец спросил старик.

— Добрался, дядюшка...

— Ну вот он я!

— Вижу.

— Что теперь делать будем?

— Что делать?.. — Алексей закурил. — Да вот поставим буровую, добуримся до нефти, снесем деревню твою к чертовой матери, заасфальтируем все. Дома выстроим высокие. Будем жить с тобой припеваючи! В одном подъезде. Со всеми удобствами.

Спиридон вдруг горестно вздохнул и с тоской поглядел вокруг:

— Лучше б ты меня тогда зарезал. До войны!

— Зачем резать? Это я по молодости дураком был. — Алексей обернулся к Рустамову. — Познакомься, это мой родной дядя — Спиридон Ерофейч Соломин... — Алеша помолчал, снова усмехнулся. — Между прочим, убил моего отца.

Тофик окаменел с полупротянутой рукой.

— Да, убил! — с вызовом проговорил старик. — И за это принял от советской власти все что положено! В штрафбате был, медаль имею! Искушил кровью, понятно?!

— Понятно.

— И ни о чем не сожалею! Понятно?

— Понятно.

— И отца твоего сам хоронил, потому как он мне родной человек был, как и ты тоже... — Спиридон перевел дыхание и продолжал: — А горя мы от него, от твоего папаши, хлебнули по горло! Раскидал он нас, Соломиных, расшвырял из гнезда, от корней. Бешеный был, потому как кровь устюжанинская...

— Про отца не надо, — вдруг мягко попросил Алексей.

Спиридон осекся, перевел дух.

Из-за крыш со стороны реки вдруг вымахала стая лебедей... Они негромко перекурлыкивались, летели к лесу. Летели свободно и так низко, что слышно было, как скрипели перьями тугие крылья, со свистом рассекавшие воздух...

Трое мужчин медленно провожали птиц взглядом.

Алексей выплюнул окурок, и глаза его вдруг азартно засветились.

— Где там ружьишко? — проговорил он, подбегая к бульдозеру. Он достал из-под сиденья двустволку, опоясался патронташем.

— Слушай, Тофик, я тут в одно местечко смотаюсь по старой памяти, через час дичь будет к ужину... А бульдозер пусть Вася отгонит. Идет?

Тофик кивнул.

Алексей убежал в сторону леса, и полы его дождевика развевались по ветру.

Тофик посмотрел на Спиридона.

Старик с бессильной горечью смотрел вслед Устюжанину.

Вода в потаенном озере не колышется, словно зеркало. В солнечных бликах вспыхивают стрекозы. Засвистел воздух, запрыгали зайчики — лебеди с шумом садились на воду. И снова тишина, покой. Только по черному зеркалу медленно скользили прекрасные птицы.

Алексей раздвинул ветви стланника и застыл на мгновение. Потом, стараясь не шуметь, поднял ружье.

Мушка ходила ходуном от волнения. Крупный лебедь с широкой грудью, испачканной тиной, поднял встревоженно голову, но, не заметив ничего опасного, снова толкнулся и заскользил по застывшей глади.

Алексей задержал дыхание, мушка перестала дрожать, она вела теперь лебедя под корень шеи. Алексей уже собрался плавно нажать спуск, когда вдруг чья-то рука мягко, но властно отвела ствол ружья вверх.

Перед ним стояла Тая.

— Что ж ты, изверг... — сказала Тая, странно улыбаясь и глядя ему прямо в глаза.

Алексей с удивлением смотрел на нее.

Глаза Таи возбужденно блеснули. Она успела подкрасить губы,

подвести брови, и ее лицо стало еще более привлекательным. На ней была новая юбка, на плечах полшалок.

— А что? — спросил Алексей.

— У них же сейчас самая любовь!..

— Да? — сказал Алексей. Потом, не отрывая глаз от Таи, осторожно приставил ружье к дереву. — Понятно...

Он приблизился к Тае и, крепко обняв, поцеловал в губы. Тая ответила ему.

Оторвавшись, чтобы перевести дух, она посмотрела на Алексея все с той же странной улыбкой.

— Что это ты прыткий такой? — И сама крепко прильнула к его губам.

Алексей оценил ситуацию и почувствовал, что можно дать волю рукам.

— Подожди, Алеша... — неуверенно сказала Тая.

— Да ладно... — пробормотал он в ответ.

Вдруг Тая вся напряглась и замерла, глядя куда-то в сторону и прислушиваясь.

— Ты что? — Алеша невольно сам задержал дыхание.

— Да нет, ничего... — Она с тревогой оглядывалась.

— Да чего ты все смотришь-то? — с досадой спросил он.

— Да так. Места тут... все время вроде кто-то мерещится!

— Пугливая какая! — выдохнул Алексей Тае в лицо и снова прижал ее к дереву. Целуя ее лицо, губы, глаза, расстегивал пуговички на кофте.

Тая торопливо шептала:

— погоди, Алеша, родной... Ну зачем же здесь-то? Я в доме одна живу, Алешенька...

— Ладно, дома потом, — также торопливо отвечал он.

Она сползла на мох.

— погоди! Вон... там!.. — Она смотрела в сторону темных зарослей.

Алексей оглянулся.

— Чего?

— Вроде стоит кто-то, видишь? Смотрит...

Алексей вгляделся.

В шевелящейся листве, казалось, виднелся чей-то колеблющийся силуэт. Алеша вгляделся попристальнее. Силуэт растворился в густой черноте тенистого ольшаника.

— Да нет никого.

— Есть!

— Ну и пускай смотрит!

Алексей зарылся в распустившиеся рыжие волосы Таи, стал целовать ее в шею, крепко прижимая к себе. Нога Алексея в огромном кирзовом сапоге скользнула по земле, приблизившись к прикладу ружья, которое он прислонил к дереву.

— Алеша, милый! — шептала Тая, жарко целуя его.

Вдруг где-то в ногах раздался оглушительный выстрел.

— А-а! — рванулся испуганно Алексей, но Тая обеими руками крепко обхватила его, прижимая к себе.

— Да ружье это... ружье... твое... не бойся... — шептала Тая. — Ружье это!..

Взорвалась хлопаньем лебединых крыльев тишина над озером — стоя лебедей тяжело и косо подымалась над водой.

И опять казалось, что за ольховыми кустами стоял кто-то, или просто причудливо метались черные тени среди ветвей...

Птицы сделали круг над лесом, над озером. Снова опустились на

воду. Пошумели, поплескались. Брызги воды разлетались веером из-под белоснежных крыльев.

Потом снова разбежались на пары и заскользили по успокоившейся черной воде.

...Тая сидела, прислонившись к дереву. Ласково, с любовью смотрела на Алексея. Он полулежал на плаще, курил.

Тая, зажав шпильки в нацелованных губах, поправляла волосы.

— Эх!.. Не узнал ты меня.— Она с укоризной улыбнулась.— Со всем забыл, Алеша!

— Ну, это я не виноват! Ты тогда такая была... козявка! А теперь вон что из тебя получилось! И вид у тебя совсем не деревенский!

— Я сюда всего полгода назад вернулась. До этого на «Академике Тимирязева» работала буфетчицей. Двухпалубный! Ресторан второго класса. Каюта люкс. Диваны бархатные...

— Хорошо? — покосился на нее Алексей.

— Хорошо.— Тая вздохнула и горько улыбнулась.

— Чего ж не осталась?

— Так... хорошенького понемножку.— Она невесело усмехнулась, вынула у него изо рта папироску и затянулась.— Теперь здесь, Спиридону помогаю. Злой, черт, а жалко — он ведь один. И я одна. Пелагея-то умерла...

— А чего ты не замужем?

Она посмотрела на него пристально:

— Сказать?

— Ну?

Она помолчала.

— Долго рассказывать.

Алексей вдруг глянул на часы и заторопился:

— Мать моя женщина! Меня там люди ждут! Бежать надо!

Он вскочил и принялся приводить себя в порядок.

— Знаешь, Тая... Давай врозь вернемся. И вообще, чтоб в деревне не знали. А то неудобно — все-таки коллектив у меня. Сама понимаешь...

— А-а! — Тая вдруг сделалась деловой.— Коллектив. Как же, понимаю.

Лицо ее стало вдруг некрасивым, глаза потускнели, и под ними резко проступили ранние морщинки. Она смотрела в сторону.

— Ну, я побег,— сказал Алексей.— Физкультпривет!

И побежал сквозь кусты напрямик.

Тая не повернулась. Она равнодушно смотрела на темную озерную воду, на лебедей, курила, глубоко затягиваясь, думая о чем-то своем, невеселом.

Потом подняла глаза.

Высоко в небе горела первая вечерняя звезда. Звезда Афанасия Устюжанина.

Он шел по берегу, уже разбитому, развороченному тракторами и тягачами. Увязая в грязи, бульдозеры с натужным ревом тащили на полозьях многотонные фермы вышки, бочки с соляркой. Все поглотил рев машин, крики, перебранка.

Алексей бродил среди штабелей стальных труб, беспорядочно разбросанных мешков с цементом, выискивая кого-то...

Рустамова Алексей нашел на кладбище. Тот стоял среди могил и с недоумением разглядывал карту-километровку. Здесь даже слышно было, как шелестят на ветру березы.

— Едут мои ребята! — радостно сообщил Алексей Тофику. — Едут мои соколки, мои полковнички! Сегодня должны быть.

Тофик кивнул, не подымая глаз от карты, пробормотал:

— Не пойму — что они, пьяные, что ли, чертили?..

— А что?

— По карте получается, что мы буровую должны прямо на кладбище ставить. Вот здесь!

Алексей пристально посмотрел на него, холодно сказал:

— Ставь.

— Куда ставь?! — рассердился Тофик. — Вот сюда?! В могилу бурить?! Может, прямо в эту?!

Алексей обернулся.

За изгородью на кресте было начерчено: «Афанасий Устюжанин».

— Родственник? — спросил Тофик.

— Они все мои родственники! Это дед родной..

— Что ж? Так в деда и будешь забуриваться, да?

Алексей, сдерживая себя, ответил:

— Давай в деда!

— Ты соображаешь?! — возмутился Тофик. — Предков когда уважать будем?

— А ты друзей-товарищей когда уважать будешь? — наконец взорвался Алексей. — Ты что мне обещал, когда из Башкирии звал?!

— Что? — с невинным выражением спросил Тофик.

— Не помнишь? Что буровую будем ставить, где я покажу! На Чертовой гриве!

— Алеша, — лицо Тофика выразило страдание, — у меня же проект. Утвержденный!

— А, у тебя проект, а на Чертовой гриве прямой выход газа! Я же тебе тысячу раз рассказывал, как мы с отцом там чуть не задохнулись. Если хочешь знать, я только из-за этого сюда и приехал. И ребят своих вызвал!

— Алеша..

— Выходит, ты меня обманул?

Тофик вздохнул.

— Если честно... обманул! — Он приложил руку к сердцу. — Очень мне хотелось, чтобы ты со мной опять работал! А там еще мы поставим! Обещаю!

Алексей пошел прочь, махнув рукой:

— Бури в деда... бури в бабку... В душу, в мать... Бури!

— Алеша! — с отчаянием воскликнул Тофик. — Мне же за это по шее дадут!..

Алексей остановился, обернулся:

— Может, и по шее, а может, звездочку дадут!

— Звездочку?.. — Тофик прищурил глаз.

— Да! Героя Соцтруда!

Тофик не мог стерпеть искушения, махнул рукой и с деланным возмущением сказал:

— Вечно ты меня **в**травляешь в авантюры... Поехали!

Трещал настил Афонинной дороги, широкие гусеницы вездехода выворачивали бревна. Старые, полусгнившие плахи крошились, падали, и между ними проступала черная болотная жижа. Рев дизеля сотрясал окрестности, сизый дым клочьями повис над дорогой.

Впереди показался Вечный дед.

За последние шестьдесят лет дед мало изменился, разве стал пониже, **покрючковатей**.

Уступая дорогу, дед сошел на обочину и тут же провалился по колено в сырой мох.

Алексей затормозил:

— Здоров, дед! Живой еще?

— Алешка! — улыбнулся дед. — Слышал, что вернулся. Говорят, уже наломал дров?

— Старое ломаем, новое строим, дед! Скоро тут все заасфальтируем, забетонируем. Слушай, как на старую буровую проехать? Я забыл. Может, покажешь?

— Я в ту сторону не хожу. И вам не советую...

— И почему?

— Нечистое это место, — нехотя ответил дед.

— Двадцатый век, дедушка, — сказал Тофик мягко. — Мы без предрассудков, в чертей не верим!

— Ну тогда валяйте, — улыбнулся Вечный дед.

Мотор взревел, и грухлявые бревна затрещали под гусеницами...

Вездеход с урчанием продирался через чащобу, виляя между толстых, бородастых от лишайников стволов, переваливая через корневища и поваленный бурелом. Он то врезался носом в ярко-зеленую ряску трясины, то карабкался вверх по кочкам, поросшим брусникой и морошкой, подминая под себя целые кусты.

— По-моему, мы на этом месте уже были, — сказал Тофик.

— По-моему, тоже. — Алексей вытирал рукой взмокший лоб. — Вроде вот здесь где-то рядом... Вот и сосна с развилкой, а за ней должно...

Затрещали сучья, заскрежетали по днищу, вездеход плыл по болотному озерцу. Когда он вскарабкался на берег, Алексей закричал:

— Вот она, вот она, Чертова грива!

Перед ними по изломанной линии холма, протянувшегося среди болот, стоял высохший, неживой островерхий лес. Мертвые, местами обугленные стволы иглами ершились в небо, отчего гряда напоминала хребет фантастического животного.

— Не поверишь, мне эта Чертова грива с самого малолетства снится, — тихо сказал Алексей. — И сейчас как под банкой спать ляжешь — обязательно приснится! Сосна горит, а за ней все болото в огне! Я до нее, можно сказать, всю жизнь добираться...

Вездеход взобрался на возвышенность, с хрустом врезался в страну сухостоя, проломился через нее и снова остановился.

Перед ними расстилалось болото, какого они никогда не видели. Испарения, поднимавшиеся от земли, были необычного желтого цвета. Редкие сосенки торчали между кочек. В струящемся от испарений воздухе колыхалась седая трава, дрожали обманчивые ядовито-зеленые лужайки с нежными цветочками.

— Проклятая земля! — тихо сказал Алексей.

Слева, там, где на краю болота подымалась глухая черная стена лесов, стояла покосившаяся вышка невысокой деревянной буровой.

Алексей, напряженно улыбаясь, медленно потянул рычаги.

Вездеход спустился по болоту, потом поплыл по жидкой грязи к вышке. И неожиданно накренился, вздыбился, заелозив гусеницами по скользкому настилу из нескольких рядов полусгнивших бревен. На этом плоту когда-то и была поставлена буровая.

— Дальше не проехать, — сказал Тофик.

Они подтянули отвороты резиновых сапог и вылезли, хлопая по колено в болотной жиже, на заросший мхом и травой настил, который под ногами расступался и уходил вниз.

Буровая стояла странная, похожая на остов опутанного водоросля-

ми затонувшего корабля. Длинные пряди мха свисали с позеленевших, трухлявых перекладин.

В стороне стояли два полуразвалившихся сарая.

Они пошли вдоль покосившейся бревенчатой стены, обогнули ее.

У венца кладки в неестественной позе лежал человеческий скелет. Сквозь него проросла сочная трава. Меж ребер весело светились ягоды брусники.

Они пошли дальше.

Тофик остановился, оглядываясь.

— Ты ничего не чувствуешь?

— А что? — посмотрел на него Алексей.

— Н-ничего... так... показалось.

— А что показалось? — настороженно спросил Алексей.

От обильных испарений воздух дрожал, искажая все предметы — деревья, кусты как бы слегка извивались.

— Нет! — громко сказал Тофик. — Летом нам сюда не пробиться. Они, конечно, ее зимой ставили!

Алексей ничего не ответил.

— Ты что? — внимательно посмотрел на него Тофик.

— Там кто-то есть! — Алексей глазами показал на дверь сарая.

— Ружье где?

— Под сиденьем. — Алексей кивнул в сторону, где они оставили вездеход.

— Сбегаю принесу.

Тофик, балансируя на расходящихся бревнах, убежал.

Алексей постоял и решительно направился к сараю, но вдруг замер на месте: дверь внезапно стала со скрипом раскрываться.

— Дед, ты? — почему-то громко спросил Алексей.

Никто не ответил. Алексей шагнул в черноту сарая.

В сарае было пусто. В углу валялось ржавое железо, истлевшее тряпье. Что-то черное, мохнатое внезапно сорвалось из-под крыши, заметалось по сараю, задевая Алексея по лицу. Он вздрогнул, а потом рассмеялся — это была слепая сова.

И в это время до Алексея донесся глухой протяжный крик.

Рустамов стоял по грудь в болоте, он раскинул руки, стараясь удержаться. В нескольких метрах от него, накренившись, торчала из трясины кабина вездехода, который буквально на глазах погружался в трясину. Алексей забежал по хлюпающим трухлявым бревнам.

— Сейчас, Тофик, сейчас! Главное — не шевелись!

Он распоясался и перепрыгнул на кочку с молодой березой.

С кочки до Тофика было не более трех метров.

Алешка тянулся к Тофику, кинул ему конец ремня.

— Я сейчас, я сейчас... — бормотал Алексей.

Тофик схватился обеими руками за конец ремня. Алексей потащил и сам, поскользнувшись, плюхнулся в трясину. Он сразу начал энергично сопротивляться — это было его ошибкой, он мгновенно ушел по грудь в жидкое месиво.

— Не шевелись, — сказал Тофик, растерянно улыбаясь. Губы его посинели.

— Вот так дела, — сказал Алешка.

— Газ, — сказал Тофик. — Метан. — Он глазами указал на пузырящуюся болотную жижу прямо перед своим лицом.

Алексей втянул в себя воздух.

— Точно — прямой выход! Так мы недолго протянем. — И Алексей отчаянно закричал: — Эй!.. На помощи!

Алешка орал, вдыхая в себя сырой, пахнущий газом ядовитый воздух. Уже только одни их головы торчали над трясиной.

— Какое хорошее место,— проговорил Тофик.— Ты прав. Здесь надо буровую ставить. Только зимой...

— Дурю я, Тофик,— прошептал Алексей,— боюсь, что сознание потеряю... — И он закричал срывающимся голосом: — Э-э-э-эй!.. Де-е-ед!.. На помо-о-цы!.. — Он замотал головой и посмотрел на Рустамова.

Тот не моргая уставился в одну точку. Алексей повернул голову.

На кочке под березкой в густой высокой траве сидело косматое, заросшее седыми волосами существо, смотрело на них и даже как-то криво улыбалось.

— Тофик, ты видишь? — прохрипел Алексей.

Тофик кивнул.

Существо приподнялось и стало отдаленно напоминать старого человека в вытертой рваной кухлянке. Лицо старика было изуродовано глубоким шрамом. Это был хант Федька, но Алексей не узнал его.

Существо подпрыгнуло, повисло на березке, стараясь изо всех сил пригнать ее к трясине. Наконец белый ствол нехотя затрещал и с шестом упал между Тофиком и Алексеем.

Оба судорожно вцепились в ветви.

— Только осторожно,— просипел Тофик.

Старый хант улыбнулся изуродованным ртом и растворился в густом тумане...

Смеркалось. Две фигуры с ног до головы в болотной грязи тащились, поддерживая друг друга, по раскуроченной Афониной дороге.

— Все-таки плохой ты товарищ,— вдруг сказал Тофик.

— Почему?

— Зачем ты ей сказал, что у меня пять детей?

— Кому? — не понял Алексей.

— Зачем Гае сказал? Ты же знаешь, я холостой!

— Ну, ты даешь! — Алексей засмеялся.

— Нет, ты скажи — зачем?.. Она тебе нравится, да?

— Эх, Тофик,— вздохнул Алексей.— Да они мне все нравятся!

В вагончике-столовой за столом расположилась вновь прибывшая вахта Алексея Устюжанина, которую он с таким нетерпением ждал.

Два помбура — Петро и Ваня. Петро — рябой, с редко улыбающимся ртом, для пущей солидности еще старался выглядеть помрачнее. Ваня — степенный, квадратный, надежный.

Дизелист Костя — маленький, верткий, судя по лицу, любитель выпить и закусить, конечно в свободное от работы время.

Четвертым был высокий парнишка, раскосый, с длинными, до плеч волосами, черными, как крыло ворона, которыми он, видимо, очень гордился. Он был хант. Звали его Сашка.

Все были приодеты, видимо, еще с дороги, в галстуках. На пиджаках у тех, кто постарше, ордена и медали.

Остатки ужина были сдвинуты в сторону. Сашка с еле заметным акцентом читал из толстой истрепанной книги вслух, а остальные слушали с величайшим вниманием.

— «...тюремщик Дантеса, хоть и не показывал виду, часто в душе жалел бедного юношу, так тяжело переносившего свое заточение: он передал коменданту просьбу номера тридцать четыре...»

В это время дверь распахнулась и, откинув марлевый полог, вошел чумазый, но счастливый Устюжанин.

— Приехали, родные... Соколики! Полковнички!

— Это наш новенький — Сашка, верховым, курсы кончил,— кивнул на Сашку Ваня.

— Ясно,— улыбнулся Алексей.— Ого, какие вы! При орденах-медалях!

— Дорога дальняя, пересадок много,— пояснил Костя.

— Ты это откуда вылез? — спросил Ваня.

— А-а... — отмахнулся Алексей.— Вездеход надо выдернуть. Но это завтра...

— Начинается,— пробурчал Петро.

— На Чертовой гриве были! — Алексей чмокнул языком.— Там буровую надо ставить!

— Слушай, Алеха,— твердо сказал Ваня.— Поговорить надо. Мы к тебе по первому вызову приехали, потому что любим тебя, ценим как мастера... Но вот говорим тебе в последний раз: если мы опять без денег останемся, как в прошлый сезон...

— Мы-то хрен с ним! — как бы извиняясь, пояснил Костя.— Можно и без премиальных, а у Петро дети малые и жена... сам знаешь, какая!..

Петро, потупившись, угрюмо молчал.

— Соколики! Полковнички! Слово Устюжанина! Никакого новаторства! Никаких мировых рекордов!..

— Смотри, Алеха, в последний раз верны. А если что — не обижайся. Получишь пендюлей хороших... Верно говорю, Петро?

Петро кивнул и выложил на стол здоровенные кулаки.

— Все понял, соколики, договорились! — кивнул с готовностью Алексей.

— Держи пару! — Роня протянул руку.— И топай умыться, а мы тут почитаем малость! — И обернулся к мальчишке: — Заводи, Саша!

— «...несмотря на жаркие молитвы, Дантес оставался в тюрьме. Тогда дух его омрачился и словно туман застлал ему глаза. Он не мог в уединении тюрьмы и пустыне мысли воссоздать былые века...»

Алеша встал и на цыпочках пошел к двери.

Вечером, умытый, Алексей сидел один в своем родном доме.

Керосиновая лампа слабо освещала пустые пыльные углы. На столе негромко играл транзистор. Мужской хор пел старую песню гражданской войны:

Мы красные солдаты,
За бедный люд стоим,
Свои поля и хаты
Мы в битвах отстоим...

Забытая музыка ударила Алексея в самое сердце. Он вздрогнул, поднял голову и впервые с момента возвращения оглядел свою родную избу.

Вот стол, за которым они когда-то сидели с отцом.

Вот кровать и лавки, на которых они когда-то спали.

Печь с приступками...

А со стены напротив, со старого, пожелтевшего революционного плаката, который он когда-то сам повесил, смотрел на него в упор красноармеец с неистовым взглядом, чем-то отдаленно напоминавший Алексею отца...

Все пушки-пушки грохотали,
Трещал наш пулемет,
Бандиты отступали,
Мы смело шли вперед...

Теперь уже почти сорокалетний Алексей Устюжанин не отрываясь смотрел на плакат, и на глазах у него выступили слезы..

Ярким июльским утром Спиридон и Вечный дед занимались несложной и невеселой работой — копали на краю кладбища могилу.

Рядом за низкой порослью ольшаника, на очищенной от леса площадке возвышалась сорокаметровая стальная громада буровой вышки. Оттуда явственно доносились крики. Потом завывали моторы. Повывили и смолкли.

Здесь, у буровой, чувствовалось праздничное возбуждение — готовились к забуриванию.

Уже давно были отрыты амбары — огромные емкости, а попросту — ямы для раствора.

Уже давно была смонтирована буровая, и все оборудование уже уместилось на разлапистой металлической площадке, крытой стальными листами.

Тофик с молоденькой лаборанткой брал пробу раствора.

Алексей, Петро и Вася закрепляли огромное, сверкающее резцами бурильное долото.

По заляпанным грязью, прогибающимся досточкам через площадку шла Тая. Она поздоровалась с Костей, кивнула рыжему Семену из третьей вахты — видно, многих уже знала.

За грудой пустых бочек из-под солярки она наткнулась на Алексея.

— Ты чего здесь делаешь? — изумился Устюжанин.

— Да вот пришла на кладбище бабку Степаниду хоронить, дай, думаю, на тебя гляну.— Тая скинула черный платок и кокетливо улыбнулась.— Ты что же так с девушкой нехорошо поступил?

— Чего? — не понял Алексей.

— А того! Как из лесу вышел, так и забыл.

— Времени нет,— вздохнул Алексей.

— За месяц-то мог бы найти. Или коллектив отвлекает? — Она глянула в сторону лаборанточки у амбара.

Из-за штабеля бочек вынырнул юркий Костя.

— Ну так что, будем насосы прогонять или нет?

— А я что делаю? — беззлобно огрызнулся Алексей и повернулся к Тае: — Извини, Тайка, не до тебя. Сегодня у нас, можно сказать, праздник — забуриваемся! Так что в следующий раз.

Он побежал к буровой.

— Поздравляю, коли праздник! — не обидевшись, крикнула ему вслед Тая.

А Тофик ничего не слышал из того, что говорила ему хорошенькая лаборантка, глядел во все глаза на плывущую среди железа и скрежета Таю.

Хант Сашка с мегафоном в руке забрался на самую верхнюю площадку вышки — к лебедке. Перед ним волнами уходила к горизонту его родная тайга. Слева в редколесье синели болотные озерца.

Сашка приложил мегафон ко рту и сказал:

— Эй, Сибирь, даю пробу!

Он с удовольствием слушал, как его усиленный во сто крат металлический голос полетел над просторами тайги.

А над темными верхами елей неслышно кружились далекие лебеди...

Тофик, галантно подставив руку, вел Таю через территорию буровой. Тая шла по досточкам, а Тофик рядом проваливался по колено в густую жирную грязь. Это не мешало ему что-то оживленно рассказывать Тае.

На кладбище хоронили старую Степаниду. Усопшая лежала в маленьком аккуратном гробике на холме свежей земли. Вокруг собрались провожающие — все такие же древние старушки, Спиридон, Вечный дед, еще кто-то из села.

Спиридон бормотал нараспев:

— Помяни, господь боже наш, в вере и надежде живота вновь преставившуюся рабу твою, сестрицу нашу Степаниду, и яко благ и человеколюбец, оупущая грехи...

— Господи, помилуй! Господи, помилуй!.. — подхватила нестройный хор дребезжащими голосами.

Лица поющих были сосредоточенны и покойны. Их не тревожил визг лебедки и лязг гусениц. Подошла и стала Тая позади всех.

— Господи, помилуй! Господи, помилуй!..

— ...Сашка, твою в бога, ты опять колы валяешь и к стенке приставляешь! — раздался металлический, усиленный мегафоном голос Алексея. — Тофик Закирович, можно начать прогонку насосов!..

Спиридон прикрыл глаза, повысил голос, запевая:

— Тем же милостив тому буди, и веру, яже в тя вместо деа вмени и со святым твоим яко щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит...

— Ваня, Петро! — звенел металлический голос. — Костя, давай!

И тут завывли дизели, окутав площадку сизым дымом, застучали насосы. Пронзительный гул и визг, заглушая службу, заполнил все над кладбищем.

Старушки раскрывали рты, что-то пели, но голосов не было слышно.

— Костя! Мать твою через так! — зазвенел снова металлический голос Устюжанина.

Спиридон не выдержал, сплюнул:

— Тыфу, прости, господи!.. Похоронить не дадут! — Он перешагнул через могилу и направился к буровой.

Старушки, толкаясь, засеменяли за ним.

У гроба остались Тайка и Вечный дед. Тая повернулась и медленно побрела в село.

Вечный дед глядел вслед Спиридону и не знал — то ли идти следом, то ли остаться стеречь усопшую.

Алексей, натянутый, напряженный, отложил мегафон, последний раз глянул на манометры, окинул взглядом бригаду:

— Готовы? По местам! Сашка! — Он глянул наверх.

— Нормально! — донеслось с верхней площадки.

Мощно и ровно гудели дизели, стучали насосы. Дрожали шланги под огромным давлением нагнетаемого раствора.

Еще мгновение... В этот момент на мостках замельтешили черные старушечьи фигурки, среди них, как пророк, с непокрытой головой и развевающейся бородой — Спиридон.

Алексей замер у пульта, удивленно глядя на гостей.

— Выключи ты ее... хоть на полчаса! — взмолился Спиридон. — Душу вымотал! Дай хоть похоронить-то по-христиански!

— Не могу, дядя, — озорно улыбнулся Алексей. — Раньше надо было помирать, а теперь — забурились! Теперь до осени ничего выключить нельзя!

Спиридон затрясся от гнева:

— Окаянная душа!

Старушки тоже замахали руками, запричитали, но за шумом слов разобрать было нельзя.

— Глядите, родимые! — Алексей подошел к трубе, нависшей над ротором, и указал вниз.

Над ним угрожающе нависло долото с тупым мощным рылом.

— Глядите! — Он обернулся к землякам. — Сейчас мы матушке земле этого дурака под кожу загоним, прямехонько туда! — Он выразительно показал рукой и округлил для большего страха глаза. — Прямехонько под наших праотцев!

— Бога на тебя нет! — запричитали бабки. — Охальник!

Алексей подбежал к пульту, глянул на помощников.

Те сосредоточенно ждали в своих мест.

Алексей подмигнул и нажал на рукоять.

Завизжали лебедки, и долото стало медленно опускаться в землю. Застонало, вздрогнув, железо буровой. Из-под земли брызнула струя раствора с первой намытой водой.

Огромные железные механизмы медленно задвигались.

Среди них орудовали перепачканные веселые буровики.

Старухи, крестясь, пятились к ступеням.

— Бог тебя накажет, Алешка! — крикнул с отчаянием Спиридон. — Проклятое твое семья, устюжанинское!.. — Голос Спиридона сорвался, он махнул бессильно рукой и пошел вниз.

Алексей хохотал, кричал что-то, сверкая зубами, махал рукой, призывая к себе...

А у могилы одиноко стоял гробик. Подле него все в той же нерешительной позе стоял Вечный дед.

Ровный пульс нечеловечески мощного организма заполнил все вокруг и отдавался за рекой, у далекой кромки тайги. Сизая гарь ползла между могил.

Бригада Алексея работала слаженно.

Петро не глядя хватал одной рукой скобу помбурского ключа, распахивал его челюсти.

Ваня привычно упирался, также не глядя травил трос. Он навинчивал трубу, чувствуя, сколько витков осталось.

Сашка наверху суетливо выводил из-под упора новую трубу, закрепляя ее, и с восхищением глядел на удалую работу профессионалов.

Рука Алексея уверенно лежала на рычагах пульта.

Дрожали стрелки манометров.

Ревели четырехсотсильные дизели.

Все глубже и глубже, туда, в огромное тело сибирской земли, ввинчивалась жирно блестящая, мощная труба.

И земля, казалось, дрожала, безмолвно перенося страдание, не в силах воспротивиться этим пришельцам, чужакам, которые вели себя на ней с уверенностью хозяев...

...Лакированная «Чайка» миновала прозрачный куб международного Шереметьевского аэропорта и притормозила у ворот, ведущих на летное поле.

— Кого встречаете? — наклонился к водителю дежурный.

— Первого секретаря обкома Соломина, рейс триста первый.

Дежурный козырнул, поднял шлагбаум.

По взлетной полосе, рокоча турбинами, уже выруливал на стоянку авиалайнер.

«Чайка» миновала стеклянный зонт дебаркадера, подъехала к самолету.

По ступенькам трапа спускался широкоплечий седой мужчина с депутатским значком на груди. Мы не сразу узнаем в нем Филю Соломина, нашего старого знакомого, давнишнего соперника отца Алексея Устюжанина — Николая, а затем кавторанга Соломина, с которым судьба однажды свела Алексея на фронте.

В руках Соломин нес плетеную бамбуковую сумку, в которой качался диковинный тропический плод.

Секретарь обкома, улыбаясь, пожал руки встречавшим его людям, сел в машину, и она, плавно тронувшись с места, понесла его к зданию аэровокзала...

В зале молоденький работник таможни вернул Соломину паспорт, механически спросил:

— Овощи, фрукты, семена, цветы везете?

— Вот везу... одного,— сказал Соломин и поднял плетеную сумку,— а кто он, фрукт или овощ, не знаю.

Чиновник сконфуженно покачал головой:

— Нельзя, товарищ депутат.

— Детишкам показать.

— Нельзя.— Таможенник покраснел от волнения, но решил не сдаваться.

— Да ты пойми, я его по ту сторону экватора сам сорвал... Ребятишки-то мои в тайге, кроме шишек еловых, ничего не видели!

— Я сам первый раз вижу, но... — Юный работник таможни развел руками.

— А что делать? Выкидывать?

— Съесть можете, здесь... сейчас...

В этот момент откуда-то вынырнул запыхавшийся помощник:

— Одну минутку, Филипп Ермолаевич, сейчас все уладим.

— Погоди, нечего улаживать — нельзя так нельзя. Нож есть?

— Нет,— растерянно покачал головой таможенник.

— Я сейчас принесу,— сказал помощник.

— Давай! Заодно и вас угощу.

Соломин медленно пошел по холлу.

Навстречу ему быстро шел седой человек в несколько помятом костюме, с плащом на руке. Обветренное, с резкими чертами лицо его было озабоченно.

— Приветствую, Филипп Ермолаевич! Как я вас ждал вчера!

— Здравствуй. Самолет опоздал.— Соломин подал подошедшему руку.

— Я прямо из Госплана.

Соломин насторожился:

— Ну?

— Решение о строительстве ГЭС в нашей области утверждено. Слушали авторов проекта. Заливается площадь сто тридцать тысяч километров. Отметка тридцать пять метров — это значит, что все плодородные пойменные земли и больше ста миллионов кубов леса — под воду! Все построенные за последние четыреста лет поселки тоже под воду! Волосы дыбом!.. И главное, принимается все так гладко, празднично, с энтузиазмом! Самая северная ГЭС! Самое большое море!..

— Кто был от геологов? — помолчав, спросил Соломин.

— От области я, от министерства Битюков.

— Выступали?

— Выступали,— усмехнулся Гурьев,— шилом моря не нагреешь!..

Соломин, сдерживая себя, медленно произнес:

— Ясно... Значит, подсуетились ребятки... Да, далеко зашло! Теперь нас может спасти только одно — живая нефть... а не обещания.

— Нефть будет! — твердо сказал Гурьев. — И именно в этих затопляемых районах!

Соломин всем корпусом повернулся к нему:

— Слушай, Гурьев, я это от тебя уже восемь лет слышу! Никто же тебе не верит — ни в министерстве, ни в Госплане. Ни в Академии наук. Даже смеются, говорят: «Нефть существует в большом воображении Гурьева». Восемь лет я своими плечами сдерживаю натиск на тебя! Но хоть плечи у меня и широки, а уж сил не хватает. Ноги подгибаются.

Лицо Гурьева покрылось красными пятнами, он, тоже с трудом сдерживаясь, заговорил:

— А я все эти восемь лет, вместо того чтобы нефть как следует искать, таскаюсь по инстанциям и доказываю, что два десятка буровых — это не масштаб для такой страны, как Сибирь! В нашей области одних только болот — три Франции! Мне немедленно нужна самая мощная техника, авиация, вертолеты, бульдозеры, вездеходы! Ведь все это у нас есть, но мне не дают — не верят! А люди кишки рвут по болотам, чтобы оборудование на точку поставить! Я, в конце концов, геолог! Мое дело искать, а не пороги во всех приемных обивать! Не своим делом занимаюсь...

Соломин, сдерживая бешенство, тихо проговорил:

— Только не жалуйся! У нас у всех не своих дел хватает!

Подбежал помощник:

— Ближайший самолет домой в девятнадцать сорок пять.

Соломин постоял, сосредоточенно раздумывая, потом решительно произнес:

— Ладно... Свадьбы еще не было! — И направился к выходу.

— А багаж? — растерянно спросил помощник.

— Багаж в гостиницу, билеты верни, а я в ЦК!

И он на ходу с размаху засадил заморский фрукт в урну, отчего это изящное украшение интерьера с треском развалилось надвое. Но Соломин этого не заметил, стремительно проходя в стеклянные двери аэровокзала...

Бритый наголо, заросший по щекам смоляной щетиной мужик перебирал струны гитары. Маленькая сережка в правом ухе выдавала его цыганское происхождение.

Мужик улыбнулся ослепительной улыбкой и запел с надрывом, по-нездешнему.

Хотя песня эта родилась где-то далеко и, казалось, годилась только для степей, она почему-то очень пришлась к этой таежной сибирской реке, к зеленым хвойным лесам, уходящим за горизонт.

Был разгар лета. Может быть, за все лето только один раз до Елани добралась баржа — мешали перекаты и частые завалы.

Баржа завозила в дальние деревни нехитрый товар, без которого ни одно поселение в XX веке не обходится, — керосин, соль, сахар, спички, чай, резиновые сапоги.

Приезд баржи был большим событием для еланцев, просто праздником — старухи стояли за керосином, перебирали ситец, мужики торговали разное железо.

На корме собрались самые случайные пассажиры — работяги, охотники, геолог, амнистированный. Все они расположились вокруг цыгана, кидали ему деньги, заказывали песни.

По берегу шла Тая. Шла легко, разряженная, улыбающаяся.

— Тай, а Тай! — крикнул с буксира помощник капитана. — Совсем тоска без тебя на «Академике Тимирязеве»! В буфет такую ведьму поставили...

Тая улыбнулась:

— Что, в разлив не дает?

— Никак не дает!

На буксире заржали.

Тая легко пробежала по сходням. Все мужики устали на нее. Даже цыган на минуту перестал петь, а потом запел, зарыдал с еще большим вдохновением.

В лавке по стенам громоздились хомуты, топоры, чугуны.

Тая протиснулась к прилавку, спросила кокетливо:

— А серьги у вас есть?

Взопревший продавец оторопело уставился на нее:

— Что?!

— Серьги.

— Серьги? — Продавец постоял, схватил прейскурант, пробежал глазами по списку. — Есть!

Он нырнул куда-то за бочки, достал несколько коробочек.

На синем бархате сверкали сережки.

Тая примеряла, поглядывая в зеркало.

— Сколько?

Продавец глянул в прейскурант:

— Сто.

— Сто? — переспросила Тая.

— Золотые. — Продавец посмотрел в сторону.

Тая, покачив головой, стала вывинчивать сережки.

В этот момент через ее плечо на прилавок спланировала новенькая сторублевка и раздался веселый голос:

— Берем!

Тая оглянулась.

Алексей Устюжанин прищурился, оглядел Таю и причмокнул:

— Очень идет вам, Таисия Петровна.

— Это что, мне? — удивилась Тая.

— Подарок, с днем ангела.

— Еще чего!

— Сегодня — Таисия, Фекла и, извиняюсь, Хавронья.

Тая покачала головой:

— Образованный вы, Алексей Николаевич.

— В нашем деле без образования нельзя, — развел руками Алексей.

Они шли по деревне. С реки доносилась удалая песня, выкрики.

За кладбищем завывали дизели буровой.

— Небось соскучилась? — Алексей подмигнул Тае.

— День и ночь не сплю, о тебе думаю, — улыбнулась она.

Алексей посмотрел на нее недоверчиво.

— Мог бы и заглянуть за два месяца, — без упрёка сказала Тая.

— Замотался, — вздохнул Алексей, — работы много...

— Грунт тяжелый? — участливо спросила Тая.

— Откуда знаешь? — удивился Алексей.

— Слыхала... Разве мало тут вас, бурильщиков?

Они подошли к воротам Тайного дома.

— Ну, спасибо тебе за подарочек. Большое спасибо. — Тая открыла калитку.

Алексей двинулся за ней. Она приостановилась.

— Что, зайти хочешь?

— Надо ж именины отметить. — Алексей подмигнул Тае и, приобняв ее, заговорщицки добавил: — У меня до смены еще есть время...

Они вошли в избу. Алексей оглядел горницу.

— Хорошо живешь, просторно.— И он снова прижал Таю к себе, потянулся поцеловать.

Тая уперлась ему в грудь, глядела с озорством.

— Ты что? — спросил Алексей.— Вроде я тебе не совсем чужой...

— Мы в Елани тут все родственники.

— Забыла, что ли, про озеро?

— Не было ничего, Алеша.

— Как так? — растерянно спросил Алексей.

— Приснилось тебе все.— Тая высвободилась из его объятий.— Садись, гостем будешь.

— Ну, ты даешь! — Алексей с восхищением покачал головой.

Тая легко двигалась по избе, накрывала на стол.

— Да не надо, у меня времени мало,— сказал Алексей.

— Сейчас грибков, у соседки... — Тая побежала к дверям.

— Да ну их, грибков,— поморщился Алексей.

— Я мигом! — Она исчезла.

Алексей возбужденно прошелся по комнате, глянул в зеркало, поправил чуб, окинул взглядом высокую, с пуховой периной Тайкину постель, посмотрел на часы. Простая гениальная мысль пришла ему в голову.

До вахты оставалось не так много времени, поэтому он очень быстро разделся и нырнул под одеяло. Потом вскочил, достал из кармана штанов «Беломор», придвинул стул к кровати, поставил вместо пельницы блюдечко и с наслаждением закурил. Широко разметавшись под одеялом, он поглядывал на дверь в ожидании Таи.

Дверь распахнулась, и в избе вместо Таи появился бригадир, буровой мастер Тофик Рустамов. Он только что принял баню — был в трусах и длинной тельняшке. Верхнюю одежду и сапоги, которые он держал в руках, Тофик аккуратно свалил на сундук, прошлепал босыми ногами к зеркалу и начал тщательно зачесывать густые волосы — укладывать волну.

Алексей Устюжанин был в разных переделках, но в такую ситуацию он попал впервые. С выпученными глазами лежал он на кровати, застыв с полуподнесенной ко рту папиросой.

— Тая! Таечка! — зычно крикнул Тофик.— А ты пуговицу мне не пришила! — Тофик повернулся к столу, налил стопку, выпил, потянулся за рыбкой.

— Ну, ты даешь! — сказал из постели Алексей.

Тофик поднял глаза. Теперь пришла его очередь обалдеть.

— Ты... ты что здесь делаешь?

— Я?.. — Алеше нужно было что-то отвечать.— Да вот... думал отдохнуть перед... вахтой.

— Ага,— понимающе кивнул Тофик и стал быстро натягивать брюки.

— А ты что делаешь? — спросил Алексей.

— Я тут с Таисией Петровной договорился... Баня у нее хорошая. Сам понимаешь, надо ж где-то мыться... Парюсь я тут, понимаешь...

— И давно... паришься?

— Нет. Всего месяц.

Тофик оделся. Получив, таким образом, моральное преимущество, он сел за стол и уже спокойно посмотрел на Алексея.

Вошла Тая. Она также изумилась, увидев Алешку в кровати.

— Ты что там делаешь? — растерянно спросила она у Алексея и покосилась на Тофика.

Тофик пояснил ледяным тоном:

— Отдыхает он... перед вахтой.

Тая спрятала улыбку и включилась в игру.

— А-а... как тебе — в кровать подать или за стол сядешь?

Алешка махнул рукой, конфузливо засмеялся.

— Да ну вас... Мне и правда пора. Отвернись, Тая.

Он свесил ноги с кровати, потянулся за штанами.

Тофик очень ласково, вкрадчиво сказал:

— Кстати, насчет работы, Алексей Николаевич. Не нравится мне, как твоя вахта работает. Вчера пять часов на смену долота ушло. Я для тебя всех твоих людей из Башкирии вызвал, а работа неважная...

— Да ты поищи таких мастеров! — вспыхнул Алексей. — По всей Сибири поищи. Лучшие люди в Башкирии были! Один Петро чего стоит — профессор! Давно б мог бурмастером стать!

— Петро твой по ночам читальню завел, «Графа Монте-Кристо» до утра читает, а потом как вареный ползает... Нет, я просто хочу сказать, что Колина смена больше метров гонит, хотя у него одни ночички... Так что прибавить надо.

Алексей застегнул ремень, расправил плечи и многозначительно сказал:

— Ладно, Тофик Закирович, сейчас пойду прибавлю.

Тофик не смог скрыть торжествующей улыбки. Чувствовал, что завел друга до отказа.

— Вот и хорошо. Только технику безопасности соблюдай.

— Я сейчас прибавлю! — повторил Алексей.

Он рассеянно улыбался, думал о чем-то своем. Потом покачал головой и пошел к двери.

— Алеша! — Тофик поднялся из-за стола и подошел к Устюжанину. — Понимаешь... как тебе сказать... не стоит в бригаде говорить, что я сюда... что я здесь... — Тофик замялся.

— Паришься? — подсказал Алексей.

— Ну да, — кивнул Тофик. — Все-таки коллектив, а мне, бригадиру...

Алексей оборвал:

— Лады, Тофик, могила.

Тайка при словах Тофика потемнела лицом, налила рюмку, залпом выпила.

Алексей посмотрел на нее, улыбнулся, покачал головой:

— Ну, ты даешь!..

Он сошел с крыльца, быстро пересек двор.

Теперь Устюжанину было не до смеха. Он, дернув, чуть не оторвал ручку от калитки, но потом разобрал, что она открывается наружу, ногой распахнул ее и почти выбежал на улицу.

Когда за окном раздался скрип калитки и все затихло, Тофик застучал кулаками по столу, бешено заорал:

— А-а-а!.. — Он вскочил и как тигр заметался по избе. — За что?.. Я кретин! Я тебе верил, я тебя на руках носил! — Он подскочил к Тае. — Я сразу увидел, откуда сережки! Он подарил? Отвечай, отвечай! Змея!

Тая, подперев голову рукой, задумчиво смотрела мимо Тофика.

— Ты думаешь, Тофик жадный?! Я тебе десять сережек подарю! Тофик любимой женщине все отдаст!.. Развратница, я за тобой два месяца ухаживал, а он только вошел — сразу в кровать нырнул!.. Что молчишь?!

Тая подняла на Тофика спокойные глаза и тихо сказала:

— Стыдливые какие... Коллектив, говоришь?.. Вот и катись отсюда в свой коллектив!.. И чтоб ноги твоей здесь больше не было!

Тофик на секунду замер, потом выскочил из избы.

От гнева Тофик забыл, что калитка открывается наружу, он рванул калитку на себя и с оторванной ручкой повалился на поленницу, обрушивая дрова...

А на буровой вкалывала бригада устюжанинской вахты.

У ротора помбурами стояли Петро и Ваня. Верховым, как всегда, Сашка. Алексей у пульта дирижировал всей работой с азартом.

— Я ему прибавлю, я ему покажу,— бормотал Алексей, безошибочно осаживая перед ротором элеватор, летевший с двадцатичетырехметровой высоты.

Шел спуск инструмента — одна за другой навинченные трубы исчезали в устье скважины.

Петро не глядя хватался за скобу помбурского ключа, распахивая его, подводя к замку. Ваня, сосредоточенный, как боксер во время раунда, делал вышад вправо, захлопывал челюсти.

Петро зарядил ключ, отошел. Алексей не глядя, только чувствуя, что Петро отошел, включил ротор, заскрежетал трос, миг — и труба была навинчена.

Помбуры отскочили, потому что сверху со свистом шел инструмент, который по мановению Алексея мягко затормозил над самым стволом.

И снова Сашка наверху, на полатах, выводил из-под упора новую свечку.

— Какая свеча? — задрал голову, крикнул Петро.

— Двадцать седьмая! — раздался сверху голос Сашки.

— Перекур! — Петро полез было за папиросой, но труба вдруг дернулась и заходила свободным концом над площадкой, так что Петро и Ваня были вынуждены ее ловить.

— Ты что? — сердито обернулся к Алексею помбур.— Спятил!

— Не будет перекуров! — отрезал Алексей.

— Как не будет?

— Что это с ним? — изумился Ваня.

Алексей зло улыбнулся:

— Если бы не эти перекуры, давно бы при коммунизме жили! Я бы их по всей стране запретил Советом Министров!

— Ты пока не Совет Министров! — сказал Петро и достал папиросы.

— Лентяи вы!

Алексей гнал работу, и помбурам приходилось не отставать.

— Это я лентяй?! — набычился Петро.

— А кто ж? Десять лет вкалываешь, а все помбур! Другой бы за это время инженером стал!

— А может, он не хочет? — вступился за друга Ваня.

— А может, я не хочу? — кивнул Петро.— Инженеров — как собак нерезаных, а помбуров хороших из Башкирии переманивают! Да сам-то ты кто?

— А я такой же долбак, как и ты! Остался бы в армии, уже полком командовал бы... А сейчас с вами гнус в тайге кормлю! В глину долото макаю!

— Осторожней, ты!.. — крикнул Петро.

Алексей, подгоняя буровиков, уже опустил тормоз, и новая труба со свистом уходила в скважину.

— Слушай, Алексей, мы тебя предупреждали! — угрожающе покачал головой Ваня.— Куда гонишь?

Алексей не ответил. Напевая что-то себе под нос, он продолжал чеканную, выверенную до малейшего жеста работу.

— Эй, я не успеваю! — раздался сверху голос Сашки.

Алексей поднял голову, крикнул:

— А не успеваешь, слазь оттуда, иди к бабам мешки с раствором таскать! — Он ухмыльнулся. — Ну как, слезешь?

Сашка не ответил.

Работа шла все в убыстряющемся темпе.

Помбуры с потными лицами только успевали крутиться.

Несколько ребят из третьей смены наблюдали эту работу.

Костя вышел из дизельной, вытирая ветошью замасленные руки, посмотрел на ребят, на буровую, с гордостью спросил:

— Ну как, красивая работа?

Рыжий парень не ответил, покачал головой.

— На мировой рекорд идем! — небрежно бросил Костя. — Без перекуров всю смену.

Рыжий мрачно посмотрел на него, сплюнул и обернулся к новичку:

— Ну-ка шуруй за Тофиком Закировичем!

Алексей не отрывал глаз от индикатора.

— Я ему прибавлю!.. Я ему прибавлю!.. — бормотал он.

На верхотуре Сашка, замызганный, со слезами бессильной ярости в глазах, металлическим крюком выводил из-за пальца новую трубу. Он не успел как следует защелкнуть замок, труба завертелась, навинчиваясь на колонну.

— Эй, осторожно! — крикнул Сашка, но было уже поздно...

Защелка расстегнулась, труба выскользнула из челюстей элеватора, замоталась, с грохотом околачивая железные фермы вышки.

— Элеватор! — Сашка отскочил в сторону.

Свеча, увлекаемая вниз километровой колонной труб, со скрежетом пересчитывала стальные переборки вышки.

Помбуры бросились кто куда.

Алексей присел за пультом.

Скрежет трубы становился все пронзительней, выше, и вдруг все оборвалось, словно ножом срезало — незакрепленный конец колонны исчез в скважине...

Костя, наблюдавший от дизельной происходящее, кинулся в будку и выключил двигатель.

Наступила тишина.

Сашка скорчился на верхней площадке.

Петро и Ваня, еще не пришедшие в себя, выглядывали из укрытия.

Алексей подошел к устью и зачем-то заглянул туда, в черный колодец скважины, где исчезла колонна труб, а с нею и надежда и смысл их работы на этом обрыве у деревни Елань...

Он стоял так и вдруг... засвистел свое любимое танго. Не глядя ни на кого, пошел с буровой прочь.

Онемевшие помбуры растерянно глядели ему вслед не в силах проронить ни слова.

Сашка спускался вниз и в голос плакал:

— Это я виноват! Я защелку не закрепил!

— Да молчи ты! — сердито оборвал его Петро.

На площадку поднимались ребята из других вахт.

— Не... вы видели психа? — смеялся рыбой Степан. — Я вижу: Устюжанин за кусты зашел, оглянулся да как рванет, словно за ним тигра гонится!

Ваня глянул за кусты, за которыми исчез Алексей, покачал головой:

— Ну, поймаем!..

— А что толку-то? — зло сказал рыжий. — Ну, поймаете вы своего психа, наломаете ему шею, а толку что? Мы теперь сколько стоять будем? Месяц аль два? Доигрались со своими рекордами? Убивать таких новаторов надо!.. «Мастера-а из Башкирии», фото в газетах! — кривлялся рыжий.

— Ну-ну, потише! — вызывающе поднял кулак Петро.

В это время все расступились — на буровую поднялся Рустамов. Он молча оглядел скважину, изуродованный кожих лебедки, коротко спросил:

— Где он?

— Убег! — почти выкрикнул рыжий.

Тофик блеснул глазами, но подавил в себе ярость, тихо сказал:

— Искать! Найти! Привести! Поставить!.. Сюда поставить! Здесь будет стоять!.. Есть не будет, пить не будет, спать не будет! Вместе со мной!.. Пока я колонну не поймаю!.. А когда зацеплю — зарежу!..

И бригадир пошел к пульту.

Перепрыгивая через лужи, через провалившиеся бревна, бежал Алексей что есть духу по Афоной дороге. После мосточка остановился перевести дух, оглянулся — погони не было. Алексей свернул на тропку, ведущую к заимке Вечного деда.

В избе деда почти ничего не изменилось — только разве кружевные салфетки, вырезанные из газет, говорили о том, что и сюда добрались средства массовой информации.

Дед сидел у окна, подшивал валенок.

Алешка ввалился, едва переводя дыхание.

— Здоров, дед! Фу, дай отдышаться! — Он подошел к окну, глянул на двор. — Десять километров кросса на приз братьев Знаменских! Ну, здесь меня никто не найдет... Слушай, водка у тебя есть?

Дед не ответил, налаживая драгву варом.

— Да ты что, оглох, что ли? — Алеша принялся сам лазить по полочкам. — А я ведь завтра уезжаю. Все, хватит! Обрубок. — Он с ожесточением застучал себя в грудь пальцем и заговорил с воображаемым оппонентом, забыв про деда: — А то, что я полтора года без отпуска, — это понять кто-то может? А то, что живем черт-те где, без удобств, жрем одни макароны, — это понять кто-то может?! Друг называется! Плохо работаю! Не нравится ему!.. И то, что инструмент упустил, — это с каждым может случиться!.. Да где ж у тебя водка?

Алексей шарил за печкой. Дед поднял глаза на него и, не ответив, продолжал работу.

— Найдите себе получше бурильщика!.. Все, хватит! Я право на отдых по конституции имею! Сейчас не то время — мы тоже ученые! Завтра расчет беру — и в Сочи.

— Значит, не понравилось на родине? — подал голос дед.

— Моя родина, дед, от тайги до балтийских морей. Двадцатый век! Сегодня здесь, а завтра там. Эх!.. — Алексей хлопнул руками, потер их. — Жизнь одна, ее ценить надо! А они пускай месяца четыре без меня поработают! Еще сами позовут! А вот зимой на Чертовой гриве — это я бурить буду, никому не отдам. Там точно газ, а может, и нефть... Да у тебя водки, что ли, нет? — Алексей остановился посреди избы и с досадой сказал: — И как ты тут живешь?

Дед не отвечал, только смотрел на Алексея.

— Ну ничего, на болоте нефть откроем, всех чертей на буровую загоним, электричество проведем, будет у тебя холодильник, телевизор и торшер. Ты чего так на меня смотришь?

— Так,— сказал дед.

— Как?

— Смотрю,— коротко отвечал дед.

Алексей неожиданно присел, не спуская со старика глаз.

— А тебя никогда к судебной ответственности не привлекали? — тихо спросил он.

— За что?

— За телепатию там... или за колдовство?..

Заскрипела дверь, в избу вошел медведь. Не глядя на людей, прошел к печи и с кряхтением улегся. Алексей с опаской смотрел на него.

— Он меня не тронет?

— Ты не тронь его, он тебя не тронет.

— Да есть у тебя выпить?! — взмолился Алексей.

Старик протянул руку, взял с окна крынку, нацедил стакан прозрачной жидкости.

— Это что? — Алексей понюхал, поморщился.— Ух, хорош, стерва... Сашку жалко — он ведь новичок, верховым второй месяц всего. А я ничего. Я в порядке. Переночую, а завтра в путь — баржа-то завтра уходит!..

Дед поднял на Устюжанина выцветшие почти до белизны глаза:

— Беги, беги!

— Куда? — не понял Алексей.

— Сейчас беги, завтра поздно будет! — Старик не моргая смотрел на Алексея.

Медведь поднял голову, посмотрел на деда, потом на Устюжанина.

Тому стало не по себе, он поставил стакан.

— Почему поздно?

— Потому что жизнь коротка, а смысл длинный,— изрек Вечный дед и склонился к работе.

— Свихнулись вы тут все! — пробормотал Алексей и не прощаясь вышел из избы.

Верхушки елей слегка краснели от заходящего солнца, а внизу были уже сумерки. Коридоры между мощных стволов уводили во тьму.

Алексей возвращался по Афониной дороге в село. На душе у него было беспокойно. Его снова охватило странное ощущение, будто кто-то незримо наблюдает за ним.

Он резко остановился и обернулся.

В черной тени серебрившиеся ольховые кусты сдвинулись с робким шелестом — то ли от налетевшего ветра, то ли скрывали кого-то.

Алексей облизнул пересохшие губы, ему хотелось пить.

Он перешел через мостик и спустился к болотной речушке. Встал на четвереньки и увидел в спокойной воде светлое вечернее небо и свое черное лицо. Алексей прильнул к воде, жадно сделал несколько глотков и снова, оторвавшись, обернулся, стал оглядываться.

— Эй!.. Ты!.. Опять? — с угрозой крикнул он в пространство.

Голос прозвучал, словно в соборе, гулко, торжественно.

На дне сквозз прозрачную воду мерцала яркая точка.

Алексей посмотрел вверх. Смутное воспоминание чего-то утерянного щемящей болью обожгло сердце... Он стоял на четвереньках перед ручьем, с запрокинутой головой. Капли звонко падали с его небритого подбородка.

Наверху среди черных ветвей сияла ему ясным светом Афонина звезда.

А на буровой кончалась злополучная вахта.

Почти вся бригада находилась здесь, вокруг вышки, сидели, переговаривались, курили в ожидании... Поймает бригадир сорвавшийся инструмент или нет? Расходиться не хотелось. Поднялась на площадку новая вахта.

Степан принес миску с дымящимся гуляшом, остановился позади Тофика, орудовавшего у пульта.

— Ну что, не цепляется? — спросил он мастера.

Тот покачал головой: мол, нет.

— Ты бы поел, Тофик Закирович.

Тофик скинул рукавицы, сел на железный ящик, стал, обжигаясь, есть.

В темной пустой устюжанинской избе за столом у керосиновой лампы сидели Алексей и цыган.

На черной бревенчатой стене смутно желтел старый революционный плакат, внизу под плакатом, на полу, поблескивая фольгой, стояли две бутылки из-под шампанского.

Цыган перебирал струны гитары, Алексей привалился головой к его плечу.

— Уедем мы с тобой, Сережа, — говорил Алексей. — Сочи — город моей мечты. Ты был в Сочи?

— Я везде был.

— Ну как, понравилось?

— Когда деньги есть, везде хорошо.

— Точно. — Алексей вытащил десятку, сунул ему. — Спой еще.

— Для хорошего человека всю ночь петь можем, — улыбнулся цыган.

— Во! А он говорит — во мне смысла нету!

— Кто?

— Вечный дед... Спятил! Они все здесь спятили!.. Это во мне смысла нету!

Алексей встал, вытащил из-под кровати чемодан, принялся шарить в нем, раскидывая в разные стороны барахлашко. Наконец он достал со дна тускло поблескивающие звенья цепи на ножевом ремешке.

— Во, видишь? — спросил он.

— Цепь, — сказал цыган.

— А знаешь, что за цепь?.. На ней сам Томмазо Кампанелла в тюрьме сидел!

— По какой статье? — спросил цыган.

— Эх, цыган!.. — вздохнул Алексей. — Это ж был великий итальянский революционер. Триста лет назад жил. Город Солнца мечтал построить!..

Цыган молчал, перестал перебирать струны гитары.

Алексей продолжал:

— Она мне от отца досталась! Во мне смысла нет?! — Он подошел к стене и ткнул пальцем в старый, пожелтевший плакат. — Видишь? Тридцать лет назад я отцу дал клятву Город Солнца построить! И не выполнил ее... А разве я виноват? Отца убили... беспризорничал... потом война — Германия, Маньчжурия, потом разруха... Работал во сколько! — Он провел ладонью по горлу. — И все вот этими руками! — Алексей потряс кулаком с зажатой в нем цепью. — Да я по всей Сибири таких Городов Солнца наворочал бы, если бы не мешали! А года-то пролетели... так что — во мне уже и смысла нет? Ну скажи!..

— Есть.

Алексей сел к столу, надел на шею ремешок со звеньями Родионовой цепи и сказал:

— Тогда пой!

Цыган взял аккорд и запел «Невечернюю».

Гудели в ночи дизели. Огни буровой дрожали в тумане, окруженные лучистым сиянием.

Тофик Рустамов с горящим от напряжения взглядом орудовал у пульта, ловил упущенный Устюжаниным инструмент — колонну труб.

Над желто-зеленым разливом тайги летел вертолет. Не отставая от него, по зеркалам болот мчался яркий солнечный зайчик.

Болота, болота, бесконечные озерца и снова болота до самого горизонта. Лишь четыре сосны и огненные островки осин, а там снова тайга, и чем дальше на север, тем больше деревьев с облетевшей листвой.

Звучал чей-то возбужденный голос:

— Я счастлив, что мой проект будет осуществляться именно в вашей области и именно под вашим руководством. У вашей области огромные перспективы — вы начинаете с нуля, у вас еще ничего не тронуто...

У иллюминатора в кабине вертолета сидел секретарь обкома Филипп Ермолаевич Соломин. Он глядел вниз, хмурился, вроде бы слушал.

Голос за кадром продолжал:

— ...ваша область — огромные пространства... Населенность в среднем один человек на сто квадратных километров. Представляете, какое чувство удовлетворения и, можно сказать, гордости испытываете вы как секретарь обкома...

— Какое? — неожиданно пробасил Соломин и повернул свою большую голову.

Его спутник — гидролог в больших роговых очках, с нервным узким лицом — растерялся, подыскивая слова:

— Ну... ну, создание крупнейшего в мире искусственного моря и крупнейшей гидростанции выдвинет вашу область на одно из первых мест в стране.

Соломин снова отвернулся к иллюминатору.

— Угу... По воде-то мы и так на первом месте...

— Простите?

— У меня в области одних болот по территории на три Франции.

Вдруг вертолет накренился и начал кружиться над одним и тем же местом. На косогоре стояла деревенька, чуть поодаль ее кладбище, за которым виднелась вышка буровой.

Гидролог глядел в иллюминатор.

— Бросовые земли, — говорил он. — Ну ничего, скоро мы все здесь затопим, и вырастут прекрасные портовые города, побегут пароходы, красота! Вот деревня. Посмотрите, полюбуитесь! Можете себе представить, каково жить в такой глухомани! В этой дыре! Ужас! Семнадцатый век!..

— Да, дыра, — угрюмо вздохнул Соломин. — Эта, как вы сказали, дыра — моя родина. В этом селе я родился, а вон там, на кладбище, похоронены все мои родные... Так что я здесь сойду, а вы полетите дальше.

Гидролог запнулся, замолчал растерянно.

— Вася! — крикнул секретарь обкома пилоту. — На обратном пути меня заберешь!..

Над Еланью снижался, заходил на посадку вертолет. Из-за вновь навешенных резных ворот выскочил Спиридон, стал размахивать руками, как дают отмашку техники на аэродромах.

— Эй, бабы! — кричал от ворот Спиридон. — Летит! Собирай народ!

Старушка у ближайшей избы засуетилась, кинулась к соседке:

— Акулина, Филька летит!..

И пошло от двора ко двору:

— Филя, Филька летит!

— Наконец-то!

— Царица небесная, не забыл!

И потянулись по улице от домов черные, как вороны, старые жительницы села, затрусили вслед за Спиридоном.

От вертолета шел к ним Филипп Ермолаевич Соломин, бывший их плотник, а ныне секретарь обкома.

Несмотря на брезентовую куртку и сапоги, в его кряжистой фигуре было что-то начальственное.

Встретившие окружили его. Он наклонился к одной из самых древних старух, поцеловал ее.

— Здравствуй, тетка Евдоха! Ну как ты?

— Хорошо, хорошо! — прошамкала та в ответ. — Прилетел, не забыл!

— Заступник ты наш! — раздалось в толпе.

— Заждались мы тебя, — сказал Спиридон. — Спасай! Совсем никакой жисти не стало! Поставили каланчу, гудит, визжит! Как ты им позволил у родной деревни?.. И кладбище того гляди опоганят. Прогони их отсюда!

— Помоги, Филя, ты большой человек! — прошамкала Евдоха.

— Али тебя уже прогнали? — спросила из толпы самая маленькая сухонькая бабуля, но Евдоха перебила ее:

— Молчи, дура! Вишь, прилетел на этой... стрекозе, значит, в почете!

— Помогай, Филя! — повторил Спиридон. — А уж коли нефть найдут, то и вовсе конец деревне!

Соломин вздохнул:

— Если б нашли!.. А то тут вообще скоро ничего не будет!

— Это как? — не понял Спиридон.

— Затопят эти места... Море здесь будет.

— Чего-о?

— Дно моря, вода... Самая большая в мире электростанция, вот так...

— А ты там не можешь сказать, в правительстве?

— Правительство и решило.

Старушки зашептались, смолкли.

Спиридон собрал бороду в кулак, озадаченно постоял, потом с решимостью махнул рукой:

— Ну и правильно! Затопить — и никаких забот! Затопить все к чертовой матери! Правильно, все один конец!

— А мы куда денемся? — спросила непонятливая бабуля.

— Переселят вас в каменные дома! Со всеми удобствами! — с раздражением сказал Соломин и двинулся. — Пойду схожу на кладбище...

Спиридон зашагал следом, старушки тоже засеменяли.

Спиридон заботливо наставлял Соломина:

— Берегись, Филя! Ты хоть и далекая родня, а все же Соломин. Я ведь тебя знаю — ты рискованный, а сверху-то падать больней. Если чего не знаешь, не лезь, не спрашивай, смолчи — пусть другие выскажутся. Не забывай, ты ведь в Елани один — наверху-то!

Соломин остановился, улыбнулся:

— Да и вы у меня одни.

Снова все окружили его, глядя с умилением и преданностью. Откуда-то возникла удалая песня и снова затихла за кустами.

Тетка Евдоха протиснулась к Соломину, прошамкала, схватив костлявой рукой за лацкан пиджака:

— Филька, нас когда топить-то будут?

— Года через два.

— Э-э-э... Так не тужи, родимый, нас тут немножко осталось — молодые разбеглись, а мы за два-то года как есть все помрем!

— Я, тетя Евдоха, не расстраиваюсь. Земля здесь бросовая, одно слово — проклятая! Да только другой родины у нас с вами нет...

Секретарь обкома повернулся и пошел за ворота, в сторону буровой.

Дорога к буровой вела мимо кладбища.

Со стороны реки явственно послышалась цыганская песня с гитарным перебором. Песня звучала неожиданно красиво, и Соломин остановился, с удовольствием прислушиваясь, закурил.

Из-за косогора медленно возникло странное явление — впереди по тропинке шел ящик с ногами, еще были видны две могучие кисти, обнимавшие этот ящик. Ящик покачивался на не совсем твердых ногах, позванивал, булькал.

За ящиком шел цыган в ватнике поверх кумачовой рубахи, он-то и исполнял понравившуюся Соломину песню.

Выйдя на обочину дороги, ящик опустился на землю, звякнули две дюжины бутылок шампанского. Алексей Устюжанин, который нес ящик, выпрямился и, тяжело вздохнув, отер пот. В шалых, покрасневших от бессонницы глазах Алексея горела решимость.

— Привет! — весело кивнул Алексей проходившему мимо Соломину.

— Привет! — ответил Филипп Ермолаевич.

— Слушай, мужик, будь другом, подсоби малость, здесь недалеко... Вон до буровой...

— А этот? — кивнул на цыгана Соломин.

— А играть кто будет?

Соломин усмехнулся.

— Логично.

Он ухватился за ящик с одной стороны, Алексей взялся с другой, и они двинулись к буровой.

Дорога была разбита. Грязь едва не доставала колен, и идти с грузом было нелегко.

Цыган шел сзади, пел не переставая одну песню за другой.

— Хорошо поет? — спросил Алексей Соломина.

Тот кивнул.

— Мой человек, — доверительно сказал Алексей. — Уважает. Только неделю на воле! Амнистия, слышал?

Соломин кивнул.

— Чего ты такой неразговорчивый?! — воскликнул Алексей. — Может, выпить хочешь?

— Спасибо, подожду.

— Ты лучше здесь пей, пока не поздно! А то на буровой хрен выпьешь! Ни-ни! Сухой закон! Тофик голову оторвет!

— Голову оторвет, а мы несем!

— Особый случай! Выдающийся! Бить меня должны, виноват я кругом, просить прощения иду, мириться. А шампанское пьют при дуэлях и когда мирятся обязательно. Как же! Граф Монте-Кристо

пил.. И в Кремле тоже! — И, заметив улыбку на лице Соломина, Алексей горячо подтвердил: — Сам видел по телевизору!

— В чем же ты провинился?

— Инструмент упустил.

— Бывает... За что ж сразу бить?

— Да я один виноват... Загнал ребят, погорячился, а потом испугался и убежал. Конечно, таких бить надо! А теперь Тофик вторые сутки без передышку цепляет, а кроме него — некому!

Соломин кивнул. Алексей продолжал:

— Кроме Тофика, некому! Таких ловильных мастеров в Сибири нету! Классный мужик! Я с ним после войны еще в Татарии работал... Орденоносец!

— Что ж твой орденосец буровую так близко к кладбищу поставил? Все-таки понимать надо! Это же для людей святое место.

Алексей слегка протрезвел и посмотрел на Соломина.

— А ты сам-то откуда? Чего-то я тебя не видел здесь. По нефти, что ли?

— Отчасти.

— Что ж ты тогда? Не знаешь, что мы не по своей воле вышки ставим? В Москве, в министерстве, какой-нибудь очкарик ткнет пальцем, а на что пришлось, только тут и увидишь! Опорное бурение! Еще отнесли ее в сторону, она по расчету-то прямо кладбище покрывала. Нам еще выговора налепят, что не точно забурились...

— Не налепят, если нефть найдете.

Алексей презрительно глянул на собеседника.

— Да какая тут нефть? Тут, кроме гноса, ничего нет! Вон за Чертовой гривой, там — да! А здесь нет! Это ж Елань — одно слово! Я ж сам из Елани. Отец мой здесь похоронен и дед тоже! Устюжанин!

Филипп Ермолаевич внимательно посмотрел на Алексея:

— Николая сын?

— Что, знал?

— Встречались, — улыбнулся Соломин.

Тофик, обросший, с покрасневшими от бессонницы глазами, продолжал колдовать перед пультом. Рядом с ним на площадке снова работала бригада Устюжанина — Петро и Ваня, но делать было нечего, только смотрели и удивлялись нечеловеческому терпению Тофика.

В томительном ожидании вокруг буровой стояли и свободные от вахты буровики.

Сашка забрался на самую верхнюю площадку буровой, к лебедке. Отсюда, с верхотуры, была видна придавленная хмурыми облаками тайга на добрую сотню километров, бесконечные блюдца озер, деревня как на ладони, ниточка дороги, огибающая кладбище...

— Идет! — вдруг закричал Сашка, указывая на дорогу. — Идет! Все обернулись.

Через площадку к буровой двигалась странная компания — Устюжанин с каким-то мужиком тащили ящик, сзади шел чернявый цыган с гитарой.

Тофик продолжал невозмутимо работать.

Люди, свободные от смены, молча глядели на приближающихся.

Алексей с Соломиным вскинули ящик на гусеницу бульдозера. Алексей хлопнул Соломина по плечу:

— Спасибо, друг! — И вышел вперед, к людям. — Вот он я!.. Виноват — бейте, но не мог я к вам не прийти! — Он раскинул руки и, широко улыбаясь, упал на колени. — Бейте, но простите! Не могу уехать, чтоб друзья на меня обиду держали! Уезжает от вас Алеша Устюжанин и хочет, чтоб добром поминали его, и для этой цели при-

волок к вам... Сережа, сколько? — Алексей обернулся к цыгану.— Двадцать четыре бутылки шампанского! По бутылке на нос!..

Все молчали, косясь на Тофика.

— Это вместо премиальных? — с издевкой спросил рыжий.

Соломин с великим интересом наблюдал за происходящим.

Трудно представить, чего стоило Тофику сдерживать себя, но он продолжал невозмутимо работать.

— Тофик! — закричал Алексей, не вставая с колен.— Тофик, объявляй на час перерыв! Прощаться будем! — Он обернулся к цыгану.— Сережа, ну-ка, прощальную!

Цыган ударил о струны, залился песней.

— Тофик, слышишь, все равно ты ничего не поймаешь!.. Тофик!!! Спустишь, выпьем за мир и дружбу, и я поеду!

Чаша терпения переполнилась. Тофик побагровел, замер на мгновение, потом взорвался и завопил:

— Уедешь?! Уедешь, да?! А кто тебя пустит? Это я, Тофик Рустамов, говорю: пока все, что нагадил, не вычистишь — ни на шаг от буровой не отойдешь! Спать здесь будешь! Есть здесь будешь! К вышке прикую на цепь!

Алексей восторженно глядел на Тофика, не поднимаясь с колен.

Тофик медленно спускался с буровой, распался все больше и больше, засучивая рукава:

— Все премиальные, что у бригады отнял, до рубля отработаеть! Работать будешь! Думаешь, бурильщиком? Нет! Думаешь, помбуром? Нет! Глину будешь таскать! Раствор месить! С утра до вечера! Спать не будешь! Не дам!.. — Тофик в ярости обернулся к поощему цыгану: — Замолчи ты!

Цыган испуганно замолчал, а Тофик так и застыл с вытянутой рукой и разинутым ртом — он увидел секретаря обкома.

— Здравствуйте, товарищ Рустамов,— поздоровался Соломин.

Тофик на секунду зажмурился, потому что все переключатели в его голове раскалились докрасна: нужно было совершать невозможное — не останавливаясь пустить машину в обратную сторону. Наконец он открыл глаза, и лицо его озарилось такой счастливой улыбкой.

— Филипп Ермолаевич! Какими судьбами! Не может быть! — Тофик раскинул руки и направился к Соломину.

На ходу он мимолетно кивнул бурильщикам в сторону Алексея. Его поняли, окружили стоящего на коленях Устюжанина сплошной стеной.

Сам мастер подходил в это время к Соломину, загораживая происходящее своей широкой спиной.

Короткая возня оборвалась сдавленным криком, и на площадке не было уже ни Алексея Устюжанина, ни цыгана, ни ящика с шампанским. Бригадирское дело Тофик знал.

Почтительно пожимая обеими руками соломинскую руку, Тофик говорил:

— Очень, очень рад видеть вас на нашей буровой! Какая радость! Первый секретарь обкома к Рустамову приехал! Саша! — позвал он.— Скажи там, чтобы чай был!

— Ты бы хоть побрился,— заметил Соломин.

— Немножко не было времени, Филипп Ермолаевич. Маленькая авария... Пришлось поработать без перерыва,— Тофик посмотрел на часы,— тридцать шесть часов не спал!

— Веселая у тебя буровая!

— Вы об этом? — Тофик поморщился досадливо.— А! Это чистая случайность! Совпадение. Упустил инструмент, бывает. А вообще ска-

жу,— Тофик понизил голос,— отличный рабочий! Самый лучший бурильщик! По Башкирии знаю. Мастер. Умница! Рационализатор... Морально совершенно устойчив, непоколебим... Просто очень расстроился человек, надо познать... Травма души... Вот он и позволил себе...— Говоря это, Тофик почтительно увлек Соломина в сторону культбудки.

— Ты мне про него не объясняй, мы с ним все обсудили.— Соломин глянул на Рустамова.— Ну что, будет фонтан?

— Обязательно будет!

— Когда? — с надеждой спросил Соломин.

Тофик отвел глаза.

— Это другой вопрос.

— Где?

— Здесь, конечно, вряд ли... Но есть одно место... недалеко.

— Не на Чертовой гриве, случайно?

— Откуда знаете?

— Я ж местный!

— Во такое место! — Тофик поднял большой палец.— Чуть не утонул! Там должна быть!

— Что ж вы там сразу-то не забурились? — с досадой спросил Соломин.

— Невозможно. Болото — дна нет! Была бы техника! С тяжелыми вертолетами я бы там поставил! А тракторами только зимой! Так что на будущий год.

— Эх, Рустамов,— вздохнул Соломин.— А мне сейчас нефть нужна! Вот так! — Соломин провел ребром ладони по горлу и, тяжело ступая, пошел в сторону кладбища...

День клонился к вечеру.

Соломин медленно брел по заросшему кладбищу, поглядывая на могилы, на кресты, перечитывая давно знакомые надписи.

У одной могилы он остановился, надолго задумался. Какое-то шуршание в траве привлекло его внимание.

Соломин повернул голову и увидел быстро ползущего меж будыльев травы маленького юркого старика. Старик шуршал, быстро полз на коленях, время от времени стараясь прихлопнуть ладонью что-то ему одному видимое.

Соломин пошел следом, нагнал. Приглядевшись, узнал Вечного деда.

— Здравствуй, дедусь.

Старик обернулся.

— А, Филя! — И снова принялся преследовать кого-то в траве.— Прилетел? Давно не был.

— Ты кого ловишь?

— Не твое дело! — отрезал старик.— Помогла моя травка-то? К зиме снова настой будет. Приезжай. На могилку залетел?

— Да, дедусь. А то ведь скоро затопят, слышал?

— Не затопят! — уверенно сказал дед.

Соломин снисходительно улыбнулся:

— Совет Министров подписал.

— Это сгоряча, — говорил дед, продолжая свою вахту.

— Там назад своих решений не берут.

— А ты на что?

— А я согласен, — улыбнулся Соломин.

— Не ври!

— Согласен, — повторил Соломин, — убедили.

— Не криви душой-то!

Дед наконец поймал какую-то невидимую тварь и стал засовывать ее в берестяную коробочку.

— Э-э, Филя, забыл ты, видно, — дальше Сибири не сошлют...

Филипп Ермолаевич Соломин стоял на обрыве. Река внизу терялась среди таежных занавесей. На той стороне стояли недвижно леса, подернутые туманом. Внизу, под обрывом, стояла готовая к отплытию баржа.

С буровой доносился ровный гул дизелей.

— Друг, закурить имеется? — раздался за его спиной сильный голос.

Соломин оглянулся и увидел Алексея и цыгана.

— Это ты? Ну что, помирились?

— А ты думал! — Алексей старался казаться бравым, но видно было, что зашел на последний круг.

Соломин протянул ему папиросы и жестко сказал:

— Пора бы и успокоиться, Устюжанин.

— А ты откуда меня знаешь? — изумленно уставился тот.

— Да ты сам мне представлялся.

— Не помню что-то...

Соломин внимательно разглядывал Устюжанина.

— Я все думаю, где я тебя видел?.. Просто на отца ты здорово похож, — заключил он и пошел в сторону деревни.

Протяжно закричал буксир от баржи.

— Я поехал, Алеша, — сказал цыган.

Алексей не ответил, он глядел вслед уходящему Соломину, словно тоже стараясь что-то вспомнить.

— Я поехал, — повторил цыган и пошел вниз, к реке. — Прощай.

— Бывай, — сказал Алексей, с трудом приподнимая вдруг отяжелевшие веки. — Пиши.

— Не могу! — крикнул цыган. — Я неграмотный!

И он ударил по струнам, пронзительно зазвеневшим, запел.

И застонала, полилась над таежной рекой протяжная и задумчивая, грустная и удалая цыганская песня.

Она провожала улетающий вертолет, в котором у окна сидел секретарь обкома Соломин и смотрел, смотрел на свою родную деревню, на кладбище у обрыва, на буровую за кладбищем, и все становилось меньше и меньше, теряясь в бесконечном море тайги...

Под эту песню уходила по свинцовой осенней реке последняя баржа...

Под эту песню задумчиво сидели в балке свободные от вахты буровики...

А Сашка мечтательно глядел с высоты на окружавший его мир.

А Тофик с неистовым упорством продолжал свою бессменную вахту. Крутились лебедки. Работали моторы.

А Тая, словно прислушиваясь к этой песне, сидела у окна, положив голову на руки.

И наконец утомившийся Алексей Устюжанин спал, привалившись к могильному столбику с полустершейся надписью: «Николай Устюжанин. 1897—1932»...

Под эту песню чьи-то руки бережно подняли Алексея с земли. Это верные друзья Ваня, Петро, Сашка уносили своего непутевого бурильщика отсыпаться...

...По длинному коридору правительственного здания, сейчас безлюдному, шел Филипп Ермолаевич Соломин. Он остановился перед одной из массивных дверей. Вошел.

Секретарь приветливо улыбнулся Соломину:

— Здравствуйте, Филипп Ермолаевич. Федор Петрович вас уже спрашивал...

В кабинете за столом сидел ответственный работник ЦК КПСС, знакомый нам по тому солнечному дню далекого военного сорок второго года, когда он, молодой капитан первого ранга, носился на вездеходе в поисках своего фронтового друга Филиппа Соломина.

Федор Петрович пристально смотрел на сидящего напротив него секретаря обкома. Оба долго молчали. Наконец хозяин кабинета негромко сказал:

— Что же ты со мной делаешь, Филипп?

— Что? — не глядя ему в глаза, спросил Соломин.

— В среду было обсуждение, — негромко начал Федор Петрович, — зашла речь о недопустимой задержке строительства ГЭС в твоей области. И к тому же в твоей областной газете появилась статья, прямо выступающая против строительства. Значит, продолжаешь свое?

— Да, продолжаю.

Федор Петрович покачал головой:

— В двадцатых тебя бы просто расстреляли за саботаж... И меня... за попустительство.

— Наверно, — согласился Соломин. — Но это не саботаж, Федор. Саботаж — это пассивное сопротивление, а я против этого проекта.

Федор Петрович нахмурился:

— Вот что, Филипп, мы с тобой старые друзья. У нас никогда не было недомолвок. Я в Политбюро поддерживал твое выдвижение на пост секретаря обкома. А теперь начинаю думать, что поторопился! На фронте я бы тебе доверил корпус... армию! Но руководить областью, видимо, тебе трудно...

Соломин потер виски.

— Летом я за границу ездил, в Африку... Представь картину: сидит босой человек на песке, а песок такой, что ткнешь пальцем — фонтан нефти! Так вот, они собираются национализировать все иностранные нефтяные компании! Понимаешь, чем это пахнет?

Федор Петрович молчал. Соломин продолжал:

— Ленин после революции говорил о необходимости освоения богатейших недр Сибири. Сорок лет нам мешали — войны, разрухи, восстановление, опять войны. И только сейчас, во второе мирное десятилетие, мы можем наконец начинать осваивать Сибирь! Только сейчас у нас появилась техника, средства, специалисты. Ты ведь сам работал в Сибири, знаешь — без современной техники там гибель! А мы собираемся затопить, похоронить к чертовой матери под водой, может быть, перспективный район! Вот тебе вся политика!

Федор Петрович молчал, курил. Соломин продолжал:

— И пока я секретарь обкома, я буду требовать по меньшей мере в десять раз больше техники и средств только на одно — на поиски нефти и газа! Скоро наступит такое время, когда мы будем жалеть не только об упущенных годах, но о месяцах и даже днях!..

Федор Петрович покачал головой, усмехнулся:

— Ну и насобачился ты слова говорить, капитан второго ранга! — И серьезно добавил: — А если там нефти нет?

— Есть! — твердо сказал Соломин. — Не один я в это верю!

— А если все-таки нет? Ты понимаешь, какие миллиарды полетят на ветер?

Соломин посмотрел в глаза фронтовому другу и с чувством сказал:

— Федор, вспомни войну. Много бы мы с тобой тогда боев выиграли, если бы не рисковали? Ты же отчаянный мужик! Ты должен меня поддержать... И тогда мы выиграем!..

— А если нефти все-таки нет? — в третий раз спросил Федор Петрович.

— Тогда что ж... — Соломин развел руками и вдруг озорно улыбнулся: — Дальше Сибири не сошлют!

Снег в Елани ранний. А в этом году пошел в конце сентября. Низкое свинцовое небо цеплялось за верхушки елей.

Алексей дотащил мешок до амбара — огромного дощатого бассейна, заполненного до краев глинистым раствором. Там он разорвал мешок, стал пересыпать глинопорошок.

А сам все поглядывал в сторону буровой.

Около вышки собралась почти вся бригада.

На пульте за бурильщика стоял Петро. От устья медленно подымалось дымящееся корявое колонковое долото, которое ставят для взятия проб.

Сашка и Ваня ухватили свечу, оттащили в сторону.

Из культбудки выскочила лаборантка Катя. Запахнув ватник, побежала в сторону буровой. Пробегая мимо Алексея, позвала:

— Алексей Николаевич, пойдете — новую пробу вытащили!

— Чего смотреть-то? — спросил Алексей.

— А вдруг нефть нашли?

— Жди... нефть, — усмехнулся Алексей.

В воздухе неожиданно беззвучно повис вертолет. Ветер относил рев моторов.

Алексей посмотрел, как Рустамов и еще двое пошли к вертолету встречать начальство, потом загасил окурок задубевшими пальцами и взялся за новый мешок.

Мешок был рваный, и, чтоб не рассыпать глинопорошок, он не стал взваливать его на плечо, а понес на руках, прижимая к животу. Тащить было неудобно, Алексей прибавил шагу.

Из-за дизельной высунулась улыбающаяся физиономия рыжего, потом вышел он сам. В руках держал кол с прибитым к нему листом фанеры. На фанере тавотом было намалевано: «Да здравствует свобода! Последний день каторжных работ!».

Рыжий приблизился к Алексею на безопасное расстояние и крикнул:

— Эй, граф Монте-Кристо, завтра опять бурильщиком станешь!

Алексей, не обращая на него внимания, тащил мешок. Рыжий не унимался:

— Устюжанин! Завтра у тебя реабилитация! С тебя причитается! Алексей неожиданно бросил мешок и кинулся к рыжему.

Тот увернулся. Выставив перед собой фанеру, он размахивал ею, не подпуская Алексея.

— С тебя пузырек, Устюжанин!

Алексей смеялся тоже, пытаясь вырвать фанеру из рук рыжего. Наконец это ему удалось.

Рыжий отскочил, готовый защищаться, но Алексей не собирался нападать. Он улыбался, тяжело дыша, потом пошел к навесу и воткнул плакат в грязь — для всеобщего обозрения.

Затем подобрал мешок и потащил к амбару.

В лаборатории среди колб и проб с кернами сидели Тофик и прилетевший главный геолог треста Юрий Михайлович Гурьев.

Гурьев разбирал диаграммы, сводки. Тофик докладывал:
— Это уже вторая проба. Как видите, Юрий Михайлович, интересных объектов нет.

— Что предлагаешь? — коротко спросил Гурьев.

— Ликвидировать скважину.

Гурьев глянул на Рустамова, усмехнулся:

— Ведь это первая скважина в новом районе. Даже если она даст воду, и то больше пользы, чем уехать без новых данных. Я тебя не узнаю!

Тофик покачал головой:

— Мы три недели потеряли из-за аварии. А теперь еще одна бессмысленная работа.

Гурьев помолчал, потом поднял тяжелый взгляд на Тофика:

— Ну, ликвидируешь ты скважину, а дальше?

— Дам отпуск, а потом перебазируюсь на пятнадцать километров к востоку. Прямой выход газа! — Взгляд Тофика загорелся. — Метан, сам нюхал.

— Где? — коротко бросил Гурьев.

Тофик развернул карту.

— Вот здесь где-то. Чертова грива, ее на карте нет. Там геодезистов не было. Такое место, просто заколдованное, точно говорю!

Гурьев изучающе посмотрел на Рустамова, потом сказал:

— Ну вот что!.. Ты тут, по-моему, сам слегка одичал... Колонну спустить, скважину испытать. Потом всем отгул. Ясно?

— Ясно.

— А пока вы в себя придете, мы на твое заколдованное место пошлем сейсморазведку... Где у тебя рация? — И главный геолог вышел из лаборатории.

Не успел он выйти, как в дверь просунулась голова Устюжанина:

— Можно?

— Заходи, Алексей.

Алексей вошел, остановился перед Рустамовым.

— Ну вот, тридцатая вахта кончилась, Тофик Закирович.

— Понятно. Завтра встанешь за пульт.

— Я месяц проработал чернорабочим?

— День в день.

— Вину искупил?

— Ну? — не понимал Тофик.

— Вину перед коллективом искупил или нет? — настаивал Алексей.

— Я же говорю: завтра встанешь бурильщиком.

— Значит, искупил? — повторил Алексей.

— Искупил, — кивнул Тофик.

— Тогда вот! — Устюжанин выложил на стол бумажку. — Увольняюсь. Подпиши заявление.

— Аеша, погоди, — покачал головой Тофик.

— А чего ждать? — спокойно сказал Алексей. — Я, Алексей Устюжанин, разведчик... между прочим, кавалер орденов и медалей... бурильщик восьмого разряда, проработал месяц чернорабочим! Чего теперь ждать? Кому от этого хорошо?.. Я могу всю жизнь мешки таскать, если для дела!.. А это для чего? Воспитывать надумал? Мало меня по детдома воспитывали?.. А может, для тебя хорошо?.. Так я же видел, как вы без меня ковырялись через пень-колоду!.. Вот так!.. Не будем, Тофик. Как говорится, забудем старые обиды... Так что, если не подпишешь, сам уеду!..

— Уходи, уходи, — тихо сказал Тофик, — просить не будем.

— Да ты не обижайся,— улыбнулся Алексей.— Честно говоря, я уехал бы и так.

— Куда поедешь? — спросил Тофик.

— Мало ли мест? Может, обратно в Башкирию, а может, в Египет, на Асуан, там, говорят, бурильщики нужны...

— Алексей,— Тофик старался подобрать слова,— я не хотел тебя обидеть... Я...

— Да ты что? — Алексей встал.— Все путем!

Он направился к двери. Рустамов остановил его:

— Алексей! Что же, на Чертовой гриве мы без тебя забуримся?

— Выходит, так.— Алексей подмигнул Тофику.— Там не скучно будет! Ну, я пошел собираться.— И он тихонько прикрыл за собой дверь.

Тая вытерла мокрым полотенцем коровьи соски, подняла ведро с молоком и вышла из хлева. Она запахла кофту и пересекла двор — сильный ветер со снегом свистел в резных коньках крыш.

Посреди избы стоял Алексей. У ног его примостился потрепанный чемодан.

Тая не удивилась его приходу, молча прошла в кухню, поставила ведро, спросила:

— Ты что это с чемоданом?

— Зима ранняя,— беспечно улыбнулся Устюжанин.— Гляжу, лебеди на юг собрались. Мне тоже за ними.

Тая вышла с кухни, сложила руки на животе.

Алексей, не дождавшись приглашения, сам сел за стол.

— Уезжаешь, значит? — спросила Тая.

— Надо.

— В Сочи?

Он промолчал. Лицо его стало неожиданно серьезным, почти печальным.

— Ты что? — спросила Тая.

— Тай... ты простить меня можешь?

— А я на тебя не в обиде.

— Правда? — Он поднял на нее глаза.

Тая прошла к столу и села напротив.

— Помнишь, в лесу ты спросил, почему я не замужем?.. Я ведь тебя после войны ждала... Шесть лет...

— Врешь! — вырвалось у Алексея.

Тая покачала головой и улыбнулась:

— Дурочка была... Шесть лет просидела, а потом на паром устроилась... чтобы до Сочи доплыть, тебя найти...— Она вздохнула.— Только через Салехард до Сочи больно трудно добираться. Это в другую сторону...

Алексей смущенно улыбнулся, махнул рукой.

— Тебе скажу. Я ведь в Сочи и не был никогда.

— Ну да?

— Точно! — Он торопливо заговорил: — В кино видел, а потом все попасть мечтал. Да и некогда было. То детдом, то война... То нефть эта проклятая! Да и дорога длинная — деньги довести невозможно, сколько б ни было.

Они помолчали. Потом Алексей спросил:

— Так это правда?

— Что?

— Что ждала?

— Правда.

Алексей глянул на нее и с тоской произнес:

— Выходи за меня, Тая!

— Не пойду, Алеша...— Она лукаво прищурилась.— Да и ты не возьмешь меня.

— Возьму.

— Не возьмешь... Я беременная...

— Ну, ты даешь! — вырвалось у Алексея.— От кого?

Тая долго молчала, потом отвернулась к темному окну:

— Не знаю.

Алексей закурил, прошелся по комнате, потом решительно сел за стол.

— Ладно, Тая, все равно! Беру не глядя!

Она засмеялась:

— Нет, Алексей, не пойду... Не нужен ты мне.

Он словно ждал этих слов, закивал головой, глядя в узорчатую клеенку.

— И тебе я не нужен! всю жизнь я только своей родине был нужен! А больше никому!..— Он затушил папироску, твердо сказал: — Ладно, собирайся! Будем другую жизнь строить! Слово Устюжанина!

Тая покачала головой:

— Нет, Алексей. Я серьезно.

— Да как же...— Алексей растерялся.— Ребенок как без отца?

— Это ты, что ль, отец? — Она снисходительно посмотрела на него.— Нет, Алеша, ребеночек у меня теперь есть, а больше мне никто не нужен...

Алексей исподлобья глянул на нее, помолчав, медленно произнес:

— Ну что ж, Таисия. Видно, моя очередь ждать пришла... Я дождусь, я упрямый!

Тая подняла глаза. Они смотрели в упор друг на друга.

И в ее взгляде, твердом и непроницаемом, стала недоверчиво проступать зарождающаяся надежда...

И вдруг задрезбжали оконные стекла и какой-то загадочный глухой гул донесся до них.

— Авария! — закричал кто-то под самым окном.

Прогрохотали гулкие удары в ворота. Залаяла собака.

— Авария! Выброс! На по-о-мощь!..

Голос сорванню и сипло кричал, удаляясь.

Алексей вскочил, глянул на Таю.

— Сиди дома! — коротко бросил он, выбегая из избы.

На улице почти стемнело. Над селом стоял давящий в уши неслыханный рев стихии. Мимо Алексея бежали люди, по дворам слышались крики, собачий лай.

Алексей кинулся в сторону буровой. Дул сильный восточный ветер, заметая сухую порошу по подмерзлой к ночи дороге.

Еще не добежав до кладбища, Алексей почувствовал знакомый острый запах метана. Он обогнал ковыляющего Спиридона.

Впереди вместо привычного сияния огней буровой он не мог различить ничего, кроме неясного черного облака. Он почувствовал на лице морозящий дождь. С неба сыпалась липкая черная нефть. «Ветер сносит!» — догадался Алексей и ускорил бег.

На повороте дороги он столкнулся с рыжим, который скачками несся мимо, но Алексей ухватил его за скользкий от нефти ватник.

— Где все?

— Почему знаю? — Рыжий дико, невидяще глянул на Алексея, вырвался и исчез в густой пелене маслянистого дождя.

В сгущающихся сумерках был виден контур буровой, а над ним, обиваемый сильным ветром, ревуший страшным, невообразимым грохотом фонтан. Алексей взгляделся.

Буровая на глазах разваливалась. Земля под ногами вздрагивала гулками толчками — эти толчки, этот подземный все нарастающий гул лишал способности рассуждать, пробуждал в сознании только одно инстинктивное желание — бежать прочь, спастись от чего-то беспощадного, неукротимого, необъятного...

Выворачивая доски, огромное бревно из настилы встало дыбом, рванулось вверх и, как спичка, завертелось в воздухе. Застучали по переборкам детали трансмиссии, коротко, как осколки разрывного снаряда.

Какие-то фигурки откатывали в сторону бочки с горючим. Алексей кинулся к ним, рывком развернул одного за плечи, это был один из бульдозеристов — Степан.

— Где Тофик? — прокричал Алексей.

— Там! — Степан махнул в сторону ревущей темноты.

Пригибаясь, как на передовой, Алексей побежал.

С каждым шагом рев нарастал, распирал голову, ломил уши. Он увидел лежащего в канаве Рустамова, с размаху шлепнулся рядом с ним в грязь. До фонтана было метров двести, но чтобы услышали, нужно было кричать в ухо.

— Все живы? — прокричал Алексей.

Тофик пожал плечами и неопределенно кивнул.

Алексей крепко сжал руку Тофика и радостно улыбнулся. Тот посмотрел на друга, улыбнулся в ответ.

— Ну и прет! — крикнул Алексей.

С лязгом полетели обломки крепления, и многотонная махина лебедки встала на дыбы, буровая вздрогнула, покосилась... И словно взорвалась бомба — полыхнуло пламя, длинным языком взметнулось в небо и высветило ночную тайгу на десятки километров.

Тофик и Алексей закрылись руками — жаром обдало лицо. Клубящиеся огненно-черные валы медленно покатались по земле и взмыли в воздух.

Алексей захохотал:

— Вот так Елань! Во дает!

Стало светло, как при багряном закате.

— Степан технику не отогнал! — крикнул Тофик.

У амбара стоял гусеничный кран и два бульдозера. Пламя неверным светом играло на отполированных ножах.

Грохот усилился. Сорокаметровая вышка раскалилась до малиновой прозрачности.

Тофик закричал что-то с изменившимся лицом, но голоса не было слышно. Алексей глянул, куда указывал бригадир.

Чья-то фигурка, закрывшись рукавом, бежала к бульдозерам.

— Сашка! — крикнул Алексей.

Сашка не добежал нескольких шагов — рванула забытая впопыхах бочка с соляжкой.

Сашка вскинулся и упал. В этот момент насосные трубы, смотанные вместе с толстыми шлангами, оборвались и, корчась от жара, медленно, словно нехотя накрыли встающего Сашку.

Алексей не думая вскочил и побежал. Он пробежал метров пятьдесят и почувствовал, что дышать ему нечем.

Жар становился нестерпимым, глаза вылезли из орбит.

Алексей обежал бульдозеры. На обращенной к огню стороне кабины краска шипела и пузырилась.

В сухой раскаленной пыли, в которую успела превратиться за-

мерзшая грязь, лежал Сашка. Он извивался, пытаясь выползти из-под накрывших его труб, но бесполезно.

Алексей схватился за трубы и тут же отдернул руку — кожа прилипла к раскаленному металлу, и теперь лоскутки ее шипели, поджариваясь.

Сзади подоспел на помощь Тофик. Он обернул трубы обрывком брезента, и теперь они вдвоем, напрягаясь до предела, тащили их вверх. Безднадежно — исковерканные при падении трубы плотно переплелись с бревном и вряд ли даже вдесятером можно было бы их приподнять.

Сашка кричал что-то. От жара нижняя губа его треснула, по подбородку струилась кровь.

Тофик поднял кусок троса и показал Алексею на кран. Тот понял, кинулся к гусеничному крану, который стоял с краю, завел его, стал разворачивать кабину, потом спускать крюк.

Тофик тем временем пропустил трос под трубами, спиной прикрывая Сашку от полыхавшего совсем рядом пламени, ждал, пока крюк спустится вниз к тросу.

Крюк спускался предательски медленно.

Оцепеневшие люди на опушке леса глядели на две крохотные фигурки. Ярко высвеченные огнем, они копошились почти вплотную с гигантским, рвущимся из недр факелом.

Ветер переменялся, и клубящееся пламя медленно стало оседать прямо на них. Все ниже, ниже...

Стрела крана накалилась, стала малиновой.

Рукавицы Тофика дымились. Размочалившийся конец троса не завязывался на крюке.

Треснули и закурчавились клеенчатые сиденья в кабине крана. Алексей, закрываясь воротником, натянул кепку на уши. У него тоже лопнула губа, и кровь текла прямо на липкую лоснящуюся телогрейку...

А в культбудке, изрешеченной словно артиллерийским огнем, надрылся у радики Ваня:

— ЕТА-ноль-семь!.. ЕТА-ноль-семь!..

В трубке трещало, с улицы неся неумолчный гурбинный рев.

— ЕТА-ноль-семь!.. Повторяю сообщение: на скважине Р-четыре-надцать Еланской буровой экспедиции в двадцать один ноль-ноль при подъеме инструмента произошел внезапный газонефтяной выброс...

Грохочущий удар разнес в щепы левый бок будки, огромный розовый кусок раскаленного металла, пропоров одну стену, вонзился в противоположную. Разлетелись вдребезги стол и табурет, рация повисла на проводах. Ваня, не вытирая крови на сорванной щеке, продолжал передачу:

— Как слышите? Прием!..

...Наконец Тофик махнул рукой.

Алексей рванул рычаг, но тот не поддавался. Может быть, стали плавиться оловянные шайбы, а может быть, уже просто не было сил.

Алексей уперся ногой в щиток, обеими руками тащил рычаг на себя. Вылетело переднее стекло, осколки посыпались прямо на Тофика. Но крюк пошел вверх. Трубы стали медленно подниматься.

Тофик наклонился над Сашкой, схватил его под мышки, потащил.

От напряжения он поскользнулся и упал, поднимая клубы раскаленной пыли. Сашка пополз в сторону.

Тофик увидел полыхавшую кабину крана и темную фигуру Алексея, которого накрывала волна взорвавшейся в баке солярки.

В этот момент земля под Рустамовым гулко вздрогнула, зашаталась. Он пополз на четвереньках, вышолзая из этого ада.

Передняя часть крана, выступающая из пламени, вдруг задралась кверху, словно корма лодки на волне, а потом попятилась и провалилась в расступившуюся землю, из которой высунулись рыжие огненные языки.

Это был грифон — выход попутного газа через трещины в земле.

В эту огненную пропасть рухнул кран, унося с собой Алексея Устюжанина.

Чьи-то руки подхватили Тофика и Сашку.

Петро, Степан, рыжий в мокрых дымящихся ватникам оттаскивали их от огня...

Длинный коридор правительственного здания. Пусто. Только перед входом в коридор стоял дежурный офицер охраны.

Массивные двери с надписью «Политбюро ЦК КПСС».

В приемной вдоль стен стулья. Несколько человек сидели поодаль друг от друга. Все мужчины. Разного возраста; каждый внутренне сосредоточен, отрешен.

Еле слышно зашелестел телефон. Секретарь — молодой, интеллигентного вида человек — поднял трубку.

— Приемная Политбюро, — тихо сказал он. — Да, он здесь. — Секретарь бросил взгляд в угол.

В углу сидел Филипп Ермолаевич Соломин. Губы его сжаты, он собран, готов к очень нелегкому разговору.

— Минуту. — Секретарь взял ручку и стал записывать.

Все, кроме Соломина, смотрели в сторону секретаря.

Секретарь кончил писать и сказал в трубку:

— Принял Кузьмин.

Он встал, пересек приемную и протянул записку Соломину:

— Вам, товарищ Соломин... Срочная телефонограмма.

«Еланская скважина Р-14 выдала фонтан нефти. Неожиданный выброс нефти и газа привел к аварии. При попытке ликвидировать фонтан погиб бурмастер Устюжанин Алексей Николаевич, 1923 года рождения...»

Соломин пробежал телефонограмму глазами, опустил руку, потом снова перечитал ее, пытаясь вникнуть в смысл написанного.

— Устюжанин... Устюжанин... — напряженно проговорил Соломин и вдруг прикрыл глаза рукой.

Теперь он вспомнил все.

Тот страшный день сорок второго года, когда его с распоротым животом тащил на себе молоденький солдатик, вспомнил гнилой запахом воды и пороха.

Он вспомнил этого молодого солдата, которого не узнал при встрече на буровой.

...разрывы бомб, перевернутые арбы, умирающие лошади...

...бредущих по воде...

...надвигающееся акулье тело немецкого самолета и фонтанчики пулеметных очередей...

...и снова улыбающееся лицо мальчишки: «Я шампанское люблю...»

...и снова то же лицо, но теперь повзрослевшее, и грустные глаза, несмотря на улыбку...

...и ящик шампанского на гусенице бульдозера, а рядом поющего цыгана с гитарой...

...— товарищ Соломин, вас ждут! — Кто-то легко коснулся его плеча.

Соломин кивнул, посмотрел на секретаря и пошел в кабинет заседаний.

За большим столом сидели члены Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Соломин подошел к столу и остановился.

С ним поздоровались, предложили сесть. Соломин продолжал стоять.

— Что ж, Филипп Ермолаевич,— сказал председательствующий,— мы внимательно ознакомились с твоей докладной запиской.— Председательствующий перелистал лежащую перед ним папку и прочитал:—«...в ближайшее десятилетие потребность в нефти станет не экономической, но самой острой политической проблемой глобально-го характера. Страны — производители нефти получают в руки рычаги мощного политического влияния на соотношение социальных сил в мировой системе...» — Председательствующий захлопнул папку.— Это справедливо.— Он чуть улыбнулся.— Особенно если глядеть из твоей области. Партия крайне заинтересована в открытии сибирской нефти, однако обсудим, достаточно ли убедительно и обоснованно твое предложение отказаться от строительства крупнейшей ГЭС и переместить несколько миллиардов рублей государственного бюджета из одной области народного хозяйства в другую.

Соломин кивнул.

— Мы слушаем тебя. Сколько минут тебе нужно для доклада?

— Доклада не будет,— помолчав, тихо сказал Соломин.— Не нужен доклад. Нефть в Сибири есть... забил фонтан невиданной силы...

Члены Политбюро переглянулись.

— Чего же ты молчишь? — спросил Федор Петрович, фронтовой друг.

— Простите, мне трудно говорить,— голос Соломина дрогнул,— фонтан аварийный... погиб человек...

— Кто? — спросил председательствующий.

Соломин помолчал, сказал с тоской:

— Как объяснить? Мой земляк. Фронтовик. Мастер бурения... Простой рабочий человек Алексей Устюжанин.

Наступила тишина.

Федор Петрович посмотрел на Соломина, потом поднял глаза. По его лицу было видно, что фамилия Устюжанина ему что-то напомнила...

Председательствующий хотел о чем-то спросить Соломина, но помолчал, потом негромко сказал:

— Предлагаю почтить память...

В скорбном молчании стояли руководители партии и правительства, чья память Алексея Устюжанина, сына Николая Устюжанина — нетерпеливого, горячего борца за справедливость, память внука упрямого чудака Афанасия Устюжанина, рубившего дорогу к центру России.

Над черными еланскими избами висел огромный вертолет «МИ-6», под ним на тросах раскачивался подъемный кран. Старушки глядели на ревущую машину спокойно — привыкли. Вертолет ждал своей очереди на посадку. Над вертолетной площадкой висели

еще две машины. На самой площадке, вздымая порошу, ревел очередной «МИ-6». Рабочие отцепляли мощный тягач «КРАЗ».

Народу сновало много — пожарники, монтажники, понаехало и начальство.

Сбоку, на обрыве, несколько трелевочных тракторов валили лес, бульдозеры сразу же ровняли землю — строилась взлетно-посадочная полоса, и еще не отошел бульдозер, а первый самолет уже пошел на посадку.

Ломая тонкий ледок, пришвартовывалась к берегу самоходная пожарная баржа. И уже опускалась в воду заборная труба. А пожарники разматывали сотни метров шланга — от реки наверх, к кладбищу.

И все эти работы, все крики, все моторы перекрывал мощный, непрекращающийся рев нефтяного фонтана. Пламя извивалось подобно змею-горынычу, и черные крылья его то стремились вверх, то распластывались по ветру, лизали обуглившийся одинокий кедр, ближние, уже провалившиеся кресты и могильные ограды...

В избе было накурено и тесно. Здесь собрался штаб. В углу попискивала новейшая аппаратура, около нее возились военные связисты.

За столом собрались: главный геолог треста Гурьев, секретарь обкома Соломин, начальник отдела министерства — высокий, сутулый, с нервным лицом, обтянутым сухой, словно пергаментной кожей.

Перед столом, глядя в пол, сидел Тофик Рустамов. Руки его были забинтованы, почерневшее лицо в ожогах.

— Такое совпадение бывает раз на миллион, — говорил Гурьев, — пустые пробы, такая глубина плюс слабый раствор...

Представитель министерства поправил очки.

— Все равно — Рустамов допустил нарушение техники безопасности, облегчая раствор. Товарищ Рустамов, вам, надеюсь, известны инструкции?

Тофик молчал, глядя себе под ноги, потом сказал:

— Судить хочешь — суди! Расстреляй! Но отпусти меня сейчас...

— Что такое? — не понял человек из министерства.

— У тебя друг когда-нибудь погибал?! — вдруг выкрикнул Тофик. — Самый близкий?

— Это не снимает с вас ответственности...

— Иди, Рустамов, — хмуρο сказал Соломин.

Тофик поднял с пола шапку и вышел.

Представитель министерства тонкими пальцами стучал по пачке сигарет.

— Судить! Я считаю — судить!

— Угу... — кивнул секретарь обкома. — Его судить, а Героя Труда тебе дать и твоему помощнику, что в Москве остался!

Начальник отдела покрылся пятнами, хотел что-то сказать, но в это время в избу ввалился майор Семенов. Он снял робу, от которой шел пар, скинул каску и, вытирая измазанное сажей лицо, покачал головой:

— Не погасить! Никаких мониторов не хватит!

— Сколько ж тебе надо? — спросил Гурьев.

— Не знаю. Там воронка уже метров пятьдесят — целое озеро нефти! И грифоны растут, метров на сто одна трещина тянется...

— Возможно, что под давлением образовались трещины, — сказал представитель министерства.

— Что предлагаешь? — спросил секретарь обкома Семенова.

— Попробуем... Но, может быть, придется давить взрывом... атомщиков вызывать...

Соломин оглядел людей, потом обернулся к связисту:

— Соедини-ка меня с ЦК.

Сорокаметровая буровая, раскаленная до яркого малинового свечения, готовая рухнуть, плевалась, текла.

Несколько человек смело двинулись к огню. Они были в необычных костюмах. Алюминиевая ткань, молнии по бокам, прозрачные гермошлемы — люди были похожи даже не на космонавтов, а на инопланетян.

Из-за леса высоко в небе показалась стая лебедей. Птицы шли высоко, огибая трепещущий язык пламени, но вдруг какая-то сила — то ли яркий свет, то ли воздушный поток — стала притягивать их к огню. Стройный клин вдруг рассыпался, птицы отчаянно замахали крыльями, стараясь вырваться из заколдованного круга, но, беспорядочно кувыркаясь, полетели в пламя.

Опаленных, их выбрасывало из огневодворота, и ветер растаскивал их беспомощные, изуродованные тела. Умирая, они бились в снегу, в кустарнике, на берегу реки, в ветвях кладбищенских деревьев...

В ветвях тальника лежал полуобгоревший лебедь.

Спиридон выпутал птицу из ветвей, бережно держал ее, трепещущую, на весу, что-то приговаривая.

Ветер слегка опал, и густые хлопья сажки вдруг повалили с неба. Заснеженная опушка леса почернела на глазах.

Спиридон с птицей на руках пошел вдоль опушки, которую на его глазах начисто, под корень срезал огромным лемехом скрепер...

По ту сторону поля за бушующим огнем виднелись фигурки людей...

Спиридон шел, не глядя под ноги, спотыкаясь о пожарные шланги...

— Эй, дед! — вдруг донесся до него сердитый окрик. — Туда нельзя! Знаешь, что такое запретная зона?

— Знаю, — кивнул Спиридон.

Он увидел странную машину, похожую на пушку, но с очень коротким тупым рылом, к ней вело два толстых шланга. На пушке верхом сидел пожарник, мальчишка лет двадцати, в блестящей каске и новенькой форме.

Спиридон, качая птицу, подошел. Посмотрел вопросительно на парня, потом на огонь.

— Во дает! — сказал восторженно мальчишка и, услышав команду по рации, поспешно слез и засуетился у пушки. — Сейчас давить будем!

— Сразу задавите? — спросил Спиридон.

— Ты что! Тут, может, на полгода возни!

— Что ж, это все на воздух выходит? — спросил Спиридон, стараясь вникнуть. — Выходит, зря добро горит?

— Точно, зря, — добродушно махнул рукой парень.

— А трубу заранее не могли провести?

— Да тут ее много.

Спиридон вдруг с презрением оглядел парня:

— Эх вы, хозяева! Тьфу!

С диким воем заметалось пламя, когда на него с пяти сторон ударили скрученные водные столбы. Земля дрогнула. Пламя расслоилось на несколько рвущихся в разные стороны языков. Извивающиеся

ся жгуты описывали над кладбищем огненные дуги, но не сдавались. Снова усилился ветер, и огонь упал на кладбищенские кресты.

Несколько «марсиан» снова в этом огне, и огненные языки лизали их тонкую металлическую одежду, но не причиняли им вреда.

Это было страшно.

Спиридон смотрел, прижимая к груди птицу, и горькая улыбка застыла на его неподвижном лице.

В нескольких шагах от себя он увидел Рустамова. Измазанный, обожженный Тофик безучастно смотрел на пламя.

Спиридон подошел к нему.

— Ну что, ваша взяла? — стараясь перекричать вой пламени, спросил он.

Рустамов вдруг резко повернул к старику воспаленное лицо и яростно закричал:

— Будь она проклята! Будь проклята эта нефть! Зачем я ее нашел?! Зачем я друга потерял?! — И он сел на дымящуюся землю и заплакал, застучал по ней кулаком.

Спиридон подходил к деревне.

У черных деревенских ворот стояла Тая. На ней было теплое пальто, темный платок, рукавицы. Лицо ее было бледно и неподвижно, она словно окаменела.

Отсюда, от ворот, было видно поднимающееся из-за леса пламя, клубы черного дыма.

Спиридон остановился перед ней, молчал, гладил изуродованного лебедя.

Тая тоже молчала.

Наконец Спиридон сказал:

— Кончились Устюжанины. По всему свету кончились! — И вдруг слезы покатились из его глаз. — Вот нехристь непутевый! Вот дурак-то! Надо было ему в пекло лезть...

Тая повернулась к Спиридону, сказала просто:

— Не кончились, Спиридон, Устюжанины... Я от него ребенка ношу.

Старик отшатнулся, посмотрел на Тая, хотел что-то сказать, потом опустил глаза на ее начинающий округляться живот.

Весь облик Таи излучал свет и спокойствие.

— Он был моим мужем... единственным.

Спиридон кивнул и пошел в село.

Вечерело. Спиридон, одетый по-походному, оглядывал свой двор, свой заколоченный дом; отвязал кобеля, поправил на спине ружье, мешок и тронулся со двора.

Он вышел за околицу. У ворот все так же неподвижно стояла Тая, смотрела в небо над лесом. Огромные армейские тягачи тащили мимо насосные установки...

Спиридон уходил по Афониной дороге. Гул от пожарища стал слабее. У мостка стоял Вечный дед.

— Ты куда, Спиридон?

— Куда глаза глядят, — серьезно ответил Спиридон Соломин, — Сибирь большая. Им еще надолго хватит ворочать! Прощай.

Рядом с фонтаном уже строилась новая буровая. Хлопотали монтажники. Вертолеты с воздуха гидромониторами били в пламя. Вой и грохот проникал до сердца...

А Спиридон уходил все дальше и дальше. Мимо Чертовой гривы и туманом подернутых болот.

Мимо старой заколдованной буровой.

Шел, по колено проваливаясь в подмерзшую болотную жижу.
 И рев пробуждавшейся земли совсем уже не был слышен здесь.
 Спиридон остановился, отер лоб. Оглядел родную ему, знакомую тайгу, словно раздумывая, в какую сторону идти.
 Вокруг стояли деревья — мохнатые ели, недвижные черные кедры. Голые нежные ветви багульника. Сухая, зимняя трава...
 — Господи! — сказал Спиридон. — Дорог много, а идти некуда...
 А над лесом сияла, звала, манила, указывала путь ясная звезда.
 Звезда Афанасия Устюжанина...

И ударили в сибирское небо нефтяные фонтаны.
 И радовались измазанные нефтью буровики.
 И бежали навстречу им их жены, как бегут и встречают с фронта солдат — отцов, мужей, сыновей...
 Вот они, герои этой эпохи.
 Нефтепровод «Дружба».
 Дорога к нефти — трудная дорога, опасная дорога, благородная дорога...
 Заседание ОПЕК — организации стран — экспортеров нефти.
 Цены на нефть резко возрастают.
 Шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви:

«Эра огромного прогресса и еще более огромных гохогов, эра богатства, основанная на дешевой нефти, кончилась...»

Кризис охватывает полмира. Паника на биржах Нью-Йорка и Лондона.
 Стоят автомобили по всей Западной Европе и Америке.
 Закрытые бензоколонки.
 Стоят авиалайнеры.
 На грани разорения многие компании.
 1974 год. Пресса мира.
 «Дейли телеграф»:

«Ястребы Пентагона требуют американского военного вмешательства для захвата нефтяных промыслов на Ближнем Востоке».
«Захватят ли США нефть на Ближнем Востоке?»
«Войска США готовы к нефтяной войне...»

Кувейт и Саудовская Аравия минируют все важнейшие нефтяные промыслы на случай необходимости их немедленной ликвидации.

Кончилось бесконтрольное выкачивание нефти из земли Саудовской Аравии.

1974 год. Алжир. Заседание ОПЕК.
 Представитель Саудовской Аравии:

«Мы сокращаем производство нефти!»

Газета «Вашингтон пост»:

«Саудовская Аравия, несмотря на неоднократные заверения в обратном, сократила в прошлом месяце производство нефти на 25 процентов. Это решение — тяжелый удар для США...»

Заседание конгресса США:

«Решение Саудовской Аравии ставит под угрозу мировую экономику».

25 марта 1975 года.

Король Саудовской Аравии убит в своем кабинете. Убийца — племянник короля Фейсал.

Ливанская газета «Аль-Лива»:

«Убийство Фейсала связано с действиями внешних сил...»

«Аннахар»:

«...политические круги безо всякого колебания утверждают — короля Фейсала убрали со сцены, он жертва запланированной политики...»

Кто следующий?

Дорога к нефти — это не только дорога к смерти, это и дорога к миру, к счастью, все зависит от того, кто идет по этой дороге.

И вот уже в космосе советские и американские космонавты.

Космический полет «Союз» — «Аполлон».

Историческое рукопожатие в космосе.

Хельсинки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Выступает Л. И. Брежнев.

Совещание высших политических и государственных руководителей.

Новая эпоха вырастает на основе дружбы и сотрудничества во всех областях науки, культуры.

Человечество не может ждать!

Достижения разума должны служить людям...

И уже зримо проглядывают в окружающей нас жизни черты нового, XXI века. Какое оно, будущее?

Технический прогресс все возрастает.

Новые средства транспорта — воздушная подушка.

Новые летательные аппараты.

Лазер во всех областях хозяйства.

Подводная добыча нефти.

Гигантские эксперименты по космической геологии, медицине, металлургии.

Новая архитектура.

Новые моды...

Новые источники энергии.

Новый человек... Какой он?

Что он принесет планете?

Что он принесет природе, породившей его?

Посмотрите, вот он лежит в родильном доме — потомок Устюжаниных.

Это и есть человек будущего века... Пока что он спит...



ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

★

МЕЧТА

Моя мечта — ей не было предела:
она в атаку бешено летела
в груди, открытой ветру и свинцу,
в груди ткача, рубаки, комиссара.
Сквозь дымку долгих лет и дым пожара
тянусь я взглядом к этому юнцу.

Вот от него попятился неловко
поручик, лихо вскинувший винтовку
и все-таки промазавший спроста.
Тебя, мужицкий конь, скакавший тяжко,
тебя, в боях зазубренная шашка,
за все благодарит моя мечта.

За все. За все. Она и в сорок первом
в глухом лесу несчитанным резервом
сводила баб, подростков, стариков.
И в дело, в дело там порою вьюжной
пускалось партизанское оружие —
от ржавых вил и до дробовиков.

И это там, где плакали мужчины,
радистка за мгновенье до кончины
шепнула мне: «Не век чужая власть...»
Моя мечта наследного удела
в глазах девчонки сгаснуть не успела —
в моих ответным пламенем взялась.

Я помню, жизнь, в твоей бурливой гуще
о тех, что в поколениях предыдущих,
дыша заботой о моей мечте,
недосыпали и недоедали,
не достигали сокровенной дали,
не вырывались к личной высоте.

Я помню — и мечта моя все круче
летит сквозь ветры, синеву и тучи,
летит, презрев покой и забытье.
Летит, летит в атаках мирных форм:
таких, как строки, стройки или форум
сегодняшних приверженцев ее.

Она летит над стариной и новью,
над верой, над сомнением, над любовью.
И в этом мире выстрадано ей
все — от досужих дней до дней работы,
все — от торжеств космических полетов
до тихой грусти липовых аллей.

РАБОТЯГА

В мое оконце Волга дышит сыро.
И, не приподнимаясь с тюфяка,
я вижу бок вечернего буксира
и слышу хрип стального бурлака.

Неукротимы мощь его и тяга.
Но, наши отношения ценя,
любой заклепкой этот работяга
с рождения зависит от меня.

Не зря он завтра или послезавтра
передо мною именован судьбы —
похожий на скелет ихтиозавра —
предстанет без обшивки и трубы.

И сходни заводские взмоют круто,
как будто в устремленье к той дали,
где молодость в какую-то минуту
суда преображает в корабли.

Там по-змеиному шипят баллоны.
И сталь с твоей протянутой руки
там принимают, словно бы драконы,
оскаленные сверлами станки.

Там и не замечаешь, что стареешь,
резак мечом блистающим держа
и прорубаясь, как Иван-царевич,
на свет сквозь паутину чертежа.

А тут в мое оконце дышат годы.
Я сплю без сновидений и забот —

владыка механизмов, царь природы
и вечный раб движения вперед.

Огни дрожат в саратовском затоне,
перебегают строчками вдали.
Я сплю, перед лицом своим ладони
сведя, как полушария Земли.

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

Вместо шуток всерьез, перепалок и смеха
в прокопченной прорабской сейчас тишина.
потому что вчера от начальника цеха
вдруг ушла и назад не вернулась жена.

Вдруг ушла — и в годах, и не больно красива,
и по виду-то не из таких, чтобы вдруг...
На заводе летучки, авралы, прорывы
замыкают тебя в лихорадочный круг.

Управляешься с тем, вспоминаешь про это,
допоздна колготишься у всех на виду.
Ну а ежели стынут на кухне котлеты —
это дело десятое в общем ряду.

Курам на смех работать и думать про распри
с той, что в стенах томится — одна в четырех.
Вот опять появился начальник в прорабской:
всемогущ, вездесущ и всеведущ, как бог.

На пальто воротник из безродного меха.
Шапке с кожаным верхом вторая зима.
Что такое начальник котельного цеха?
То — сама доброта. То — суровость сама.

То — горячность. То — вроде бы как безучастность
к миру главных и все-таки вечных забот.
А куда бы у нас забрели без начальства
и бригада, и цех, и завод, и народ?

Где искать бы оценку шальному проступку?
В чьих глазах отражалась бы времени суть?
Кто сумел бы газетою, свернутой в трубку,
как волшебною палочкой, властно махнуть?

Вот докурит начальник и выйдет наружу,
вот шагнет он вдоль цеха и раз и другой —
и ослабнет чуток предрассветная стужа,
и отзывчиво хрустнет снежок под ногой.

Но откройся тебе хоть пресветлые дали,
будь ты дважды мудрец или трижды титан
где, скажи, у кого и когда совпадали
планы личные и производственный план?

И ребята в прорабской притихли до срока,
и начальник стоит и молчит у окна.
А в окне, как нахохлившаяся сорока,
к перекрестию рамы примерзла луна.

НА ЛЫЖНОЙ ПРОГУЛКЕ

Положась на зыбкую опору
снега, палок и добротных лыж,
я упрямо поднимаюсь в гору —
ты с горы навстречу мне летишь.

Оттененная голубизною,
ты летишь дразняще и светло.
И трепещет шарфик за спиною,
точно неокрепшее крыло.

И лыжня повизгивает тонко.
И снежинки сонною гурьбой
в воздухе кружат, как шестеренки
механизма вечности самой.

Я горжусь нелегкою судьбою.
Но навечно, а не до поры
остается женщина собою —
женщиной, слетающей с горы.

Горькие тревоги не для виду,
сложные заботы обо мне,
хлопоты, терзания, обиды —
только миг на сдвоенной лыжне.

Жертвуемый белому простору
миг приобретений и потерь.
Ты летишь — моя дорога в гору
обрела естественность теперь.

В хаосе рывков, удач, падений
пробирают стынью до костей
и несхожесть наших направлений
и несоразмерность скоростей.

И шальной поземки мельтешенье
на недаром сдвоенной лыжне:
пусть тебе способствует скольженье,
яростно мешающее мне.

Надо мною небо — точно крыша.
Над тобой, срывающейся вниз,
узкий месяц, как бельчонок рыжий,
в затянувшемся прыжке навис.

У висков моих взбухают вены,
на щеках гуляют желваки.
Но да будут днесь благословенны
каждый вскрик твой,
каждый взмах руки!



ЮРИЙ БОНДАРЕВ

★

СТРАНИЦЫ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

ОЖИДАНИЕ

Ажежал при синеватом свете ночника, никак не мог заснуть, вагон несло, качало среди северной тьмы зимних лесов, мерзло визжало под полом, будто потягивало. тянуло постель то вправо, то влево, и было мне тоскливо и одиноко в холодноватом двухместном купе, и я торопил бешеный бег поезда: скорей, скорей домой!

И вдруг поразило: о, как часто я ожидал тот или иной день, как неблагоприятно отсчитывал время, подгоняя его, уничтожая его одержимым нетерпением! Чего я ожидал? Куда я спешил? И показалось до дикости странным, что почти никогда в прожитой молодости я не жалел, не осознавал утекающего срока, словно бы впереди была счастливая беспредельность, а та каждодневная земная жизнь, замедленная, ненастоящая, имела только отдельные вехи радости, все же остальное представлялось нестоящими промежутками, бесполезными расстояниями, прогонами от станции к станции.

Я неистово торопил время в детстве, ожидая день покупки перочинного ножа, обещанного отцом к Новому году, я с нетерпением торопил дни и часы в надежде увидеть ее с портфельчиком, в легоньком платьице, в белых носочках, аккуратно ступающую по плитам тротуара мимо ворот нашего дома. Я ждал того момента, когда она пройдет возле меня, и, омертвев, с презрительной улыбкой влюбленного мальчика наслаждался высокомерным видом ее вздернутого носа, веснушчатого лица, и затем с той же тайной влюбленностью долго провожал глазами две косички, раскачивающиеся на прямой напряженной спине. Тогда ничего не существовало в мире, кроме кратких минут этой встречи, как не существовало и в юности реального бытия до того блаженного часа одурманивающих прикосновений, стояния в подъезде около паровой батареи, когда я ощущал сокровенное тепло ее тела, влагу ее зубов, ее податливые губы, вспухшие в болезненной неутоленности поцелуев. И мы оба, молодые, ненасытные, сильные, сумасшедше изнемогали от неразрешенной до конца нежности, как в сладкой пытке: ее колени были прижаты к моим коленям, и мы почти обладали друг другом в забытии, в отрешенности от всего человечества, одни на лестничной площадке, под тусклой лампочкой, но в то же время не переступали последнюю грань — нас сдерживала стыдливость неопытной чистоты.

Ночь светлела за окном, исчезали обыденные закономерности, движение земли, созвездий, переставал падать снег над безмолвными рассветными переулками Замоскворечья, хотя он падал и падал, буд-то в белой пустоте вселенной, заваливая мостовые; переставала су-

ществовать самая жизнь, и не было смерти, потому что мы не думали ни о жизни, ни о смерти, ибо уже не были подвластны ни времени, ни пространству,— а мы создавали, творили что-то особенно таинственное, главное, сущее, в котором рождалась совсем иная жизнь и совсем иная смерть, неизмеримые сроком XX столетия. Мы возвращались куда-то назад, в счастливую бездну изначальных на земле мгновений, когда не было рационалистических расчетов, в мгновения первозданной любви, толкнувшие мужчину к женщине, раскрывшие перед ними веру в бессмертие.

Гораздо позднее я понял, что любовь мужчины к женщине есть великий акт творчества, где оба чувствуют себя святейшими богами, и присутствие в мире власти любви делает человека не покорителем, а безоружным властелином, подчиненным всеобъемлющей доброте природы.

Нет, я не думал об этом тогда, но если бы спросили, согласен ли, готов ли ради встреч с ней в том подъезде, возле паровой батареи, под тусклой лампочкой, ради ее губ, ее дыхания отдать несколько лет своей жизни, я ответил бы с восторгом: да, готов!..

Иногда думаю, что и война была как бы длительным ожиданием, бесконечным, мучительным сроком прерванного свидания с радостью, то есть все, что мы делали, было за дальними границами любви и потому казалось временным, вынужденным, неестественным. А впереди за пожарами по задымленному, прорезанному пулеметными трассами горизонту манила нас надежда на облегчение, вожденная мысль о тепле в тихом домике среди леса или на берегу реки, где должна произойти какая-то встреча с незавершенным пленительным прошлым и недостижимым будущим. Терпеливое ожидание длило наши дни на простреленных полях и вместе очищало наши души от смрада висящей над окопами смерти.

Я помню первый успех в жизни и предвещающий его звонок по телефону, в котором было обещание этого успеха, долгожданного мною. Я бросил трубку телефона после разговора (никого не было дома) и сдавленным шепотом воскликнул в приливе счастья: «Черт возьми, наконец-то!» И полубезумно подпрыгнул молодым козлом возле телефона и начал ходить по комнате, разговаривая сам с собой, потирая руками грудь. Если бы кто-нибудь увидел меня в эту минуту со стороны, то подумал бы, вероятно, что перед ним сумасшедший мальчишка. Однако я не сошел с ума, я просто был на пороге того, что представляло важнейшей вехой моего существования на земле.

До радостной точки успеха, до знаменательного дня, когда должен был я полностью удовлетвориться, ощутить собственное «я» счастливого человека, нужно было еще ждать не один месяц. И если бы опять спросили меня, отдал бы я часть своей жизни за сокращение времени, за то, чтобы сразу приблизить достигаемую цель, я ответил бы без заминки: да, я готов сократить земной срок...

Разве когда-нибудь раньше я замечал молниеносную быстроту уходящего времени?

И только сейчас — уже будучи немолодым человеком, прожившим лучшие годы своей жизни, переступившим срединную грань века, порог зрелости,— я не испытываю былой остроты радости завершения. И уже не отдал бы ни часа живого дыхания за нетерпеливое удовлетворение того или иного желания, за краткий миг результата.

Почему? Я постарел? Устал? Пресытился?

Нет, только теперь я понимаю, что путь воистину счастливого человека от рождения до последнего растворения в вечности и есть

тормозящая неизбежную мглу небытия радость ежедневного существования в окружающем мире, и я поздно осознаю: какая же бессмысленность торопить и вычеркивать ожиданием цели дни, то есть неповторимость мгновений жизни, данной нам единый раз как драгоценный подарок.

ОРУЖИЕ

Когда-то очень давно, на фронте, я любил рассматривать трофейное оружие.

Гладко отшлифованный металл офицерских парабеллумов отливал вороненой чернотой, рубчатая рукоятка как бы сама просилась в объятия ладони, спусковая скоба, тоже до щекотной скользкости отполированная, требовала погладить ее, просунуть указательный палец к твердой упругости спускового крючка; предохранительная кнопка легко сдвигалась, освобождая золотистые патроны к действию — во всем готовом к убийству механизме была чужая томящая красота, какая-то тупая сила призыва к власти над другим человеком, к угрозе и подавлению...

Браунинги и маленькие «вальтеры» поражали своей игрушечной миниатюрностью, никелем ствольных коробок, пленительным перламутром рукояток, изящными мушками над круглыми дульными выходами — в этих пистолетах все было удобно, аккуратно выточено, все сияло женственной нежностью и была ласковая смертельная красота в легких и прохладных крошечных пуляках.

И как гармонично сконструирован был немецкий «шмайссер», почти невесомый, совершенный по своей форме автомат, сколько человеческого таланта было вложено в его эстетическую стройность прямых линий и металлических изгибов, манящих покорностью и словно бы ждущих прикосновения к себе.

Тогда, более двадцати лет назад, я многого не понимал и мне казалось одно — наше оружие грубее немецкого, но чувствовал подсознательно некую противоестественность в утонченной красоте чужого металла, оформленного как дорогая игрушка руками самих людей, смертных, недолговечных.

Теперь же, проходя по залам музеев, увешанных оружием всех времен — пищалями, саблями, кортиками, кинжалами, секирами, пистолетами, — видя роскошную инкрустацию оружейных лож, бриллианты, вправленные в эфесы, золото, сверкающее в рукоятках мечей, я с тошнотным чувством сопротивления спрашиваю себя: «Почему люди, подверженные, как и все на земле, ранней или поздней смерти, делали и делают оружие красивым, даже изящным, подобным предмету искусства? Есть ли какой-нибудь смысл в том, что железная красота убивает самую высшую красоту творения — человеческую жизнь?»

ЗВЕЗДА ДЕТСТВА

Серебристые поля сверкали в темном небе над спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, особенно добро мерцала мне из далеких глубин галактики, из запредельных высот, двигалась за мной, когда я шагал по пыльной ночной дороге, стояла меж деревьев, когда я остановился на опушке березняка, в прохладе тихой листвы, и смотрела на меня, лучась родственно, ласково из-за черной крыши, когда я дошел до дома.

«Вот она, — думал я, — это моя звезда, вся теплая, участливая, звезда моего детства! Когда я видел ее? Где? И может быть, я обя-

зан ей всем, что есть во мне хорошего, чистого? И может быть, на этой звезде будет последняя моя юдоль, где примут меня с тою же родственностью, которую я ощущаю сейчас в ее добром, успокоительном мерцании?»

Не было ли это общение с вечностью, разговор с космосом, что до сих пор все-таки пугающе непонятен и прекрасен, как таинственные сны детства?

КРИК

Была осень, теплый, ясный день, везде в воздухе разлита мягкая розоватая дымка, осыпались с тополей листья, летели, скользили по асфальту мостовой, мелькали мимо пригретых бабьим летом стен домов. В этом тихом уголке московской улицы до ступиц утопали в шуршащих ворохах осеннего золота колеса машин, как бы покинутых, грустно стоявших в долгом одиночестве вдоль обочин, и сухие листья лежали на крыльях, на радиаторах, собирались кучками на ветровых стеклах, а я шел, слушал хруст под ногами и думал:

«До чего хорошо ощущение этого тихого дня и как хороша поздняя солнечная осень — ее ветерок, ее винный запах, ее листья на тротуарах и машинах, ее тепло и ее горная свежесть... Никогда вот так не замечал, как добра природа в своем обновлении и утратах. Да, да, все естественно и потому прекрасно!..»

И тут мне почудилось, что где-то в доме, над этими безлюдными тротуарами, одинокими машинами, засыпанными листьями, кричала раздирающим голосом женщина.

Я вздрогнул, остановился, я поднял голову, глядя на освещенные солнцем окна, пронзенный неожиданным страшным криком боли, страдания, как будто там, на верхних этажах обычного московского дома, пытали человека, заставляя его корчиться, извиваться в муке под каленым железом. Они были все одинаковы, эти окна, они были уже по-предзимнему закрыты наглухо, а крик женщины то затихал наверху, то нарастал нечеловеческим воплем, визгом и рыданиями последнего отчаяния, какое бывает перед холодом небытия и бездой...

Что там было? Кто мучил ее? Зачем? Почему она рыдала так страшно?

И все погасло во мне — и благословенный московский листопад, и свет осеннего дня, и умиление естественной прекрасной порой бабьего лета, и почудилось, что это кричало от непереносимой боли само человечество, потерявшее ощущение великого и единственного блага всего сущего — радости неповторимого своего существования на земле.

РАССКАЗ ЖЕНЩИНЫ

Когда в армию я сына провожала, очки черные надела, иду, думаю: заплачу если, он не увидит меня такой. Хотела, чтоб красивой *я* меня запомнил...

Гармошка там, парни знакомые были, прощались все, и дядя пришел Николай Митрич, четырнадцать медалей у него за войну, и нетрезвый уже. Смотрел он, смотрел на парней, на девушек, на Ванечку-то моего и заревел, ровно ребенок. Я сына не хочу расстроить, очки у меня черные, терплю, говорю ему: «Ты на дядьку не смотри, пьющий он, слезы-то пустил. Ты в Советскую Армию идешь, я тебе посылочку пришлю, денежек, ты внимания не обращай...»

А он — дерг мешок-то и пошел, отворачивается от меня, чтобы нервы не показать, расстройство свое. И не поцеловал даже, чтоб

чего не случилось. Так и проводила я Ванечку... По десяточке ему посылаю...

А красивый он у меня, девушки ему перчатки дарили. Приходит однажды, говорит: «Вот перчатки Лидка дала, заплатить ей, мама, или как?» «А ты, говорю, ей тоже чего подари, и хорошо будет».

Токарем он работал, да стружка в глаз попала, потом в шоферы пошел, да машиной ворота какие-то своротил, отчаянный и глупый был, а тут — в армию. Солдат он сурьезный сейчас, на посту стоит. В письмах пишет: «На посту стою, мама».

ОТЕЦ

Летний среднеазиатский вечер пахнет пылью; сухо шелестят велосипедные шины по тропке вдоль арыка, заросшего карагачами, верхушки которых купаются в сладостно-покойном после солнечного ада закате.

Я сижу на жесткой раме, вцепившись в руль, мне позволено хозяйничать сигнальным звоночком с пленительной никелированной головкой и тугим язычком, отталкивающим палец при нажатии. Велосипед катится, звоночек тренькает, делая меня взрослым, мужественным, особенно потому, что за спиной отец вращает педали, поскрипывает кожаным седлом, а я чувствую его тепло, движение его коленей — они то и дело задевают мои ноги в сандалиях.

Куда мы едем? А едем мы в ближнюю чайхану, что находится на углу Конвойной и Самаркандской, под старыми тутовниками на берегах арыка, который по-вечернему розовеет, прохладно бормочет между глинобитными дувалами. Потом мы сидим за столиком, липким, покрытым клеенкой, пахнущей дыней, отец заказывает пиво, разговаривает с веселым чайханщиком, усатым, приветливо-крикливым, грубо загорелым до черноты. Тот протирает бутылку тряпкой, ставит два стакана перед нами (хотя я не люблю пиво), при этом подмигивает мне как взрослому и наконец подает в блюдечках жареный миндаль, осыпанный солью... Помню вкус этих хрустящих на зубах зерен, прозрачный лимонный воздух за чайханой, силуэты минаретов среди теплейшего заката, плоские крыши в окружении пирамидальных тополей...

Отец, молодой, сильный, в белой рубашке, улыбается, смотрит на меня, и мы, будто во всем равные мужчины, наслаждаемся здесь после рабочего дня тишиной, вечерней свежестью арыка, зажигающимися огоньками в городе, холодным пивом и пахучим миндалем.

И очень четок в памяти моей еще один вечер.

В маленькой комнате он сидит спиной к окну, а во дворе сумерки, безмолвие; чуть-чуть колыхается тюлевая занавеска; и непривычной кажется мне защитного цвета тужурка на нем, и странно темнеет полоска пластыря повыше его брови. Я не могу сейчас вспомнить, почему отец в позе долго не бывшего дома мужчины сидит у окна, почему такая пустынная тишина в мире, но мне представляется, что вроде бы он ранен, вернулся с войны, разговаривает о чем-то с матерью (говорят они оба почти беззвучными голосами), — и ощущения разлуки, смутной и сладкой опасности, неизмеримого пространства, лежащего за тихим двором, недавнего отцовского мужества, которое было проявлено где-то, заставляют меня испытывать и умиленную близость к нему и почти восторг при мысли о домашнем уюте собранной опять вместе нашей семьи в этой маленькой комнате, похожей на спальню с белыми покрывалами на кроватях.

О чем говорил он с матерью — не знаю. Знаю лишь, что тогда

и в помине не было войны, однако летние сумерки в безмолвном дворе, пластырь на виске отца, его военного покроя тужурка, задумчивое лицо матери — все так подействовало на мое детское воображение, что и сейчас я готов поверить: да, в тот вечер отец, счастливый и грустный, вернувся, раненный, с фронта. Впрочем, более всего поражает другое: много лет спустя, в некий час победного возвращения (в сорок пятом году), я подобно отцу сидел у окна в той же родительской спальне и, как в детстве, снова пережил остропу пришедшего издали ощущения встречи, как если бы просто повторилось. Может быть, давние чувства были предвестием жоей солдатской судьбы и я прошел по пути, предназначенному отцу, то есть сделал, исполнил недоделанное, недоисполненное им? В раннюю пору своей жизни мы тщеславно преувеличиваем возможности собственных отцов, воображая их всеильными рыцарями вселенной, в то время как они всего лишь обыкновенные смертные с заурядными заботами.

До сих пор помню тот день, когда я увидел отца так, как никогда раньше не видел его (мне было тогда лет двенадцать), — и это ощущение живет во мне пронзительной виной.

Была весна, долгие солнечные дни, я толкался со школьными друзьями около ворот (играли в «жестку» на сухом, уже майском тротуаре) и, весь потный, радостный, неожиданно заметил знакомую невысокую фигуру неподалеку от дома. Переулочек был по-весеннему яростно залит солнцем, нежно, сквозисто зеленели тополя за теплыми заборами, и бросилось в глаза: он был маленького даже роста, короткий пиджак некрасив, брюки, очень узкие, нелепо поднятые над шиколотками, подчеркивали величину довольно стоптанных старомодных ботинок, а новый галстук с булавкой выглядел словно бы ненужным украшением бедняка. Неужели это мой отец? Ведь лицо его всегда выражало доброту, уверенную силу, мужественность, а не усталое мертвое равнодушие, оно раньше никогда не было таким морщинистым, немолодым, таким негероически-безрадостным.

И это четко и обнаженно обозначалось весенним солнцем — и все вдруг представилось в отце серым, обыденным, жалким, унижающим и его и меня перед школьными моими приятелями, которые молча, нагло, едва сдерживая смех, смотрели на эти поклоунски большие поношенные башмаки, особенно выделенные дудочкообразными брюками. Они, мои школьные друзья, готовы были смеяться над ним, над его нелепой походкой, слегка кривоватыми ногами, а я, покраснев, чуть не плача от стыда и обиды, готов был с защитным криком, оправдывающим неприятно комичный вид отца, броситься в жестоку драку, восстановить святое уважение кулаками.

Но что же произошло со мной? Почему я не бросился в драку со своими приятелями — боялся потерять их дружбу? или не рискнул сам показаться смешным в той защите?

Нет, тогда я не думал, что настанет срок, когда в некий весенний чужой мне день я тоже окажусь чьим-то жалким, смешным, нелепым отцом и меня тоже постесняются защитить.

BALISTES CAPRISCUS

В Западной Африке и Южной Америке обитает странная, казалось бы, рыба *Balistes capriscus*, рыба с человеческим лицом, — раз я видел ее в копенгагенском аквариуме. Она зловеще вращает глазами, дышит, как человек, большой насморком, чуть приоткрывая губастый

рот, — это не рыба, а отвратительный, вздувшийся человеческий профиль, обросший плавниками, некое жестокое кошмарное видение, некий страшный персонаж, сошедший с картин Босха и Брейгеля.

Видели ли когда-нибудь эти два художника подобную рыбу?

Нет, они не были ни в Африке, ни в Южной Америке, они жили в Нидерландах. Подобный образ получеловеческой головы, полурыбы создало их воображение — обостренная фантазия, — направленное против физического и нравственного уродства человека.

Действительность выше даже самой неограниченной, гениальной фантазии; в неизмеримой воображением жизни есть все, поэтому творчество человека никогда не достигнет исчерпывающей красоты или всей безобразности многоликой и многогранной реальности.

СВЕТ В ОКНЕ

Особенно помню январские метелицы, скрип мерзлых тополей в переулке, верховой ветер гремел железом крыши, срывал снежную пыль с карнизов, нес ее вдоль побеленных заборов, над свежими сугробами, а оно, это единственное среди ночи окно, светилось зеленым уютным пятном и, всегда одинаково яркое, теплое, занавешенное, притягивало к себе, вызывало томительное ощущение неразгаданной тайны.

Неизменно каждый вечер меня встречал в переулке этот приятный-домашний маячок в деревянном домике, этот загороженный занавеской огонек настольной лампы — и я представлял маленькую натопленную, пахнущую деревом комнату, стеллажи, заставленные старыми книгами, по всем стенам, потертый коврик на полу перед диваном, письменный стол, стеклянный абажур лампы, распространяющий световой круг в полумраке, и кого-то тихого, мило сутуловатого, в старческих добрых морщинах, кто одиноко жил там, окруженный благословенным раем книг, листал их ласкающими пальцами, ходил в тишине комнаты шаркающей походкой, думал, работал до глубокой ночи за письменным столом, ничего не требуя от мира, от суетных его удовольствий. Но кто же он был — ученый, писатель? Кто?

Раз прошлой весной (в темноте набухшей сыростью мартовской ночи пахло талым снегом, всюду капало, шуршало, тоненько звенели расколотые сосульки, фиолетовыми стеклышками отливали под месяцем незамерзшие лужицы на мостовой) я с ожиданием скорого лета глядел на знакомое, таинственное, бессонное окно, на ту же, как всегда, зеленовато-теплую, освещенную изнутри занавеску, испытывая вдруг совсем уж необоримое чувство. Мне хотелось подойти, постучать в стекло, увидеть колыхание отодвинутой материи и его родственное в моем воображении лицо, белое, иссеченное сеточкой морщин вокруг прищуренных глаз, увидеть стол, заваленный листами бумаги, внутренность комнатки, забитой книгами, старенький коврик на полу... Мне хотелось сказать ему, что я, наверное, ошибся номером дома, никак не найду нужную мне квартиру по адресу — примитивно солгать так для того, чтобы хоть мельком заглянуть в пленительно-покойный этот воздух чистоплотного его жилья и работы в окружении книг, казалось, единственно верных его друзей на земле.

Но я не решился и не постучал; позднее же не мог простить себе этого.

Нет, в мире спустя месяц ничего не изменилось, все было по-прежнему, а в тихоньком переулке была полная весна, прозрачный майский вечер синими тенями лежал на тротуаре, медленно темнело в глубине замоскворецких дворики; среди свежей, молодой

зелени зажигались фонари над заборами, и мне было видно, как майский жук с тугим гудением потянул из сумерек, ударился о стекло фонарного колпака, упал на жесткую свою спинку на тротуар, замер, потом задвигал ошеломленно лапками, пытаясь перевернуться. Тогда я помог ему носком ботинка, сказав зачем-то: «Что ж ты?..» Он пополз по тротуару к стене дома, к водосточной трубе (она была в трех шагах от окна), и тут только почувствовал я какое-то тяжкое неудобство, внезапную пустоту, холодно глянувшую на меня из густой синевы майских сумерек.

Окно в домике не горело. Оно было темным, как провал...

Что случилось?

Я дошел до конца переулка, постоял на углу минут двадцать, потом вернулся, еще надеясь увидеть привычный свет в окне. Но окно черно, сумрачно отблескивало стеклами, занавеска висела неподвижно, не теплилось на ней приятное зеленое зарево, как бывало по вечерам, и в один миг все стало мертвенно-мрачным, неприятным и показалось — там, в невидимой этой комнатке, произошло несчастье.

С нарастающим ощущением беспокойства я опять дошел до угла, выкурил здесь две сигареты и, уже подсознательно торопясь, вновь вернулся в переулок. Я говорил себе, что сейчас или через несколько минут вспыхнет зеленый свет на занавеске и все в переулке станет обыденным, умиротворенным...

Свет в окне не зажегся.

А на следующий день в час ранних сумерек я почти бегом вернулся по дороге домой в соседний переулок, и здесь неожиданное открытие поразило меня. Окно было распахнуто, занавеска отдернута, выказывая нутро комнаты, книжные полки, какую-то карту на стене, — все это впервые увидел я, не раз представляя моего неизвестного друга за вечерней работой.

Пожилая женщина с мужским лицом и мужской прической стояла у письменного стола, курила, смотрела в пространство усталыми глазами.

Тотчас же она заметила меня, несколько раздраженно задернула занавеску — и прежним зеленым пятном засветилась настольная лампа. А я ощутил, как странная пустота шершавым холодком вползла в мою душу. И дом, и переулок, и свет в окне сразу представились мне тусклыми, ложными, чужими.

И я понял, что случилось несчастье, что мой воображаемый друг, тот седенький одинокий старичок с милой шаркающей походкой, книжник и философ, к которому при ежевечернем свете окна так тянуло меня, так влекло к сладостному душевному общению, не мог быть увиденной сейчас у письменного стола женщиной с нахмуренным мужским лицом. В тот момент узнанной правды я ощутил себя ограбленным собственным воображением, почувствовал острую скорбь утраты, как будто только что похоронил давнего друга, так явственно сознанием моим созданного, самого близкого, родственного по духу человека, которого никогда не знал, не видел, но который нужен был мне всю жизнь.

Что подсказывает нашему воображению создавать свой мир, свою правду?

ВЕЧЕРОМ

Шел по улице в сторону площади Старого собора, мимо костела, где была служба. Там желто и тепло горели свечи, звучала органная музыка, настолько грудная, небесная, что вызывала в душе тихое чувство, неземное и вместе с тем земное очищение, ибо чувствовать,

страдать и радоваться суждено человеку на земле, и здесь мучаться неудовлетворенностью быстротечных желаний, стремясь в некое недостижимое лоно любви, золотого добра и умиротворения, что должно когда-то стать найденной сущностью человеческого скитания...

Я думал о последних, предсмертных словах Декарта и ходил по площади; накрапывал дождь. Он постепенно усиливался, застучал по навесам, по окнам старых пивных, накуренных, неярко освещенных; отражались в лужах старинные восьмигранные фонари, запахло сыростью каменные арки, ведущие в глубь темных дворов, тускло чернели железные решетки на витринах закрытых магазинов, омывались дождем пустые машины на площади.

Потом какая-то компания подгулявших людей выскочила из рестораника; один, крича, пьяно взвизгивая, вдруг выхватил металлическую урну из гнезда на столбе и швырнул ее в своих приятелей. Урна покатилась по мокрой брусчатке, рассыпая смятые коробки от сигарет, клочки газеты, огрызки яблок. Двое парней со злыми лицами кинулись к пьяному, а из открытого окна ресторана высунулась женская фигура, крикнула что-то хрипло, как бы предупреждая их.

Двое парней схватили пьяного под руки и повели его куда-то, уговаривая:

— Weg, weg!¹

Прохожие, стоя на автобусной остановке, смотрели на них с равнодушием, боязнь и любопытством. Пьяному было лет семнадцать. Его вели, у него подкашивались ноги, запрокидывалась голова, он плакал, скрипел зубами и стонал.

Когда, сделав круг по площади, я возвращался назад, к освещенному внутри костелу, три девушки с зонтиками, смеясь, входили в притемненный подъезд; одна, закрывая и стряхивая зонтик перед парадным, повернула лицо, посмотрела на меня насмешливо-вопросительным взглядом.

Наверное, ее удивило то, чего я сам не мог видеть на своем лице, подходя к костелу, наполненному огоньками свечей и безгрешным великолепием — звуками органа.

СТАНДАРТ

В сумерки эта площадь была вся легкой, прозрачной.

Трамвай, дома, широкий пролет вниз — все окрашено в мягкий пепельный свет, рекламы уже зажигались, на тротуарах текла, шаркала вечерняя толпа, около подъездов отелей «Амбассадор», «Золотой петух» выработанной фланирующей походкой прохаживались с сумочками через руку в меру подкрашенные девушки, переговаривались со степенными швейцарами, что время от времени открывали стеклянные двери перед приезжими.

На открытой террасе кафе «Европа» сидели молодые красивые женщины в шляпах, мужчины в летних костюмах, оттуда доносился иностранный говор. Два солдата возле киоска ели с аппетитом горячие сосиски, макали их в горчицу на блюдечках и, то и дело оглядываясь на проходящих мимо девушек, жевали сильными челюстями.

Юные люди с гладкими прическами, распахнув белые плащи, засунув руки в карманы брюк, шли, разговаривали громко, дымили сигаретами, смеялись, тоже оглядываясь на проходивших женщин.

И над всем этим — мягкость, теплота весеннего вечера, который еще не наступил; везде сиреневая дымка сумерек с нежной зеленью деревьев и неба над куполом собора.

¹ С дороги, с дороги!.. (Нем.)

Я дошел до конца площади, долго стоял у газетного киоска, читал названия модных иллюстрированных журналов — на меня смотрели через стекло очаровательно-холодные лики женщин на гладких глянцевиных обложках: блеск глаз и зубов, застывшая красота манекенщиц с тонкими прямыми ногами подростков, с заученным поворотом шеи, с кротким взглядом, выражающим невинность перед миром, который каждый день глазаеет на них.

Это множество ярких улыбающихся лиц, этот мировой стандарт красоты, одежды, выражения глаз, оголенных коленей, пленительно-заученных улыбок, костюмных поз не вызывал никаких чувств, а, наоборот, притуплял даже несколько ощущение живой плоти.

Я вспомнил американский журнал «Плейбой» (журнал для мужчин), где каждый год появлялись фотографии мисс красоты, там все было рассчитано на «мальчиков», которые должны захотеть быть обладателями этой красоты: поднятые вырезами купальника груди, раскованные позы, тугие бедра, обнаженные и оттененные чистейшими простынями или обивкой софы,— среди избранных мисс были известные актрисы, молодые знаменитые спортсменки, открывающие тайны своих прекрасных втянутых животов, своей мускулатуры, своей неженственной силы.

Разумеется, то Америка, но везде в европейских городах с допусками плюс — минус уже давно определен стандарт женской красоты. В ней нет изюминки, нет угадывания и той скромности, которая и есть секрет женственности. Нет, это красота холодная, фотогеничная, спокойная, равнодушная, как белый цвет бумаги.

Я вспомнил о чистоплотной красоте эллинок, о прелестных лицах эпохи Ренессанса, о некрасивой и вместе загадочной улыбке Моны Лизы, о рубенсовских и ренуаровских женщинах, о «Неизвестной» Крамского и крестьянках Серебряковой.

Неужели стандартная скука секса или парфюмерной рекламы стала нормой женской сущности, всегда многозначной, застенчивой, непостижимой?

ССОРА

Он наблюдал за капризной игрою ее лица, за тем, как она, закидывая голову, громко смеялась, окруженная какими-то незнакомыми ему молодыми людьми, видимо, острившими поочередно, и пожимал плечами: «Ну для чего так некрасиво смеяться, так блестеть глазами, как будто в самом деле все очень смешно?»

Он смотрел на нее и чувствовал зеленую скуку, досаду и раздражение от этих чрезмерно женских усилий казаться привлекательной, веселой, оживленной после недавнего разговора между ними и ее холодного, искривленного ненавистью лица, какого не видел ни разу за время длительной их близости, и после брошенных ему в грудь театральных слов:

— О, не прикасайся ко мне, я тебя ненавижу!

МИГ

Она сказала, прижимаясь к нему в постели:

— Господи, как быстро прошла молодость!.. Любили мы друг друга или не любили — как это забыть можно? Сколько прошло времени с того момента, когда мы познакомились,— один час или вся жизнь?

Был погашен уже свет, из-за темных окон доносился глуховатый, затихающий шум ночной улицы, однозвучно постукивали в мягкой тьме часы, заведенные, поставленные звонить (он это знал) на половину седьмого утра,— и все представлялось обычным, неизменным, как и эта полночь и завтрашнее утро, которое обязательно должно наступить с привычным вставанием, умыванием, гимнастикой, завтраком, работой...

И вдруг странное ощущение остановленного колеса времени, ежедневно и еженощно крутящегося как бы вне сознания, выхватило его и понесло в скользкую бездну бесконечности, где не было ни дня, ни ночи, ни темноты, ни света, где не за что было зацепиться памятью, и он почувствовал себя бестелесной тенью, отражением прозрачного предмета, без измерения и формы, без прошлого и настоящего, без биографии, страстей, желаний, страха, без отсчета лет собственного бытия.

Вся его жизнь спрессовалась в один миг и этим мгновением уничтожилась.

Он не мог охватить памятью прожитые годы, реализованные дела, сбывшиеся надежды, молодость, любовь, рождение детей, радость здоровья (они, эти прошлые годы, внезапно исчезли, канули куда-то) и не мог представить будущее — не подобное ли чувство испытывает песчинка, затерянная в безмерности вселенной и обреченная раствориться в его черном пространстве?

И все-таки это был миг не песчинки, а пожилого человека, момент предельной усталости, и оттого, что он уловил и понял эти голгофные секунды вот сейчас открывшихся ворот в старость, в пустыню одиночества, ему стало невыносимо жаль и себя и ее, женщину, которую когда-то любил безоглядно, с которой прожил и разделил все в своей жизни — без нее он не мыслил своего существования на земле. И подумал о том, что если она, всегда сдержанная, сказала об ушедшем времени, то утрата коснулась не только его.

Он поцеловал ее холодными губами и шепотом пожелал обычное: «Спокойной ночи, милая».

Он лежал, закрыв глаза, дышал тихонько. Ему было страшно, ибо миг открывшихся ворот в бездну бесконечности, в старость показался мигом смерти и бесприютным скитанием его сознания, потерявшего память молодости и чувств.

ТОСТ

- Я хотел сказать, дорогие друзья...
- Петя, у тебя нет никаких замечаний и предложений гостям?
- Я люблю эту природу. Мы ходим по лесу с женой и целуем каждое дерево... каждую березку... Пусть осень, опадают листья, но все равно будет весна. И пусть будет много весен. Надо охранять свое поле... поле прожитой жизни. Я каждое воскресенье уезжаю из каменного города, хожу по лесам, и я здоров как бык...
- Постучи о дерево! Постучи!
- ...Здоров как бык... Я хочу, чтобы люди, все люди были здоровы, красивы, а не как мещане...
- Почему вы указываете рюмкой в мою сторону?
- Простите, это случайно, это жест...
- Петя, у тебя нет никаких других замечаний и советов гостям?
- ...Мы бегаем с женой каждое утро пять километров. Она задыхается, она кричит: «Я не могу!» — а я ей: «Ищу третью ноздрю».
- Это что же такое — второе дыхание?

— Третье. Потом звоню ей на работу: «Зинка, ну как?» Она: «Прекрасно себя чувствую». Я делаю ей массаж. Каждое утро. Она раньше потела...

— О чем ты, Петя? Перестань, пожалуйста.

— Она потела...

— Ну, начинаются подробности.

— Ха-ха-ха!

— Нет, вы не смейтесь, я должен досказать...

— Петя, перестань, ты немножко пьян, ты говоришь лишнее, бог знает что!

— ...Космонавты увидели Землю с высоты и тогда поняли... Красота-то какая — Земля...

— Петя, Петя, сядь, пожалуйста! Ты льешь из рюмки себе на костюм!

— Я сяду, но звездное небо и наша Земля — это красота в красоте, эт-то...

— А от этой настойки на дубовой коре не дашь дуба?

— Завтра утром проснетесь и спросите себя: а пили ли? Голова светлая, настроение молодецкое... Я сам делаю эту настойку. Я с женой каждую травку!.. Вы перебили меня, я хотел сказать, что мы должны поклоняться земле...

— Форточку! Окно откройте! Дышать нечем. Сандуны! Жарко!

— ...Звездное небо... Что такое счастье? Счастье — это ожидание счастья. Кто так сказал, не помню, но очень верно и жизненно сказано. Вы когда-нибудь видели ночное небо в августе? Зина, не дергай меня за рукав, они должны понять, что такое счастье жить...

— Трое англичан в смокинггах сидят в роскошном ресторане в Гранд-отеле...

— Замолчите! Это неприличный анекдот!

— Нет, вполне приличный. И в это время входит красивая женщина...

— Неприличный анекдот!

— А я говорю, совсем приличный! Женщина подходит к ним, садится за столик, берет из вазы яблоко...

— ...Вы опять перебили меня. Я хочу вам всем сказать, что ночное небо в августе — да, да, можно заплакать от счастья его видеть... Зина, не надо дергать... Вы слышали, как падают ночью созревшие яблоки в саду? Дайте, дайте договорить!..



ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ

★

БАЛЛАДА О ПРЕОДОЛЕНИИ ЗЕМНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ

День на смену полумраку
Занялся, кровотока.
Лейтенант хрипит:
— В атаку! —
Автомат сорвав с плеча.

Он недавно прибыл в роту:
Прежние в земле лежат,
На смертельную работу
Поднимавшие солдат.

Должен,
превратясь в мишень, я
Встать, как жизнь ни прекословь.
Мы земное притяженье
Преодолеваем вновь.

Жив останешься — две меры
Выдаст водки старшина.
А убитым —
из фанеры
Всем на круг — звезда одна.

НОЧНОЙ ПОРОЙ

Следил полет звезды падучей
Пастух овечьего гурта.
Река,
беснуясь, как в падучей,
Ревела с пеною у рта.

Гул клочкотал в гранитном горле,
И лиловели с двух боков
Вершины сумеречных гор ли
Или громады облаков?

Мы поднимались по спирали,
И, обольщавший, как посул,
Предстал нам вскорости аул,
Где абрикосы попевали.

ПУБЛИЦИСТИКА

Л. БАБИЧЕНКО,
кандидат исторических наук

★

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК

К 100-летию со дня рождения

3 января этого года — сто лет со дня рождения одного из виднейших деятелей немецкого и международного рабочего движения, непоколебимого борца против германского империализма и гитлеровского фашизма, последовательного интернационалиста, первого президента рабоче-крестьянского государства на немецкой земле — Вильгельма Пика. В течение более шестидесяти лет жизнь В. Пика была посвящена борьбе за насущные интересы трудового народа, за революционное преобразование мира, за осуществление принципов марксизма-ленинизма.

Родился В. Пик в городе Губене (ныне Вильгельм-Пик-Штадт-Губен), в рабочей семье. После восьми лет учебы в городской народной школе, где он проявил большой интерес к изучению географии и истории, а также пристрастие к чтению, В. Пик в 1890 году решил заняться ремеслом и стал учеником столяра. По окончании учебы в 1894 году В. Пик по существовавшему обычаю стал странствующим подмастерьем: работал в столярных мастерских Берлина, Брауншвейга, Бланкенбурга, Марбурга. В 1894 году он стал членом Немецкого профсоюза деревообделочников, а спустя год вступил в ряды социал-демократической партии Германии.

Начало активной партийной и профсоюзной деятельности В. Пика связано с пребыванием его в 1896—1910 годах в Бремене, втором, после Гамбурга, портовом городе Германии. Работая на корабельной верфи, он был избран доверенным лицом рабочих в профсоюзе, кассиром, членом правления партийной организации по месту жительства.

В 1899 году двадцатитрехлетний Вильгельм Пик избран председателем правления СДПГ одного из районов Бремена, в 1905 году стал депутатом бременского парламента, а в 1906 году — секретарем городской организации социал-демократической партии.

В 1905—1907 годах по всей Германии прокатилась волна демонстраций, митингов, собраний солидарности рабочего класса с первой русской революцией. Наиболее активно, по признанию центрального органа СДПГ «Vorwärts», они проходили в Бремене. Душой и организатором этих демонстраций стал В. Пик.

В 1907—1910 годах в среде германской социал-демократии все явственнее обозначились расхождения во взглядах: происходят столкновения между представителями центризма, ревизионизма и левым крылом. В. Пик без колебаний разделяет взгляды левых — К. Либкнехта, Р. Люксембург, Ф. Меринга, К. Цеткин, личное знакомство с которыми он поддерживает с 1904 года. Этому способствует и его теоретическая подготовка в партийной школе СДПГ в Берлине.

В 1910 году по решению руководства СДПГ В. Пик переведен в Берлин, где исполнял функции второго секретаря партии по политическому просвещению и секретаря общегерманской партшколы, а затем и члена берлинского комитета партии, ответственного за работу среди молодежи.

В это время он много ездит по стране, выступает на рабочих собраниях и в партийных организациях, последовательно отстаивая марксистские принципы от нападок социал-шовинистов и оппортунистов.

С начала первой мировой войны В. Пик включается в активную борьбу левой социал-демократии против предательства правых лидеров СДПГ, которые открыто

перешли на сторону германского империализма и милитаризма, проголосовав 4 августа 1914 года за военные кредиты.

При непосредственном участии В. Пика из числа революционных социалистов сформировалась группа «Интернационал» (впоследствии группа «Спартак»), которая в соответствии с лозунгом «главный враг находится внутри страны» боролась против империалистической войны, за мир и свержение реакционного правительства в Германии. Задачей группы, как вспоминал позднее об этом времени В. Пик, было также «объединение оппозиционно настроенных товарищей, с тем чтобы, объединившись, повернуть политику партии на другой путь... Но прежде всего недоставало планомерной работы оппозиции. Возможности для этого открылись благодаря плану издания ежемесячного журнала, который должен был прежде всего служить интернациональному взаимопониманию»¹. Именно на плечи В. Пика в это трудное время легла обязанность по изданию и распространению нелегального журнала «Интернационал».

В. Пик был инициатором антивоенной демонстрации женщин Берлина, прошедшей 28 мая 1915 года перед зданием рейхстага. За участие в демонстрации он был арестован и на пять месяцев заключен в тюрьму. Насильно мобилизованный на фронт, он распространял среди солдат подпольные материалы группы «Спартак», вел антимилитаристскую пропаганду в армии.

В 1917 году В. Пик ушел дезертировать с фронта, а позднее по решению группы «Спартак» он эмигрировал в Голландию, где издавал и переправлял в Германию социалистический еженедельник «Der Kampf». Возвратившись через несколько месяцев на родину, он по поручению «Спартака» вел подпольную антивоенную и революционную агитацию в Берлине.

В. И. Ленин охарактеризовал в 1918 году деятельность «Спартака» следующим образом: «Работа германской группы «Спартак», которая вела систематическую революционную пропаганду в самых трудных условиях, действительно спасла честь немецкого социализма и немецкого пролетариата»². С воодушевлением встретил В. Пик известие о победе Великой Октябрьской революции в России. С этого времени и до конца своих дней он отдает все силы тому, чтобы немецкий рабочий класс усвоил опыт и уроки русской революции и осуществил их на практике.

Одним из важнейших уроков Октябрьской революции для немецкого рабочего движения в тот период было сознание необходимости создать самостоятельную, свободную от оппортунизма революционную партию ленинского типа. Этой цели посвятили свою деятельность руководители немецких левых в конце 1918 года. В. Пик принимал непосредственное участие в подготовке и проведении учредительного съезда КПП, председательствовал на ряде его заседаний, был избран членом ЦК партии.

После поражения Ноябрьской революции в Германии в январские дни 1919 года В. Пик, арестованному вместе с К. Либкнехтом и Р. Люксембург, лишь по счастливой случайности удалось избежать смерти. Начался новый период его нелегальной работы, посвященной сохранению кадров партии от разгрома реакции.

В июле 1919 года последовал арест В. Пика, но через четыре месяца с помощью группы коммунистов он совершил побег из тюрьмы и снова, несмотря на преследования полиции, окунулся в гущу борьбы за укрепление молодой коммунистической партии против левацких, сектантских взглядов ряда членов КПП, с одной стороны, и правооппортунистических методов работы в массах определенной части коммунистов — с другой.

Буржуазия, ее репрессивные органы почувствовали в лице В. Пика своего опасного противника. В одном из полицейских документов того времени говорилось: «Вильгельм Пик — необычайно сильная личность, человек большого мужества и энергии...»³

¹ Heinz Vosske. Wilhelm Pieck. Leipzig, 1974, S. 22.

² В. И. Ленин и др. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 196.

³ «Новая и новейшая история», 1973, № 6, стр. 67.

Богатый опыт революционной деятельности, работа в профсоюзах, в парламенте, изучение теории марксизма убедили В. Пика в том, что стать массовой партией КПП сможет лишь при условии повседневной работы среди трудящихся на предприятиях, собраниях, митингах, по месту жительства, последовательно защищая их насущные интересы, определяя основные задачи сегодняшнего дня. На выполнение этих требований и направлял усилия партийного актива В. Пик, избранный в декабре 1920 года секретарем ЦК КПП.

Вильгельм Пик был одним из инициаторов создания «Красной помощи» Германии (апрель 1921 года) — организации, призванной юридически защищать преследуемых революционеров, оказывать им и их семьям материальную и моральную поддержку. После создания «Международной Красной помощи» (в СССР именовалась МОПР) в 1922 году В. Пик был избран членом Исполкома МОПР, а в 1937—1941 годах возглавлял эту организацию. Испытавший на себе всю тяжесть тюремного заключения, преследований со стороны полиции, В. Пик придавал большое значение деятельности «Красной помощи» и до тех пор, пока она существовала, отдавал ей частицу своей души, уделял ей значительную часть времени.

С трибуны парламента, на массовых митингах и собраниях он неустанно призывал к борьбе за амнистию для политзаключенных, разоблачал классовый характер веймарской юстиции, выступал против нарушений властями права убежища для политэмигрантов в Германии, агитировал массы за вступление в ряды «Красной помощи». В одном из писем в ИК МОПР в январе 1925 года он писал: «Мне уже с целью похвалы делают упреки в том, что я всю партийную прессу захватил для освещения вопросов о терроре юстиции, о политзаключенных и Красной помощи»⁴.

В другом письме, от 26 мая 1926 года, В. Пик сообщал: «Я чувствую себя так тесно связанным с Красной помощью, что, несмотря на прочие нагрузки, стремлюсь обязательно выполнять ее работу»⁵.

Последовательные выступления «Красной помощи» за освобождение пролетариев — узников буржуазных тюрем вызывали симпатии широких слоев трудящихся. За сравнительно короткий срок организация под руководством В. Пика превратилась в массовое объединение.

«Борьба против белого террора и классовой юстиции, — как подчеркивал В. Пик, — являлась важной составной частью великого пролетарского движения единого фронта. Она вселяла в рабочих, независимо от их партийной принадлежности, волю к единой и решительной борьбе и побуждала к совместным действиям»⁶.

Когда над немецким народом нависла фашистская опасность, КПП повела решительную борьбу за создание широкого антифашистского фронта, протягивала вновь и вновь братскую руку социал-демократическим рабочим. Но правые лидеры СДПГ препятствовали единым действиям против фашизма, вводили массы в заблуждение иллюзиями о том, что фашизм можно победить чисто парламентскими средствами. В. Пик решительно выступал против этих иллюзий, предупреждал об опасности установления фашистской диктатуры.

После прихода нацистов к власти и ареста Э. Тельмана ЦК КПП поручил В. Пикуну руководство партией. Главной причиной победы фашизма в Германии был раскол рабочего класса. Поэтому В. Пик сосредоточил внимание партии и всех антифашистов на необходимости единства действий трудящихся в качестве решающего условия победы над нацизмом и сохранения мира.

Хотя в Коминтерне до конца 1934 года преобладало мнение о том, что покончить с фашизмом в Германии может лишь социалистическая революция, В. Пик в декабре под воздействием успеха Народного фронта во Франции приходит к выводу, что борьба с диктатурой Гитлера может быть успешной в результате образования широкого Народного антивоенного и антифашистского фронта, объединяющего всех противников гитлеровского режима.

В докладе на Брюссельской конференции КПП (октябрь 1935 года) В. Пик,

⁴ ЦПА ИМЛ, ф. 539, оп. 3, д. 432, л. 3.

⁵ Там же, д. 454, л. 104.

⁶ W. Piesck. Gesammelte Reden und Schriften, Berlin, 1961, Bd. 3, S. 261.

исходя из ленинских положений о стратегии и тактике коммунистического движения, из решений VII конгресса Коминтерна, обосновал насущные стратегические цели компартии: свержение гитлеровской диктатуры и установление антиимпериалистического, демократического строя в Германии.

На Бернской (1939) конференции КПГ, обсуждавшей задачи партии в условиях непосредственного перехода фашистской диктатуры к агрессивным действиям, В. Пик изложил программу партии, указавшую путь к свержению гитлеровского режима, к созданию новой, демократической Германии. Касаясь ближайших задач партии, В. Пик отмечал, что в нынешней ситуации важно прежде всего разоблачать в массах демагогию Гитлера о том, что он будто бы стремится к миру. «Мы должны показывать, что фашизм проводит политику не в интересах немецкой нации, а только ради относительно небольшого слоя, верхушки буржуазного, трестовского капитала, что он является рабом этого крупнокапиталистического слоя»⁷.

В годы деятельности созданного в Париже по инициативе В. Пика Немецкого комитета Народного фронта, который объединял представителей КПГ, СДПГ и видных деятелей немецкой науки и культуры, он сотрудничал с известными писателями Л. Фейхтвангером, Г. Манном, Э. Э. Кишем, Э. Толлером, Э. Вайнертом, А. Цвейгом, пользовался большим уважением в среде немецкой интеллигенции, противников нацизма. Его умение убеждать, непоколебимая вера в победу здоровых сил немецкой нации, одержимость в достижении поставленной цели и в то же время тактичность, личное обаяние вызывали симпатии даже у людей, не разделявших коммунистических взглядов. Характерно высказывание писателя Леонарда Франка о первом впечатлении от встречи с В. Пиком: «Когда я впервые оказался перед Вильгельмом Пиком и посмотрел на его лицо, я почувствовал, что передо мною олицетворение доброты, и я сказал себе, что дело, во имя которого этот человек живет и борется, должно быть только хорошим»⁸.

Находясь в эмиграции в Москве, В. Пик поддерживал дружеские отношения с писателями И. Бехером, В. Бределем, Ф. Вольфом, режиссером Э. Пискатором и другими представителями находившейся в СССР творческой интеллигенции Германии.

Вот как вспоминает об этом Вилли Бредель: «Вильгельм Пик еще до того, как у нас рабочий класс взял в свои руки политическую власть, был больше, чем только друг и покровитель искусства; он был страстным почитателем творчества, поклонником искусства. Он знал, что искусство является важным оружием в споре мировоззрений и в борьбе за социалистический гуманизм. В двадцатые годы, когда получает признание пролетарская, революционная литература и когда рабочие с производства начали писать, а их революционные стихи, репортажи, очерки и романы стали выходить в свет, они всегда получали помощь и совет у В. Пика. Он переписывался с авторами и спорил по поводу их литературных проб. Он дискутировал с участниками трупп рабочих театров и агитационно-пропагандистских трупп. Он, ведущий активист Компартии Германии и уже тогда весьма загруженный делами политик и парламентарий, всегда ревностно «читающий рабочих», воспринимал и прекрасное искусство, ибо представлял собой ярко выраженную художественную натуру».

В. Бредель вспоминал также, как летом 1940 года все жившие тогда в Москве немецкие писатели собрались на квартире у В. Пика для чтения рукописи драмы Ф. Вольфа «Бомарше, или Рождение Фигаро», написанной им в концентрационном лагере во Франции и с большим трудом переправленной в СССР. По свидетельству В. Бределя, В. Пик и в тяжелые годы войны был постоянным читателем выходившего ежемесячно в Москве немецкого издания журнала «Internationale Literatur», высказывал свое мнение или критические замечания его редакторам и авторам.

Интересный эпизод рассказывает В. Бредель в связи с публикацией в журнале в октябре 1942 года своей новеллы «Завещание солдата-фронтовика»: «Однажды меня в три часа ночи разбудил телефонный звонок: «Ты спишь?»

⁷ «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung». Berlin. 1966, Bd. V, S. 217.

⁸ Heinz Vosske. Wilhelm Pieck, S. 7.

Я сразу узнал голос Вильгельма Пика. «Да, товарищ Вильгельм,— ответил я.— Ведь сейчас середина ночи. А почему не спишь ты?» «Вот в этом как раз ты виноват»,— ответил В. Пик. И я услышал его тихий смех. «Я как раз сейчас дочитал до конца твою новеллу о фронтовом солдате. И теперь я звоню, чтобы поблагодарить тебя. Это прекрасный, захватывающий рассказ, о чем тебе хотел сказать один из благодарных читателей»⁹.

Дружеские связи, встречи, переписку с творческой интеллигенцией поддерживал В. Пик на протяжении всей жизни. С большим уважением, теплотой отзываются о нем многие писатели, представители искусства на страницах объемистого тома воспоминаний, вышедшего в ГДР в 1956 году, переизданном и дополненном в 1961 году.

В. Пик был одним из руководящих деятелей Коммунистического Интернационала, участвовал в работе его конгрессов и пленумов. С 1928 года он член ИККИ, с 1931 года — член Президиума и Секретариата, с 1935 года — секретарь Исполкома Коминтерна. В выступлении В. Пика на XII пленуме ИККИ 13 сентября 1932 года, обсуждавшем задачи компартии по мобилизации масс против наступления капитала, угрозы фашизма и войны, речь шла о необходимости гораздо сильнее, чем до сих пор, закреплять в массах понятие интернационализма, выдвигать его на передний план идеологической борьбы, тем самым наилучшим образом противодействуя национал-шовинизму и подготовке войны. Интернациональному воспитанию трудящихся Германии В. Пик постоянно придавал огромное значение.

Значителен вклад В. Пика в подготовку и проведение VII конгресса Коминтерна, в разработку новой стратегии и тактики коммунистического движения в условиях наступления фашизма, угрозы империалистической войны. Известно выступление В. Пика на заседании Среднеевропейского лендерсекретариата ИККИ 20 апреля 1935 года, в котором дан критический анализ работы Компартии Германии в условиях фашизма, содержится признание недостаточных до сих пор мер по разъяснению тактики единого фронта, подтверждается наличие сектантских ошибок при трактовке лозунга единства действий трудящихся.

Велика заслуга В. Пика и в перестройке работы «Международной Красной помощи» на основе решений VII конгресса Коминтерна.

В 1933—1939 годах В. Пик много сил и времени уделяет организации международных акций протеста против фашистского террора в Германии, за спасение Э. Тельмана, против обвинения коммунистов в поджоге рейхстага. После освобождения Г. Димитрова с новой силой развернулось движение солидарности с Э. Тельманом. В. Пик многократно обращался к трудящимся Германии и всего мира с призывом не допустить расправы гитлеровцев над вождем КПГ. «Спасение Тельмана — дело чести международного пролетариата, долг каждого честного мыслящего человека в мире», — отмечал В. Пик¹⁰.

Развитию движения в СССР солидарности с Э. Тельманом и тысячами других томящихся в концлагерях и тюрьмах немецких антифашистов посвятил В. Пик многие выступления, статьи в советской печати.

С начала гражданской войны в Испании В. Пик по поручению Исполкома Коминтерна и ИК МОПРа предпринимает меры для развертывания международных акций поддержки испанских республиканцев.

Борьба В. Пика в годы второй мировой войны характеризует его как великого патриота, последовательного интернационалиста и мужественного борца за мир. С началом войны Германии против СССР Исполком Коминтерна развернул широкую пропагандистскую работу по разъяснению характера и особенностей войны на новом этапе. Радиопередачи из СССР были важнейшим и порой единственным источником правдивой информации о международных делах, о положении на фронтах, о внутренней обстановке в фашистских и оккупированных странах. В радиопропаганде наряду с другими деятелями международного коммунистического движения большое участие принимал В. Пик. Он был одним из непо-

⁹ «Wilhelm Pieck. Ein Gedenkbuch». Berlin, 1961, S. 101—104.

¹⁰ W. Pieck. Gesammelte Reden und Schriften. Berlin, 1972, Bd. V, S. 56.

средственных организаторов и руководителей созданного в 1943 году на территории СССР из числа немецких политэмигрантов и военнопленных комитета «Свободная Германия», поставившего целью объединение антинацистских сил во имя быстреего окончания войны и ликвидации фашизма. Антивоенная, антинацистская деятельность комитета способствовала тому, что тысячи немецких солдат, сдавшись в плен, избежали бессмысленной гибели, многие пленные смогли освободиться от оков фашистской идеологии, стать на путь борьбы за новую, демократическую Германию.

После окончания войны Компартия Германии во главе с В. Пиком предпринимает усилия для преодоления многолетнего раскола рабочего класса, с тем чтобы на базе единства создать предпосылки для образования в Восточной Германии нового, демократического государства. В. Пик, которого рабочие называли «кузнецом единства», направлял усилия на то, чтобы достичь взаимопонимания между коммунистами и социал-демократами. 22 апреля 1946 года на объединительном съезде КПГ и СДПГ был преодолен раскол двух отрядов пролетариата и создана Социалистическая единая партия Германии.

Неоценимый опыт В. Пика в борьбе за единство рабочего класса, в объединении всех антифашистских и демократических сил принес ему заслуженную славу, и при создании Германской Демократической Республики он был избран ее президентом.

Вот как характеризовал деятельность В. Пика на посту президента немецкий писатель Фриц Эрпенбек, лично знавший его на протяжении многих лет: «Глубокие знания — вот без чего нельзя завоевать доверие народа; товарищ Пик обладает ими в высокой степени»¹¹.

Своей личной скромностью, чутким и внимательным отношением к нуждам трудящихся, принципиальностью при решении больших или малых дел В. Пик завоевал всеобщее уважение. Вся его деятельность способствовала развитию ГДР в демократическое, миролюбивое, суверенное государство.

В. Пик принадлежал к числу ведущих руководителей КПГ, которые были страстными поборниками укрепления уз дружбы между трудящимися Германии и СССР. Он многократно посещал Страну Советов. Каждая поездка в Советский Союз была для него радостным событием, служила стимулом для дальнейшей революционной деятельности. В октябре 1921 года В. Пик впервые приехал в Москву. Здесь он услышал выступление В. И. Ленина на губернской партийной конференции, дважды был принят Лениным в Кремле. До недавнего времени не было известно об обстоятельствах первой встречи В. И. Ленина с В. Пиком. Сотруднику Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Королеву Н. Е. удалось обнаружить в Центральном партийном архиве ИМЛ при ЦК СЕПГ краткие записи В. Пика, сделанные сразу после посещения В. И. Ленина. Крохотные листочки, заполненные мельчайшим почерком, представляют большую историческую ценность. Встреча состоялась 4 октября 1921 года, когда В. Пик и Ф. Геккерт приезжали на пленум Исполкома Коминтерна. В блокноте В. Пика лаконичная запись о ней: «Вторник, 4.10 [1921]. В 1 час у Ленина. Беседа ¾ часа о положении в Германии и России».

На следующий день, 5 октября, В. Пик пишет о встрече довольно подробное сообщение Центральному Комитету КПГ: «Вчера мы были у тов. Ленина. С ним мы имели продолжительную беседу, которая касалась главным образом положения в Германии и КПГ... Он был очень обрадован тем, что партийные организации делают успехи, которые мы особенно характеризовали как результат мартовского выступления. Мы говорили также о внутреннем положении России, которое Ленин считал не очень [благоприятным], т. е. продовольственные трудности скорее увеличивались, чем уменьшались. Все же он ожидает, что новая политика несколько выправит имеющиеся трудности с обменом продуктов. В остальном вы уже знаете его позицию из его статей»¹².

¹¹ «Смена», 1956, № 1, стр. 16.

¹² «Научно-информационный бюллетень сектора истории и теории марксизма-ленинизма ИМЛ», 1972, № 1, стр. 84.

10 ноября 1921 года В. Пик в составе делегации ЦК КПГ вновь встретился с В. И. Лениным. Об этой беседе, имевшей немаловажное значение для выработки КПГ правильной политической ориентации, В. Пик и Ф. Геккерт оставили свои воспоминания.

Личное общение с В. И. Лениным оказало огромное воздействие на В. Пика, на формирование у него черт, присущих политическому руководителю ленинского типа. Вспоминая об этих встречах, В. Пик восхищался высоким ораторским мастерством В. И. Ленина, искусством убеждать массы, умением выслушать собеседника, дать единственно возможный в данной обстановке совет, способностью решать сложнейшие проблемы мирового революционного движения.

В последующие годы В. Пик приезжал в СССР для участия в заседаниях руководящих органов Коминтерна и МОПРа, в составе делегаций, изучавших опыт социалистического строительства, а также для отдыха и лечения. С ноября 1930 года до середины 1932 года он работал в Москве представителем КПГ при ИККИ. За это время он посетил многие города, выступал на собраниях и митингах на предприятиях, стройках, в воинских частях, публиковал статьи в советской прессе. Так, в 1930 году во время поездки по СССР во главе делегации редакторов газет КПГ В. Пик побывал на грандиозных стройках в Магнитогорске и Челябинске, Днепропетровске и Харькове, Сталинграде и Ростове, в городах Средней Азии. Несколько раз он приезжал в Ленинград, встречался с коллективами крупнейших предприятий города.

В 1927 году делегация германской «Красной помощи», которую возглавлял В. Пик, получила от железнодорожников Харькова в подарок для рабочих города Галле знамя, с которым они выходили на демонстрации. В годы фашизма знамя заботливо сберегли немецкие патриоты, и сейчас оно находится в городском музее.

В период политической эмиграции 1933—1945 годов, когда В. Пик находился в Москве, он, несмотря на большую занятость в Коминтерне, напряженную работу по идейно-теоретическому укреплению КПГ, принимал самое активное участие в общественной жизни Советской страны, всячески стремился расширить и укрепить контакты с советской общественностью. Он писал много статей, получал сотни писем от рабочих и колхозников, обширной была его переписка с трудовыми коллективами, общественными организациями различных районов СССР. Посещения В. Пиком Советского Союза в послевоенные годы вновь подтвердили, что в его лице советский народ имеет большого, искреннего друга. Эти визиты стали новым вкладом в развитие и упрочение братской дружбы и сотрудничества между трудящимися СССР и Германской Демократической Республики.

В. Пик скончался 7 сентября 1960 года. В некрологе ЦК СЕПГ и правительства ГДР говорилось: «Жизнь, чрезвычайно богатая борьбой, преследованиями и мучительными потерями, жизнь, полная славы и побед, пришла к своему завершению. К нашей печали присоединяется и чувство гордости за то, что среди нас и во главе нас был такой человек, как Вильгельм Пик. Его выдающийся образ, его мысли и дела являются непреходящей составной частью истории Германии и международного рабочего движения»¹³.

Отмечая вековой юбилей со дня рождения В. Пика, народы Советского Союза вместе с трудящимися Германской Демократической Республики и прогрессивной общественностью всего мира чтут память человека, который всю свою жизнь, всю кипучую энергию, организаторский талант посвятил служению великому делу борьбы за осуществление коммунистических идеалов, за торжество принципов пролетарского интернационализма, за социализм и мир на земле.

¹³ «Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands». Berlin, 1962, Bd. VIII, S. 288.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Человек, впервые попавший в Набережные Челны, будет ошеломлен: перед ним встает город XXI века. Да и то сказать, всего двадцать пять лет остается до начала нового столетия. Молодые люди — средний возраст камазовцев двадцать четыре года! — построившие прекрасные многоэтажные дома, которые напоминают лучшие образцы московского Юго-Запада, смогут жить в них и в следующем веке.

Город и завод растут вместе, они объединены в одно творческое целое волей рабочего класса и Коммунистической партии. Бригада «Нового мира» в составе Арво Метса, Галины Принь, Станислава Золотцева, Екатерины Лопатиной, Дмитрия Ковалева, Василия Рослякова, Феодосия Видрашку и Сергея Наровчатова побывала в цехах КамАЗа, где готовится к пуску гигантский конвейер. К XXV съезду с него должен сойти первый автомобиль. Поэты и писатели выступили с чтением стихов и рассказов перед рабочими на ремонтно-инструментальном заводе и молодежью Набережных Челнов в городском Дворце культуры.

Город будущего и завод будущего со светлыми просторными цехами, образцовой чистотой и порядком, ультрасовременной техникой и оборудованием. И естественно, люди будущего окружали новомирцев все дни их пребывания в Набережных Челнах. Прекрасным парадоксом явилось то, что они были одновременно людьми настоящего, людьми из плоти и крови, жизнедеятельными и энергичными.

В первый же день бригада встретила с партийным, советским и инженерным руководством города и завода. Дружеские советы секретаря Татарского обкома КПСС М. Т. Троицкого, первого секретаря горкома КПСС Р. К. Беляева, секретаря парткома КамАЗа А. А. Родыгина и других товарищей помогут редакции глубже и многостороннее осветить трудовую жизнь завода и города. Все пожелания, высказанные рабочими, строителями и руководством КамАЗа, будут учтены редакционным коллективом нашего журнала.

Связь КамАЗа и «Нового мира» стала еще крепче и надежнее. Постепенно весь состав редакции должен «пройти» через Набережные Челны, познакомиться на месте с камазовцами. Мы горды тем, что наш журнал раскрывает перед читателем трудовые подвиги наших друзей на берегах Камы.

В новогоднем номере мы даем очерки Анатолия Приставкина и Екатерины Лопатиной о людях и делах КамАЗа и подборку рабочих-поэтов великой стройки.

РАБОЧИЕ-ПОЭТЫ ВЕЛИКОЙ СТРОЙКИ

ЕВГЕНИЙ КУВАЙЦЕВ



ДАЕШЬ В ЧЕТЫРЕ!

Эгей!
Комсомольцы,
молодо — зелено!
Вам
эта стройка доверена.
Самая крупная,
самая важная!
Вперед,
неотступная
братва отважная!
Гудеть
КамАЗу!
Городу —
быты!
Давайте разом
мечту творить.
Где дел громада,
работы жуть,
вставайте рядом
плечом к плечу!
Прочнее в мире
не сыщешь опор.
«Даешь в четыре!» —
кричим в упор.
С нами встаньте-ка!
В наших рядах
как вам —
романтика в сапогах
Если доволен —
строй!
И не ной!
Если нет —
беги домой!
Таких делегатов
не надо нам!
Пусть едут по хатам,
к юбкам
мам!
Таких — не надо!
А надо
стойких
на всесоюзную стройку!

* * *

Ночью светло,
 А днем темно
 От скопленья машин и пыли.
 Когда мы ходили с тобою в кино?..
 Забыли.
 Сколько уж лет
 Живу вот так,
 Года, как листья,
 Листая.
 Быть может, со временем
 Скажут: чудак?..
 Не знаю...

Только не зря
 След за спиной,
 Выдавленный в граните
 Город дарю вам,
 Построенный мной, —
 Живите!

* * *

Мои вдохновенные строчки —
 Простые слова в цепочке.
 Не ребусы-головоломки,
 Обыденные, как соль.
 Но я их могу по кромкам
 Составить настолько звонко,
 Что лопнут в ушах перепонки,
 А сердце уколется боль.
 Мои вдохновенные строчки —
 Простые слова в цепочке.
 По логике их и масти
 Увидите мой силуэт.
 Я счастье свое не прячу,
 Не радуюсь, но и не плачу,
 И выше такого счастья
 Уже никакого нет.

ИННА ЛИМОНОВА

★

МОИ ЧЕЛНЫ

Неугомонны, словно двери,
 Что в шумный мир растворены.
 Я к вам бежала от неверия,
 Мои Челны. Мои Челны.

Мне так необходимо сбыться,
 Вы словно воздух мне нужны.

В себе и в людях утвердиться
Вы мне поможете, Челны?

Нагнула голову. И крылья
Расправлю. Ломки, не сильны...
Лишь вместе с вами стану сильной.
Вы принимаете, Челны?

ГОРИЗОНТ

Мой горизонт далек, но чист и светел.
Как там, за кромкой,— плакать или петь?
Но волосы на лоб сдувает ветер
И не дает подолгу вдаль смотреть.

На цыпочках тянусь. Хочу увидеть,
Что там, за временем, что в мире том.
Но только солнце из-за кромки выйдет,
Блеснет в глаза и скроет горизонт.

Ищу свое, совсем иное счастье,
Порою без дорог шагаю я.
Ручей, такой ликующий, горластый,
Несется в лужку — больше нет ручья.

Недостижимое меня зовет и дразнит.
Забыв про отдых, про дела, про сон,
Пойду туда как на какой-то праздник,
Пусть только будет этот горизонт.

* * *

Позии немереные силы
Я и себе не объясню никак!
Что прозой открыть я не решилась,
Само собой рождается в стихах.

В моей судьбе и в жизни много прозы,
Я не хочу подкрашивать ее!
Пусть станет песней, что всего дороже,
Святое, сокровенное мое.

...Надежды нет. И в горле встали слезы,
Вокруг к словам бесчувственно глухи.
Нет смысла говорить — бессильна проза,
Но вдруг, как слезы, потекут стихи.

А мне еще давно когда-то мнилось:
Стихи — туман. Простая речь — легка.
Я прозой доказать того не в силах,
Что так легко рождается в стихах.

* * *

Я счастлива, как птица, оттого,
 Что я одна, мне кажется, извела
 Простую радость пушкинских стихов
 И тайну совершенства Грибоедова.

Что я сумела, как к ручью, припасть
 К потрепанному томику Кольцова,
 Что я уже почувствовала власть,
 Могущество и совершенство слова.

Хочу творить, ломать, переменять!
 Нет, я не зритель на планете этой.
 И ликование песни недопетой
 Не покидает никогда меня.

* * *

Не плачем: бережем ресницы — тушь.
 Не уезжаем от любви неспетой
 На Сахалин. Или в другую глушь,
 И не твердим «покаешься!» при этом.

Но мальчики под нимбом шапок кроличьих
 Глядят нам вслед нездешними глазами,
 Вдыхая сигаретный дым до коликков.
 Нам не до них. Мы заняты. Мы заняты.

Еще мы молоды. И запросто года
 Себе накидываем — смотришься иначе.
 Но кто нас знает: может, иногда,
 Одни, мы так смешно по-детски плачем.

Твердим: мы независимы, мы умные!
 Презрев уют, комфорт, дома родильные,
 Себя наивно сильными задумав,
 Мы по себе всю жизнь шагаем в сильные...

* * *

За кистью тянется февраль:
 Смешал все краски, перепутал
 И сделал розовое утро
 И чуть зеленоватой даль.

Вода неопытной рукой,
 Законами пренебрегая,
 Такие краски совмещая,
 Он сочиняет мир иной.

Он очень хочет рисовать,
 Он видит мир по-детски новым
 И только ищет, ищет повод
 Перу и кисти волю дать.

Сегодня встретил я
двадцать девять
беременных женщин.

И решил, что
не страшно умереть.

ВЛАДИМИР ПОТАПОВ



ЧЕКАНКА

Металл стонал, звенел от боли,
Дугой топорщился металл.
И чеканы стучали дробью,
И на глазах он оживал.

И засверкало солнце меди,
И засветился женский лик.
Я тронул бережно, как медик,
Камфарником рельефный лист.

Я бился с ним, я сомневался,
Я безответно был влюблен,
А он стонал и не давался,
И вдруг неожиданно сдался он.

На нем, как утренние звезды,
Твои прорезались черты...
Вдруг понимаешь, как не просто
Рожденье вечной красоты.

Авторы этой подборки — члены литобъединения «Орфей».

Евгению Кувайцеву 29 лет, работает плотником.

Инне Лимоновой 20 лет, работает в редакции газеты «Камские зори».

Юрию Малкову 37 лет, работает слесарем.

Руслану Галимову 29 лет, работает изолировщиком.

Владимиру Потапову 26 лет, работает художником бюро эстетики.

А. ПРИСТАВКИН

★

ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ С АЛЕКСЕЕМ БОЛДЫРЕВЫМ

— «**М**еталл-один!» «Металл-один!» — вызывал Болдырев по радиотелефону.

Мы только что отъехали от дома, было семь тридцать утра:

Аппарат пискнул, прорвался дальний шум.

— Олег Игоревич, — сказал Болдырев в трубку, — как дела? Сколько площадей наметили к сдаче?

— Да тысяч пятьдесят, — слышался дальний голос.

— Пятьдесят? — переспросил Болдырев. — А бетон идет?

— Бетоном завалили. Всю ночь шел и сейчас... — отвечал начальник СМУ.

— Ну, ладно. Не забудьте, сегодня сдача. Сегодня... Через полчаса к вам загляну. Все.

Также по радиотелефону Болдырев попросил соединить с главной диспетчерской и предупредил, что сейчас к ним подъедет начальник Камснаба на машине.

— Если спросят, скажите — Болдырев будет через пять минут.

Плотно прижал трубку к аппарату у своих ног и откинулся на сиденье. Молча смотрел на сероватое от росы, в утренней дымке шоссе.

Слева в голубом мареве поднимался на горизонте белыми облаками город — Набережные Челны. В раннее время дня такой странно размытый, почти фантастичный, он поражал еще более: четыре года назад здесь была степь.

А потом машина свернула на другую дорогу, по направлению к литейному, и так же слева ровной белой линией, которую легко было спутать с горизонтом, едва прочерченные потекли корпус за корпусом цеха автозавода.

— Борис Николаевич Темин, начальник Камснаба, интеллигентнейший человек, с ним приятно иметь дело, — сказал Болдырев, повернувшись ко мне.

— Зачем он придет?

— Не знаю. Хочет посмотреть, что мы там наворочали. А может, и помочь? — с надеждой. — Ведь полгода назад еще никто не верил, что мы вытянем к съезду наш литейный. Был даже вариант временно законсервировать его. А мы, слышал ведь, подготовили пятьдесят тысяч к сдаче. Если так пойдет, то к декабрю выполним план по площадям... А это очень много!

— Сдавать очень трудно?

Болдырев лишь хмыкнул.

— Несколько кругов ада, — сказал он, усмехаясь. — Сперва в атаку идет начальник СМУ, потом главный инженер Глазырин, а если необходимо, я вступаю с тяжелой артиллерией... Как происходит? Да как на нижегородской ярмарке: кидают наземь шапки, божатся, хватают друг друга за грудки... Шучу, конечно. Сегодня сам увидишь, во сколько грамм крови каждый метр нам обходится. Вот, кстати, и машина Темина.

«Волга» с «Волгой» сошлись на земляной площадочке перед диспетчерской. Начальник Камснаба прибыл с двумя киношниками, броскими ребятами, оба в темных очках («Снимают фильм о Камснабе и о Темине, через которого возможно

передать всю стройку: он ведает и цементом и унитазами — всем, что нужно для работы и для жизни в Набережных Челнах, — разве плохо придумано?!»)»

Поздоровались, решили поперву осмотреть корпус серого ковкого чугуна — самый огромный. Болдырев успел забежать в диспетчерскую, выяснил дела с бетоном и тут же вернулся.

— Поезжайте за нами! — крикнул шоферу Темина. И уже мне в машине: — Фантастика, да и только! Писали, умоляли дать бетон, и все попусту. Послал к этим девочкам одного усатого парня. Он им зубы заговорил, и бетон весь день и всю ночь был наш!

Мы подъезжали к литейному, к тому самому литейному, четыре года назад представшему передо мной в виде желтых груд земли, из которой там и сям прорастали бетонные столбы фундаментов.

Еще в прошлом году это представляло собой как бы сплетение и кружево железа, теперь оно ооконтурилось, оправилось в бетон — и встал завод, да нет — заводище.

— Иногда полезно взглянуть на вещи свежим глазом, — произнес Болдырев. — Я иногда вот что делаю: беру из своего подразделения руководителя и везу его на соседний участок, к другому руководителю. Бывает от этого польза. Посмотрит, посмотрит да такое углядит, что диву даешься, как же сам не мог заметить.

По наклонной эстакаде въехали на второй горизонт (за нами другая машина) и по бетонным плитам покатали куда-то в глубь корпуса, за серо-стальной лес опор.

— Приезжал замминистра по строительству, говорит: «Никогда не видел в одном месте так много железа». — Это Болдырев сказал, уже выходя из маффины. И добавил, оглядывая помещение с наклонными полосами света — через витражи: — Поверишь ли, по шуму могу определить, на какую сумму идет работа! — И засмеялся: то ли пошутил, то ли правда.

В спортивной куртке, под ней сорочка, галстук, худощавый, высокий, короткий стриженный, Болдырев, казалось, не изменился нисколько за этот камазовский срок. Впрочем, это только внешнее впечатление, потом я понял. Стал он сосредоточеннее, резче, зрелее.

Теперь Болдырев повел гостя вдоль контейнеров с заграничным оборудованием, далее, к краю, откуда по технологической цепочке будут поступать железные болванки для печей, плавиться в этих электрических печах (вот и трансформаторы монтируют) — и в другие печи, хранения и разлива (они уже подготовлены), и так далее по конвейеру (здесь все автоматизировано), пока не выйдут блоки для моторов. К февралю, к съездовским дням, должны дать литье в процессе пуско-наладочных работ. А в течение всего 1976 года будут созданы мощности для литья в 156 тысяч тонн.

— Смеялись, смеялись, а ребенок-то родился, — произнес Болдырев и развел руками. — В корпусе цветного литья мы уже пробную плавку сделали.

Спокойно-задумчивый Темин, молодежавый, светлый, в изящных очках без оправы, все осмотрел, не скрыл удивления: действительно много наворочали.

Спросил ровно, но что значит для Болдырева этот вопрос:

— В первую очередь что нужно? Железо?

— Железо меня не волнует, — так же прозаично отвечал Болдырев. — Я с железом могу варьировать. Техникой я обложен со всех сторон. Меня волнует бетон.

— Сколько нужно бетона?

— Тысячу кубиков в сутки, — не задумываясь сказал Болдырев.

— А сколько получили в сентябре?

— Столько и получили: тысячу кубиков в сутки. Двадцать пять тысяч в месяц.

— А в ноябре, в декабре?

— Нужно все ту же тысячу. Тем более что другие подразделения к зиме снизят потребление бетона.

— А если больше дадим, справитесь?

Болдырев на секунду помедлил с ответом.

— Понимаете, у меня сейчас работают на этих корпусах тысяча триста человек, должно быть больше, но работают по принципу двое за троих: малыми силами, но результативно и без толкотни. Кубик на человека в сутки — это прилично.

Разговор, вернее его деловая часть, на этом вроде бы и кончился. Возвращались к машинам, Болдырев показал на систему труб, разветвленных как пятерня:

— Замучили, идут у нас под кодовым названием «бриллиантовая рука».

И потом еще про шихтные дворы, тут уж совсем анекдотический случай.

— На пол, кроме брусчатки, ничего нельзя стелить: железо примагничивает, бетон колетса, а пластмасса и подавно не выдерживает тяжестей, а брусчатку у нас не делают. Предложили взять с Кузнецкого моста в Москве, но кто будет ее там ковырять?

Попрощались, разъехались. Каждая машина в свою сторону.

Болдырев произнес раздумчиво:

— Первый симптом поворота. Раньше Темин сюда приезжал лишь на экскурсию. Ох, тяжело дается мне этот литейный!

ИЗ ЗАПИСЕЙ АЛЕКСЕЯ БОЛДЫРЕВА

«В конце января 1971 года в Балаково приехало начальство с КамАЗа. Нас с Альфишем (сейчас главный инженер строительства. — А. П.) представили, попросили рассказать, как мы ведем свою работу. Складно изложил общие принципы организации производства (план и график-контроль). Кивали. Понравилось. Альфиш солидно рассказал про ГЭС. Тоже «попал в ком». В общем, смотрины. Расспрашивали подробно. С анкетными данными, видимо, ознакомились ранее. Разве что в зубы не заглядывали.

В начале февраля полетели в Челны. Уже наниматься на работу. Встретили хорошо. Посмотрели площадку. Новый город — снежные поля. Щит с надписью. Сфотографировались. Литейный — беспорядочные врезки в котлован. РИЗ обеспокоил сразу. В узких и глубоких траншеях традиционные монолитные фундаменты. Сразу ясно — надо было свайные фундаменты. Нагрузки небольшие, и кусты получились миниатюрные (потом это просчитали для интереса). При этом краны на гребне целика сидят как собака на заборе. Но это зимой. А что же будет весной, когда гребень растает? Так и оказалось: весной работы остановились. Эта дурацкая грошовая экономия объемов приводит к огромным трудностям в производстве, требует дорогостоящих механизмов и ведет к удлинению сроков.

В общем, сразу стало ясно, что генеральный проектировщик строительной части — Промстройпроект — находится в плену у старых, «добрых» традиционных принципов проектирования.

Очень много копий было сломано, прежде чем мы пришли к единому стилю. О буро-набивных сваях не говорю, об этом много написано. На площадке литейного завода, как оказалось, иные условия привели к качественно другим решениям.

С самого начала попросил Ю. А. Иванова — заместителя главного инженера по техническим вопросам — дать мне всю геологию площадки. Оказалось, к моему удивлению, таких материалов на Камгэсе нет! Как же вообще начинали работу? Даже «простые» земляные работы? Наконец нашли в экспедиции все разрезы, «отэрили» (новый глагол от названия копировальной машины «Эра»).

Стал внимательно изучать. У меня на этот счет своя система. Еще в Асуане пришлось мне собирать схему экскаватора «ЭКГ-4». Я и экскаватора такого и схему тем более никогда не видел. Но деваться было некуда, специалистов не было. Повесил схему в комнате, где жил, и каждый день рассматривал ее, как икону, но чаще. В результате знал схему наизусть вплоть до нумерации выводов и даже сейчас кое-что помню.

Так же с геологией. Взял разрезы домой и смотрел, нанеся контуры котлованов корпусов, завода. Основные моменты изучения: где грунтовые воды? каковы сезонные колебания грунтовых вод? нет ли непериодических изменений уровня грунтовых вод? На литейном, например, в засушливое лето 1972 года произошел подъем уровня грунтовых вод в зоне, где никаких работ не велось. И не в низине, а в повышенной зоне.

Сразу стало ясно, что подошвы фундаментов плавильных отделений и т. д. сидят ниже уровня грунтовых вод. Значит, надо искать принципиально новое решение: предложение Metallургстроя запроектировать фундаменты на сваях. Заместитель главного инженера Промстройпроекта страшно обиделся, говорил, что им никто не возвращал чертежи. Но нас время по этому объекту не поджимало, и мы стояли на своем: копать отдельные котлованчики и лезть ниже уровня грунтовых вод не будем. И вышло по-нашему. Проект переделали.

Это была первая ласточка. Забегая наперед скажу, что забивные сваи нашли на литейном заводе широчайшее применение».

Мимо ям и перекопов по разъезженной желтой глине мы проехали к корпусу точного литья.

— Спецстрой землю роет, — сказал Болдырев. — Как осень да грязь, у них самый разворот начинается. Я уж молчу: боюсь спугнуть.

Издали увидел начальника СМУ Пакидова, поздоровался, весело, доверительно спросил:

— Говорят, что девчата вас выручили?

Пакидов высок, темен, черноглаз, похож на болгарина. Он подтвердил:

— Бетоном завалили. Еще немного осталось.

— Так сколько сдадите метров?

— Тыщ шестьдесят, — сказал тот.

— Вы в институте-то учились? — спросил Болдырев. — Знаете, как отвечать нужно профессору? Нужно дать ему тоже показать свои знания, он всегда от этого лучше оценку ставит.

— Какие знания? — деликатно осведомился Пакидов.

— Ну, Олег Игоревич, мне ли вас учить! Найдите еще тысячу-полторы и дайте им проявить свои знания, то есть повычеркивать их. И нам хорошо, и им удовольствие.

— У меня джентльменское соглашение, — сказал Пакидов. — Они почти все приняли. — Он указал на кипу бумаг.

— И подписали?

— Нет, не подписали.

— Тогда держите у сердца свои бумаги, они больше ни на что не годятся. В двенадцать часов сдача. Теперь еще один вопрос: Зою-то надо повышать или как?

С Зоей, высокой крепкой блондинкой в робе, мужских сапогах, Болдырев перекинулся двумя словами, когда водил Темина. Алексей Анатольевич вежливо с ней поздоровался, спросил: «Как дела, Зоя? Вы еще мастером работаете? Пора вступать во владение прорабством!» «Я подавала рапорт, — отвечала Зоя. — Так что я согласна». «Вот спасибо, что согласна», — ухмыльнулся Болдырев. Но теперь он спрашивал Пакидова о Зое серьезно, хоть и не приказным тоном.

— Да, я давал ей работу, она справилась, в общем, — отвечал Пакидов.

— Тем более! Ей уже двадцать восемь лет, холостая. С нее можно требовать, понимаете? Я не просто за то, чтобы ей больше давать, а чтобы больше брать. С нее можно брать.

Болдырев, обычно любящий краткость, несколько раз повторил свои доводы. Он не настаивал, а просто хотел убедить Пакидова, и, кажется, это ему удалось. Довольный, размахисто шагал к машине:

— Давай в соседний корпус!

Вошли под железные своды краем, мимо груд свежей желтой земли.

— Зарывают, теперь снова копают, — коротко бросил на ходу. — У нас япон-

ская машина для забивания свай, а она теперь в этот суженный объем не лезет. Пришлось укорачивать машину, сами и модернизировали, и копать для нее котлованчик.

— Недостатки позднего проектирования?— спросил я.

— Недостатки параллельного проектирования,— в тон мне отвечал Болдырев. — Возвели корпус, а теперь поступил проект на фундаменты для станков. А раз проект поступил, заказчики прут на нас как на буфет. Скорей да скорей.

Но как говорят: глаза бояться, а руки делают!

Откуда-то выскочил человек в робе, прямо к Болдыреву с бумагами:

— Алексей Анатольевич, бульдозера не дают!

— А почему ко мне?— спросил вежливо Болдырев.

— К кому же! Прикажите им!

— Как к кому? К генеральному директору, к министру электростанций, в Москву...

Человек понял, отстал.

Болдырев быстро наискось прошел корпус, перепрыгивая через траншеи (оборудование шведы поставляют: гайки у них можно на сервант вместо украшения ставить; а здесь пол железной решеткой настиляется, говорят, из такой решетки хорошая шашлычница выходит), но разговора со случайным механизатором не забыл. Когда вышли из гулко грохочущего помещения, повернулся ко мне:

— Есть у меня своя линия в работе: не влезать в мелочи. Некоторых такая установка раздражает. Подходят, спрашивают: отчего, мол, кран или машину Васье отдали? А я не знаю, да и знать не хочу. У меня для таких вопросов человек сидит. Заманчиво на первый взгляд самому все дела решить: только трубку поднять стоит. И просящий это знает. Но ни в коем случае нельзя подобное делать. У руководителя имеются свои задачи. Первое — это обеспечение работы: фронт, подготовка, материалы. Второе — направлять усилия коллектива в нужном сейчас направлении. И третье — решать неизбежно возникающие вопросы: отклонения от нормы в ходе работ, стройка ведь динамичное предприятие! Кстати, у американцев — фирма «Дженерал электрик» — это первое правило. А второе, кстати, написано крупными буквами: ИМЕЙ БЕСКОНЕЧНОЕ ТЕРПЕНИЕ.

Подошла машина. Болдырев, взглянув на часы, велел ехать на водозабор. Это на берегу Камы, километрах в пятнадцати отсюда.

Тут я задал Болдыреву вопрос, который давненько, как гвоздь в сапоге, сидел во мне и не давал спокойно жить.

А спросил я так:

— Скажи, Алексей, какой момент строительства был для тебя самым тяжелым?

Он ответил не сразу.

Смотрел вперед, на гладкую серовато-синюю полосу дороги, на тепло-золотой лес по краю. Сказал:

— Унылая пора, очей очарованье! Говорят, грибы еще есть. — Потом повернулся ко мне лицом к лицу, чтобы видеть мое выражение, произнес: — Самое трудное бывает то, что еще не сделано. Так сказать, завтрашний день. Потому что все — новое, неизвестное, этим особенно характерен КамАЗ.

Я кивнул ему: мол, понял и, по-видимому, так оно и есть. Но все-таки из тех четырех с половиной лет жизни на КамАЗе какой же был всех трудней? (Кстати, Болдырев так делил свою рабочую жизнь: тридцатилетие справил в Асуане, тридцатипятилетие — на Саратовской гидроэлектростанции, а сорокалетие — на КамАЗе. Да и сорокапятилетие — тоже, наверное, тут. «Вот куда годы жизни уходят!» — добавлял с улыбкой.)

— Их было несколько — таких моментов, — отвечал он, так же повернувшись ко мне и держась рукой за спинку сиденья. — Ну, во-первых, зима семьдесят первого — семьдесят второго года...

Я знал, что он назовет эту зиму. Но допытывался:

- Когда фундаменты заморозили?
- Да, да,— кивнул он.— Было такое дело.

А вот как писала в ту пору Ранса Борисовна Данильченко, руководившая системой АСУ «Аккорд» на КамАЗе. Привожу отрывок из ее письма:

«Положение на Металлургстрое тяжкое. План выполняется на 50 процентов, перерасход зарплаты за два ближайших месяца 200 тысяч рублей. Но главное в том, что на литейном допустили бетонный брак. В начале зимы положили по всей площади котлована бетон, и все замерзло. Теперь взрывают и пр. Две тысячи кубометров бетона плюс потерянное время. Главного инженера СМУ сняли. Все руководство из котлована почти не уходит. Болдыреву дали две недели на выправление. Мороз стоит до минус тридцати. Страсти накаляются, ждут комиссию Госстроя и всякий там контроль. Но Болдырев держится стойко. Каждый день оперативное совещание. Докладывают, что выполнено за сутки—от нуля до нуля часов,— составляется план на очередные сутки...»

— Выправились мы тогда,— подтвердил Болдырев.— А второй момент в семьдесят третьем, когда теплограссу сдавали.

ИЗ ЗАПИСЕЙ АЛЕКСЕЯ БОЛДЫРЕВА

«На десятый день работы докладывал министру о заводе. Поставил только один вопрос: нужны проекты того, что будем делать внутри корпусов. Министр отвечал, что с этим придется подождать. Я был прав, считая этот вопрос ключевым, и министр прав тем более, говоря, что проектов не будет. Но это стало понятно, чувствительно понятно, два года спустя.

В семьдесят третьем состоялся запомнившийся разговор с начальником строительства. Он предложил перейти к нему замом по производству. Аргументация: с подачей тепла может не получиться. Даже если все рассчитать, обеспечить, организовать — все равно может быть неуспех. Любая неожиданность — пожар, дожди, неясность и ошибки (и неясность была и ошибки были) — приведет к непоправимому опозданию. Тогда будет трудно оправдаться. Я долго упирался, потом сказал, что хочу «рискнуть». Под «оправдания» работать не хочу. И министру так сказал: 30 ноября дам тепло в корпус. Кто-то из дирекции чуть не завизжал: «Издевается! Не сдаст! Никогда он тридцатого не сдаст! И через месяц не сдаст!» А министр говорит: «А я лично спрошу. Только спрос у меня будет иной, чем у них. Иной — вы меня понимаете?»

Все я понимал — голову на плаху клал. Лично всем занимался ежедневно, ежечасно. В общем, выиграл, хоть риск был большой. Тридцатого числа во вторую смену все закончили. И вот что в результате я понял: одному бы мне не справиться с такой работой, должны быть единомышленники. Как будто они есть. Надо только, чтобы все они работали в одном направлении, шли к одной цели. Это уже моя задача и моя ответственность».

— Сколько людей работает в Металлургстрое?— спросил я однажды Болдырева, это было в семьдесят третьем году.

— Две с половиной тысячи человек. Это меньше, чем мне положено. Леонид Ильич говорил, что нужно добиваться максимума минимальными средствами. Речь идет, на мой взгляд, о самом главном: выработке на одного рабочего. Кстати, вот данные на семьдесят первый год: у американцев двадцать одна и девять десятых тысячи долларов, у нас пока четырнадцать и две десятых тысячи долларов на человека. При хорошей производительности мало толкотни, выше зарплата. Значит, лучше настроение у рабочих. Кстати, на две с половиной тысячи у меня триста пятьдесят единиц управленческого аппарата.

— Это много?

— Прилично,— отвечал Болдырев.

— Если бы все это предприятие было твоим... теоретически, так сказать. Сколько управленцев ты бы при себе оставил?

— Я бы еще увеличил штат,— отвечал он.— Даже экономные американцы считают целесообразным содержать управленческий аппарат один к трем по отношению к рабочим.

— Но ведь там функции управления несколько иные?

— Да,— сказал Болдырев.— Я пытаюсь пробудить в моих интеллигентах интерес к производству.

Произнес он будто бы с усмешкой, но я понимал — серьезно.

— Я тут организовал в нарушение всяких там штатных правил отдел подготовки производства. Мысль такая: подготовь работу, все остальное люди сделают сами.

— Это возможно?

— Возможно. И просто необходимо. Именно здесь, при таком ведении дела и на такой стройке. Мы недооцениваем сложности нашего производства. К сожалению, существует общее мнение, что самолеты делать трудно, а бетон класть легко. И на первый взгляд, правда, самолет без умения не сделаешь, а бетон — пожалуйста, кладь. Машин не будет — так можно резиновыми сапогами утаптывать, как на Днепрогэсе. Только выработка, скажем, будет в три раза меньше. А от нее зависят сроки, производительность труда, зарплата, в конце концов, и прочее и прочее. Вот наши принципы, выработанные коллективно. Первое: не продумал до конца всю работу — не начинай ее. Второе: не можешь завершить работу — не начинай. Третье: не можешь обеспечить быструю работу — не начинай. Организовать работу на основе этих принципов надлежит группе Гриншпуна, заместителя главного инженера. Сейчас он возглавляет мозговой трест — службу подготовки производства. Есть у нее свои сторонники и противники тоже есть.

— Кто?

— Ну, разные. Против, правда, никто не выступает. Мы вот дебатлируем, как улучшить работу, создаем в помощь людям новую технику. А разве только в технике дело? Наше несчастье прежде всего в том, что в строительстве всегда шли самые малосознательные кадры, в отличие, скажем, от завода. Считается, что строить умеют все. Как крестьяне в «Железной дороге» Некрасова. Той зимой, кстати, когда бетон поморозили, работали присланные для помощи триста колхозников без умения, без знания строительных работ и квалификации. В перемене этого взгляда, этой традиции в строительстве я вижу основной резерв производства. Если дать писателям сто современных печатных машинок, станут ли они писать лучше?

— Нет, наверное,— сказал я.— Будет просто сто писателей с машинками.

— То-то и оно! Важен даже не опыт работы, и опыту за десять лет можно научиться. Важна традиция! Почему, скажи, Куйбышевгидрострой справился со строительством ВАЗа в срок? Да потому что у них был сложившийся коллектив со своей традицией. Кстати, строительный коллектив окончательно складывается, приобретает свое лицо не в начальной и срединной, а в завершающей стадии работы. Тут проявляются все его качества и возможности. Мы к таким рубежам подошли.

ИЗ ЗАПИСЕЙ АЛЕКСЕЯ БОЛДЫРЕВА

«В корпусе все было в порядке. Вчерашнее задание выполнили. Если ходить каждый день, то сразу становится ясно без цифр, на глаз. С другого конца, со своей половины шел Левин, бригадир. Улыбался, щурил глаза. (Ага, все как обычно. У него полный порядок. И балки ему, значит, завезли и плиты. Но ныть будет. Это уж как закон. Не может пока парень без этого. А ведь прошел школу успехов и неудач. И не это главное. Вроде начинает сам думать. Вот подстанцию построил по методу нулевого цикла. И вкус к этому делу почувствовал.)

— Ну как у тебя, Гена?

— Да все хорошо. Только траншею под дренаж пришлось вручную копать.

— Мы же договорились этот дренаж не делать.

— Так то договорились. А у меня проект.

Вижу, издали идет Панасенко. Пока прораб. Пока — потому что может больше. И хочет. И будет. И вообще, почему-то он нравится. Стоп! Это уже субъективизм, если научно. Или потенциальный любимчик, если попроще. Этот — умница, сразу догадался, о чем бригадир с начальством говорит. Вот идет и на ходу «участвует в процессе»: одному сделал замечание, другому что-то показал, а для этого сам полез на опалубку. Это от молодости все, пройдет.

А нравится-то он за дело. Потому что сам избрал себе нелегкий путь — и технический вуз и еще экономический. Так и сказал при разговоре, что для нормальной работы нужно иметь более широкий диапазон знаний. И в этом он единомышленник.

С Панасенко одновременно подошел Пакидов:

— Алексей Анатольевич! Не смогли настоять на нашем варианте. Уперлись проектировщики.

— Вы как инженеры уверены в своей правоте?

— Уверены. И проектировщик с нами вроде согласен. Но ему решение принять боязно. Москву хочет запрашивать.

— А вы сами чего испугались? Вы же главный инженер. Имеете право принять самостоятельное решение. Да, пожалуй, не только право, а просто обязаны.

— Честно говоря, не рискнул.

С этим можно работать в невыгодной для себя ситуации: не врет.

— Олег Игоревич, вы играете в преферанс?

Удивился, помедлил малость (удобно ли при подчиненных?):

— Играю.

— Хорошо?

— Да-а... В общем, играю.

— Вот видите, как-то не вяжется: в преферанс играете, а в таком простом деле рискнуть побоялись.

Повернулся и пошел. Издали глянул — стоят все трое, спорят. Эти поймут. Эти будут думать. И если не сейчас, то и рисковать и ответственность на себя брать научатся».

Болдырев еще раз посмотрел на часы и попросил водителя:

— На секундочку заскочим к насосной и азотно-кислородной станции.

Пока сворачивали да выпрямляли путь по грунтовой дороге, пояснил, что невелик объект, но уж больно внимания ему никакого.

— Они здесь как в деревне живут, хотят — картошку жарят, а не хотят — так посиживают, на солнышке греются. Именно здесь у нас слабая подготовка производства.

Прямо в деревенскую улицу (деревня с названием Новые Гардали), в самую гущу домов врезались высоковольтные мачты и серебристые трубы теплоцентрали. Их массивные хоботы повисли над крышами. Видать, деревня эта, как и иные, при КамАЗе отжила свое и уступит, не может не уступить живому, энергичному шагу стройки. Вот уже за лесом и дома каменные белеют, силами КамАЗа строят сельские поселки. Но пока, до поры, именно это сочетание скошенных деревянных домиков и стального напора труб и мачт поражает, дает повод для раздумья.

По нетерпеливой походке Болдырева я понял, что направлялся он к объекту, заведомо настроенный на крепкий разговор, если не на разнос.

И точно. Молодому начальнику СМУ, вышедшему навстречу, он бросил:

— Показывайте! Неделю к вам не заезжал, и никаких перемен!

— Крана нет, — сказал тот, помолчав. Видимо, знал норы начальства и не торопился высказываться попусту. Крана у него действительно не было.

— Кран будет, а пути для него готовы? — уж слишком учтиво спросил Болдырев. Не к добру была его учтивость.

— Дня за два сделаем пути, — сказал тот.

— Значит, через два дня будет и кран. А где у вас освещение?

— У нас местное освещение, — отвечал начальник СМУ.

— Это вредительство с точки зрения промсанитарии, — четкоотреагировал Болдырев. — Может быть, вам тут ликбез по этому делу организовать? Где субподрядчики? Почему никого не видно?

— Да они это... В общем, говорят, что им фронта работ нет.

Болдырев молча прошел за молодым начальником СМУ весь котлован и встал на рыхлом земляном откосе.

— Завтра пойдут дожди, что вы будете делать?

— Ну, один день, — сказал тот.

— Нет, не один день, а две недели. Это я вам говорю о прогнозе на октябрь месяц, с первой по третью декаду. Так что?

Начальник СМУ молчал.

— Вы же увязнете здесь! Отсыпьте дорогу и себе и субподрядчику...

И еще, пройдя несколько шагов, Болдырев повторил:

— Вот прекрасное место для буксовки машин! Нет, я серьезно говорю. Я не хотел при подчиненных, но, извини, у тебя болезнь средни алкоголизму. Ничем не прошибешь: свет, субподрядчики и дороги. Пойдут дожди, и ведь придется делать эти дороги. И станешь тогда в грязь швырять гравий, и уйдет втрое больше: разнесут все, растопчут. И бетонные плиты ломать будешь. Зачем? Возьми сейчас у Стрижевского двести плит, положи, а потом ори во все горло, что «субчики» ничего не делают. Хоть пиджаками устели, но чтобы им рот заткнуть. А сейчас они правы, вот и весь разговор. Вопросы есть? Помощь нужна?

— Нужна. Только бы мне бригаду. И срочно... — сказал начальник СМУ.

— Срочно! Но срочно мне и для литейного тоже нужно. Еще что нужно — болты? Закажу. Насчет света я скажу Савченко. Я уже один раз его привез вечером, специально в темноте водил по объектам: он моментально сотворил везде свет. Что, мне теперь вас вдвоем здесь поводить, чтобы лбами упрямыми постукались да поняли, что люди с временками работать нормально не могут?

ИЗ ЗАПИСЕЙ АЛЕКСЕЯ БОЛДЫРЕВА

«Нам передали строительство станции очистки воды и водозабор. Вместе со станцией очистки воды передано СМУ-33 из Гидростроя. Вот где мы увидели, как много можно хорошего погубить, если пренебречь элементарными правилами организации коллектива.

Масса бригад, почти как во всем Металлургстрое. При малом и узком фронте есть специализированные бригады. Отделочники имеются на каждом участке. Фронт на зиму вообще не подготовлен. За 1974 год СМУ наработало один миллион рублей убытку. Наметили меры с Глазырыным: убрать отделочников и отделку вести только после подачи постоянного тепла; укрупнить и создать комплексные бригады; срочно решить все вопросы и раскрыть фронт по второй очереди станции очистки воды; дать СМУ «дополнительные» объекты, по которым раскрываются фронты сейчас; часть людей отдать в другие СМУ.

Конечно, придется много работать, прежде чем коллектив подравняется с нашими «старичками». Видимо, не менее полугода».

Через осенние пестрые леса по сухому гладкому шоссе мы ехали на водозабор, и Болдырев со вздохом повторил свое:

— С ружьем бы походить. Даже не стрелять. С ружьем лучше видишь и слышишь в лесу.

— В отпуске не был? — спросил зачем-то я. В общем-то, я знал, что не был, время сейчас не то, чтобы уходить в отпуск. Но когда оно было то, это время?

Болдырев так и отвечал:

— Ах, какой отпуск!

— А когда пойдешь?

— После съезда, наверно. Я уж сейчас об этом не думаю.

И он снова по радиотелефону вызвал начальника СМУ Хромых и спросил, помнит ли тот, что сегодня сдача площадей. Готов ли он к этой сдаче? Бланков

не хватает, это не беда. Но приведите все в божеский вид, отпечатайте на машинке, в конце концов. Понимаете, чисто психологически: машинописный текст трудней вычеркивать!

Теперь Болдырев набрал свою приемную и спросил:

— Валя, есть ли какие-нибудь новости?

— Есть, Алексей Анатольевич, — торопливо сказала та. — После обеда приезжает замминистра из Москвы, вам надо быть на месте. Так сказали.

— Кто приезжает-то, Александров?

— Да, Александров. Они пока не знают, на какие объекты он поедет, но на всякий случай.

— Понятно, Валюша, — сказал Болдырев и попросил набрать телефон жены. — Юленька, — сказал в трубку, — как самочувствие, как дела? Видит бог, я хотел пораньше, но сегодня не выйдет, Александров приезжает... Да. Хочешь, мы завтра пойдем за грибами? Да нет, не с утра, конечно, с утра по корпусам... После обеда и пойдем. Ах, Александров... Да, правильно. После обеда тоже ничего не выйдет. Ну вот, ты умница и все понимаешь. А за грибами мы ходим на той неделе. Да? Ну, целую.

Машина на всем ходу выскочила на берег реки, и открылась просторная панорама Камы с пароходами и баржами. На взгорье, с нашего берега, поднималась необычной формы здание водозабора.

Когда-то, лет пять, что ли, тому назад, мы с другом моим Димой Мининным сидели здесь, на берегу, отдыхая после грибов. Дима показал тогда на глубокий, очень уж что-то глубокий котлован и сказал лишь: «Водозабор... Город поить будет».

Слово в слово сейчас это же повторил Болдырев.

— Но и заводы, наверное? — спросил я.

— У заводов замкнутый цикл, — произнес Болдырев. — То есть свою же воду будут очищать и снова пускать в дело. А та будет город поить. Очень простое сооружение. Улькин делает, один из аккуратнейших исполнителей, в свое время вместе с Гриншпуном начинали отдел подготовки производства — так называемый мозговой трест. Приехал из Волжска, строил там химический завод. Потом корпуса для ВАЗа строил, в семьдесят первом году приехал сюда.

— Здесь многие с ВАЗа? — спросил я Болдырева.

— Есть и с ВАЗа, — отвечал он. — Как главный инженер Глазырин. Есть из Братска. Как Панин. Из Челябинского металлургостроя — как Гриншпун и Рослов. Из разных мест — Пакидов, Стрижевский, Иванов, Манукян... зам по экономической части. При нем Металлургстрой стал прибыльной и рентабельной организацией!

Болдырев обошел площадку, сделал замечание бригадиру («Какой бы хозяин разрешил бетон на песок сыпать, что у вас, цемента много? Тут в детский сад детишкам на целую площадку набралось бы!»), заглянул в глубокие, метров до сорока, колодцы, уточнил в конторке вместе с Улькиным график работы, велел поворачивать водителю назад.

— Сколько же ты за день проезжаешь на машине? — спросил я Болдырева.

Он посмотрел на водителя:

— А действительно, сколько?

— Километров триста—триста пятьдесят, — отвечал тот.

— Как московский таксист!

— Ну, у него только и дела что ездить, — сказал Болдырев. — А тут... Так вот, чтобы закончить разговор о кадрах. — Он обернулся ко мне, и хоть снова мимо, будто шелестя, понесся золотой лес вдоль голубого, еще голубей от ясного неба и этой золотизны шоссе, Болдырев уже не смотрел по сторонам, тема разговора целиком захватила его. — Я не могу не думать сейчас о будущей своей работе. Я не хочу повторять то, что было здесь, на другом уровне, — не заподозри фольку в наполеоновских планах! Мне интересно вынести с КамАЗа новые идеи, хоть они и вызывают негативную реакцию у самых разных людей: буро-набивные сваи, несмотря на очевидную пользу, вызвали очень категорическую реакцию.

Хочется подумать: что такое строительная фирма? Что такое строительная организация? Опыт «Аккорда» хоть и был отрицательный, но тоже важен.

«Аккорд» — АСУ, которую попытались ввести на Металлургстрое, ею завела Раиса Данильченко.

— В принципе, — повторил Болдырев, — «Аккорд» — это оптимальный график определения минимальных затрат, то есть максимума выработки. Тот самый флажок, который мы поставили и к которому бежим, и весь мой опыт КамАЗа — это одна цепочка размышлений о коллективе, который я сложил и о дальнейшей судьбе которого я не могу не печься. Зам председателя Госстроя СССР Ганичев опубликовал статью о капитальном строительстве в США в журнале «На стройках России», откуда я приводил цифры о выработке на одного рабочего там и здесь. В статье еще сказано: «Большая выработка в США объясняется высоким уровнем механизации работ (включая использование средств малой механизации и механизированного инструмента), короткими сроками строительства, применением высокоэффективных материалов, полной обеспеченностью строительных площадок всеми необходимыми материально-техническими ресурсами»... — Болдырев, подумав, добавил: — Он забыл сказать: до начала строительства работ! И еще бы я дополнил: при наличии специализированных строительных организаций. Вот моя болевая точка. Сейчас разъясню.

Болдырев вызвал по радиотелефону секретаршу и вновь спросил, что там с Александровым, прилетел ли он.

— Уже летит... Ладно. Спасибо. — И водителю: — Заверните на станцию очистки воды. — Повернулся ко мне. — Раздался робкий голос в министерстве создать специализированное управление по строительству атомных или тепловых станций. Ведь они же по типовым проектам делаются... Зачем же каждый раз разбазаривать и вновь набирать штаты... Не прошло. А вот мы здесь Колю Шемякина вырастили из шоферов в бригадиры — лучший из бригадиров, между прочим. Или парнишка из деревни Нигматула Абдуллин, знаменитый тоже человек. А приеду я на новую стройку, и вновь та же картина: из непрофессионалов выращивают заново бригадиров и рабочий класс заново преодолевает препятствие, которое вовсе можно не преодолевать, если иметь готовые строительные фирмы. У американцев они есть и у югославов есть. То же и с инженерами. Съедутся они на новую стройку, те же Рослов и Гриншпун будут снова с трудом входить в коллектив, притираться к нему, находить или не находить себя. Как это в басне Крылова: беда, коль сапоги начнет тачать пирожник, а пироги печь сапожник... Гриншпун мне говорит: «Нам бы пирожников научить строить надо». И учим. И после нас других снова будут учить.

Станция, в общем-то, была готова. Болдырев показал отстойники, насосную. И сразу:

— Когда воду-то дадите, Николай Кириллович? За чем остановка?

— Да не стоим, не стоим, — отвечал тот.

Наверное, Болдырев уловил новые нотки, прежде ссылались на строителей. Теперь было сказано, что не стоим, пробуем, пропускаем пробные партии.

— Городу вода нужна, а вы все пробуете, — с укоризной произнес он.

ИЗ ЗАПИСЕЙ АЛЕКСЕЯ БОЛДЫРЕВА

«Почему получается у вас высокая производительность, выше, чем у остальных? В начале года этот вопрос задал мне Фалалеев П. И. (замминистра), я что-то невразумительное ответил.

Пожалуй, сейчас можно сделать первый «расклад» по полочкам.

Подготовка производства. У нас она поставлена лучше, чем у других, и принципиально по-другому. Просто есть руководитель, задача которого одна: сидеть и думать. Думать, «как лучше подготовить работу». Никаких других обязанностей у него нет.

Для многих это дикость, нарушение инструкций, типовых штатных расписаний и т. п. Но без этого уже не поедешь. И чем шире работа, тем это нужнее.

Интересна в этом отношении книжечка Д. Лондона «Трудные этажи». Прямо про нас написано.

Видимо, настала пора создать подразделение подготовки производства. Это земляные работы. Подготовка основания, дороги, площадки, коммуникации (не всегда), вывоз и складирование конструкций, подкрановые пути и установка башенных кранов, энергоснабжение, освещение, водоотвод и планировка, устройство площадки (лестницы, трапы, туалеты, забор и т. д.).

Эту схему надо задать Гриншпуну для проработки деталей. Второе — регулирование состава работ. Это обстоятельство часто упускают из виду, и тогда допускаются грубые и трудноисправимые ошибки. Надо постоянно иметь всю номенклатуру работ — и выгодных и невыгодных.

Не оставлять невыгодные «на потом». Впрочем открывать новые объекты. Это регулирование — дело руководителя.

Делать сразу и до конца. Не оставляй недоделок.

Не жмотничай на механизмах. Чем больше их (особенно малых), тем производительней работают люди, выше зарплата и настроение. Но если механизм в работе, он должен быть загружен не менее чем в две смены.

Самый «дорогой» вид ресурсов — люди, и все остальные виды ресурсов должны к ним подстраиваться.

— В двенадцать — сдача, никогда не опаздываю, — сказал Болдырев и попросил водителя поднажать.

Дорога вынесла нас из леса, и сразу по ровной степи до горизонта — белые линии автозавода и литейного, крупными громоздкими кубами — трубы ТЭЦ. Красные трамваи пересекали серовато-голубую перспективу, а за ними белел Новый город, окна поблескивали на солнце.

— Какая главная задача сейчас у вашего коллектива? — спросил я у Болдырева. Этот вопрос я тоже давно держал в уме.

— Если по годам, — отвечал он, — то семьдесят первый — год земли, семьдесят второй — год фундаментов, семьдесят третий — каркас, семьдесят четвертый — подача тепла и семьдесят пятый — сдача площадей. Качественно отличается от других он тем, что мы сдаем готовую продукцию. Главная задача сейчас: научить — принудить! — это делать хорошо. План и прочее — все это у нас в кармане. Я на каждом активе, как попугай, долблю о качестве. Это касается как моих подчиненных, так и меня самого. Заметил за собой! Ночью наедине со своими мыслями только подумаю, как бы чуть ослабить (потрафить, по-иному) в смысле качества, а утром придешь — уже так и сделано. Люди чутьем, интуицией чувствуют эту послабку раньше, чем ты сам о ней подумаешь. Я уже говорил о том, как складывался наш коллектив. Но вот что мы еще не научились — сдавать объекты. Не просто заканчивать, а заканчивать и сдавать в лучших традициях.

Мы подъезжали к длинному зданию управления металлургическим заводом.

Собрались в кабинете начальника, его самого пока не было. Просторная комната с лампами дневного света, отделанная под дерево. Болдырев оглядел кабинет, спросил:

— Мы, что ли, делали?

— Из лучшей плитки! — отвечали ему.

Пакидов подсунул Болдыреву бумаги — посмотреть до начала. Алексей Анатольевич лишь перелистал, покачивая головой:

— Бумага дороже стоит.

Пришли и чинно расселись Лобанов и его помощник по капитальному строительству (далее я его буду называть просто помощник). Лобанов был белес, плотное квадратное лицо, голубовато-размытый взгляд. Помощник темен, похож

и голосом и манерами на южанина. Со стороны Metallургстроя, кроме Болдырева и Пакидова, присутствовали главный инженер Глазырин, начальник СМУ Хромых и его люди.

Далее встречу воспроизвожу в виде сокращенной записи.

Обсуждают, где лучше сесть и каким образом. Все усаживаются за большим столом.

Но помощник сразу говорит:

— Так чего тут сидеть, нужно смотреть все на месте.

— А что смотреть?— спрашивает Пакидов.

— Все.

— Все пятьдесят тысяч?

— А как же мы будем монтировать?

— Так уже монтируют ваши!

— Уже?— удивился Болдырев.— Ну да, ведь и плавку пробную дали. Вы хоть нам памятные сковородки сделаете? Знаете, с дырками, чтобы не подгорало? Лобанов шутки не заметил:

— Я, правда, не был там неделю, но не верю, что все сделано. Субподрядчики подписали?

— Все подписали, без замечаний.

— Ну-ка дайте посмотреть. А стенка где?

— Стенку мы можем хоть сейчас поставить. Но тогда вы не смонтируете ни своих печей, ни станков.

— Так и запишите в акте: стенка ставится после монтажа оборудования,— предложил Болдырев.

С ним согласились.

Теперь говорит Пакидов, он показывает по плану, где сеть, где полы и что не сделали по инструкции, так как при выщелачивании нужна химзащита.

— Фундаменты сделали?— спрашивает помощник и все водит крючковатым носом, будто обнюхивает бумагу.

— Да. Сделали.

— И здесь?

— Да, и здесь. Под американский станок.

— Верится с трудом,— втыкается снова Лобанов.

— Пощупайте, если глазам не верите,— улыбается простодушно Болдырев.

— Я неделю всего не был, но...

Болдырев встал, смотрит в окно.

— Бетон шел все эти дни.

— Сколько же шло бетона?

— Много. Тогда все. Решили посмотреть. Отмелі.

Пакидов откинулся на стуле, в дело вступил Хромых. Он некрупен, светел, приятное открытое лицо, серые сторожкие глаза. Очевидно, с характером. Говорит четко, убежденно, смотрит помощнику прямо в глаза. А помощник по бумажке пныряет, шумно втягивает воздух и опять низким голосом:

— А покрасочка-то не пойдет. Не-ет.

— Будет покраска,— говорит Хромых.— До десятого числа сделаем, о чем вы, право?

— Можно сюда особое мнение? В актик? Покрасочку, мол, до десятого октября.

— Пишите как хотите!— размахнулся Хромых и жестко уперся глазами в помощника, в его редеющую шевелюру.— Но мы сделаем, Иванизов каждую дырку просмотрел, прежде чем подписал.

— Вы должны понять нас правильно и не обижаться,— сказал Лобанов. Он все дул в свою дуду.— После каждой приемки поехать посмотреть. И не только мы, но начальство повыше нас.

— Но после прохода Васильева (генеральный директор КамАЗа.— А. П.) по-цветному было хоть одно замечание?— в упор спрашивает Хромых.— Не было таких замечаний.

— Ну, порядок есть порядок,— отмахивается Лобанов.

А помощник ковыряет дальше.

— Здесь, значит, окраска. А все остальное Иванизов принял?

— Он нам медаль отлил за хорошую работу.

— Но окраски-то нет?

— Есть. Вот здесь и здесь!

— А мы эту площадь еще не принимаем,— наивно удивляется помощник.

— Ну, так уж они красят: вот отсюда и сюда.

— Значит, к десятому сделаете?

— А как же!

— Ну хорошо,— вздыхает помощник.— По «верху» я подпишу. Может быть. А по «низу» нет.

— Вот это номер! — восклицает Хромых и лезет за какими-то бумагами.

Он и его помощник говорят стоя, бурно и горячо. Помощник Лобанова сидит как на троне и легко отпихивает разные доводы, упирается.

— А это что такое? Почему такая площадь — две тысячи сто?

Лобанов, молчавший дотоле, кивает:

— Ну, на сто метров прибавили...

— Цифры там точные,— втыкается сразу и Болдырев, вышагивая по комнате.

И опять пошел работать Хромых.

— Ладно, не подписывайте! Но вы же видели, что мы работали, вкалывали! И последними не были!

— А мы, литейщики, все последние,— отмахнулся Лобанов.

— Нет, будете с нами первыми.

Глазырин, тихий, неприметный, но здесь, как-то сразу видно, с пружиной внутри, сказал вдруг:

— Я сходил посмотрел, как принимают площади на прессово-рамном... Там настилают полы, а рядом уже станки ставят и прессуют, работают.

— Ну, там другие условия!

— Другие. Ясно, другие,— говорит Болдырев откуда-то с середины кабинета. Юля бы сейчас сказала шутя, что он как полководец — со стороны наблюдает ход боя. Вспомнились его слова: чем выше напряжение, тем тише надо говорить.

— Не знаю,— говорит помощник.

— Не знаешь, так принимать надо,— ловит на слове Хромых, и это получается совсем не плохо.— Ваши начальники цехов обижаются: мол, поставили подпись, а вы и своим не доверяете. Как бы мне Болдырев да Глазырин не доверяли, а?

Болдырев кулуарно разговаривает с Пакидовым и чувствует себя прекрасно. Видно, что он уверен в итоге сдачи и даже несколько не переживает. Пожалуй, он даже демонстрирует эту уверенность.

И только когда страсти накаляются до предела и помощник кричит: «Мы вам заявляли!» — вставляет:

— Но вы же не в Организации Объединенных Наций, давайте без предупреждений да заявлений.

И опять все кипит, клоочет.

— Нет, Владимир Степанович! Нет, вы не правы.

— Но зачем, скажите, я должен эту полоску принимать?

— Затем, что Васильев указал здесь укатать и положить бетон. Это имеет психологическое значение: бригада должна знать, что она сделала свое дело.

— А что там должно быть?

— Ничего. Бетон и должен быть.

И Глазырин:

— Каждый раз возникает один и тот же вопрос: зачем принимать кусочками? Владимир Степанович, но вы же не в церкви, вас никто не собирается надувать.

А Болдырев уже другое:

— Если есть сомнение, загляните в окошко, печь обжигает везут на участок, который вы никак не примете.

— Все равно надо своими глазами увидеть,— повторяет свое Лобанов.

Несколько стихает, видно, что переговоры идут к концу. Разговор пошел мелочной, проверочный, достали планы, стали пересчитывать, какие площади были сданы ранее и нет ли повторов. У дирекции сданное закрашено иначе, и она волнуется, как бы вторично не записать то, что однажды уже принято.

Болдырев через всю комнату:

— Мы по два раза не сдаем, разве что по три!

Он звонит секретарше, спрашивает, прилетел ли замминистра Александров. Оказывается, прилетел, сейчас обедает. Потом поедет по объектам.

— Мы вам сообщим.

— Жду, спасибо,— говорит Болдырев. И опять спорящим:— На сколько там наценка? На тысячу метров? Ну, бросьте, переживем.

Но Хромых не сдаётся:

— Тут не тысяча, а каждый квадратный метр вылизан, Алексей Анатольевич, ну как я выброшу!

Помощник устало говорит:

— Сколько вышло всего? Девятнадцать и две?

— Двадцать и две,— настаивает Хромых.

— Ну что вы об этой тысяче!

— Ладно, подписывайте без тысячи.

Помощник акт двумя руками отодвигает:

— Проверим, проверим, дружище, тогда и подпишу.

— Пока один экземпляр,— пододвигает листок обратно Хромых.

— Ну зачем вам один экземпляр?

— Для внутренней уверенности. Что не зазря три часа сидели.

— Да подпиши ты,— уже не выдерживает и Лобанов.

Помощник вздыхает, проверяет, все ли уточнения и дополнения вставлены, медленно, почистив перышко и подумав, наконец подписывает.

— Едемте смотреть,— сказал Лобанов, вставая.

— Все пятьдесят тысяч? Это же на несколько дней!

— Сколько успеем,— наклонив упрямо голову, произнес он и вышел. И вслед за ним помощник в большой лохматой кепке под грузина, с папочкой около груди.

— Езжайте,— сказал весело Болдырев.— Действуйте. А я иду в управление Александрова сторожить.

ИЗ ЗАПИСЕЙ АЛЕКСЕЯ БОЛДЫРЕВА

«Был тяжелый разговор в министерстве, предлагали перейти на строительство Волгодонского завода тяжелого энергетического оборудования. Я отказался. Хотя напор был сильный. Нельзя уезжать, пройдя четыре с половиной года такого трудного пути. На меня обиделись, но я прав и рад, что сумел отстоять свое.

Мне нужно остаться, чтобы получить оценку. Нет, не орден, не приказ, а оценку людей, с которыми столько отработал и с которыми должен подвести итог. И это не только ради прошлого, но и ради будущего. Потому что с этими людьми мне еще придется работать. Я хочу в их глазах уважать себя. И еще одно немаловажное обстоятельство: хочется пройти школу сдачи объектов. Это трудно, неудобно, но это необходимо. Таковы причины. Со мной не смогли не согласиться».

Болдырев по радиотелефону связался с управлением и выяснил, что Александров еще обедает.

Предложил:

— Едем тоже пообедать. — И уже вслух свои мысли о сдаче: — Трудные роды, но мы сегодня дождем. А как тебе Хромых?

— Ничего. Настырный.

— Он тащит сорок тысяч метров, а я ему еще. И опять тащит. Если бы уходя пришлось рекомендовать кого-нибудь на свое место, я бы его предпочел.

— А почему не из замов?

— Потому что заместитель, он и есть заместитель. А Хромых — начальник, большая разница.

В столовой он положил локти на стол, произнес:

— На рыбалку бы сейчас, и чтобы не дергали...

— Во время сдачи площадей?

— Да, ты прав. Только и есть эти люфтовые полчаса...

Но только сказал, как официантка прибежала:

— Вас к телефону!

Вернулся через пять минут, стал молча есть.

— Что-нибудь случилось?

— Где? Ах, с площадями? Да нет. Там дожимают. Александров выехал, нужно ждать. Хотя неизвестно, доедет он сегодня до нас или не доедет.

Когда мы допивали компот, вернулись Глазырин и другие сдатчики.

— Как? — спросил Болдырев.

— Пообедать.

— А с площадями?

— Пока пообедать, — повторили они.

А Глазырин еще сказал:

— Трудно. Они правы, конечно. Там куча мелочей всяких.

— Сколько? — спросил Болдырев. — Шесть часов рожаем? Надо бы сегодня кончить.

— Сейчас пообедаем и пойдем.

— Я буду в своем кабинете, — сказал Болдырев.

В кабинете на столе лежали письма. Одно из них — приглашение на международный симпозиум по зимнему бетонированию в Москве (доклад Болдырева, Гриншпуна и Булгакова: «Сравнительный анализ методов зимнего бетонирования на литейном заводе» — текст будет докладываться на английском языке). Второе — анкета, которую надо заполнить для очередной конференции.

Болдырев и сел заполнять анкету: член партии, депутат, что еще... Со вздохом произнес:

— И здесь — день отрежь.

Однажды, будучи еще в Балакове, Болдырев напечатал в местной газете статью с подзаголовком «Из дневника главного инженера Болдырева». Вот отрывок из нее:

«Рабочий день канул в Лету. Подведем баланс:

заседания и совещания — 6 час.

переезды — 1 час 20 мин.

ожидание начальства — 0 час. 20 мин.

решение оргвопросов — 1 час 30 мин.

посещение объектов — 0 час. 30 мин.

Итого: 9 час. 40 мин. (примечание: гл. инженеру сверхурочных не платят).

Сообщаю, что за 14 октября бухгалтерия начислила мне зарплату в сумме 9 руб. 36 коп.

Итого: 9 руб. 36 коп.

В том числе за выполнение непосредственных обязанностей главного инженера — 1 руб. 53 коп.».

— Валя, позовите ко мне Савченко, — попросил Болдырев. И тут набрал какой-то номер. — Как у тебя с болтами для азотно-кислородной станции? Нет

болтов? Ладно. Я хочу услышать, когда они будут... Через неделю. Запомнил. Неделю я тебя терзать не буду, хоть там хорошему токарю и на день работы. Но через неделю спрошу. — И уже мне: — Это для того самого начальника СМУ.

Пришел немолодой грузноватый человек. Савченко.

— Садитесь, — предложил Болдырев. — Пишите: поставить прожекторы на участке азотно-кислородной станции и насосной.

— У них же там есть, — вяло протестовал Савченко.

— Ничего там нет. Ночью при переносках работают.

— Я и не знал, что они ночью.

— Теперь знаете. Какой срок вам нужно?

— Дня два, пожалуй. Там американские светильники, пока то и се.

Савченко стал объяснять подробности дел со светильниками, но Болдырев только повторил:

— Два дня — нормально. До свидания.

Савченко вышел, а секретарша сказала:

— К вам еще человек.

— Кто? — спросил Болдырев.

Но она и ответить не успела, как вошел мужчина, крупный, широкий. Болдырев встал ему навстречу:

— Какими судьбами?

Тот лишь развел руками и посмотрел на меня.

Болдырев нас представил. Человека назвал Юрием Ивановичем, старым другом по Балакову.

— Наверное, слышал? — спросил как-то странно Юрий Иванович.

— Да, слухом земля полнится.

— Ушел. Поссорился с главным и ушел.

— Да вы же друзьями были.

— Вот, друзья... — сказал Юрий Иванович.

Помолчали, переваривая сказанное.

— Я уж не спрашиваю, к нам ли, — сказал как бы извиняясь Болдырев. — Но если вдруг появится желание к нам...

— Да нет, спасибо, — отвечал с улыбкой Юрий Иванович. — Я два месяца отдыхал, сейчас в Спецпромстрое.

— А что там?

— Завод строим, для азотной кислоты.

— А еще что?

— Все. Для азотной кислоты. Хотел под Смоленск, там разворачивается дубликат вашего Металлургстроя, но... Дальше будет видно.

Стали вспоминать Балаково, друзей там. Многие прослышали, будто Болдырев едет в Волгодонск, и наострились ехать вслед. Потом друзья договорились встретиться вечером, и Юрий Иванович ушел.

— Великолепный работник, — сказал сразу Болдырев. — Умный, зрелый. Но ты сам все слышал.

Зашли Стрижевский, заместитель Болдырева по снабжению, и молодой парт-орг Бабаев.

— Ко мне поступило заявление об увольнении, — говорит ровно Болдырев. — От начальника мехучастка Пека. Главный инженер Глазырин обратился к нему с просьбой пробить дырку на объекте. Пек послал его подальше. Я разговаривал с Глазыриным, у него руки тряслись от напоминания (а довести до этого Глазырина трудно), он настаивает на подписи заявления. Вы понимаете, что выбора у меня нет. А что скажет общественность?

— Подписывайте, — сказал Бабаев, — и никакого конфликта не будет.

Бабаев худощав, молод, приятен. Образ мышления независимый — так о нем прежде говорил Болдырев. Стрижевский опытен и честен. Интуиция на людей у него исключительная.

Он не торопится с выводами:

— А может, с ним поговорить, чтобы помирились?

— Он не пойдет к Глазырину.

— Но он проявил грубость?

— Нет, не грубость, — поправляет настойчиво Болдырев. — А элементарную недисциплинированность.

— Но, возможно, Пек и прав, — спрашивает Стрижевский, — и Глазырин должен был обращаться не прямо к нему, а к его непосредственному начальству?

— Пек не прав стопроцентно, — говорит Болдырев.

— Ну, хотя бы, хотя бы, — хмурится Стрижевский. — Но ведь человек столько лет у нас проработал! Нельзя же так, с ходу...

— Нельзя, — соглашается Болдырев. — Поэтому вас и спрашиваю.

Бабаев предлагает:

— Давайте надавим на него общественно?

— Давайте, — кивает Болдырев и уже к Стрижевскому: — Поговорите вы с ним, Эдуард Семенович. Вы у нас отец-миротворец. Откажется — я буду подписывать, хотя мне очень, повторяю, очень жалко.

— Вообще-то на него жалуются, — сказал Бабаев. — Грубват, мол, с рабочими, особенно если учует сивушный запах.

— А знаете, — сказал, вставая, Болдырев, — я в Балакове свою властью учредил комиссию по борьбе с алкоголиками. Сел выпивши на бульдозер — слазь, и в зависимости от степени опьянения — как в ГАИ — на полгода и более ни техники тебе и ничего. Кто велел? Какой КЗОТ? Да я без КЗОТа, сам, потому что мочи уже не было. Ну, может, Пек и перебарщивает с алкоголиками, но не настолько же. И хороший специалист притом. В общем, поговорите, Эдуард Семенович. По этому вопросу все.

— Есть другие?

— Есть, — сказал Болдырев. — Должен сообщить вам, что фортуна стала поворачиваться к нам лицом. Сегодня была встреча с Теминым, он спрашивал, что нам в первую голову необходимо. Эдуард Семенович, я сведу вас с Теминым, но хорошо бы мне посмотреть всю нашу цифирь.

— Бетон нужен, — сказал Стрижевский. — Я и без цифр скажу.

— Бетон идет. И ночью сегодня будет.

— Ночью бетона не будет, — возразил спокойно Стрижевский. — Цемент на заводе нет.

— Так «вертушку» привезли!

«Вертушка» — сцеп из двадцати вагонов.

Болдырев стал считать. Двадцать вагонов по шестьдесят две тонны. Триста килограммов на куб бетона при плане шесть тысяч кубов в сутки плюс сборный, плюс мертвый запас, зависший в бункерах.

— Это менее чем за сутки, — сказал Стрижевский.

Пришел Гриншпун с какими-то бумагами (новое письмо от Лобанова к Фоменко), пришел Рослов, кто-то еще.

Болдырев позвонил в управление и выяснил, что Александров будет у него только завтра. Потом соединился с Глазыриным, сдача по-прежнему продолжалась.

Все затихли, когда Болдырев заговорил о сдаче. Но он лишь повторял:

— Ничего. Ничего. Пробьемся штыками. — И потянулся.

В сумерках за окном светились огни.

— И чего тянут? — было произнесено.

— Там коммуникации, переходы, лампочки... Электрики прислали претензий на двести тысяч.

Рабочий день кончался. Под занавес шел медленный и спокойный разговор о делах. Никто никому не приказывал, никто не суетился. Раздумчиво, с прикидкой сидели.

Только секретарша Валя просунулась в дверь, спросила:

— Алексей Анатольевич, к вам на прием люди. Что им сказать?

Болдырев посмотрел на часы, на дверь.

— Сколько человек?

— Трое. Все по жилью.

— Хорошо, пусть подождут. Я всех приму.

Перед Болдыревым лежала книга «Прием по личным вопросам». Он медленно перелистал ее, да и я взглянул для интереса: по каким же вопросам приходят сюда люди?

По поводу оплаты. По поводу создания киностудии. По поводу ребят из детской комнаты (ответ: организована спортивная работа среди подростков). По поводу транспорта (автобус 20-й должен отправляться в 7 часов 40 минут — опаздывает, остановки около автозавода и РИЗа нет. Ответ: послать депутатский запрос на автотранспортное предприятие и в горисполком). И, конечно, многие и многие по поводу жилья. Как и сегодня.

Первым вошел пожилой татарин — Мансумов Шамиль Мансумович, стропальщик. Стал объяснять, что семья пять человек: он, и жена, и старшая дочь, которая работает продавцом, и сыновья в десятом и седьмом. Просит малометражку: у жены больные почки.

— Какие в очереди? — спросил Болдырев.

— Двухсотые.

— Тогда ничем помочь не могу. Где сейчас живете?

— В вагончике. Холодно там, вот жена и простудилась.

— У вас какой вагончик-то? КСО или ЦДУ? Металлический или деревянный?

— Деревянный, деревянный, — сказал мужчина.

— Что ж, две комнаты, кухня, коридор, веранда...

— Но вагончик на краю, у других жара, а у нас холодно.

— Выясним, — сказал Болдырев. — Вот я пишу: «Отопление недостаточное, тов. Ермашову проследить за ремонтом и отладкой отопления». А малосемейку вам все равно не дадут. Но я советую написать заявление. Приложите и справку о болезни. Очередь приблизится, заявление поможет.

— Спасибо, — сказал мужчина.

— Пока не за что. Но заявление обязательно напишите.

Вторым вошел молодой совсем парень — бригадир. И Болдырев встал ему навстречу и сказал просто:

— Здравствуй, Михаил, садись поближе. Выкладывай, что принес?

Редко я слышал, чтобы Болдырев так запросто по имени называл.

— Жилье надо, — сказал парень. — Двое детей, да мы с женой, да теща.

— Теща-то имеет право на жилье? Нигде у нее ничего нет?

— Ничего нет.

— Напиши заявление, — сказал Болдырев. — Думаю, что до конца года мы тебе поможем.

И все.

Только вслед ему:

— Пусть Олег Игоревич характеристику напишет. Ну, что передовой бригадир и тому подобное.

— Ладно, — сказал парень и вышел.

Тут уже я спросил:

— А что, действительно есть возможность?

— Смогу, — сказал коротко Болдырев. — Он хороший бригадир. Таким обязательно надо помогать. Я бы и Мансумову помог, он того стоит. Но у меня нет достаточных оснований, а без оснований — только создать прецедент, тогда отбою не будет. Ведь таких, как он, действительно много.

— Там еще Захарова, — сказала в дверь Валя.

Болдырев поморщился:

— Ой-ой-ой. Ладно, пускай.

Излишне полная, хотя и молодая женщина легко вбежала в кабинет, проскочила его на одном дыхании и села на первый стул против начальства. Еще на ходу плавно начала:

— Я пришла узнать...

— Вот и хорошо, — перебил Болдырев. — Это лучше, чем слухами питаться:

— Да, да. Лучше. Лучше, — на одном дыхании произнесла женщина. — А то все говорят, говорят...

— Что говорят-то?

— Да будто всем квартиры дают и дают, а мы все ждем и ждем.

— Кому дают? — заинтересовался вежливо Болдырев.

— Не знаю.

— В том-то и дело. Никому не давали, голубушка, с января, уж я вам как перед богом говорю. А вот сейчас конец года и будут давать.

Я поразился перестройке Болдырева, от его резкости, категоричности, даже насмешливости не осталось и следа. Он был весь доброта и внимание, некая даже ласковость зазвучала в его голосе.

— Когда? Нам бы только узнать, когда именно! — воскликнула женщина.

— А вы какая на очереди?

— Тридцать девятая.

— Ну, это совсем скоро. Если не сейчас, то в первом квартале обязательно.

— А в каком доме? — спросила она.

— Я понимаю, что лучше бы сидеть и знать, в каком это будет доме и какая квартира...

— Да, да! Лучше бы знать!

— Но я и сам не знаю. Двести тысяч будут сдаваться по Челнам, получат и Автозаводстрой и Камгэс тоже. Там и наша доля есть.

— А вот «самострой» строится, так говорят, что если до Нового года не успеют...

— Нет! — сказал Болдырев.

— То отберут.

— Нет! — повторил Болдырев. — Не отберут. Но вы у меня второй раз, между прочим. — Он поискал по книге и нашел какую-то записку. — Вот вы жаловались тогда, что нет овощей и соуса. Ну, как теперь, соус есть?

— Да, есть, есть, — засмеялась женщина.

Но Болдырев не смеялся. Он был крайне приветлив.

— А вы знаете, что продавщицу мы выгнали? И собрание провели?

— Знаю, — сказала женщина. — Но все равно глухо у нас, живем как в берлоге.

— А в городе будет лучше?

— Наверное, лучше. Все-таки город.

— И что же?

— Веселей. Уж мы ждем нашей квартиры как праздника.

— Да? — протянул Болдырев, рассматривая собеседницу. И вдруг спросил доверительно: — А в город переедете, придете ко мне машину просить? А?

— Нет, — сказала сразу женщина.

— Ковер?

Она вздохнула:

— Ага. Ковер. Но сейчас нам жилье нужно. Уж где мы ни жили, а такого не переживали.

— А где вы жили?

— На Бирюсе жили. И на Сосьстрое...

— Зачем же сюда приехали?

— Не знаю, — ответила, как отмахнулась от своих мыслей, женщина. — По глупости, наверное. К родине хотели поближе, я сама из Сызрани. Но теперь все. Возраст не тот, чтобы бегать. Пора на месте посидеть.

— А сколько, простите, вам лет?

— Хватает, — округлила она вопрос. — Вы помните, Алексей Анатольевич, как в семьдесят первом на собрании вы хорошо говорили?.. Ох, я все ваши слова запомнила. Мол, те люди, что пришли сюда первыми и пережили трудную зиму в семьдесят первом и семьдесят втором годах, будут первыми вселяться в квартиры.

— Они вселяются, — сказал Болдырев. — Но по очереди.

— Да, да, конечно. Конечно. Но ведь слухи-то ходят...

— А насчет слухов мы вот что сделаем, — предложил Болдырев, подумав. — Устроим мы у вас в поселке собрание. И поговорим с людьми. Все им объясним. А вы с народом поговорите, предупредите, кто заинтересован, пусть вопросы приготовят, ладно?

— Уж ладно, ладно, — кивала женщина уходя.

Тут же Болдырев позвал Валю и велел разыскать, если еще не ушла, Зимину — заместителя секретаря парткома.

ИЗ ЗАПИСЕЙ АЛЕКСЕЯ БОЛДЫРЕВА

«Опять наступают сверхнапряженные дни. Тепло в корпуса дается с трудом. Ребята еще не все прочувствовали и не все поняли, что под это дело надо работать напряженно. Само не получится. Как заставить людей быть активнее, больше и глубже продумывать свою работу, находить в ней интерес?

«Заставить» — это, конечно, не совсем подходит, все равно надо. А пока что напор, созданный на объектах Автозаводстроя в 1971—1972 годах, привел к тому, что там все время идут на полшага впереди литейного (в части готовности объектов), раньше встречаются с проблемами и, соответственно, раньше их решают. А мы ездим и «перенимаем» новое. Пока неплохо, но надо и самим думать. Так недолго и леньность мысли развить — мол, соседи все равно «допрут», а мы используем».

К Зиминной он с порога:

— Просьба к вам, Роза Габдрахмановна. Тут женщина с поселка была, она мне в прошлый раз столько вопросов позадала... И опять с вопросами. Нельзя ли до праздников поехать и поговорить с ними? Ну, предположим, встреча с избирателями, а? Или возобновим «дни деловых встреч». Отвечать надо на все вопросы, а они могут быть разные. Знаете, что в прошлый раз, например, спрашивали? Правда ли, что собак по поселку всех перебьют, что вагончики будут передвигать на новое место и тому подобное. Договорились?

— Попробуем, — сказала Зимина. — Но у меня встречная просьба, Алексей Анатольевич: посмотрите список газет и журналов для Металлургстроя.

Болдырев взял листок и стал читать, покачивая головой.

— «Проблемы мира и социализма». «Пионерская правда». Вы читаете «Пионерскую правду»?

— Всегда, — подтвердила негромко Зимина. Была она вся негромка, деликатна, задумчива.

— Ну, ладно, а «За рубежом»? Шесть штук?

— Каждому СМУ по газете. Для пропаганды. Очень просили.

— И «Блокнот агитатора»?

— Конечно.

— А зачем вам «Станки и инструменты»?

— Механизаторам.

— А «Плановое хозяйство»?

— В бухгалтерию.

Болдырев далее читал молча и отдал список обратно со словами:

— Это все немалые денежки, да смотрите сами. Я не против, если вам все дадут.

ИЗ ЗАПИСЕЙ АЛЕКСЕЯ БОЛДЫРЕВА

«Мы находимся в состоянии войны. Противник у нас беспощадный, он никогда не отступает и не стоит на месте. Он только движется вперед. Это время. Только одна возможность выиграть — двигаться быстрее времени. Не «время, вперед!», а мы впереди времени». (На собрании коммунистов литейного завода.)

Уже поднявшись, набрал номер домашнего телефона: был восьмой час.

— Мадам, уже песни пропеты, и я собираюсь домой... Понял, заеду в магазин и все возьму.

В машине по радиотелефону принял от усталого Глазырина главную весть:

— Сдали!

— Сколько?

— Пятьдесят семь и шесть десятых.

— Хорошо,— сказал Болдырев, но никак внешне не выразил свою радость.

Уже сверкали впереди огни Нового города, и широко разливался за Камой красный закат, обещая на завтра ясную погоду.

Набережные Челны, октябрь 1975 г.

ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА

★

ТОГДА, В ИЮЛЕ

День за днем, день за днем над районом кружили облака. Каждый день разные. Каждый час иные.

Облака то грудились, как льдины в ледоход, то расходились, открывая широкие ярко-голубые полыньи, то снова, тяжелые и сизые, затягивали горизонт, вспыхивали далекими зарницами, рокотали глухим утробным громом, обещая и дразня, но ни разу, ни на один хотя бы час не сбились в тучи, не пролились щедрым дождем.

Поля, поля! В апреле их засевали, так и не дождавшись дождей, в сушь, в двадцативосьмиградусную жару — откладывать было нельзя, из почвы испарялись остатки влаги.

Да разве только с весенним севом так? И прошлогодний озимый сев и яблечную вспашку проводили тоже в крайне неблагоприятных условиях — последние настоящие дожди отошли в июле, больше их, по сути, и не было.

А зима? Она тоже оказалась бесснежной и мало, очень мало, по-сиротски подпитала влагой почву.

Потом пошли скачки — то зной, то затишье холода, то совсем уж небывалые заморозки в середине июня, заморозки, прихватившие картофель и овощи, гречиху и кукурузу. И — ни одного дождя! Ни капли влаги!

И если все же проросли семена и поднялись всходы, если сейчас шелестят колосьями овес и ячмень, рожь и пшеница, если еще зеленеет кукуруза и пока держится, не вянет ботва свеклы, если раскрывает свои корзиночки пусть малорослый подсолнух, если убран какой-никакой урожай гороха и заложен ранний силос, то это отнюдь не дар природы — все это взято у нее упорным трудом, вырвано возросшим умением.

Но я же не случайно все время повторяю: «сейчас», «сше», «пока»! «Шелестят»-то, «зеленеют» и «не вянут» на конец июня! А если в июле не будет дождя — окончательно попадут под запал, не нальются зерном, полупустыми останутся колосья; не будет дождя — не подрастут, свернутся в трубочку, а затем и опадут кукурузные листья, завянет ботва и зачахнут свекольные корни, спекутся в земле клубни картофеля; не будет дождя — к небогатому раннему силосу не прибавится поздний, сгорят, не дадут второго, тем более третьего уноса многолетние травы и культурные пастбища — скот войдет в зиму на голодном пайке...

Все от мала до велика в селе и в городе, привыкшем шефствовать над селом, понимали это.

Вот почему, просыпаясь и ложась в постель, люди с надеждой и тревогой вглядывались в проплывающие, пробегающие мимо облака.

Вот почему деревенская ребятня, стесняясь и посмеиваясь, на всякий слу-

чай-окаtywала водой проезжих и прохожих — так, сказывали бабки, в старину «зазывали» благодатные ливни.

Вот почему первый секретарь Набережночелнинского горкома партии Раис Киямович Беляев, непосредственно ведающий городом и не любящий без особой нужды вмешиваться в текущие дела своего «агрокорпуса», в первые дни июля снова (в который раз!) объехал все без исключения колхозы и совхозы, осмотрел все поля, а после этого пригласил на бюро не только сельский, но и городской партийный и советский актив, начальников промышленных и строительных подразделений. И обсуждал с ними сельские проблемы не в ряду с другими вопросами, а специально и целенаправленно.

И в первый и во второй свой приезд я слышала, как на традиционных еженедельных планерках он журил начальника райсельхозуправления, а позже — председателя райисполкома Курмашева: «Ты же деревенский парень, Юлдуз, ты же должен помнить, как раньше мобилизовывали народ — повозки, гармошки, колокола, праздник!»; как советовал только что избранному второму секретарю Нагаеву: «Масштабней надо работать, размашстей!»; как обращался к руководителям хозяйств: «Я же вам не указания даю — я вам даю шефов, трактора, автомашины, используйте эту помощь до конца, до предела».

Да, он и прежде интересовался Пригородной сельскохозяйственной зоной — что стройка без молока и мяса, без овощей и картофеля?! — он и прежде, когда была в том необходимость, выступал «на направлении главного удара».

— Но теперь, в условиях этого года, — объяснял мне позже Беляев, — эпизодического вмешательства было бы недостаточно. Исключительные условия года требовали исключительных мер. Надо было централизовать руководство. Надо было собрать все силы в один кулак.

Беляев и прежде редко пользовался «шпаргалками», а здесь, на бюро, взволнованный, возбужденный, совершенно забыл про них. Ему тесно становилось за трибуной, он выходил на край просцениума, обращался не безлично ко всему залу — называл конкретные имена: у вас такая-то обстановка, от вас мы ждем таких-то действий. И заключил свое выступление так:

— Хныкать и поднимать панику — для этого много ума не надо. Справиться с делом в оптимальных условиях — невелика честь. А вы вот попробуйте выкрутитесь в тяжелом году. Боритесь. Дерзайте. Подминайте под себя трудности. Докажите свою политическую и гражданскую зрелость. Я это вам говорю, работники села. И вам, дорогие товарищи шефы. В результатах вы одинаково заинтересованы. Стыкуйтесь!

Да, заинтересованность в результатах действительно взаимная.

Пригородная зона создана рядом с КамАЗом и ради КамАЗа. Когда еще только вынашивались планы автогиганта на Каме, велись подсчеты и того, как прокормить будущий город с минимальным завозом продуктов извне.

Поднимались цехи КамАЗа, выросстал белостенный красавец город, а вокруг решительно перестраивалось сельское хозяйство на новой, промышленной основе, и преобразенная деревня давала горожанам все больше молока и мяса, овощей и картофеля.

Год 1975-й, последний год девятой пятилетки, должен был стать для района рекордным. Но...

О том, что год будет трудным, они знали заранее, из долгосрочного прогноза. Да и по сухой осени, по бесснежной зиме видели: предстоят серьезные испытания. И делали все возможное, чтобы противостоять стихии. Пересеяли 7,5 тысячи гектаров (половину всей площади) слабых, плохо перезимовавших всходов. Поздние культуры сколь могли заменили ранними — овсом, горохом: может, успеют вырасти, пока солнце не прижгло. Перекрестный сев провели как ни в каком другом году рано, быстро и высококачественно.

— Удобрений, — говорил Нагаев, — столько подбросили, сколько, наверно, за целую пятилетку раньше не вкладывали. Если б не засуха, выскочили бы в дамки, взяли на круг верных двадцать центнеров...

С зимы где только можно начали строить запруды, накапливать талые и родниковые воды для полива. Правда, сушь была такая, что и пруды мало помогли — к июлю все они были вычерпаны. Но там, где все же сумели травы полить, только там кое-что и взяли на сенаж и на сено.

В начале лета, видя, что высоким хлебам не быть, стали рушить прошлогодние скирды, свозить к животноводческим фермам, прессовать и силосовать соломой.

Первым об этом резерве подумал Назип Зиятдинович Зиятдинов, директор «Гиганта». В прошлую зиму его совхоз лучше всех был обеспечен кормами. И теперь у него положение много лучше, чем в остальных хозяйствах (не мудрено — под поливом там 1200 гектаров, а во всем районе их только три тысячи!). Лучше, но не настолько хорошо, чтобы пренебречь соломой. Даже лежалой, прошлогодней. Засуха заставила и о ней вспомнить, и ее включить в кормовой баланс, предварительно обогатив минеральными добавками. Там, в «Гиганте», по его отработанной технологии и провели районный семинар «Прессование и силосование соломы».

Так уж тут заведено: все новое внедряют не словесными призывами, не бумажными циркулярами — показывают «товар лицом»: глядите, щупайте, убеждайтесь, перенимайте!

И переняли! Запрессовали прошлогодней соломы 3,5 тысячи тонн да засилосовали почти столько же. Она уже в руках. Она уже полуфабрикат. Она уже подспорье при нынешней кормовой бедности.

На такой вот семинар — теперь по организации потока на уборке зерновых — я и попала в первый же день своего приезда.

— Это вам будет интересно, — сразу после приветствия решительно заявил Нагаев и пригласил меня в машину.

Это оказалось действительно интересно.

На огромном гороховом поле медленно, очень медленно (при низком срезе не поспешишь) двигались комбайны, за ними соломоподборщики с высокими тракторными тележками. В срок, без минуты задержки, подходили под бункеры автомашины, в срок юркие «Беларуси» подгоняли пустые тележки, отвозили к силосным ямам наполненные. Чувствовался во всем ритм четкий и строгий, как на заводском конвейере. И так же, как в современных цехах, было тут, на этом массиве, почти безлюдно — кроме механизаторов, лишь две-три женщины подгребали под зубья подборщика рассыпавшуюся солому, всю до единой былинки. А с дальнего конца поля уже слышался рокот — то трактор прокладывал первые борозды, разделял почву под озимые.

Это было интересно не только мне. Руководители и главные специалисты колхозов и совхозов дотошно и въедливо расспрашивали хозяев поля о структуре комплексного звена, о выработке, о расценках, о заработках.

А еще через несколько дней мы с Миргалимом Ахметовичем Нагаевым отправились по хозяйствам посмотреть, как проходит воскресник.

В этот день — подсчитано было позже — на село выехало 5,5 тысячи горожан, вышло 595 тракторов и автомашин. Люди, впрочем, не бросались в глаза, они рассредоточились — кто на сенажных траншеях и силосных ямах, кто на току возле зерноочистителей, кто в лесу ломает молодые ветки. А вот машины — они возили зерно и соломой, — машины были видны издали: на пыльных проселочных дорогах за ними долго тянулись, не опадая, густые рыжие шлейфы. Служба коммунального хозяйства в этот день направила на культурные пастбища все свои «поливальки». Городская торговая сеть выслала на поля автолавки и цистерны с квасом.

— Трудный год. Для всех трудный. Задержали мы горожан, — задумчиво, с теплотой произнес Нагаев. — Они в этом году — спасибо им! — заготовили три четверти всех веточных кормов и две трети сенажа. Сколько выходных нам отдали!.. За счет отдыха! В ущерб семье!.. И в то же время, поверьте, нельзя не аврально. Никак нельзя! У нас в хозяйствах всего три с половиной тысячи трудоспособных. Три с половиной! На все виды работ! Разве под силу им самим накормить

двести двадцать тысяч челнинцев хотя бы только молоком и мясом, овощами и картофелем? В пиковые периоды, как хорошо ни кухарь, если всем народом не рвануть, никакой каши не сварить. Да и в будущем, когда зона закрутится на полную мощь, все равно придется кричать SOS: шефы, на помощь!

Пригородная зона, ее сегодня и завтра — любимая тема Миргалима Ахметовича. Он и в прежние встречи охотно рассказывал мне о разных аспектах ее создания. Но, оказывается, одного, самого для него существенного, по скромности своей не сказал. Я узнала об этом по дороге в Набережные Челны от казанских товарищей:

— А Нагаев-то защитил зимой кандидатскую. Да, по зоне.

Я поздравила его. Он отмахнулся:

— Ну ее, эту диссертацию! Даже вспоминать не хочу. Я из-за нее поседел...

И о том, как проходила защита, рассказывать отказался.

— Ничего особенного. Сначала меня замкнуло, никак не мог разойтись. Потом никак не мог остановиться...

Но жена его Альфия говорила мне, что держался он молодцом, выступал спокойно, размеренно, со стороны казалось, будто он невозмутим, и лишь одна она видела желтоватые пятна на его скулах — признак сильнейшего волнения.

— Вы знаете, — призналась она наедине («сам» бы не разрешил, счел нескромным сказать такое), — десять лет мы с ним живем, и десять лет я только и делаю, что жду его. То он на работе крутится до изнеможения, то над книгами сидит до потери сознания. Хоть теперь станет посвободней...

— Да, кстати, — входя в комнату, подхватил Нагаев, — надо вернуть из Казани все книги, что я туда перетащил. И все новое разыскать, что за эти полгода вышло... Нельзя, — ответил он на огорченный и укоризненный взгляд жены, — нельзя останавливаться: снесет течением.

В этом весь он, Нагаев, каким я успела его узнать. Не отстать! Не задержаться! Всегда и во всем «соответствовать», быть на высоте.

Он вступил в самостоятельную жизнь всего лишь со средним зоотехническим образованием. Работая в комсомоле, окончил вечерний юридический факультет. Став директором совхоза, получил заочно высшее экономическое образование. На директорской же — напряженнейшей, сумасшедшей — работе сдавал кандидатский минимум, писал диссертацию. Заканчивал ее уже вторым секретарем горкома. Ночами, как только уснет семья, садился за учебники или за очередные главы своего научного труда. Ни одним отпуском за последние пять лет не воспользовался для отдыха, для лечения — грузил в машину книги мешками и ехал в Казань к маме, чтобы там в тишине «навалиться», «нажать», наверстать упущенное за год. И ведь не в эмпирии заносился — изучал то, что обогащало его и вооружало для повседневного дела. И диссертацию писал не ради ученого звания — чтобы глубже постичь закономерности создания Пригородной зоны, чтобы успешнее решать ее проблемы. Диссертация так и называется: «Организация производства в сельскохозяйственных предприятиях Пригородной зоны Камского промышленного комплекса».

Они заранее знали, что год будет трудным, и делали все, чтобы противостоять стихии. Но они не предполагали, что год будет таким трудным. Старинки говорили мне о погодных условиях прошлой осени, этой зимы, весны и лета: все точно так, как было в 1921 году. В страшном девятьсот двадцать первом, когда засуха оголодила, опустошила весь Татарстан, все Поволжье.

Но нынче год все-таки 1975-й. Со всем, что дала советская власть трудящимся. Со всем, чем стала наша страна к этому году.

— И нынче, — заверил меня Нагаев, — мы боремся не за то, чтобы выжить, а за то, чтобы сохранить завоеванные позиции, не отступить ни на шаг.

В одно из воскресений я зашла в исполком к Курмашеву. Там собрались главные зоотехники всех колхозов и совхозов района. Решали, как в условиях этого года не только выполнить план по мясу, но и не сбросить поголовье круп-

ного рогатого скота. Решали без «нажима», спокойно, вдумчиво, скрупулезно, по каждому хозяйству. Корма считали не тоннами — кормовыми единицами, сдаточное поголовье — не «хвостами», а реальным весом (который, кстати, достиг по району 417 килограммов!). Курмашев придирчиво переспрашивал цифры, сверял со своими записями, соглашался или опровергал и все время повторял:

— Считайте точно. Нам не надо никаких мертвых душ. Что запишем — выполним.

Договорились: столько молодняка оставить на доразивание, столько уже сейчас поставить на откорм для выполнения плана четвертого квартала, столько с октября начать откармливать для первого квартала следующего года, с тем чтобы выполнить и перевыполнить этот план в феврале, к XXV съезду партии.

— Ну, все? — поднимаясь, спросил Курмашев.

— Все-то все... Но чем кормить, чем кормить? — уныло проговорил худенький немолодой человек в выцветшей ковбойке.

— Опять двадцать пять! — Курмашев всем своим крупным ладным телом повернулся к нему. — Мы же только что обсчитали, чем кормить! — Он заглянул в свои записи. — Пожалуйста! Вот твои травы, вот твой горох, вот подсолнечник, вот корнеплоды, вот ячмень, вот кукуруза... Не будь Плюшкиным! Там, где видишь — наверняка не получить урожая, коси, не жди, чтоб окончательно высохло. Какая разница — сейчас кормить или потом? Надо переступить через заведенный порядок: свалить, высушить, пропустить через комбайн, через сортировку, через мельницу, а потом давать месиво. И с понятиями «зимнее», «летнее» содержание тоже надо обращаться погубче. Пастбища уже дочерна вытоптаны. Чего ждать белых мух? Переводи скот в стойла, растапливай котлы в кормокухнях, запаривай солому, готовь кормосмеси, вози барду... Ищи, думай, пошевеливайся! И никакой паники. Народ должен быть уверен в завтрашнем дне...

А народ в завтрашнем дне уверен. Я видела в деревнях и селах озабоченность: «Как преодолеть трудности?» — но не обнаружила страха перед ними, не почувствовала тревоги за будущее. Никто, хотя год похож на двадцать первый, с насыженных мест не снимается, в хлебные края не уезжает. Колхозы и совхозы все так же много строят — и жилье, и хозяйственные помещения, и соцкультбыт, и дороги (асфальт и бетонка!). Индивидуальные застройщики также требуют лес, кирпич, шифер и другие материалы. Растет очередь селян на легковые автомобили. Курмашев — на то он и советская власть! — бдительно следит, чтобы хозяйства, как это ни трудно, выделяли корм для личного скота колхозников и рабочих совхозов, чтобы не сократилось и это поголовье. И снова и снова я слышу его присказку: «Жизнь этим годом не кончается. И в семьдесят шестом будем жить, и всю будущую пятилетку будем справляться со своими задачами. Нас не будет — народ останется. Думайте о народе».

Великий жизнелюбец, весельчак, заядлый путешественник, Курмашев в этом году показался мне много старше, собраннее, серьезнее, чем в прошлом. Он меньше шутит, не щеголяет литературными и историческими реминисценциями. Он отказался от летнего отпуска, от дальних увлекательных поездок на машине.

Трудный год? Да, разумеется, трудный год, прежде всего он. Но и возраст, наверное. Вдруг обнаружил: дети (он их назвал Ильдуз и Ильгиз — Друг родины и Познающий родину) подрастают, требуют больше мужского, отцовского внимания. Жена прибаливает — ей уже нелегко справляться с домом, нелегко держать в руках детей. Жизнь идет, жизнь предъявляет свои заботы, напоминает об иных твоих обязанностях, которых прежде по молодости не замечал...

Они заранее знали, что год будет трудным, но не испугались трудностей, не воспользовались случаем, чтобы пристойно от них укрыться. А случаи такие были, очень удобные.

Я говорю теперь о Фаязе Музагитовиче Музагитове, начальнике районного производственного управления сельского хозяйства. Человек для Челнов новый, человек со стороны, в прошлом году он чувствовал себя здесь не совсем уверенно и не совсем уютно. Все-таки был он до этого вторым секретарем райкома в

крупном районе, все сельские дела решал, по сути, самостоятельно, а тут вдруг под его началом оказалось всего четыре колхоза — совхозы находились у другого «хозяина», в молочно-овощном тресте. Туда, как в чужой монастырь, со своим уставом не сунешься!

Другой при таких обстоятельствах охотно, что называется, руками и ногами ухватился бы за приглашение переехать в Казань, тем более должность была предложена высокая — заместитель министра сельского хозяйства. А Музагитов отказался. И председателем райисполкома в соседний район не пошел. «Я приехал строить Пригородную зону, — заявил он, — и останусь здесь до победы...»

Дело он свое знал, за работу брался энергично, с размахом. Это именно он поставил перед горкомом и райисполкомом вопрос: под строительную площадку КамАЗа ушло около 13 тысяч гектаров добротных колхозных и совхозных полей, в результате строительства Нижнекамской ГЭС уйдет под затопление еще не меньше 15 тысяч — давайте просить межхозяйственный водовод из Камы для орошения хотя бы 10 тысяч гектаров, без этого мы потеряем землю не компенсируем. И убедил — письмо такое послали. Правда, при первом заходе наверху отказали — где взять неплановые остроресурсные трубы? Но недавно — засушливый год подтолкнул — челнинцы повторили свою просьбу: без полива район не сможет обеспечить устойчивых урожаев, а стало быть, и стабильного снабжения города продуктами.

— Я не сомневаюсь: рано или поздно этот вопрос решится, — сказал мне Музагитов. — Страна ничего не пожалеет для КамАЗа. Размах такой, что дух захватывает!

Да, размах, конечно, необыкновенный. Стало уже привычным выражение «КамАЗ строит вся страна». Но ведь и Пригородную зону тоже вся страна строит. Страна выделила для нее на эту пятилетку 100 миллионов рублей — столько, сколько вложено в сельское хозяйство Челнинского района за все пятилетки, вместе взятые. Страна шлет сюда могучее материально-техническое подкрепление: за эти годы проложено 56 километров магистральных трубопроводов, на 50 процентов обновлен парк комбайнов, на 40 процентов — тракторный парк. Волгоград шлет сюда свои «ДТ-75», Ленинград — «Кировцы», Минск — «Беларуси» и «МАЗы». Ростов-на-Дону поставляет «Нивы», Красноярск — «Сибиряки», Москва, Ульяновск и Горький — «ЗИЛы», «УАЗы», «газики»; Николаевская, Куйбышевская и Саратовская области — дождевальные машины; Прибалтика и Калининградская область — племенных телок черно-пестрой породы...

— При такой-то помощи горы можно своротить! При таких масштабах интересно и весело работать! Где как не здесь блеснуть! Показать, чего ты стоишь...

В хозяйствах (мне довелось поехать с Музагитовым по району) он уже освоился, изучил их нужды, знает людей — не только руководителей, но и «работяг».

— Вот здесь, — показывал он на поле, — работает комбайнер, все три его сына до армии перебивали у него в помощниках... На том поле комбайнер обслуживает сразу два агрегата, переходит с одного на другой, а трое его помощников — старшекласники, мы ведь во всех школах создали кабинеты машиноведения, даем подросткам сельские профессии... А здесь муж с женой ячмень убирают... А там отец с дочерью — у нас семейные экипажи очень поощряются... Не хотите ли познакомиться?

Мы подъезжали, Музагитов нас знакомил. Пока шел разговор, он бежал к комбайнам, проверял: каков срез? надежна ли герметизация? не допускаются ли потери?

Да, здесь, в хозяйствах, он чувствовал себя вполне свободно. И в горкоме, в райисполкоме я уже не замечала в нем прежней скованности, хотя, не знаю почему, на активах, на совещаниях он, как и раньше, старается сесть где-нибудь в рядах, подальше.

Теперь у него «под рукой» уже не четыре колхоза — в ведение райсельхозуправления перешли и совхозы ликвидированного треста, правда не все: благопо-

лучный во всех отношениях «Гигант» взяло под свою высокую опеку Министерство сельского хозяйства Татарии, еще два совхоза — «Ильбухтинский» и «Ворошиловский» — оказались в подчинении областного Овощепрома (Музагитов считает это неправильным: овощами, говорит он, нельзя заниматься за сотни километров, и вообще он по-прежнему глубоко убежден — у земли должен быть один хозяин).

Архимед Александрович Сулейманов, бывшего директора треста молочно-овощных совхозов, ветерана и одного из зачинателей Пригородной зоны, я нашла в том же двухэтажном деревянном доме, что и в первый свой приезд в 1972 году.

Тогда трест только создавался, в здании шел капитальный ремонт, пахло краской, известью, хорошо вымытыми деревянными полами.

Директор — он пришел сюда с должности второго секретаря горкома — вместе со всем своим аппаратом ютился в одной-единственной комнатке (что ни стол, то отдел), но как они были одушевлены предстоящим размахом работ! С каким подъемом составляли перспективные планы! Как вдумчиво разрабатывали текущие мероприятия!

Трест этот впервые в Татарии создавался не в Казани, а на периферии. Имелось в виду приблизить управление непосредственно к производству, объединить усилия всех совхозов молочно-овощного направления из нескольких примыкающих к Челнам районов, влить их ресурсы в Пригородную зону КамАЗа.

Эксперимент не удался.

В прошлом году, когда я вновь побывала в Набережных Челнах, было уже совершенно ясно — районы не приняли этой множественной подчиненности: в чем-то челнинскому тресту, в чем-то — Министерству сельского хозяйства республики, в чем-то — республиканскому Объединению совхозов с его многочисленными «промами». Интересы районов и интересы треста не всегда «стыковались», а подчас и вступали в непримиримые противоречия. Сулейманов старался не показывать виду, но был удручен и подавлен. Его сотрудники, не веря в долгий век своей «конторы», исподволь подыскивали себе другую работу.

И вот я снова, в третий раз, поднимаюсь по этой скрипучей лестнице, иду широкими, выстланными пластиком коридорами. Полы до блеска протерты, окна сияют чистотой, цветы на подоконниках благоухают. Стены еще живут прежней жизнью: тут висит старая стенгазета «Совхозный организатор», тут — таблицы с показателями финансового состояния совхозов, диаграммы роста продукции (кривые на них круто ползут вверх). Но двери кабинетов заперты на ключ, и сняты таблички с должностями и фамилиями сотрудников, и не слышно человеческих голосов.

Впрочем, нет, вот один голос гулко раздался в пустом здании. Иду на него. Так и есть: из сулеймановского кабинета! А вот и он сам — разговаривает с кем-то по телефону, убеждает перейти к нему на работу, обещает дело масштабное, интересное, большой государственной важности.

Что за дело?

Архимед Александрович верен традициям гостеприимства — кипятит, заваривает, подает ароматный чай («Вы, насколько я помню, не пьете кофе?»), потом усаживается в кресло, деликатно, с присущей ему доброжелательностью расспрашивает о моих делах и лишь после того отвечает на вопросы.

Он теперь возглавляет челнинский филиал проектного института Таттигровхоз. Филиала, собственно, еще нет. Весь штат — директор, уборщица и экспедитор. Вот только что вел переговоры, «искушал» одного хорошего парня в главные инженеры. Почему «искушал»? Да потому что ставки здесь ниже, чем в строительных организациях, на проектировщиков не распространяются никакие льготы, никакие коэффициенты. Старые, опытные работники с солидных постов не пойдут, одна надежда — молодые вдохнутся. Дело-то действительно и масштабное и важное. Мелиоративные работы в новой пятилетке резко возрастут.

нужны будут проекты, много проектов. Ожидается, что филиал будет обеспечивать проектной документацией капвложения ориентировочно на 15 миллионов рублей. Все Закамье станет обслуживать примерно половину республики. Тут важно не ошибиться с кадрами. Известно: как подберешь, так и сработает, каков аппарат, таков и результат...

Сулейманов подробно говорит о будущей деятельности, похоже, он серьезно к ней готовится — на столе у него я замечаю «Основы разведочного бурения», «Курс инженерной геодезии» и другую специальную литературу.

Закрепится ли он на этом посту? Вдохновится ли сам?

— Моя задача — создать филиал. А там видно будет, — сдержанно отвечает он.

Долго и сосредоточенно пьет чай. Наконец, оставив чашку, говорит, по обыкновению не повышая голоса, с извиняющейся улыбкой:

— Я же сельхозник по образованию. Я же двадцать лет занимался селом. Десять лет только в этом районе. Днем спешить на поля: как всходы? как растет? как созревает? Ночью вскакиваешь: дождь? суховей? В нашем деле так: покой пьет воду, а беспокойство — мед... Главное, результаты стали уже проглядываться. Довести бы дело до конца!

— Но, — пытаюсь утешить, — и эта работа тоже имеет отношение к селу.

— Да, конечно, — вяло соглашается он. И уточняет: — По касательной. А мы все, настоящие аграрии, привыкли быть в эпицентре... У меня вот двадцать лет, по существу, не было выходных. Теперь они появились — и не знаешь, куда их девать... Ну, читать стал больше... На огороде поковыряешься... На рыбалку иной раз съездишь... И все равно не отключишься: что ни делаешь, все против души, а мысли там, в зоне...

— Зато семья, наверное, рада?

— Семья-то рада...

(Курмашев по этому поводу пошутил: «Образцово-показательный семьянин на мою голову! Теперь только и слышу: «Другие-то мужья!..», «А другие папы!..»)

Спрашиваю: как их старая дружба с Юлдузом Вагизовичем?

— Все так же... Только... Людей ведь больше всего общее дело сближает, общая ответственность. Раньше я свободно звонил ему в любое время, заходил в любой час решить неотложные вопросы. Сейчас у него свои заботы, а ты к ним непричастен. И как-то неудобно идти: чего я буду там надоедать?..

Июль шел своим чередом. Шел в пыли, духоте и зное. Облака кружили над районом, вспыхивали далекими зарницами, рокотали неясным громом и, покружась и покуражась, уходили непролитые, чтобы снова вернуться и снова уйти.

Где-то к середине месяца в район приехала «чрезвычайная и полномочная» бригада проверить ход уборочных работ, подготовить вопрос к слушанию на бюро обкома. Корректные, серьезные, знающие свое дело люди ездили по хозяйствам, расспрашивали, смотрели, считали, записывали.

Нагаев — по крайней мере внешне — был абсолютно спокоен.

— Думаете, у вас все идеально? Не ждете замечаний? — не выдержала я.

— Напротив! — с живостью ответил он. — Разве может большое дело обойтись без каких-то упущений? Важно их вовремя заметить. Бригада прибыла в самую пору. Проверка поможет нам увидеть наши промахи и недостатки, отмотелизовать людей, нацелить на отстающие участки.

И точно: чтобы заслушать выводы бригады, он созвал весь сельский актив.

Старший из проверяющих долго перечислял отмеченные недостатки: не во всех хозяйствах комбайновые экипажи укомплектованы для двусменной работы, не у всех комбайнов затерметизированы копнители, кое-где допущен разрыв между скашиванием гороха и его обмолотом, некоторые хозяйства медленно силосуют и прессуют солому, не всегда достаточно эффективно используется привлеченный на уборку транспорт...

Нагаев, слушая, буравил зал черными, глубоко запавшими глазами, укоризненно покачивал головой. Потом спросил:

— Ну что, хваленые челнинцы? Стыдно? Очень? Мне тоже... Давайте ж разберемся, как могло случиться такое и что срочно надо сделать...

После бюро обкома — они туда, «на ковер», ездили с Курмашевым — оба доложили о результатах обсуждения.

Прошли за стол президиума хмурые, бледные — то ли утомились в машине, пока тряслись из Казани, то ли были удручены неприятными разговорами на бюро, то ли (я и это допускаю) чуточку, самую малость «играли на публику», чтобы создать определенный эмоциональный настрой.

Нагаев с того и начал, глубоко вздохнув:

— Как нам вчера досталось! По всем нашим недостаткам прогулялись члены бюро. Все, даже мелкие упущения, нам припомнили: мы же челнинцы, с нас особый спрос...

Курмашев в тон ему:

— Передовиками по животноводству были. Переходящие Красные знамена получали. Гордились. В ладоши хлопали. Как говорится, на коне и со щитом. А теперь в области мне глаза колют: что же вы, герои, скисли, снизили в июле надои? пороху не хватило? Выходит, что же это мы — герои на час?!

Не знаю, не спрашивала, так ли уж их стыдили, так ли «глаза кололи», так ли «прогуливались по недостаткам». Да и не в том, в конце концов, не в словах, сказанных им, дело. Главное, как они сами все это восприняли, какие для себя сделали выводы и как народу преподнесли. Как постарались использовать для «заострения», «нацеливания» и «озадачивания» (есть в лексиконе партийных и советских работников такое словцо, производное от «поставить задачу»).

И еще раз убедилась я в их умении правильно воспринимать критику, использовать ее для улучшения работы и даже... даже заведомо ставить себя под удар в интересах дела.

В те же примерно дни «Советская Татария» покритиковала Челнинский район за уборку. Нет, разноса большого не было. Одни хозяйства похвалила за хорошо налаженный уборочный конвейер, в других отметила потери зерна в процессе уборки.

Нагаев прочел, жирно подчеркнул написанное, дал указание: широко обсудить, принять меры, редакция ответить.

Кто-то из присутствовавших в кабинете недобрым словом помянул собкора: навалился — недавно за корма шарахнул, теперь за хлеб...

Миргалим Ахметович блеснул глазами, улыбнулся:

— Правильно! Если нас не подгонять, уснем на ходу. А так запустят жука за рубашку или ежа под... простите, на стул — мы и зашевелимся.

Курмашев хохотнул согласно:

— На то и щука, чтоб карась не дремал!

Но даже и Курмашев не знал: в первый-то раз, с кормами, когда в районе чувствовалась некая нерешительность и раскачка (а вдруг дождь? а вдруг еще подрастут?), Нагаев сам пригласил собкора, сам попросил «поддать» отстающим хозяйствам. Другое дело — редакция проявила неоперативность, материал напечатали с месячным опозданием, он уже никого не мог подтолкнуть и мобилизовать. Хлестнул вдогонку, пожалел Нагаев, мазнул по спине...

Я, пожалуй, знаю, откуда у них эта традиция — ценить и культивировать критику. Разумеется, прежде всего от общего настроения в республике. Но и от Беляева тоже. Он не стесняясь может прилюдно на районной планерке или на собрании актива сказать Нагаеву: «Где был твой партийный глаз?»; упрекнуть Курмашева: «А вот тут ты прокрутил вхолостую»; может в разгар обсуждения сельских дел помянуть из зала Музагитова: «Ты чего там за чужими спинами жмешься? Садись в президиум, пусть все видят, кто в этом виноват».

Как-то я спросила Раиса Киямовича:

— А вам не кажется, что им обидно выслушивать ваши замечания вот так вот, при всех? Можно ведь то же самое...

— Келейниченько? В кабинетике?! — с издевкой прервал меня Беляев. — Нет уж! Нет у меня такой привычки и не будет. Пока я жив, долбеж будут получать принародно. Зачем нам прятаться? От кого? Я о себе не боюсь сказать: здесь мой недогляд, моя вина. И с них, с аграриев, на всю катушку требую. А этим самым даю им право так же требовать от других.

От других — стало быть, в первую очередь от руководителей хозяйств, они ведь тоже в том едином «кулаке», им ведь тоже бить да бить в единую цель: преодолеть невероятные трудности этого года.

А каковы они, колхозные и совхозные командиры? Как изменилась их жизнь со строительством Пригородной зоны? Они в условиях зоны доказали свою политическую и гражданскую зрелость?

В прошлых очерках я рассказывала о двух из них — о Закирове и Зиятдинове. Сегодня расскажу еще о трех (хотя и к Зиятдинову еще придется вернуться).

За одним — Зуфаром Закретдиновичем Галеевым — я третий год, что называется, охочусь.

В первый мой приезд в 1972 году был он одним из самых молодых директоров совхозов и по возрасту и по стажу, до этого ходил в управляющих отделением, в главных зоотехниках. Стал он директором одного из трудных хозяйств — его «Ильбухтинский» недавно выделился из старого, еще закировского «Гиганта», и досталось ему, по правде сказать, далеко не самые лучшие земли, далеко не самые обустроенные деревни. Ни мехмастерских своих, ни гаража, ни клуба, ни школы, ни конторы — ничего не было, все это находилось на гигантской центральной усадьбе.

И с кадрами хоть вой — набирали кого откуда: главный бухгалтер из Новых Гардалей на работу ходил, главный экономист — из Азьмушкина, зам главного бухгалтера из Мензелинского района ездил, у самого Галеева семья на прежнем месте, в совхозе «Ново-Троицкий», жила, привез бы, да поселить негде. Правда, выделили ему избу — он ее сварщику отдал, с КамАЗа перетянул, ас, золотые руки, жалко упустить. Ему бы вот так еще несколько комбайнеров и трактористов «умыкнуть», но жилье, жилье!

Очень интересно мне было показать, как молодой руководитель и молодой специалист — он тогда заочно сельхозинститут заканчивал — справится в этой сложнейшей ситуации.

А молодой руководитель (худой, высокий, с чуть приподнятыми, словно в постоянном недоумении, плечами), выслушав мою просьбу «поговорить бы», поглядел на меня то ли рассеянно, то ли, наоборот, напряженно, во всяком случае, думая о чем-то своем, сказал отрывисто:

— Извините. В город еду. С шефами договорился.

Ну, такие важные встречи срывать нельзя. Я увязалась за ним. Ходили из одной строительной организации в другую — Галеев впереди, по-аистинному выбрасывая длинные ноги, я, преодолевая отдышку, следом.

Придя к шефам, он усаживался на стул плотно, основательно, молча подсовывал свои заявки, смотрел в упор требовательным, гипнотизирующим взглядом. Кто сразу отступал перед ним, подмахивал все, что просили. Кто говорил: «Оставьте, рассмотрим». Кто нетерпеливо бросал: «Пока не до вас». Галеев в таких случаях громко вздыхал и... не уходил, аел от смущения, но снова подсовывал свои бумажки: «Нам крайне необходимо... позарез». И — я свидетель — получал требуемое.

Во второй мой приезд два года спустя обстоятельной беседы тоже не получилось. Был Галеев хмур, озабочен, взвинчен. Надеясь на комплекс, он за один прошлый год увеличил поголовье крупного рогатого скота на 40 процентов, коров — почти на треть. А строители подвели. Что-то до холодов недоделали, что-то сделали не так (сказались и пороки проекта), а стадо некуда было девать, он с ним и влез в «недостройку», ну и получил выговор за самовольство и намучился с зимовкой, да и теперь еще не все там было отлажено и с технологией и с организацией труда.

— Недоросли еще, чтоб в печать. Поработать надо, — буркнул он мне и мгновенно куда-то скрылся.

И вот новая встреча. В году еще более трудном.

В сказках герой в тяжелых испытаниях обычно на третий раз побеждает. Жизнь не сказка. Галеев и в этом году не ходит в победителях. Он и в этом году успел получить взыскание (с засухой все полевые работы «уплотнились», налезли одна на другую, он и растерялся, упустил подготовку к уборке).

— Ничего, — сказал по этому поводу Нагаев. — Это не страшно. Настоящий руководитель годами обкатывается...

А сам Галеев... Сам он, как всегда, спешил. На сей раз в домостроительный комбинат к Марату Шакировичу Бибишеву: просить, чтобы поставил, хотя он теперь и не их шеф, дом улучшенной, экспериментальной серии. А если удастся, то и два.

— Поможет?

— Будешь ходить, добиваться — все помогут, — убежденно проговорил Галеев. И вдруг, краснея до ушей, до корней волос, попросил поехать с ним. — Посидите там, пока я говорю... Очень они уважают прессу...

По дороге я спросила Галеева: кто из руководителей хозяйств района больше всего нравится ему? Является, так сказать, эталоном современного командира производства?

Галеев еще выше поднял свои острые плечи, явно удивляясь этому, с его точки зрения, нелепому вопросу. Воскликнул не раздумывая:

— Конечно, Зиядинов! Он... он все предвидит, все успевает...

Ну а эти двое — давно уже «обкатанные».

Фатых Латыпович Якупов из колхоза имени Мусы Джалиля в председателях более двадцати лет. Поднял одно хозяйство — сюда, в отстающее, как Гаганова, перешел. (А в том, прежнем, к слову сказать, с тех пор сменилось несколько руководителей, растранивших якуповские успехи, и лишь сейчас снова оно в чем-то — не во всем — начинает выбираться в передовые.)

Мунавар Юнусович Юнусов в своем «Коммунизме» девятый год. Попал сюда из председателей сельсовета; как раз в заочной ВПШ последние экзамены сдавал, а ему в обкоме говорят: «Гибнет хозяйство, принимай, досдашь потом».

К тому времени, как Юнусов принимал свою «развалюху», Якупов уже на всю Татарию славился. Он и на новом месте добился отличных показателей. Отличных, разумеется, по тому спросу. Как он теперь говорит, посмеиваясь: «Легко жили! За полгода выполняли все годовые планы, а дальше руки в брюки и ждали наград». Наград у него много: и ордена за каждую пятилетку и звание заслуженного агронома республики.

А тут и КамАЗ начался и Пригородная зона.

Требования она перед всеми поставила одинаковые, но условия, в которых пришлось работать, оказались разными.

Якуповский колхоз самый отдаленный в районе. Из него, конечно, тоже был отток на КамАЗ, но сравнительно небольшой. А Юнусов не только лучших своих черномозгов лишил («Там, где теперь центр города, всё наши поля были») — у него целая деревня Сидоровка — 104 хозяйства — оказалась на городской территории, и все ее жители (все, кроме одного механизатора) перешли работать на стройки и предприятия.

Итак, требования выросли.

— КамАЗ навязал нам темпы, — говорит Якупов. И, хитренько щурясь, сравнивает: — Соседний район ежегодно поголовье на пять процентов увеличивает — я на пятнадцать — двадцать. Соседний район ежегодно получает кредитов на строительство полтора-два миллиона — я один строю на миллион семьсот — миллион восемьсот тысяч.

(Он мог бы с таким же успехом не с соседним районом сравнивать — со своими бывшими темпами, которые прежде заслуживали наград, а теперь никого не устраивают.)

Требования выросли. А результаты? А в результатах оба хозяйства примерно сравнивались. В чем-то Якупов пока еще впереди (экономика у него определенно крепче). В чем-то Юнусов поджигает его, а подчас и обгоняет (правда, нестойко, рывками).

Колхозы между собой соревнуются. «А слово «соревнование», — объяснил мне Курмашев, — одного корня со словом «ревность». У них, у Фатыха и Мунавара, ревность белая, они ведь друзья». Да, друзья. Но такие во всем решительно разные. Юнусов подобран, быстр, резок в словах и движениях. У него смуглое сухощавое лицо в резких морщинах, гордый, как раньше писали — орлиный, профиль. Если бы какой-нибудь художник или скульптор задумал нарисовать или вылепить немолодого индейского вождя и искал «натуру» в Челнинском районе, он бы, не сомневаюсь, остановил свой выбор на Юнусове.

Якупов весь какой-то округлый, в добрых, мягких ямочках, светлые глаза ласково поглядывают из-под тяжелых век. Кажется, он подобен податливой глине, что хочешь из него лепи.

Первое впечатление обманчиво.

«Суровый индейский вождь», как я успела узнать, любит пошутить, посмеяться. Не без того — сорвется, «даст вспышку», но быстро отойдет и назавтра хоть последнюю рубашку отдаст человеку, на которого сегодня шумел.

«Мягкий и улыбочивый», говорили мне, умеет быть ого-го каким строгим и даже жестким, долгопамятливым на обиды. «Уж если кого невзлюбит — беда!»...

В отношении к делу они тоже проявляют себя отнюдь не в соответствии со своим внешним обликом.

«Гордый» быстро, что называется, с лету, на ура подхватывает все новое, легко идет на всевозможные хозяйственные эксперименты. За культурные пастбища, например, он первый еще в 1972 году ухватился и так их хорошо поставил (до 600—700 центнеров зеленой массы на гектар!), что в его колхозе проводился всесоюзный семинар — приезжали учиться партийные и советские работники, журналисты, пишущие о селе. Да и многие другие новшества именно здесь, у Юнусова, апробировались, получили путевку в жизнь.

«Подобный глине» осторожен и расчетлив, заставляет долго себя «уминать», пока согласится внедрить то, что другими давно уже сделано. Он не спорит, нет! Он ласково щурится, улыбается, обещает: «Посмотрим» — и... выжидает, тянет резину.

Мне он так объяснил свою позицию:

— Когда я начинал работать, мне веревку не на что было купить. С тех пор я привык считать копейки. И теперь мне трудно тысячи бросать на всякие дуновения моды...

Отчасти, должно быть, так. Но еще и устоявшиеся привычки, и традиционное мышление, и нежелание рисковать стабильными результатами.

Вот, скажем, во всех хозяйствах района увеличивают площади под многолетними травами. Якупов с «многолетней» работать не привык, а признать этого не хочет, мудрит: «Многолетка — для лентяев, раз посеял — пять лет бери. А мы и на однолетке до ста центнеров получаем». Или о горохе (его в Татарии издавна сеют много и охотно): «Верный конь всегда выручит. А все эти новшества — пока темная лошадка».

Надо, однако, отдать ему должное: если «лошадка» для него не «темна», если, «прокрутив затраты и результаты», он убеждается в скорой и бесспорной выгоде, тут уж его уговаривать не надо. Молочный блок с очисткой и охлаждением он в Челнах первым установил. И стал сдавать государству до 60 процентов молока первым сортом, получая за качество прибавку 250—270 рублей ежедневно. У него по этому вопросу и семинар проводили. После него все ринулись доставать и заказывать такие установки.

Строят они оба очень много. Но строят тоже по-разному. Для Якупова прежде всего — основа, производство. Для Юнусова — люди, двигающие это производство вперед.

Конечно, в районе существует контроль, Якупова заставляют, помимо производственных помещений, возводить и жилье, и клубы, и школу (десятилетку ему буквально навязывали, он считал, что и с восьмилеткой можно обойтись), но контроль, как видно, недостаточный: весь соцкультбыт Якупов распахал, рассовал по деревне где попало, среди старых деревянных домишек — делали, делали, а сделанного не видать.

У Юнусова совершенно иная картина. Все его новостройки — Дворец культуры, административный корпус, средняя школа, торговый центр, двухэтажные жилые дома — вынесены в особый микрорайон, стали центром и украшением села (в этом, к слову, много ему помог шеф Марат Шакирович Бибишев, тот самый, к которому тянул меня «бесшумно-пробивной» Зуфар Галеев).

Бывший сельсоветчик, бывший партийный работник, Юнусов привык думать обо всем, чем живет крестьянин, обо всем, что облегчает и украшает его существование, — о кормах и дровах, о фельдшерско-акушерском пункте и приемном пункте быткомбината, об общественной столовой (у Якупова люди до последнего времени на работу тянули узелки со снадью), о детской музыкальной школе и костюмах для колхозной художественной самодеятельности. И даже о судьбе тех, кто сегодня учится в школе, а завтра будет ее кончать.

— Это очень хорошо, что ребята здесь, на месте, получают полное среднее образование, — говорил он мне. — После восьмилетки у парня еще ветер в голове, это самый опасный возраст, такой пацан до армии успеет от рук отбиться, его любая шпана может подцепить. А если он в своей семье, в своем колхозе десять лет прочитается, он, выходя в жизнь, не только знаниями обогатится, но и дальнейший путь своей более сознательно определит. К тому же за эти два года он и колхозу поможет, а там, глядишь, как зашуршат собственные денюжки в кармане — и насовсем остаться захочет...

Вот такие они, Якупов и Юнусов. Два друга. Два председателя. Два, если хотите, стиля работы. А может быть, и две эпохи в колхозном строительстве.

Но могу ли я положить руку на сердце сказать: вот этого я целиком и полностью порицаю, этот мне безоговорочно по душе? Нет! При всем том, что я не приехал в Якупове, мне нравится его хозяйская основательность. При всех прекрасных качествах Юнусова мне хотелось бы, чтобы он побольше считал, гоняся за новым — точно знал реальную отдачу.

Ну а кто из них победит в соревновании — покажет завтрашний день.

А июль между тем перевалил за середину. «Макушка лета» незаметно, но неотвратимо клонилась к зиме. Дни бежали в духоте, в спешке (убрать бы!), в ожидании: а вдруг все-таки дождь?

Дождь грянул в ночь на двадцатое.

Весь день он словно бы примерялся, принимался сыпать мелкой осенней моросью, но она тут же испарялась на раскаленном асфальте, тут же бесследно увязала в пыли.

И лишь поздним вечером с ветром, с громом, с ослепительными вспышками дождь ринулся на землю. Ах, как он хлестал, как он плясал, как он неистово извергался! Радостно, ликующе, победоносно пронесился он над городом и над полями.

На рассвете он куда-то умчался, и утро засияло, заискрилось в лужах, в умытой листве, в капельках на траве. И распахнулся над нами ярко-голубой небесный шатер — новенький, «с иголки», без единой белой или серой заплатки.

Но погуляв где-то и порезвившись, дождь, как видно, решил, что он не все долги отдал челнинцам, и вскоре после полудня сизые, набухшие, набрякшие тучи вновь затянули небосвод, и снова грянул ливень, яростный и стремительный.

— Двадцать два миллиметра осадков, — констатировал на завтра невозмутимый, деловитый, все знающий, помнящий все показатели района Валерий Исли, заведующий сельхозотделом горкома. — Ровно столько, сколько выпало за все весенне-летние месяцы. Почва увлажнилась на сорок сантиметров. Хлебу? Увы, хлебу уже не поможет. Но корнеплоды, картофель и кукуруза, возможно, еще

отойдут... Вот если бы теперь не ливень, а спокойный затяжной дождичек денька на четыре, вот тогда бы!..

«Если бы да кабы...» Больше до конца июля не было дождя, ни большого, ни малого, ни ливневого, ни моросящего. И надежд на него уже не осталось — все эти дни в небе не появилось ни облачка.

В такой вот безоблачно-ясный день в тенистом лесу близ поселка Новый проводился традиционный День животноводов.

Перед тем было много споров: проводить или не проводить? Время вроде бы совсем неподходящее: какой, к дьяволу, праздник — самый разгар уборки, да еще такая беда — засуха...

И все же победило мнение тех, кто считал: нельзя отнимать у людей радость. Как раз в этом году особенно нельзя. Они честно трудились, в сложных условиях увеличили по сравнению с прошлым годом производство молока и мяса.

— Люди заслужили, надо отметить их труд, — говорил мне Нагаев, как бы опасаясь, что я неправильно истолкую их решение.

И вот они собрались среди берез и дубов, нарядные, оживленные, чуточку вроде бы охмелевшие от лесной свежести и прохлады, от аромата трав и смолистого запаха свежеструганых сосновых скамеек, установленных под могучими кронами.

Вокруг «партера», украшенного кумачовыми полотнищами «Слава передовикам животноводства!» и «XXV съезду КПСС — ударный труд!», расположились автолавки, ларьки, лотки, палатки. Возле них людской водоворот. Кто примеряет плащ, кто туфли, кто платье, а вот, пожалуйста, ткани — самые модные, самые дефицитные. Тут берут пудовыми авоськами оранжевые апельсины, там из желтых цистерн с надписью «Молоко» наливают в пластиковые пакеты нечто коричневатое и пенистое — праздник так праздник!

Потом, собравшись в зеленом «партере», подводили итоги полугодия, говорили о предстоящей зимовке, принимали обращение ко всем животноводам района: не сбросить поголовье, не снизить его продуктивность! Потом вручали переходящие Красные знамена — одно из них получил совхоз «Гигант», выполнивший шестимесячный план по молоку на 118 процентов, по мясу — на 163. Потом чествовали лучших из лучших — доярок, свинок, скотников, дарили им ковры и часы, портфели и самовары, покрывала и цветастые кашемировые платки, вручали почетные грамоты и значки «Ударник девятой пятилетки».

Раскрасневшийся Музагитов внизу, у трибуны, раздавал награды, истово жал руки, горячо желал новых успехов. Курмашев, сидя в президиуме, глядел на все умиленно и растроганно. Нагаев размашисто аплодировал, широким жестом приглашал всех: давайте дружнее поздравим наших героев!

А после всего, как положено, состоялся концерт. Играли, заливались тальянки и саратовки, баяны и аккордеоны, играли соло, дуэтом, трио и квартетом; выступали певцы, танцоры и танцовщицы, такие юные, такие красивые, в ярких национальных одеждах — шелковые платья, бархатные жилеты, сафьяновые сапожки.

Ведущая объявляла: самодеятельность совхоза «Гигант», совхоза «Чулпан», колхоза «Коммунизм». Их, из «Коммунизма», больше всего было, и выглядели они самыми нарядными. Юнусов стоял поодаль в группе других руководителей хозяйств, заложив руки за спину, гордо поглядывая вокруг: знай наших!

В тот же день в том же лесу друзья и товарищи (благо они все равно уже съехались) отметили пятидесятилетие Назипа Зиятдиновича Зиятдинова. Наскоро, «по-походному» было сооружено праздничное застолье.

Юбиляра тепло и уважительно поздравили Нагаев и Музагитов, отметив большие его заслуги в создании Пригородной зоны.

Директор соревнующегося с «Гигантом» совхоза, недавно назначенный на этот пост, признал, что к Зиятдинову идут за опытом, как в настоящую академию

современного хозяйствования на земле. (Галеев — он сидел рядом — восторженно одобрил эти слова.)

Якупов, улыбаясь всеми своими ямочками, от себя и от Юнусова, уже преодолевших этот «золотой рубеж», выразил юбиляру шутливое сочувствие, но вместе с тем и уверенность:

— Мы еще не старики, мы еще потягаемся с молодыми.

Были и другие тосты, озорные и серьезные, похожие скорей на речь где-нибудь на производственном совещании (конечно, и о трудностях года не забыли, разве от этого уйдешь?).

А Зиятдинов — красивый, смуглый, в белоснежной рубашке с темным галстуком, — сидя во главе стола, застенчиво улыбался и покачивал головой, будто не веря, что все эти добрые, высокие и торжественные слова обращены именно к нему.

К концу застолья поднял бокал местный литератор, пишущий роман о селе и избравший Зиятдинова прототипом главного героя. То ли ему случайно повезло, то ли его специально поселили поближе к «объекту», но живет он в Новом городе на одной лестничной площадке с Назипом Зиятдиновичем, видит его каждый день, слышит, когда тот уезжает на работу и возвращается домой.

— Когда хлопает соседская дверь, — сказал он, — можно не проверять время: Зиятдинов поднимается ровно в три часа. И приезжает уже затемно. Так почти круглый год. Я восхищаюсь его трудолюбием. И часто с укором говорю себе: вот так надо работать!

Стоп, стоп! Но почему же все-таки столь дорогой ценой? Почему за счет собственного перенапряжения и преждевременного износа? — размышляю я.

Как видно, и мысли Нагаева текли параллельным курсом. На обратном пути в «газике» Миргалим Ахметович после долгого молчания произнес:

— Вот все думаю, думаю... В промышленности никто не ждет, чтоб директор предприятия, главный инженер, технолог, начальник цеха торчали на производстве с рассвета до полуночи. Там берут организованностью, четкостью, отлаженностью всего процесса. Высокой культурой труда. К этому и мы должны стремиться. — Подумав, добавил: — Поле не цех, корова не станок. К тому же каждый год преподносит не то, так другое. Все это правда. От этого никуда не уйдешь. И все же если в каждом колхозе и совхозе все сверху донизу на каждом участке научатся дисциплинированно и сознательно исполнять свои прямые обязанности, директорам или председателям уже не надо будет сгорать на работе.

Еще помолчал. И вдруг рассмеялся:

— Представляю, что бы сказал Раис Киямович, если б я в разгар уборки выехал по хозяйствам не в пять-шесть, а в девять часов утра! И что бы сам я сказал председателю, не найдя его в это время в поле, на току или у силосной ямы... Да, сильны традиции, привычны стереотипы. Но жизнь рано или поздно заставит их сломать. Непременно заставит! И чем скорей, тем лучше.

А еще через день — в последний день моего пребывания в районе — я напросилась с Нагаевым и Курмашевым в их деловую поездку по хозяйствам.

Как перед всяким прощанием, было мне немножко грустно, и от этого по-особому воспринималось все вокруг — и люди и пейзаж.

Было раннее утро, но в воздухе не чувствовалось ни малейших признаков свежести. Над землей висела сплошная серая мгла, над дорогами после машин, долго не опадая, клубилась рыжая пыль. Все краски в природе затушеваны, приглушены пылью: желтое не желто, зеленое не зелено. А там, на пригорке, что это? Березы — тускло-золотые, кроны их сквозят, словно на дворе не начало августа, а начало сентября.

И поля — у них совершенно не августовский вид. Большинство из них скошено, и подобраны следом валки, и не видно скирд — они в этом году «перекочевали» в силосные ямы, да и пажитей почти не видать, зато необычно много для этого времени вспаханной земли.

— Люблю зябку! — весело, совсем не в тон моему настроению воскликнул Нагаев, любуясь черными полосами, квадратами, клиньями.

— Да, это как последняя точка в произведении, — согласился Курмашев. — Считай, хлеборобский год кончился.

— А новый начался. Зябь в июле — это же, по сути, полунар. Он сам по себе при прочих равных условиях даст нам два-три центнера прибавки урожая...

И они, забыв о моем присутствии, оживленно заговорили про год 1976-й, про новую, десятую пятилетку — что недоделанное, недорешенное предстоит им до-решить и доделать, каких новых рубежей надлежит добиться.

«Жизнь сегодня не кончается...»

Они увлеклись, они были уже там, в завтра.

А я любовалась их молодой увлеченностью и от всего сердца, от всей души желала им: новых успехов, новых радостей вам, друзья, новых замечательных свершений!

Всем вам, мои дорогие!

Июль 1975 г.



СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЩЕДРИНЕ

К 150-летию со дня рождения

**Публикация и предисловие С. А. Макашина, заместителя председателя
Всесоюзного комитета по проведению щедринаского юбилея**

Предлагаемая вниманию читателей публикация появляется с опозданием на сорок с лишним лет. И все же появляется «своевременно», в дни большого юбилея великого писателя, которому посвящена. История ее такова.

В связи с подготовкой в 1932—1933 годах щедринаского тома юного тогда «Литературного наследства» у автора этих строк, одного из редакторов издания, возник замысел двух «анкет».

Материалы одной из них — «Революционеры 1870—1880-х годов о Щедрина» — были собраны и обнародованы. Свое слово о писателе сказали почти все здравствовавшие тогда старые революционеры-народники, в их числе и бывшие члены Исполнительного комитета «Народной воли» В. Н. Фигнер, М. Ф. Фроленко и А. В. Якимова.

Работа над другой «анкетой» — «Советские писатели о Щедрина» — не была завершена. Собранные материалы хранятся ныне в Центральном государственном архиве литературы и искусства. Отсутствуют лишь ответы Мих. Зощенко и Алексея Толстого. Рукописи их ответов были в разное время и по разным причинам возвращены авторам, обратно же в редакцию не вернулись.

Мих. Зощенко намеревался в дополнение к ранее написанному изложить особо свой взгляд на щедринаские «Мелочи жизни» — книгу, которую он высоко ценил. А. Н. Толстой взял присланный отзыв, чтобы воспользоваться им для своего вступительного «слова» на торжественном заседании по случаю пятидесятилетия со дня смерти Щедрина (май 1939 года). «Слово» было произнесено и вошло затем в собрание сочинений писателя с некоторыми добавлениями. В настоящей публикации воспроизводится лишь та часть «слова», которая входила в «анкету».

Участникам «анкеты» была предоставлена свобода выбора и темы и формы выступлений. Вместе с тем редакция просила выступающих по возможности отозваться и на некоторые конкретные вопросы, а именно:

«1. Степень и характер Вашего знакомства с творчеством Щедрина; его роль в формировании Вашего мировоззрения.

2. Ваша оценка Щедрина как художника.

3. Оценка Щедрина как классика сатиры в связи с задачами создания советской сатиры.

4. Художественный метод Щедрина в свете наших сегодняшних литературно-творческих споров. Имел ли Щедрина на Вас чисто литературное влияние?

5. Щедрина как тип писателя (участие в практической жизни, уровень мировоззрения)».

Хотя и сформулированные не лучшим образом, эти «пункты» все же «требовали» от участников «анкеты» суждений, относившихся к существенным аспектам восприятия Щедрина новым его читателем. Советская литература, в ту пору еще очень молодая и разнородная, проходила этапы сложного развития, идейно-творческих размежеваний и консолидации. Это было время перестройки литературно-художественных организа-

ций, время подготовки к Первому Всесоюзному съезду писателей, а в общей истории страны — нелегкое героически-будничное время первой пятилетки, призванной заложить фундамент социалистической экономики.

С той поры прошло почти четыре с половиной десятилетия. Они принесли неизмеримые перемены в жизни страны и общества. Щедринская «анкета» начала 1930-х годов стала частицей истории нашей литературы. Печать того времени, естественно, лежит на всех высказываниях, в них встречаются отдельные положения, формулировки, пересмотренные впоследствии советской литературной наукой. Так, например, революционный демократ, суровый реалист-просветитель Щедрин безоговорочно именуется в некоторых выступлениях народником. Однако полемика со всем, что устарело в высказываниях писателей начала 1930-х годов, что не соответствует изменившейся действительности и нашим сегодняшним представлениям и оценкам, представляется излишней.

Лишь одно суждение требуется непременно оговорить. По мнению Ефима Зозули, Щедрин «не совсем точно знал, а может быть, и совсем не знал, во имя чего, ради какого будущего общественного строя он уничтожал своей сатирой все то, что было ему так ненавистно, так омерзительно». Тут можно согласиться с первой частью суждения («не совсем точно знал») и отвергнуть вторую, альтернативную. Щедрин отнюдь не был голым отрицателем. У него было положительное мировоззрение. Он много и страстно думал о будущем, и оно всегда представлялось ему в свете тех «неумирающих положений» утопического социализма, которые он усвоил в юные годы и которые вошли в общее развитие социалистической мысли.

Исторический интерес «анкеты» заключается прежде всего в том, что при всем индивидуальном своеобразии каждого выступления все они, вместе взятые, удостоверяют факт активного присутствия Щедрина в нашей литературе и обществе середины 1920 — начала 1930-х годов.

В очерке Горького 1930 года «На краю земли» приведены цифры тиражей классиков в СССР за десятилетие 1920-х годов. На первом месте стоит Толстой, на втором Пушкин, на третьем Щедрин (1 188 тысяч).

Чем следует объяснить это явление? Прежде всего, вероятно, близостью того времени к Октябрю 1917 года. Великая революция уничтожила тот вековой «порядок вещей» в стране, беспощадному художественному суду над которым посвящено все искусство Щедрина.

Потребность исторически осмыслить происшедший социально-политический катаклизм всемирного значения была исключительно велика. А здесь обращение к Щедрину, к нарисованной им проницательнейшей и провидческой картине старого мира, его социальной анатомии и патологии была насущной необходимостью. Вспомним в этой связи слова Горького о Щедрине: «Значение его сатиры огромно, как по правдивости ее, так и по тому чувству почти пророческого предвидения тех путей, по коим должно было идти и шло русское общество на протяжении от 60-х годов вплоть до наших дней...»¹.

Затем, в советской литературе еще действовал тогда значительный отряд писателей старшего поколения, начавших свой творческий путь задолго до революции. Этими писателями (некоторые из них приняли участие в «анкете») не было утрачено непосредственное, живое ощущение того исторического времени созревания и подготовки русской революции, которое создало Щедрина.

Приобретая ценность исторического документа, «анкета» вместе с тем во многом сохранила живое звучание для нашей теперешней современности.

В публикуемых выступлениях писательским словом освещаются с большей или меньшей яркостью некоторые основные грани творчества великого писателя. В них поставлен или только затронут ряд важных вопросов, относящихся к изучению Щедрина и к той задаче, о которой В. И. Ленин говорил М. С. Ольминскому, — о необходимости «оживить полностью Щедрина для масс, ставших свободными и приступающих к строительству собственной социалистической культуры»².

Почти во всех выступлениях звучит тема художественной мощи Щедрина, исключительного размаха его художественного воображения, подчеркивается его искусство

¹ М. Горький. История русской литературы. М. 1939, стр. 273.

² «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М. 1967, изд. 3-е, стр. 678.

обнажать привычные явления окружающего мира от покрова обыденности и показывать их подлинную суть. «Писатель огромного ума и таланта», «перворазрядный художник», «великий художник прямой политической страсти», «огромное художественное дарование» и т. п. — вот характерные оценки, передающие суть и общий строй эстетического восприятия нашими писателями творчества великого сатирика. Оценки эти, энергично противостоящие довольно распространенному и по сей день поверхностному взгляду на Щедрина как на литератора более публицистического склада, чем художественного таланта, не остаются в пределах одних заявлений. Выступления содержат ряд примечательных конкретных наблюдений, относящихся к писательскому мастерству Щедрина, к его стилю и языку. Ряд участников «анкеты» отмечает необыкновенную плотность и выразительную силу щедринских обобщений, типизации, в том числе средствами сатирической гиперболы и гротеска, искусство создавать монументальные произведения во внешних рамках журнально-фрагментарных форм. Многие авторы пишут о Щедрина — гениальном мастере такого сарказма и такого смеха, которые сжигали то, что подлежало уничтожению, и очищали то, что нужно и можно было сохранить; подчеркивают его «бесподобное владение» русским языком — образным, сжатым, энергичным, предельно ясным, несмотря на множество зэповских иносказаний.

В идеологическом осмыслении Щедрина на первое место выдвигается народность и гражданственность писателя, его взгляд на литературу как на общественное служение с позиций последовательного демократизма. Могучий общественно-политический критицизм Щедрина рассматривается как объективное отражение протеста социальных низов старой России, прежде всего многомиллионного русского крестьянства, против всех форм угнетения и бесправия, в которых веками протекала их жизнь. «Когда я читал Щедрина, — пишет в своем ответе Феоктист Березовский, бывший батрак и рабочий, затем революционер и писатель, — мне казалось, что он впитал в себя весь гнев, все возмущение, которые клокотали в нас — людях нужды и общественной придавленности...»

Щедрин был непримиримым противником самодержавия и сыграл значительную роль в дискредитации и постепенном расшатывании основ этого государственного строя. А его беспощадные «хроники» и картины распада дворянско-помещичьего класса, хищничества выходящей на арену отечественной истории молодой «колупаевской» буржуазии, бессилия либерального общества — все это распространяло его критику на весь «порядок вещей», которым определялась российская действительность.

Огромно было значение этой критики для гражданско-политического воспитания русского общества. Она, эта суровая, не знавшая никаких компромиссов, всегда до конца идущая, правдивая критика, разрушала в сознании современников святость алтарей и тронов, изобличала призрачность исторически изживших себя институтов старого мира, освобождала мысли и чувства от их властных табу.

Признавая и подчеркивая широту и могущество щедринского социального критицизма, некоторые авторы склонны выводить из его сферы народ, массы. Но это ошибочный взгляд, хотя верно, что недостатки и темные стороны народной жизни критиковались Щедриним совсем в другой тональности, чем явления и силы, прямо и целиком враждебные ему.

В творчестве Щедрина огромное место занимает тема пассивности, гражданской незрелости и неорганизованности масс. С горечью и гневом истинного демократа Щедрин обличал эти исторически обусловленные «порoki» в жизни народа. Они камнем лежали на пути движения, имеющего целью замену «старого глуповского механизма» «новыми жизненными основами». Тема народной пассивности, неготовности масс и общества на том историческом этапе к решающей борьбе за свое освобождение приобретает у Щедрина трагическое звучание.

У Щедрина есть сжатая формула, конкретизирующая несколько отвлеченное определение «несвоевременность». Подводя в одном из своих очерков горькие итоги неудачи демократического натиска конца 1850—начала 1860-х годов, когда в стране возникла и потрясла ее, но не восторжествовала революционная ситуация, Щедрин констатировал: «...насилие не упразднено, а идеалы далеко».

Автор «Истории одного города» явился одним из первых и наиболее глубоких выразителей в нашей литературе духовной драмы, пережитой революционно-демокра-

тическим шестидесятиничеством. Драма эта сказалась и в следующих поколениях русских революционеров допролетарского периода. Тема трагического у Щедрина во многих его книгах, в том числе и особенно в гениальной «Истории одного города», привлекает к себе в наши дни пристальное внимание читателей и исследователей.

Почти все авторы «анкеты» призывают советских сатириков учиться у Щедрина («брать уроки» в его «школе») трудному искусству проводить положительные идеалы в отрицательной форме. Все же, однако, темы «Щедрин и советская современность», «Щедрин и советская сатира» не освещены в выступлениях писателей с той широтой, которая присутствует в ответах на другие вопросы.

В целом же публикация давних писательских выступлений о Щедрина значительно расширяет круг заинтересованных участников нынешнего торжественного форума, посвященного юбилею великого писателя, крупнейшего сатирика русской и мировой литературы XIX века.

Глеб Алексеев

Щедрин в достаточной степени и до сих пор остается «закрытым» писателем. Таким он был и для иных из своих современников. Достаточно вспомнить Писарева.

Определив существо творчества Щедрина классическим еще со времен Державина «лимонадом», Писарев советовал автору «Сатир в прозе» и «Невинных рассказов» — предшественников «Истории одного города»: «И потому еще раз скажу г. Щедрину: пусть читает, размышляет, переводит, копирует, и тогда он будет действительно полезным писателем. При его умении владеть русским языком и писать живо и весело он может быть очень хорошим популяризатором. А Глупов давно пора бросить».

Гораздо прозорливее сказал Добролюбов. «В массе народа,— писал он в «Современнике» в 1857 году по поводу «Губернских очерков»,— имя г. Щедрина, когда оно делается там известным, будет всегда произносимо с уважением и благодарностью: он любит этот народ, он видит много добрых, благородных, хотя и не развитых или неверно направленных инстинктов в этих смиренных, простодушных тружениках».

Взяв в 1917 году в свои руки власть в стране, эти «смиренные, простодушные труженики» при пересмотре «наследства» определили Щедрина не как «хорошего популяризатора», а как одного из выдающихся представителей великой русской литературы. Задача советской критики как раз и заключается в том, чтобы раскрыть «запечатанного» Щедрина, сделать известными его произведения широким рабочим и колхозным массам, для которых литература не «летом вкусный лимонад» и не средство «потешиться над диковинками», а могучий рычаг социалистического строительства.

Ненависть — а не многих писателей умела ненавидеть царская Россия так, как ненавидела она Щедрина,— закрывала его и как мастера слова. Но Иудушка Головлев, Дерунов, Разуваев, Колупаев, «макары, телят не гоняющие», «помпадур», крепкоголовые «ташкентцы», а «Ташкентом» в то время была «страна, лежащая всюду, где бьют по зубам»,— они сошли в жизнь со страниц Щедрина вопреки этой ненависти, ибо сорок лет подряд стоял Щедрин на страже русской общности, и творчество его — это своего рода огромный исторический документ целого отрезка русской истории, написанный с точки зрения кровных интересов народа, с точки зрения всероссийского «мальчика без штанов» и «человека, питающегося лебедью».

Таким перед моими глазами стоит сегодня Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Современному советскому писателю надо учиться у Щедрина не только остроте его сатиры (а сатира при классовой направленности — весьма точное оружие, достаточно вспомнить сатирические басни Демьяна Бедного), но и богатству и выразительности его языка, также очень мало раскрытого до сих пор критикой. А между тем умение Щедрина наклеить на человека ярлык, дать ему на всю жизнь несмываемую кличку, его умение пользоваться сказом, мастерский его диалог, его удивительный юмор — особенности его творчества, каждая из которых требует своего раскрытия.

В одной из своих сказок Щедрин писал о «пропавшей совести», которой все так тяготятся, что не знают, как от нее отделаться. Загнанная совесть сказала своему последнему владельцу:

«Отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхлестит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мною выйдет — не погнушается...»

Маленькие дети, те самые добролюбовские «смирненные, простодушные труженики», уже давно вышли в люди, они сберегли мировую совесть и утвердили ее на одной шестой части Земли. А наша задача, писателей и критиков,— растить и растить эту совесть, чтобы была она большой и чтобы, по словам автора этого завета Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, исчезли от нее «все неправды, коварства и насилия».

Виктор Ардов

Как это всегда бывает с классиками, Щедрина находишь во второй раз, превратившись в «совсем взрослого». Так оно и было: в юношестве читались «Сказки», «Пошехонская старина», отрывки из иных вещей. Кое-что нравилось, считалось даже, что Щедрин освоен, что теперь нужно постигать других авторов — ведь в юности список таких непочатых еще писателей особенно велик.

И вдруг на двадцать шестом году жизни, уже в качестве литератора, юмориста к тому же, а стало быть, с некоторым привкусом профессионального интереса раскрываешь «Современную идиллию» — и все перевернуто. Оказывается, ничего не освоено. Оказывается, что существует огромного ума и таланта писатель, тебе, по сути дела, неизвестный. Оказывается, существует новая, острая и поразительная точка зрения на мир. Существует гений в области сатирической литературы, у которого можно и необходимо учиться и писательской технике, и методу сатирического воспроизведения действительности, и высокой идейной насыщенности.

Повторяю, читательские восторги смешиваются уже с восхищением писателем. Презирая героев Щедрина, смеясь над ними, поражаешься той силе, с какою автор добивается желаемого им эффекта. Пытаешься разложить на элементы полнокровную и точную, скупую и вместе с тем гибкую прозу великого сатирика.

И тут прежде всего начинаешь ценить высокую его афористичность. В русской литературе только Гоголь и Сухово-Кобылин в этом плане могут стоять рядом с Салтыковым.

«...это был монополист, который всякую чужую копейку считал гулящею и не успокаивался до тех пор, пока не залучит ее в свой карман».

«Я — человек культурный, потому что служил в кавалерии. И еще потому, что в настоящее время заказываю платье у Шармера. И еще потому, что по субботам обедаю в английском клубе. Приду в пять часов, проберусь в уголок на свое место и ем, покуда не запыхаюсь».

«Тебеньков немножко паскудник; но это оттого, что его чрезмерно уж угнетает чувство изящного...»

«В Риме бушевала подлая чернь, а у нас — начальники».

«...мечтали о губернаторских и иных местах единственно ради целей любоначалия, осложненного любострастием».

«В сущности, он даже не либерал, а фрондер, или, выражаясь иначе: почтительно, но с независимым видом лающий русский человек».

Каждое высказывание из приведенных выше (а их можно было бы выписать в огромном количестве), — каждое высказывание совершенно точно и совершенно кратко излагает ироническую, издевавшуюся мысль автора. Сколько таких афоризмов Щедрина обратилось в ярлыки, приклеенные уже навеки к человеку, системе, явлению!

Можно было бы написать отдельную монографию только об этом афористическом методе Щедрина, о технике таких афоризмов, о соотношении их с тезисами автора и т. д. И, очевидно, в этой области есть что позаимствовать у Щедрина писателям наших дней.

Но с максимальной силой Салтыков-Щедрин утверждает себя как мастер сатирической гиперболы. Преувеличение вообще едва ли не главный прием комических жанров. Ведь психологическая основа смеха есть несоответствие, контраст. В жизни несоот-

ветствие часто не слишком явно. И вот задача сатиры: преувеличив элементы несоответствия, сделать его доступным для смеха аудитории. Так строится карикатура — комический вид изобразительного искусства, так создаются и комические жанры литературы.

Для писателей безыдейных, у которых единственная цель — рассмешить почтеннейшую публику, вопрос решается просто: надо создать несоответствие, и только. Совершенно безразлично для таких ремесленников, как мотивируется это несоответствие, какие мысли порождает оно у аудитории, какие явления (и идеи) утверждаются или дискредитируются созданным таким образом произведением.

Огромная сила Щедрина как великого сатирика в том, что он в своих комических концепциях точно утверждает именно те принципы, за какие борется как публицист. Гипербола Щедрина — это увеличительное стекло, выхватывающее суть высмеиваемого явления. У Щедрина гипербола никогда не бывает смехотворным отклонением от сути. Это всегда только средство, помогающее постигнуть точку зрения автора.

Разумеется, у всех подлинных сатириков гипербола имеет такой же характер. Но в мировой литературе со времен Рабле и Свифта не было писателя, столь смело пользовавшегося приемом преувеличения. И Гоголь, и Сухово-Кобылин, и Анатолий Франс, и Бернард Шоу как бы обуздывают свою фантазию в интересах правдоподобия. Только один Щедрин соединил неистовую выдумку, свойственную Рабле или Свифту, с высокой литературной техникой последнего столетия.

Вторая половина прошлого века — эпоха, которая и сейчас еще не представляется нам туманной древностью. Люди 80-х годов, например, едва ли не старшие современники нашего поколения. А в дни деятельности Щедрина эта эпоха была живой реальностью, но у нашего сатирика она становится фоном, почвой для событий подчас необычайных и неправдоподобных. Салтыков не пользуется приемом путешествий за пределы исследованной части планеты, как Свифт, и герои у него не выдуманные великаны Рабле, нет, у Щедрина невероятные события происходят в самой будничной обстановке, в них участвуют обыватели царской России, герои злободневных процессов и типические представители всех сословий.

И такое разрушение рамок правдоподобия воспринимается читателем с огромным наслаждением. Оно органически вытекает из щедринских сюжетов, его ждешь, и вот оно совершилось почти незаметно для читателя, как полет во сне: желаешь лететь — и уже летишь.

Именно этим литературная техника Щедрина особенно сильна. Вот, например, известная мысль Герцена о том, что «конституция» царской России есть взятка. У нашего сатирика мысль эта выражена жизнеописанием купца-менялы Парамонова. Жизнеописание богатого сектанта представляет собою перечень выплаченных властям сумм. О первой сумме записано:

«В 1818 году, Января 15-го, при рождении плачено:

Попам	100 р. — к.
В нижний земский суд	100 р. — к.
Прочим судьям	100 р. — к.»

И дальше вся жизнь состоит из взяток. Плачены большие суммы «за одоление победы над турками», и «по случаю окончания (войны) в знак радости», и «по случаю реформы окончания», и «по поводу разных случаев внезапностей», и ввиду того, что «немецкий прынец приезжал», и «за «посмотрим», и «квартильному надзирателю на университеты», и «на издание лексикона», и «в квартал на потреотизм». И даже на памятник Пушкину дано, правда всего только 15 копеек. Итого шестьдесят два года жизни обошлись купцу Парамонову в 1 167 465 рублей 77 копеек.

Эту поистине прекрасную гиперболу превосходит только одно преувеличение из той же вещи («Современная идиллия»). Сатирик желает отметить существование специфического вида клиентства — промысел оскорблениями. В связи с судебной реформой особенно много расплодилось в то время субъектов, которые напрашивались на оскорбление личности со стороны кутящих богачей и затем получали отступные за отказ от иска. У Щедрина человек, прибегающий к описанному способу зарабатывать деньги,

«хлопнул (себя) довольно грязной рукой по правой щеке, и — о, чудо! — такса, которую до сих пор мы видели лишь мысленными очами... вдруг засветилась, так что мы совершенно явственно прочитали:

Т а к с а

За словесное оскорбление укоризною в недостатке благовоспитанности и неимении христианских правил — 20 к.

То же, с упоминанием о родителях — 50 к.» и т. д.

Такса кончается платою в 50 р. «за удар по голове с проломом оной».

С большей меткостью и язвительностью высмеять неблагоприятное ремесло это просто невозможно.

Говоря о гиперболах Щедрина, нельзя не упомянуть о суде над пискарем из той же «Современной идиллии» — ведь это перед реальным «обновленным», «скорым, правым и милостивым» судом Александра II предстает вешковая рыбка, выражающая в данном случае революционера-народника в лапах царской юстиции. Немыслимо еще обойти разговор «мальчика в штанах» и «мальчика без штанов» («За рубежом»), сказку «Игрушечного дела людешки», весь «Дневник провинциала в Петербурге» (особенно недавно опубликованную главу «В сумасшедшем доме»), триумф «высеченного мальчика» из обозрения «Круглый год»...

Впрочем, мы не знаем ни одного почти произведения Щедрина, где бы не было его замечательно метких, исчерпывающих задание гипербол. Не знаешь, чему поражаться — глубине социального и психологического анализа или богатству его выражения. Сюжетные приемы Щедрина органически приспособлены для тех фантастических картин, которые он показывает читателю (и, разумеется, для тех идей, которые он с поразительным искусством проводит сквозь рогатки царской цензуры). Прежде всего тут радуется счастливо найденная ироническая маска рассказчика — с одной стороны, обывателя и труса, мелкого хитреца и «философа» подлой действительности, а с другой — противостоящего ему проводника подлинных взглядов писателя. Эта маска очень часто объявляет себя у Щедрина в первом лице, что придает ей необычайную остроту.

Щедрин возвращает сюжету путешествий тот чудесный, ирреальный характер, каким он отличался в плутовских романах у Апулея и Лесажа. В «Современной идиллии» даже второстепенный эпизод с полководцем Полканом Самсоновичем Редедей (прозрачный псевдоним «славянского героя» генерала Черняева) автор наделяет приключениями сказочного характера.

Затем эпистолярная форма, признанная устаревшей уже во времена сатирика. Ею Щедрин пользуется виртуозно. Переписка молодого прокурора и его матери, где отдельно играют даже постскриптумы, «Письма к тетеньке», перепуганной «тетеньке» 1881—1882 годов, в которой легко угадать либеральное общество, обескураженное событием 1 марта, — все это сделано совершенно блестяще. Или «Сказки», положившие начало целой традиции в русской сатирической литературе. Сказки под Щедрина писал Амфитеатров, их стилистика угадывается в «восточных легендах» Дорошевича и т. д. Мы уже упоминали о дневниках. Далее, Щедрин неподражаемо воспроизводит различные виды казенной и деловой переписки: уставы, обязательные постановления, мемуары сановников, приказы и т. д. И это не только великолепные пародии, но всегда наиболее удачные формы для изложения сюжетов и идей автора. Вспомним «Устав о печении пирогов» («История одного города»), «устав вольного союза пенкоснимателей» («Дневник провинциала в Петербурге»). Впрочем, и здесь материал так обилел, что требуется специальная монография, литературоведческое исследование, которых в отношении Щедрина мы еще не имеем³. Это, разумеется, не может мешать товарищам писателям в порядке личного почина знакомиться с мощной литературной техникой Салтыкова.

Нужно еще отметить, что имя Щедрина должно стоять в числе классиков русского языка. Тут он не уступает ни Тургеневу, ни Гончарову, ни Толстому, ни Аксакову. Глубокое знание народной речи, огромный запас слов, исключительная писательская

³ Для 1976 года это утверждение уже анахронизм.— С. М.

добросовестность, незаурядный описательный талант — всем этим Салтыков отличается в той же мере, как и помянутые его современники. Говорить о том, что Салтыков-Щедрин не художник, а только публицист, никак не приходится. Салтыков — художник, и великий художник, так же как и великий публицист, но это совпадение естественно: немислим подлинно великий художник, не имеющий значительных социальных идей. Щедрин работал в жанре не слишком каноническом для России. К тому же он был новатором и изобретателем.

Вспомним, что с вершителями литературных судеб дореволюционной России Щедрина разделяла идейная — а в конечном счете классовая — рознь. Этот момент, как известно, буржуазные идеологи освещать не любили. И нападение на сатирика совершалось с литературной стороны, благо он не оставался в рамках общепризнанных жанров.

Для пишущего эти строки огромное художественное значение наследия Щедрина обнаруживается еще одной своей гранью. Кажется, никто из русских писателей не может сравниться с Щедриным как изобразитель всей действительности своего времени в целом.

Этот великий писатель своими «Губернскими очерками» занял по праву место классического бытописателя николаевской России наряду с Гоголем, Сухово-Кобылиным, Тургеневым. Но он же последовательно, с великим множеством подробностей показывает перерождение этой дореформенной России в страну промышленного капитала и железных дорог, страну «чумазных» Колупаевых и «культурных», как сказали бы ныне, концессионеров. Салтыков первый из русских писателей указал на наличие в России пролетариата — уже безземельного, а вскорости ставшего фабричным. Салтыков ярче и точнее, чем кто бы то ни было, без беллетристических прикрас показал нисхождение дворянства, «спустившего в уборные выкупные обязательства», то есть суммы, полученные помещиками за отчуждение земли при освобождении крестьян в 1861 году. Господа дворяне прокутили, пропили, проели эти миллионы. Наш сатирик не только констатировал зарождение кулаков, но и на многих примерах показал генезис «мироеда». Салтыков знал и описывал крестьян до- и послереформенных, «наделенных» землей и безземельных, духовенство сельское и городское, чиновников и полицию, ремесленников, педагогов, дельцов, суд, земских и городских деятелей, купцов, мещан, староверов и сектантов, сановников, трудовую интеллигенцию — городскую и сельскую... Короче, не было такой общественной группы, которая выпала бы из поля зрения Салтыкова-Щедрина. Этот писатель знал всю Россию. Он описывал детей и женщин, стариков и рекрутов, офицеров и «червонных валетов», польских «усмирителей» и ташкентских «завоевателей». И как описывал! Без всяких украшений во имя требований «эстетики», без уступок казенному мнению. У Щедрина современная ему жизнь отражена полностью, и те пропорции, которые занимают в ней отдельные явления, дают такое приближение к действительности, какого ни один из русских писателей не достигал.

Ни флер «доброе старое время», ни соблазнительные легенды и мифы истории, ни «благодетельные» новшества «царя-освободителя» — ничто не могло притупить у гениального сатирика его чутье реальности. Он близко видел и деревенскую нищету, и городскую бедность, и паразитическую роскошь дворян, и хищническое обогащение возвышавшейся буржуазии. Короче: на наш взгляд, нет лучшего пособия по русской истории второй половины прошлого века, чем сочинения Салтыкова-Щедрина. Карикатуры сатирика для добросовестного читателя превращаются едва ли не в диаграммы и фотографии.

Так полно, так исчерпывающе отобразить полвека жизни огромной страны под силу только большому таланту.

Да, Щедрин не только публицист, но и огромный художник. Идея, что он только публицист, есть легенда. Позволю себе указать на одну деталь, которая, на мой взгляд, необычайно характерна для Салтыкова-публициста.

Салтыков был человеком очень едким. Казалось бы, этот человек ничего не щадил. И, казалось бы, какую замечательную почву для издевательства, остроумия, высмеивания могло дать такому остроумцу нигилистическое движение, исполненное преувеличенных крайностей, склонное к вычурным по тому времени одеждам и речам. Ведь новшества комичны даже сами по себе. Посмеяться над ними так легко. Вспомним

только стихи о нигилистах А. К. Толстого, «Соборян» Лескова, «Скверный анекдот» Достоевского.

Но Щедрин крайне осторожно относился к сатирической или публицистической критике слабых сторон нигилизма. Он не воспользовался своими обычными средствами даже для отражения прямой нападки на него лично со стороны идейного вождя нигилизма Писарева (знаменитая статья «Цветы невинного юмора»).

Чем объяснить такую сдержанность сатирика? Исключительно, говоря терминами нашего времени, его партийной дисциплиной. Нигилисты объективно были союзниками Щедрина, они доставляли ему единомышленников. Они также боролись против того старого уклада жизни, который был столь ненавистен сатирику. Этого было достаточно для того, чтобы Салтыков поставил нигилизм вне зоны своего литературного обстрела или уменьшил силу этого обстрела.

Была еще одна социальная категория, симпатия к которой смягчала сатирические краски Салтыкова-Щедрина,— это эксплуатируемые трудящиеся. Ни о рабочих, изнемогавших на полукустарных в то время производствах, ни о крестьянах, сперва крепостных, а затем освобожденных не только от помещиков, но и от земли, как говорили в 60-х годах, Михаил Евграфович никогда не отзывался иронически. Он издевательски писал о кулацких женах, которые (по его словам), как только получали возможность «каждый день есть убоину», начинали позволять себе капризы и жирели неизменно быстро. Но нищая деревня вызывала в нем сочувствие неизменное. И здесь сказывалась принципиальность писателя, как и во всем том, что он говорил и печатал.

Произведения Щедрина делятся на две главные части — чисто сатирическую и очерковую в том смысле, как это мы понимаем сейчас. И надобно сказать, что в очерках — этой беллетристической форме, наиболее близкой к публицистике,— Щедрин дает образцы высокого совершенства. Его очерки необычайно занимательны, отличаются редким фактическим богатством и, главное, исчерпывают весь комплекс описываемых явлений полностью. Салтыков пишет очерки с обстоятельностью и широкой перспективой, годными для многогранного романа-хроники. Персонажи его очерков имеют предков. Они обрисованы со всех сторон: ясен их характер, отношение к ним окрестного населения и властей, их семейные дела и имущественное положение. Такой очерк на самом деле ни в чем не уступает повести или рассказу, имея притом все преимущества своей направленности. И этому нам стоит учиться у Салтыкова.

Думается, что из изложенного выше ясно: пишущий эти строки является горячим поклонником Салтыкова-Щедрина. И очень огорчительным кажется то малое знакомство с Щедриным, какое имеется у советского читателя, а подчас и литератора. В этом вина и нашей критики, и издательств, и советского литературоведения, до сих пор не облегчающего широким массам чтение замечательного сатирика. Салтыков требует комментариев и заслуживает их. А все до сих пор выходявшие у нас издания его лишены пояснений истинно массового характера ⁴.

Иван Батрак

Если с классиками нашей литературы, как, например, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, мне пришлось познакомиться еще на школьной скамье, то нельзя этого сказать про Салтыкова-Щедрина. Даже трудно припомнить, когда это и как произошло. Но Салтыков-Щедрин вошел в мое сознание как-то особо, независимо от школы, где его «не проходили», и занял в нем прочное место наряду с лучшими писателями нашей страны.

Образы Дерунова, Колупаева, Разуваева, Угрюм-Бурчеева, Иудушки, которых так гениально дал Салтыков-Щедрин, помогли мне понять всю гниль и мерзость помещичье-буржуазного строя, учили меня ненавидеть его и бороться с ним.

Из произведений Салтыкова-Щедрина наибольшее впечатление произвели на меня

⁴ В настоящее время заканчивается изданием новое полное собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина в двадцати томах. Оно выпускается издательством «Художественная литература» совместно с Институтом русской литературы Академии наук СССР (Пушкинским домом).— С. М.

«Господа Головлевы» и комедия «Смерть Пазухина». Последнюю видел я однажды на сцене Художественного театра. По своему мастерству она стоит на уровне лучших комедий Островского.

Салтыков-Щедрин в своей литературной деятельности пользовался различными жанрами. Но и двух вышеприведенных примеров достаточно, чтоб видеть, какой это был оригинальный и сильный талант. В Салтыкове-Щедрине сочетались глубокий, тонкий психолог и негиббемый политический боец.

Занявшись работой над басней, я наряду с изучением народных сказок, басен Эзопа, Лафонтена, Крылова, Д. Бедного и других стал изучать также сказки Салтыкова-Щедрина. И должен сказать, что изучение этих сказок принесло мне большую пользу.

Аллегорические сказки Салтыкова-Щедрина, «фантастические» по форме и реалистические по содержанию, — это не только высокохудожественные произведения, острая сатира которых бичует мещанскую мудрость, ее рабскую заячью покорность, «карасиный идеализм», но и являются философией действия, борьбы против капиталистических живоглогов.

В этом отношении творческий метод Салтыкова-Щедрина является для советского сатирика ценнейшим примером того, как надо владеть инструментом сатиры. Поэтому творческий опыт Салтыкова-Щедрина как одного из наиболее близких нам писателей несомненно должен стать неотъемлемым компонентом метода социалистического реализма.

Демьян Бедный

Мне говорить о Щедрине —
 Копаться в старой старине,
 Бродить по мрачной галерее
 Среди сатирических картин,
 Типаж которых — в эмпирее.
 Бюрократический кретин,
 Ханжи, прохвосты, самодуры,
 Кушцы, жандармы и попы —
 Сверхбезобразные фигуры
 Героев плети и цензуры,
 Удавы правящей фактуры
 И канцелярские клопы,
 Все нами сбитые столпы
 Староказарменной культуры.
 Их нынче поздно обличать,
 Но их должны мы изучать!
 Они в щедринской острой лепке
 Так показательны — беда!
 Щедрин слепил их навсегда.
 Он глушь рубил, и в каждой щепке —
 Рубцы щедринского суда.
 Суд этот был смертельно страшен,
 Кровавым заревом окрашен
 И предрешенностью конца
 Полуживого мертвеца,
 Который жить был приспособлен
 Лишь в крепостнической поре, —
 Предсмертной злобою озлоблен,
 Был нами начисто угроблен
 Он в пролетарском Октябре.
 Но от щедринских жутких тлилов
 Все ж к нашим дням ведут мостки;

Бюрократических полипов
 Кой-где видны еще ростки,
 Ублюдки умершего мира
 Прут против нашего рожна.
 И потому-то нам сатира
 Еще щедринская нужна.
 Да что! В борьбе партийной даже
 Нам помогала часто та же
 Номенклатура Щедрина,
 Давно ли случай мы имели
 На всепартийный ставить суд
 Тип интригана-пустомели
 Из политических иуд?
 Его мы били контрударом —
 Щедринским словом — по усам:
 Клеймо «Иудушки» недаром
 На Троцком Ленин выжег сам,
 И «Балалайки» — тоже клещка
 Пристала Троцкому как раз.
 Словечко — птичка-невеличка,
 А вот как клюнуть может в глаз!
 Двумя словами тип спрессован,
 До сердцевины обрисован;
 На лбу проклятое клеймо,
 А на глазу сидит бельмо,
 Щедринский тип, чего вам боле?
 Два слова крепче, чем статья,
 Сатирик нынешний — хоть я —
 Берет урок в щедринской школе
 И острословья и чутья.
 Сатиры пламенной рачитель,
 Прозаик Вы, стихи строчите ль,
 Мы заявить должны не все ль:
 Щедрин и был и есть досель
 Непревзойденный наш учитель!

Феокист Березовский

Как человек, писатель и революционер я формировался под огромным влиянием Максима Горького. Творчество Горького в моей жизни сыграло совершенно исключительную роль. Это не значит, конечно, что другие классики нашей литературы — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Фонвизин, Грибоедов, Тургенев, Гончаров, Толстой — не играли большой роли в формировании моего мировоззрения. Книжки этих писателей появились в моей библиотеке еще на заре моей сознательной жизни. В те времена у меня были книги и таких писателей, как Жуковский, Григорович, Писемский, Лесков, Гаршин, Достоевский. С увлечением читал я этих писателей. Но их идейное воздействие на меня было ничтожно. И, наоборот, такие писатели, как Гоголь, Грибоедов, Щедрин, Глеб Успенский, Некрасов, Чернышевский, Горький, были моими любимейшими писателями. Гоголя, Щедрина и Горького я читал и перечитывал.

Когда я читал Горького, мне казалось, что Горький четко и ясно формулирует в своих художественных образах то, что бессознательно бродит в моей голове. Горький был первым человеком, который своими книгами пробудил мое политическое сознание, а партия позднее отшлифовала его.

Когда я читал Щедрина, мне казалось, что он впитал в себя весь гнев, все возмущение, которые клокотали в нас — людях нужды и общественной придавленности, и

плюнул в лицо тем, кто держал нас в нищете, кто обрекал нас на горе и бесправие, кто грабил и душил нас. При чтении Щедрина мне казалось, что он, как ни один из русских писателей (кроме Гоголя), с изумительным искусством умел вывернуть наизнанку внутренний мир человека и показать его со всеми его подлостями.

В прежние времена Щедрин не пользовался особой любовью у тех, кого он называл «русскими культурными людьми». Эти слои лишь «почитывали» Салтыкова-Щедрина. Они высокомерно считали его больше публицистом, чем художником. Но это и не удивительно. Ведь Щедрин своим художественным словом не только разоблачал и показывал гниль самодержавно-помещичьего строя и ничтожество «столпов самодержавия», помпадуров и помпадурш, он вместе с тем издевательски издевался над людьми «либерального» образа мыслей. Он издевался над их общественно-политическими «идеалами», над их духовной дряблостью, над их политической бесхребетностью. Достаточно вспомнить такие его произведения, как «Современная идиллия», «Письма к тетеньке» или сказки вроде «Премудрого пискаря», «Карася-идеалиста», «Самоотверженного зайца» и др.

Для меня лично особняком стояли такие произведения Щедрина, как «Господа Головлевы» и «Господа ташкентцы». В свое время этими книгами я буквально зачитывался и думал, что типы, изображенные Щедриным, недолго проживут: уж слишком отвратительной людской породой они были. Тогда мне казалось, что с исчезновением общественно-политических условий, породивших их, исчезнут и они сами.

Несколько слов о знаниях и культуре Салтыкова-Щедрина.

Когда я перечитываю Салтыкова-Щедрина, я и сейчас поражаюсь его знанию предмета, который он описывает, о котором он рассказывает, который он изображает. Знание реальной жизни, людей, их труда и быта, их внутреннего мира у Щедрина огромно. Салтыков впитал в себя культуру своей эпохи, непосредственно участвуя в строительстве этой культуры. Он был революционно-демократическим писателем, подчинившим свой талант определенным общественно-политическим задачам. Этим и только этим можно объяснить многогранность его творчества, разнообразие его жанров, обширность его философских обобщений и грандиозность того реального жизненного материала, который разместился в его книгах.

Салтыков-Щедрин блестящий пример для современного советского писателя.

У Салтыкова-Щедрина есть чему поучиться.

У него надо учиться.

Михаил Булгаков

Идя по основным указанным Вами пунктам, я могу сказать о Салтыкове следующее.

Я начал знакомиться с его произведениями, будучи примерно в тринадцатилетнем возрасте. Причем, как хорошо помню, они мне чрезвычайно понравились, несмотря на то, что я понял, конечно, мало из того, что им написано. В дальнейшем я постоянно возвращался к перечитыванию салтыковских вещей. Влияние Салтыков на меня оказал чрезвычайное, и, будучи в юном возрасте, я решил, что относиться к окружающему надлежит с иронией. Сочиняя для собственного развлечения обличительные фельетоны, я подражал приемам Салтыкова, причем немедленно добился результатов: мне не однажды приходилось ссориться с окружающими и выслушивать горькие укоризны.

Когда я стал взрослым, мне открылась ужасная истина. Атаманы-молодцы, беспутные клемантинки, рукоуси и лапотники, майор Прыщ и бывший прохвост Угрюм-Бурчеев пережили Салтыкова-Щедрина. Тогда мой взгляд на окружающее стал траурным. Каков Щедрин как художник?

Я полагаю, доказывать, что он перворазрядный художник, излишне.

Вы пишете об оценке Щедрина в связи с задачами создания советской сатиры?

Я уверен в том, что всякие попытки создать сатиру обречены на полную неудачу. Ее нельзя создать. Она создается сама собой, внезапно. Но каждому из советских сатириков, я полагаю, надлежит рекомендовать усиленное изучение Щедрина.

Михаил Голодный

Людам, стоящим в стороне от общественной и политической жизни, никогда не понять Салтыкова-Щедрина. Или они поймут его, но по-своему, по-обывательски. Беспощадный к своим идейным врагам, он прям, резок, непримирим и предан своим убеждениям до крайней степени. Отсюда непревзойденная острота его сатиры, ее своеобразность и оригинальность, ее непотухающая страстность.

Многие товарищи очень часто сравнивают его со Свифтом. Да, у них действительно много общего, но и сколько разного! Свифт орудует одними идеями, он почти «геометричен». У Салтыкова-Щедрина идеи — конкретные живые люди, он орудует характерами людей, он реалистичен. Я не знаю ни одного сатирика, творчество которого породило бы такое количество незабываемых образов из сферы политической жизни и борьбы. Оппортунист, либерал, приспособленец, бюрократ, двурушник!.. Природа оппортунизма, логика предательства — все это в конкретных образах бесшумно отрывается от его книг, чтобы жить второй — реальной — жизнью.

В одном из писем Салтыков-Щедрин высказывается о главнейших задачах, стоящих перед писателем, имеющим «в виду не одни интересы минуты». По этому письму видно, какие глубокие и широкие задачи ставил перед собой писатель. «Я обратился к семье, к собственности, к государству, — заявлял в этом письме Салтыков-Щедрин, — и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются»⁵. Из одного этого заявления видно, как глубоко, под самые корни, брала его коса, снимая «покровы обыденности» с исторически изживших или изживающих себя институтов не только дворянско-помещичьего, но и буржуазного строя.

Как великий художник прямой политической страсти Салтыков-Щедрин не имеет себе равных и является, по моему убеждению, самым близким нам писателем.

Современная сатира не может пройти мимо Салтыкова-Щедрина, так же как современная поэзия не может пройти мимо В. Маяковского. Это учтут те из писателей, которые упорным трудом готовят себя в политические бойцы для дела нашей партии.

Сергей Городецкий

На моих детских и юношеских книжных полках среди любимых книг Салтыкова не было. Мир входил в мое сознание как раз навсегда данная и человеческим умом непостижимая фантазмагория. Единственное, что я в нем слышал и понимал, это был ритм.

Литературными комплексами, оформлявшими мое сознание, были в возрасте (приблизительно) от шести до девяти лет Жуковский, Гоголь и — Никитин. От девяти до двенадцати — Андерсен, Гейне и — Тургенев, от двенадцати до шестнадцати — Достоевский, Ницше и — Пушкин. Салтыков оставался в непроницаемых кожаных переплетах за стеклами книжных шкафов сначала отца, потом старшего брата. Знал я его только по надписи на корешках — и по портрету. Боялся, пожалуй, огненных глаз сурового старика. Подпертые кулаками кудрявые головы двух юношей — Жуковского и Пушкина — были ближе и родней.

Прочитал я Салтыкова основательно только в плохо сшитом, рыхлом, на серой бумаге, с распадающимися при чтении страницами (издании 1918 года) — одновременно с «Материализмом и эмпириокритицизмом», поставившим мои перекувыркнутые махином мозги на ноги, — в вагоне боевого поезда Балтфлота, по взорванным мостам, не без перестрелок продвигавшегося в течение целого месяца из Ленинграда в Баку. В эти осенние ночи, дежуря с винтовкой у окна, я многое перепроверил и переломал в себе (эти ночи и спасли меня от танцкласса попутничества). Беспощадное слово сатирика, действуя в плане художественного подсознания, сильно помогало той операции удаления опухоли с мозга, которую тогда, в плане теоретического сознания, делала мне книга Ленина, моя с тех пор любимая и от всей моей последующей работы неотлучимая.

⁵ Письмо к Е. И. Утину от 2 января 1881 года. — С. М.

Как я оценил Салтыкова-художника? По правде сказать, читая, я об этом не думал, а это высшая оценка непосредственности и мощности художественного воздействия. Я стремглав влетел в этот лохматый, неприбранный, неблагоустроенный мир непроверяемых в своей правде образов, и, пожалуй, все дефекты салтыковского стиля — нестройность композиции в романе, недорассказанность промежуточных положений, отсутствие хрустальной, абсолютно прозрачной и абсолютно непроницаемой стены, которая, соединяя, отделяет завершенное художественное произведение от всегда незавершенного (потому что оно движется в процессе чтения) сознания читателя, полная откровенность творческой лаборатории, постоянное смешение черновых наблюдений с откристаллизовавшимися «перлами создания», вытекающая из всего этого суетливость синтаксиса (всегда беспокоившая меня в Достоевском) и даже в «сказке», где каждое слово должно быть «ключом» свода, который нельзя вынуть без того, чтобы весь свод не развалился, — недостаточный лаконизм, подсказывающее выводов, неполное доверие к власти верно поставленного слова — все эти дефекты, принимая во внимание условия, в которых я читал, пожалуй, мне даже нравились. Они ерошили, стремили, будоражили ход сознания. Они были мне тогда социально полезны.

Таковыми же, я думаю, остаются произведения Салтыкова и для современного читателя, особенно для молодежи.

Никакого не может быть сомнения в том, что Салтыков наряду с Пушкиным, Некрасовым, Достоевским и Толстым входит в стальной фонд, который будет играть огромную роль в формировании сознания уже рождающегося на фоне умирающего старого мира нового, бесклассового человека. Именно наличие этого «фона», который, конечно, не снимается с быстротой перемены декораций на сцене, безмерно повышает социальную полезность для наших дней произведений Салтыкова.

Вот этой действенности и должна учиться у Салтыкова расцветающая советская литература. Эта приятно-грубоватая действительность является превосходным лечебным средством против всех и всяких формалистов, против неожиданно вышолзающих откуда-то (известно откуда!) неодакдентов, против успокоительных повествователей, против многометражных фотографов, против влюбленников в прошлое, против увлекающихся пейзажем очеркистов. Методику этой действенности, предохраняя новичков от формального усвоения салтыковского наследия, завоевывая в Салтыкове для нас самое салтыковское, должна как можно скорее раскрыть наша советская критика. И конечно, Салтыкова нужно понести в школы, чтобы для новых поколений совершенно была предотвращена возможность такого обеднения сознания в период его роста, какое рассказано в начале этого моего ответа на анкету о Салтыкове.

Лев Гумилевский

Я никогда не исключал Салтыкова-Щедрина из числа классиков, знакомство с которыми не только обязанность, но и огромное наслаждение. Хотя в те годы, когда я впервые узнавал наших писателей, классиков, он не принадлежал к числу «рекомендуемых» и «изучаемых» и относился скорее к числу запретных наряду с Чернышевским и Писаревым. Это обстоятельство для гимназистов старших классов являлось наилучшей рекомендацией, и «Пошехонская старина» или «История одного города» были для нас не материалом экзаменационных сочинений, но краеугольными камнями, на которых закладывалось наше мировоззрение.

Впоследствии, когда я вновь обратился к классикам уже не как к учителям жизни, а как к мастерам художественного слова, чтобы учиться писательскому ремеслу, я и тогда не исключил Салтыкова-Щедрина из их числа. Именно Салтыков-Щедрин с предельной ясностью открывает писателю, что сущность художественного во всяком произведении заключается не в изящном воспроизведении живой действительности, а в резкой гиперболизации типических явлений, без чего невозможно обобщение, являющееся первым признаком художественного творчества. В силу этого как художника нельзя не ценить Салтыкова-Щедрина очень высоко, и не только в качестве непревзойденного мастера нашей сатиры.

Конечно, не мне одному приходилось и приходится сталкиваться с мнением, что сатире как таковой, являвшейся всегда и всюду оружием того или иного класса в борьбе за освобождение, в борьбе за власть, не может быть места в стране, где пролетариат уже овладел полностью властью и идет к бесклассовому обществу и где с отдельными отрицательными явлениями может легко справиться и РКИ⁶. Мнение это глубоко ошибочно, и не потому только, что классовая борьба не окончена и враг еще жив, но и потому, что объектом сатиры служат не столько конкретные явления со стороны их внешней и преходящей формы, сколько внутренняя сущность этих явлений, их логика. С отдельными случаями чванства, бюрократизма, хамства, бытового вредительства, очковирательства, конечно, способны справиться и суд и РКИ.

Но есть целый ряд явлений, с которыми нет иных средств борьбы, кроме беспощадной сатиры: они не предусмотрены циркулярами РКИ, они не подходят ни под одну статью уголовного кодекса и в то же время изо дня в день отравляют наше существование, мешают социалистическому строительству. И когда передо мной стала тема — мещанство в нашем быту, я невольно дал роман свой в форме сатиры и, конечно, не без прямого влияния великого сатирика. Самое название романа — «Дикий дом» — свидетельствует об этом. Приближение великого сатирика к нам будет, несомненно, чрезвычайно способствовать появлению высококачественной и действенной советской сатиры. Изучение художественного метода Салтыкова-Щедрина может многое дать не только сатирику, но и каждому современному писателю-реалисту.

Истина, формулированию которой, как он сам признается, была посвящена лучшая часть жизненной деятельности писателя, — «не погрязайте в подробностях настоящего, но воспитывайте в себе идеалы будущего», того будущего, которое стало нашим настоящим, представляется мне в свете наших сегодняшних творческих дискуссий прямым указанием пути, по которому должен идти писатель-реалист в стране осуществляющегося социализма.

Иван Евдокимов

М. Е. Салтыков всегда был для меня огромным художественным дарованием, бесконечно разнообразным, оригинальным, а в своем сатирическом жанре — единственным. Сила художественного воздействия Салтыкова чрезвычайно заразительна именно тем, что каждое слово «Господ Головлевых», «Сказок», «Помпадуров и помпадурш», «Пошехонской старины», «Истории одного города» трепещет заключенным в нем огнем подлинного и страстного негодования. Салтыков знал только одно творческое состояние — жар. У Салтыкова нет пустых страниц: они все значительны, глубоки, яркие, в них постоянно слышен живой, возмущенный, дрожащий ненавистью голос художника. Салтыкова можно сравнить с Чернышевским. Несмотря на все их различие, эти два гиганта, владевшие несокрушимой силой мысли, редчайшей убежденностью в правоте ее, — непоколебимо-железные фигуры русской литературы. Все произведения Салтыкова так страстны, так предельно отражают мировоззрение писателя, так исключительно насыщены всеми средствами художественного изображения, что, будучи раз прочитанными, они оставляют след на всю жизнь. Среди нашего богатого художественного наследия, пожалуй, отыщется немного таких произведений, которые бы с годами не забывались и которые не требовалось бы перечитывать, чтобы восстановить их в памяти. У Салтыкова нельзя забыть даже множество художественных деталей, обычно исчезающих из сознания читателя, едва закрыта книга. Салтыкова тянет читать и читать, а не перечитывать для восстановления утраченного впечатления и переживаний. Салтыков скульптурен, Салтыков воспринимается как ясная, осязаемая, заполненная форма. Салтыков настолько глубок и силен мыслью, что на него время не наложило никакой пыли, никакой архаики, он живой, полнокровный, действующий современник. Единственность Салтыкова как сатирика в русской художественной литературе, сатирика неистового, могучего, идейного, не имевшего ничего общего с сатириками легкого зубоскальского жанра — а таких было довольно тогда и достаточно сейчас, — единствен-

⁶ РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция, орган государственного контроля, действовавший в Советском государстве с 1920 по 1934 год. — *Ред.*

ность салтыковского стиля, по существу, до нашего времени не оценена и совершенно не использована. Готовое наследие лежит втуне. Почему? Может быть, потому, что Салтыков дал как бы исчерпывающие совершенные формы сатирического стиля? Но даже приближение к стилю Салтыкова дало бы советской сатире мощное орудие и толчок к необходимому развитию. Даже в самом писательском типе Салтыкова есть множество черт, которые должны быть органическими в каждом литературном работнике. Не сомневаюсь, Салтыков положил не один камень в ту замечательную постройку, которую создает наша эпоха. Между тем к Салтыкову до сих пор «ленивы и нелюбопытны» наши издательства. Это, конечно, консерватизм мысли. Это по инерции живут представления о Салтыкове от самодержавной «старинки». Какой святой гнев, свистящий бич, целый костер мыслей отстраняется, выбрасывается из умственного багажа растущих кадров советской молодежи! Надо пропагандировать великого сатирика.

Корнелий Зелинский

В Вятке, пыльном русском городишке, знаменитом тем, что в нем отбывали ссылку Герцен и Салтыков-Щедрин, знавал я одного старого партизана Поликарпыча. Инвалид на пенсии, сапожник и тот искусный умелец, у которого всякая вещь в руках начинает играть осмысленностью, Поликарпыч имел еще одну страсть — иначе нельзя ее назвать — страсть мемуариста. Обрубленный, ноздреватый, с громадными рыжими космами, которых ни одна шапка не могла спрятать, он писал и писал ночами про свою несчастную и необычайную жизнь. Он не останавливался перед тем, чтобы потихоньку тащить у сына тетрадки, которые тому выдавали в школе. Потом он читал свои воспоминания. Они были написаны пышно. Это был митинг на бумаге. Это была хриплая речь партизана, потрясавшего кулаками против царей и господ. Он вспоминал все перенесенные страдания и унижения, все страшные лишения батрака, которого жизнь жевала безжалостно и зло. Во время чтения он горячился и слезы выступали у него на глазах. Его любили слушать старые рабочие. А молодежь иногда пыталась утешить старика шуткой. Поликарпыч в таких случаях досадовал невероятно. Он тряс над головой свои могучие руки-коротышки, и синие губы начинали быстро бормотать:

— Да ты, брат... Что ты, брат, видал... Драть вас надо, скулеров советских. Вам, щенкам, советская власть в наследство досталась, от папеньки с маменькой... Нет, ты в наше корыто ткнись, а потом и жалуйся...

Не знаю, где теперь записки и тетрадки этого неизвестного творца истории из Вятки, похожего на легендарного бога Тора. Я потерял его из виду. Но очень мне запомнились его слова — и даже не слова, а интонации — о старой России. С огромной силой рвался сквозь них непотухающий протест против того жестокого, томительного, грязного, скучного до тошноты и бесчеловечно-унылого, что определяло атмосферу старой России. «Нет, нельзя жить в этой азиатской стране, нельзя дольше терпеть эти надругательства над естественными правами человека» — вот мысль, часто крик, которая у людей разных классов оформлялась по-разному. Но след этой протестации мы найдем в самых разнообразных направлениях. Конечно, нам теперь — Поликарпыч был прав — даже трудно представить, чем была жизнь в старой России. А ведь Герцен писал однажды, что когда-нибудь будущие люди вспомнят о них и захотят понять, почему же так бессмысленно пропадали целые жизни, почему пьянствовали, тунеядствовали, вырождались и пропадали.

«Боже, как грустна наша Россия», — восклицал Пушкин, слушая «Мертвые души». «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом», — говорил он про себя.

От Радищева и Пушкина до Максима Горького протянулась в литературе эта протестация, и одним из самых замечательных порождений ее является Салтыков-Щедрин. Мне почему-то всегда вспоминается Поликарпыч, когда я читаю Салтыкова-Щедрина. Та же сосредоточенная печальная злость на его страницах. И те же силы, в сущности говоря, вызвали к жизни и безвестного вятского партизана и знаменитейшего нашего

сатирика. Вице-губернатор Салтыков-Щедрин шел навстречу революции, и революция теперь встретила его.

Салтыков-Щедрин, в общем, печальный писатель. Но печаль его — воинствующая. Одна идея, раз поселившись от «Губернских очерков» до «Пошехонской старины», владела им в течение почти полувека его литературной деятельности. Вершина ее — в «Истории одного города», которую Тургенев справедливо назвал гениальной, которую он поставил на уровень с Рабле и Свифтом. Конечно же, проклятая глуповская жизнь, проклятое глуповское мирозерцание, глуповская закваска жизни — вот что было истинным героем его произведений, печальным и ненавистным героем в мундирах и кацавейках, героем многоликим и неистребимым.

Салтыков-Щедрин создал его анатомию и физиологию. Он изучил все его мельчайшие прожилки. Он писал его, ненавидя и страдая одновременно. Он дышал сарказмом, потому что Россия разила на него глуповщиной. Боже мой, какую страшную галерею глуповцев сохранил для потомства Салтыков-Щедрин!

«Вот и опять я в Глупове: вот и опять потянулись заборы да пустыри: вот и опять широкой лентой блеснула в глаза река Большая Глуповица и узенькой — река Малая Глуповица; вот и опять пахло на меня ароматами свежеспеченного хлеба... Детство! родина! вы ли это?»

Неужели ходил там страшный Угрюм-Бурчеев или произносил «благонамеренные речи» «столп» Дерунов?

«Глуповец, как и всякий другой представитель породы человеческой, есть организм сложный и притом доступный совершенствованию... Он пахнет, он вместе с тем ощущает и даже других заставляет ощущать; он пахнет, но вместе с тем он... мыслит. Если бы его настигал охотник, я не ручаюсь, чтобы он совершенно пренебрег столь сильным оружием, как запах; но ручаюсь, что он прибегнет и к другим средствам, находящимся в его распоряжении».

Как тонко и глубоко Салтыков-Щедрин знал нашего врага!

Я люблю читать и перечитывать Салтыкова-Щедрина. Так же как и Горький, Салтыков-Щедрин создает в душе то особое приподнятое настроение, когда хочешь сказать себе: «Так вот из чего вырвались мы. Нет, ты никогда не должен забывать этого. И твои дети должны помнить об этом всегда».

Да, Салтыков-Щедрин был истинным критиком жизни. Критиком в своей манере, как были в своей Белинский, и Чернышевский, и Горький. Салтыков-Щедрин создал свою, отличную от всех форму критики жизни, не похожую, как и у Герцена или Глеба Успенского, на обычные литературные жанры. Тургенев все уговаривал Салтыкова-Щедрина написать «роман» или «повесть», чтобы было «как у людей». А Салтыков-Щедрин писал то, что он писал. Публицистика, возбужденные мысли прямо вырвались в его повествование, создавая то прерывистое дыхание в его стиле, которое и теперь нельзя воспринимать без волнения. Он и пишет так, что как будто никак не может выговориться, никак не может окончить.

Но разве только в прошлом, разве только в истории Салтыков-Щедрин? Мне кажется, что он об этом сказал почти пророчески:

«Глуповское мирозерцание, глуповская закваска жизни находятся в агонии — это несомненно. Но агония всегда сопровождается предсмертными корчами, в которых заключена страшная конвульсивная сила. Представителями этой силы, этих ужасных попыток древле-глуповского мирозерцания удержаться на старой почве, служат новоглуповцы. В лице их оно празднует свою последнюю, бессмысленную вакханалию; в лице их оно исчерпывает последнее свое содержание; в лице их оно торжественно и окончательно заявляет миру о своей несостоятельности...»

Итак, Матрена Ивановна права: старинный глуповский *air fixe*, усовершенствованный и усиленный, целиком переселился в новоглуповцев. Но она не права в другом отношении: она думает и надеется, что глуповцам не будет конца, что за новоглуповцами последуют новейшие глуповцы, а за новейшими — самоновейшие, и так далее, до скончания веков.

Этого не будет.

В этом отношении я даже чувствую некоторую симпатию к новоглуповцу. Он мил мне потому, что он — последний из глуповцев.

«Этого не будет»... Эти слова мы можем теперь произнести с особым чувством, мы, борющиеся за вторую пятилетку, за создание бесклассового общества. Велика была вера и сила человека, сказавшего на дне знаменитого глумовского горшка эти слова. «Этого не будет»... Но все же недаром и не сразу, а если мы сохраним в своей духовной жизни его сатиру и саму эту замечательную фигуру ЦКК⁷ русской литературы.

Ефим Зозуля

Салтыков-Щедрин, так же как и Свифт и Гейне, переживал глубочайшую трагедию. Он бил, но не совсем точно знал, а может быть, и совсем не знал, во имя чего, ради какого будущего общественного строя он уничтожал своей сатирой все то, что было ему так ненавистно, так омерзительно. Стоит только начать читать Щедрина, даже не нужно особенно вчитываться, чтобы почувствовать, что каждая строка его дышит совершенно законченной ненавистью, полным и окончательным непризнанием окружающей действительности. Меньше всего он думал смеяться. Он хотел разить — и разил. Ничего нет смешного или остроумного в том, чтобы свойства героя ввязывать в его фамилию. Но он называл своих героев Негодяевыми, Перехват-Залихватскими, Разуваевыми, Угрюм-Бурчевыми и т. д. Как и Свифт, он в ненависти своей доходил до словесных гримас, но, правда, сдерживался от тех неудержимых потоков ругани, от которых уже не мог порою сдерживаться Свифт.

Трагедия лучших мировых сатириков, к каким, несомненно, принадлежит Салтыков-Щедрин, заключалась в том, что они не могли заниматься критикой жизни в такой мере, в какой хотели, какой требовал их темперамент и высокая принципиальность. Путь сатирика во всей стадии буржуазного владычества и капитализма был ограничен и немислим без использования аналогий, аллегорий, сказок, легенд, исторических параллелей, скрытых намеков, эзоповщины и т. д., ибо против открытой сатиры «сильные мира сего» боролись нещадно.

И, кроме того, трагедия сатирика заключалась в том, что его порой не понимали не только в лагере врагов, но иногда и в лагере друзей, которых сатира должна была определенным образом воспитывать. Щедринская «История одного города» была, как известно, принята за сатиру историческую. Щедрина огорчало непонимание и невнимание к нему критики. Он должен был оправдываться. «Я совсем не историю предаю осмеянию, а известный порядок вещей», — писал он. Нет, невесело было автору блестящих памфлетов.

В самом деле, становиться в оппозицию ко всему обществу, широко, смело, беспощадно клеймить его и бичевать, страстно жаждать гибели окружающего общественного строя и при этом, во-первых, не иметь возможности открыто и до конца высказаться и, во-вторых, точно не знать, во имя какого же строя надо разрушать существующий, — вот основные причины трагедии великих мировых сатириков прошлого.

Свифт не знал, что нужно противопоставить ненавистному ему английскому обществу, и каждая страница его сатиры исполнена глубокой горечи, потому что очень трудно видеть сплошную безвыходность. Гейне тоже не знал, что сменит ненавистных ему филистеров и мракобесов всех видов и толков. Социализм ему был неясен и порой представлялся казарменной уравниловкой.

Не знал этого и Щедрин. Правда, во введении к «Мелочам жизни» он пишет об исторической миссии пролетариата. Он в пролетариате видит тот класс, который обновит общество. Но он не представляет себе хотя бы в самых поверхностных чертах исторической миссии пролетариата. Он страшится «смуты». Его пугает революция. Он призывает предупредить насильственные выступления. В конце 50-х годов он увлекается славянофильством, хотя, правда, в последующие десятилетия примыкает к народничеству, то есть к наиболее передовому в то время революционному течению.

Но позднее ему приходится опять переживать растерянность. Он не знает твердо,

⁷ ЦКК — Центральная Контрольная Комиссия ВКП(б), высший орган партийного контроля, созданный по предложению В. И. Ленина и существовавший с 1921 по 1934 год. — *Ред.*

к кому примкнуть, на что надеяться. Народничество, пережив героический период, вступило в свою реакционную полосу.

Да, невесело было Салтыкову-Щедрину, как невесело было и многим другим его великим предшественникам-сатирикам.

Пути советской сатиры совершенно иные. Советский сатирик не только знает, кого бить, но и во имя чего бить. Он имеет возможность видеть плоды своей работы. Как мечтал, например, Свифт видеть, своими глазами видеть, кого же исправил его книга! Он этого не видел и видеть не мог.

Советский же сатирик, бичующий определенное и конкретное зло, может видеть и видит, если умеет до конца доводить начатое дело, результаты своей работы. Он может видеть устранение смешного и негодного и замену его здоровым и новым. Он может открыто бичевать все, что еще осталось от старого, что вплетается в новое, хватая его за ноги мертвыми руками, что принимает порой самый тонкий облик, незаметно маскируясь под новое.

Пути советской сатиры неисчерпаемы и плодотворны.

Советский сатирик легко может избежать тех мучительных трагедий, которые переживали и жертвами которых становились прогрессивные и общереволюционные сатирики и даже самые великие из них, как Свифт, Гейне, Салтыков-Щедрин.

Но советскому сатирику есть чему и учиться у этих подлинных героев и мучеников.

Многому можно учиться у Свифта, у Гейне, и многому может научить советского сатирика Щедрин в своем поразительном умении неустанно, ярко, кропотливо, мужественно, остро и уничтожающе драться со специфически русским административным бюрократизмом, с чинушами, собственниками, стяжателями всех видов и толков, с невежеством, грубостью и хамством, которые еще в достаточной мере живут у нас, переданные нам по наследству проклятым прошлым.

Анна Караваева

Невозможно представить себе советского литератора старшего поколения, на которого в том или ином смысле не влиял великий сатирик, больше — величайший, так как до Салтыкова-Щедрина никого равного ему русская литература не имела.

Добирались мы до Салтыкова-Щедрин «по счастливой случайности», так как в «воспитателях» дореволюционного юношества он не числился, как и вообще нигде не числился. Его старательно обращали в археологическую пыль, в лучшем случае в архаику — да, мол, действительно был такой ужасно старомодный, желчный писатель, не стоит о нем и говорить. Но Салтыкова-Щедрин читали, так как в людях, у которых жизнь российская вызвала разлитие желчи, нехватки не было. «А вот прочтите-ка да и подумайте», — советовали и намекали такие люди более молодым и еще сравнительно беззаботно поглядывавшим на мир. И те читали и, конечно, думали. И тут входил в свои права закон социального развития, к сожалению, далеко не сразу нами понятый. Если хоть в какой-нибудь степени уже успела показаться человеку подлинная сущность явлений тогдашней русской жизни, если человек в возрасте восьми-девяти лет (старинные педагоги причисляли его к еще «нежному» возрасту) уже узнавал, что означают слова «участок», «городовой», «золоторотец», «казенка», «веселый дом», «стибрить», «нахапал», «закатали», «не пущать», «куда прешь, харя?», «а ежели в зубы?», «толкучка», «обжорка», «клоповник», «вчерась ночью всех разом...», «по сибирскому тракту», «бубновый туз» и т. д.; если человек с восьми-девяти лет, еще не осознавая, конечно, породивших все это причины, тем не менее каждодневно в различных сочетаниях видал такое не только в действии, но частенько и в ряде последствий, то, познакомившись в четырнадцать — пятнадцать лет со щедринской злостью, думой и желчью, он уже не мог оторваться от книг сатирика.

Как сейчас помню первое, что было прочитано: «Помпадуры и помпадурши». Нечего говорить, на первый раз на язык попадали только отдельные крупинки этой острой и злой сатирической соли. Но и то хлеб! Столько пыльных, облезлых святынь и авторитетов было поставлено вокруг юношества, столько тратилось сил и средств на

подновление и подкрашивание всей этой бутафории, что однажды протереть глаза и увидеть действительный невероятно преклонный ее возраст — это все же чего-нибудь да стоило и значило для дальнейшего. У каждого просветление начинается по-своему. Уж, кажется, нас ли, детей всяких «мелкокалиберных» людей, уж нас ли не пугали мундирами, видом всяких «начальств» и благодатью законов, исходившей от них, как сияние. И вот она, эта Россия мундиров и незыблемых законов: Митенька Козелков, который «все болтает» и, стремясь «всех очаровать», полагает, что изъясняться нужно так, «чтобы никто ничего не понимал, а все бы облизывались», а над всем этим «реют квартальные». Или вот Феденька Кротиков из города Навозного, который готов был «лучше совсем истребить науки, нежели допустить превратные толкования». Или вот тихий Сережа Быстрицын, который даже бумажные кораблики строил с расчетом, что они в будущем «пригодятся»; вот он со своими чухломскими умниками, у которых за душой ничего, кроме «фюить!». В нелюбимых учителях, попечителях и всяком другом начальстве было до дрожи приятно угадывать и узнавать этих дармоедов и дураков с «органчиками» в голове: а, так вот, мол, вы какие! И Салтыкову-Щедрину, этому, как говорили обыватели, «мрачному писателю», обязана я и подобные мне первыми проблемами критических взглядов на жизнь, первой уверенностью в себе («чтоб к этим попасть — да никогда!»), первой насмешкой и первым чувством пусть бессознательной, озорной, но такой радостной свободы.

А дальше Салтыков-Щедрин занял в сознании моем свое особенное и прочное место, которое ни с кем не делил, даже с Некрасовым. И главное — всегда беспокоил и не оставлял даже лазейки какой-нибудь, чтобы что-то оправдать, «понять и простить». У Толстого Анна Каренина бросилась под поезд. Катюша Маслова шла по этапу в Сибирь, каялся Нехлюдов, лгали и подличали многие глупые, жадные и ограниченные люди — берги и анатоли курагины всех мастей, погибал восторженный Петя Ростов, отдавшийся живой и естественной страсти помещик Иртенев убивал себя... но... но... была Наташа, которая безоблачно, в детском восторге танцевала под дядюшкину гитару. А Щербицкая, милая, добрая и преданная! А охота на зайца! А варка варенья, а купанье младенца!..

У Салтыкова-Щедрина ни тебе охоты, ни тебе младенца... Просветы, солнечные пятна казались ему уступкой, отходом в сторонку. Не будет вам охоты на зайца, не будет вам веселых святок, когда Соня жженой пробкой назоидит себе усы, не будет вам розовых усадебных вечеров — смотрите на Иудушку Головлева, слушайте, как загубленная никчемушная Анвинька поет игривые куплеты. Вот она, страшная, бессмысленная жизнь «вымороченного» рода. До поэзии ли, мол, тут! Чем дальше узнавался Щедрин, тем более, по-особенному, был любим. Это он первый и главный подбрасывал в огонь самые смолистые поленья, в огонь, который начался с костерчика — с наивной юношеской оппозиции — и превратился в огонь, в который без сожаления брошены были старые интеллигентские «ценности».

И теперь, перечитывая Салтыкова-Щедрина, каждый раз чувствуешь себя как бы на уроке — есть ведь чему учиться. Какой это был несговорчивый, гордый, негнувшийся писатель! Ни минуты отдыха на чем-нибудь для глаза — все ведь мы живые, грешные люди... Какое острое зрение, какое чутье на каждую язву и болячку российской действительности. Вот бы нам с такой страстью (это всех касается!), с таким злым и тонким остроумием находить и разоблачать врага и каждую хватку старого мертвого мира... Еще не тронута богатейшая сокровищница, боевой арсенал щедринского языка, метафор, сравнений. Велико это наследство, исключительно. Во много рук надо его поднять, сделать доступным, чтобы не только широкие читательские массы, но и прежде всего молодые литературные кадры знали этого замечательного писателя; недаром его так любил Ленин, недаром щедринские словечки и выражения так органически вошли в произведения русских марксистов.

Салтыков-Щедрин — один из краеугольных камней нашего классического наследия. И его особенно не надо запереть в рамки толстых журналов и теоретических изысканий, как бы ни были они хороши и полноценны. Его произведения и критические их обзоры надо сделать достоянием миллионов — дешевые книжки, научно-популярные пособия по Салтыкову-Щедрину для школьников, для рабочих, для колхозников. В понимании того, как из огромной, стиснутой солдафонскими сапогами империи, отсталой

страны могла вырасти та могучая держава трудящихся, страна социализма, которую мы все строим,— в этом понимании, на образцах художественной литературы, Салтыков-Щедрин — один из первейших помощников и учителей.

Лев Кассиль

Многим из нас, у которых «классическое» образование в старой гимназии успело сожрать три-четыре года отрочества, а юность прошла в спехе первых октябрьских лет,— многим из нас сейчас приходится заново «открывать» и совсем по-иному перечитывать классиков. Я лично лишь недавно понял «во весь рост» Толстого, Лескова, Гоголя. До этого у меня сохранялось какое-то недоброе, враждебное чувство к ним, чувство, вынесенное из стен царской гимназии, прикрываемое внешним казенным почтением...

Так было и со Щедриным, хотя он и не проходил в гимназии. Прочитанный дома преждевременно, механически, без разбора и удовольствия, он был быстро забыт. А перечитать его потом не было как-то времени, да и считалось вроде как неудобным — в библиотеке, где тебе оставляли Жироду и Пруста, вдруг попросить слишком всем известного Салтыкова-Щедрина... И меня даже, не скрою, иногда раздражало, что имя этого классика то и дело звучит в речах вождей, в фельетонах «Правды» и «Известий».

Но вот я взялся перечитать несколько вещей Щедрина. Это было года три-четыре назад, когда я работал над одной своей книгой, где реальный материал переплетался с линиями сатиры и сказочной фантастики. Я взял тогда Щедрина, чтоб избежать случайного сходства, но, начав читать, вчитавшись, с головой уйдя в изумительный и заново открытый мною мир щедринского чтения, я понял, что сходство будет не случайным, а обязательным и неминуемым... Отложить в сторону Щедрина я уже был не в силах. Потому я решил отложить на время свою работу, дать выветриться этому впечатлению, накопить время и силы, достаточные для того, чтобы вывести себя из мощного магнитного поля Щедрина.

Может быть, он самый живой, самый полезный из всех наших классиков. С ним легче дружить мыслью, чем с другими. Он очень сегодняшний, и когда его читаешь, кажется, что это пишет о прошлом наш замечательный современник, и хочется написать ему письмо, попросить совета, узнать от него о многом и важном, узнать не только то, что лежит на поверхности, что уже приобрело обиходно-разговорную известность.

Михаил Козырев

Щедрин для меня — современный писатель. Откройте любую страницу — и на вас взглянут «хорошие знакомые», до сих пор, к сожалению, подвизающиеся на самых разнообразных поприщах. Головоотяпы и рукосуи, пошехонцы и помпадурсы, ретивые начальники и «ташкентцы» слишком часто заявляют о своем бытии, чтобы можно было сатиру Щедрина считать только музейной ценностью. Не изжит и канцелярско-бюрократический фольклор, неоднократно пародировавшийся Щедриным, как не изжито и самое явление бюрократизма, до сих пор в меру сил старающегося затормозить и всячески скомпрометировать наше строительство. Методы этого торможения превосходно вскрыты Щедриным. Психология бюрократа изображена Щедриным незабываемо ярко: недаром действительный статский советник и вице-губернатор М. Е. Салтыков передал писателю Щедрину свой богатейший опыт.

Щедрин любил ставить своих героев в родственные отношения с героями Гоголя и Грибоедова. Молчалин, Фамусов — действующие лица его произведений. Один из основных героев Щедрина — адвокат Балалайкин, незаконный сын Репетилова. Продолжая эту линию, легко установить, что Балалайкин оставил наследников, но сын Балалайкина уже не адвокат, а, скажем, экономист, работает он где-нибудь в плановом отделе и вместо любовных писем приказчикам гостиного двора составляет для горедиректоров оксфордские планы и донесения в центр об их перевыполнении.

В этом образе, а также в образе «ташкентца» с его лозунгом «жрать» намечены черты той разновидности человеческой породы, которая известна ныне под наименованием «арапа» и до сих пор под более или менее «благонамеренными» лозунгами осуществляет свою основную задачу — «жрать во что бы то ни стало».

А явление, известное ныне под наименованием «блат»? Стоит перелистать Щедрина, чтобы найти и меткое определение и психологический и социальный анализ этого явления. А корреспонденты Подхалимов 1-й и Подхалимов 2-й разе окончательно сошли со страниц нашей прессы?

Все это к тому, что величайшая революция, в корне изменившая социальные отношения, не сделала образы Щедрина интересными только для историка дореволюционной России. Его образы живы, они до сих пор актуальны — и это несмотря на «эфемерность» щедринского жанра (ежемесячный журнальный очерк или фельетон). Преодоление «эфемерности» жанра, создание в его внешних рамках произведений монументального характера — одного этого достаточно для определения меры художественного дарования писателя.

Щедрин современен и по социальной направленности своей сатиры. Он не удовлетворяется художественным констатированием того или иного образа или явления — он прежде всего разыскивает его социальные корни. Изображая героя, он любит проследить его родословную, которая часто ведется от времен Рюрика и призвания варягов. Его герой всегда прежде всего представитель определенной социальной среды, класса. Он сначала дворянин, коллежский или тайный советник или «чумазый» — потом уже «ташкентец», помпадур, либерал («пенкосниматель»). Уменью определять социальные корни и социальное значение того или иного типа или явления советскому писателю — и не только сатирику — следует поучиться у Щедрина.

Увлечение Щедриным я пережил весьма рано. Одно время я мог целыми страницами цитировать его наизусть. Помимо «Истории одного города» особенно запомнилась с той поры «Современная идиллия» — фантазмагория, в которой невероятным фактам действительной жизни связывающая их фантастическая фабула придает вероятность и осмысленность. И хотя впоследствии я долгое время не возвращался к Щедрину, это увлечение дало знать о себе в первом же написанном мною сатирическом рассказе (ненапечатанном), в котором бессознательно проявилось сильное влияние Щедрина. Именно в силу бессознательности этого влияния мне трудно и сейчас определить, что именно и в каком объеме следует отнести за счет влияния Щедрина как в отношении методов литературной работы, так и в отношении миросозерцания вообще.

В дальнейшем к Щедрину приходилось часто обращаться во время журнальной работы, где его образы иногда помогали осмыслить и осветить те или иные уродливые явления, взятые из рабкововских и селькоровских корреспонденций.

Щедрин — живой писатель. У него многое можно взять, многому научиться. И в области чисто формальной трудно указать писателя, более виртуозно владеющего самыми разнообразными формами и стилями. Одна и та же вещь Щедрина обычно включает как составной элемент и газетную передовицу, и сказку, и хроникерскую заметку, и маленькую пьесу, и пародию на какой-нибудь «устав» или положение, и судебную речь, и полное лиризма отступление, и тонкий социальный, или экономический, или психологический анализ изображаемого явления. Щедрин как мастер — еще не написанная глава истории нашей литературы.

Борис Лапин

Люди старшего поколения знают Щедрина наизусть, он целиком вошел в их обиход. Молодежь, родившаяся после 1905 года, его мало знает. Глуповцы, «ташкентцы», карась-идеалист, генерал, начинавший доклад словами «но ежели», а кончавший словом «однако», — вот почти все. Щедрина читают у нас не много — не так много, как следовало бы.

В чем тут дело? В недостаточном распространении? Нет, Щедрина хорошо издают, в больших тиражах, его изучают в школах.

Что же, он труден? Да, пожалуй. Гениальные книги Щедрина, пережив ту среду, в которой они были созданы и с которой боролись, слишком «перегружены» для современного читателя. Они полны намеков, к которым молодое поколение потеряло ключ. Обходы, эвфемизмы, метафоры не доходят почти наполовину. Это теперь — когда черты щедринского мира свежи еще в памяти, да и вряд ли окончательно изгладились из нашего быта. Лет через двадцать, думается мне, читать Щедрина целиком будет еще труднее.

Между тем книги Щедрина должны быть не только памятником эпохи. Его удивительная злость, удивительные скачки фантазии, поставленной на службу политической борьбе, удивительная честность должны жить для будущего и тем более для нашего поколения.

Мне кажется, следовало бы издать массовым тиражом несколько «разгруженного» Щедрина, не только «избранного», но и сокращенного. Нужно, разумеется, следить при этом, чтобы щедринская сатира не была кастрирована, чтобы социальная ее острота не была ослаблена, но сделать это необходимо, если мы хотим, чтобы Щедрин стал всеобщим достоянием. (Это вовсе не значит, конечно, что нам не нужен «полный» Щедрина, наоборот — издавать его и «полного» нужно как можно больше!)

Я думаю, что такова судьба сатиры вообще. Ни один род литературы не вмешивается в жизнь так глубоко и не пользуется таким влиянием. В то же время самые гениальные сатиры быстро старятся. От них остается только ядро, несколько образов, сюжет. Разве «Сказка о бочке», «Корабль Дураков», «Письма Темных Людей», если не «разгрузить» их, а просто издавать так, как они есть, — разве могут они волновать нас? Однако мы знаем, что когда-то они волновали людей больше, чем Шекспир и Гомер...

Целиком сохранился Гулливер — и только. Но это книга единственная, притом она написана мимикрически, под роман путешествий. Она сделана так, что человек любого возраста и народа проглотит ее не отрываясь, как роман. Быть может, только разлетевшись на четверть книги, он поймет, что это сатира.

Я думаю, что если тщательно поработать, то из наследия Щедрина можно и нужно было бы отобрать такого «гулливера» — такой том, который будет прочитан миллионами людей советской страны на десятках языков. И этот том, вероятно, будет невелик, но зато будет обладать вечной молодостью.

Владимир Лидин

Я бы, несомненно, погрешил в отношении истины, если бы признался в каком-нибудь влиянии на себя Салтыкова-Щедрина. Салтыков-Щедрин писатель особого жанра — поистине русский Свифт, со всеми особенностями русской судьбы. Страстная обличительность его творчества узаконена бесчисленными словечками, вошедшими в живую обиход русского языка. Салтыкова-Щедрина из русской песни не выкинешь: он не только органически в ней, но и множество горьких стансов создано этим обличителем помпадуров и помпадурш, господ «ташкентцев» и автором сказок для детей изрядного возраста.

Я знаю Щедрина в основном, но не в подробностях. Меня отпугивала в художнике его публицистичность. Впоследствии, задумавшись об обществе и о законах его развития, я заново перечел основные вещи Щедрина. Они как бы вновь открыли передо мной этого писателя, подчинившего свое творчество социально-политическим задачам, страстного борца и неутомимого обличителя той душной и страшной среды, знанию которой сегодняшний читатель во многом обязан величайшему сатирику, злomu и непримиримому писателю Салтыкову-Щедрину.

В нашей советской литературе нет писателей, которые шли бы по следу Щедрина. Наша сатира еще не вышла на широкую дорогу обличения тех подлостей жизни, которые до сих пор мешают нам строить новое общество. Напомнить о Салтыкове-Щедрине уместно не только по специальному поводу, но и потому, что тип такого писателя чрезвычайно нужен нашей литературе.

Лев Никулин

В тринадцать лет я читал все, что попадалось под руку — от «Лесного бродяги» до сборников «Знание», от «Марсельцев» Гра до «Очерков кавалерийской жизни». Минувя Тургенева и Гончарова, минуя других классиков, я добрался до Щедрина и, насколько помню, читал его с неудовольствием и раздражением. Но я не мог бросить щедринские «Сказки», как я, скажем, бросил не дочитав «Сказки Кота-Мурлыки» (Вагнера). И я прочел аллегорические «сказки» Щедрина и вернулся к ним в 1905 году, в эпоху манифестаций, демонстраций, баррикад и сатирических журналов того времени. Эта эпоха помогла мне понять Щедрина. Во второй раз я «открыл» для себя Щедрина, когда прочел «Господ Головлевых». О помещичьем быте писали многие наши классики, но ни один из них не дошел до щедринской едкости, резкости и презрительной злости. Тут для меня померкли акварельные портреты и пленительные усадебные пейзажи Тургенева и Гончарова. И остались только «Мертвые души» Гоголя и «Господа Головлевы».

В наше время Щедрин вошел в советскую публицистику и сатиру, не утратив ни капли свежести и остроты. Нарисательные клички, аллегорические образы, едкие определения Щедрина неизменно находятся в боевом запасе советского публициста, литератора.

Я много думал в последнее время о том политическом пустословии, которое Ленин называл «политической трескотней». В нашем литераторском быту не так уж легко отличить дело от болтовни, не так уж часто избежишь «политической трескотни», бесцельных и ненужных заседаний и докладов, где тусклая мыслишка тонет в пустословии, держась на цитатах как на поплавках. Перечитывая Щедрина, вспоминаешь это хорошо знакомое пустословие, знакомое щелканье погремушек, ложно-значительных слов, «благопотребное сквернословие», по удивительному щедринскому выражению.

«— Эстетическое чувство,— сказал он, собравшись с мыслями,— есть то чувство, которым в высшей степени обладает художник.

— Что такое художник? — столь же отрывисто спросил кандидат философии. Алексис снова задумался.

— Художник,— сказал он, в последний раз собравшись с мыслями,— есть тот смертный, который в высшей степени обладает эстетическим чувством...»

А вот другое замечательное описание оратора-пустослова:

«...он словно даже и не говорил, а гудел; гудел изобильно, плавно и мерно, точно муха, не повышающая и не понижающая тона, гудел неустанно и час и два, смотря по тому, сколько требовалось времени, чтобы очаровать,— гудел самоуверенно и, так сказать, резонно, с видом человека, который до тонкости понимает, о чем он гудит».

И разве вы не ощущаете до боли знакомые переживания, когда Щедрин переходит к описанию того, как воспринимается это пустословие:

«...слушатель с течением времени впадал как бы в магнетический сон и начинал ощущать признаки расслабления, сопровождаемого одновременным поражением всех умственных способностей. Снизлось ему, что он куда-то плывет, что его что-то поднимает, что впереди его мелькает свет — не свет, а какое-то тайное приятство, которое потому именно и хорошо, что оно тайное и что его следует прямо вкушать, а не анализировать».

И так как мы приучились конкретизировать образы, то немедленно вслед за описанием красноречия помпадур Митеньки Козелкова перед вами встанут Чернов и Авксентьев в эпоху керенщины (и сейчас за рубежом), затем добрый десяток современников, критиков и писателей из тех, которых полагается «прямо вкушать, а не анализировать».

Но более всего удивляет вас ум и горечь, неугасающее пламя щедринских строк, когда, вернувшись из-за рубежа, вы обращаетесь к любимым книгам, чтобы через сопоставление с прошлым яснее понять настоящее.

Вот вы вернулись из современной Германии, и оказывается — живы в ней господа «ташкентцы», живы, несмотря на то, что у них иная, коричневая форма и более всего они заботятся о надлежащем приветствии флага со свастикой...

«...наконец просто налетит бряцающий ташкентец и предложит вопрос: «а позовольте, милостливый государь, узнать, на каком основании вы осмеливаетесь обладать столь наводящей уныние физиономией?»

И ежели у господ «ташкентцев» пробуждаются лирические воспоминания, ну, скажем, о старом Гейдельберге, рапирах, студенческих пирушках, то происходит, разумеется в иной форме, такой диалог:

— Трезорка жив?

— Точно так, ваше благородие.

— И Полканка жив?

— Жив, ваше благородие.

— Как бы, братец, их на кошку науськать».

Мысль Щедрина поднималась и парила над десятилетиями, живая, острая, обличительная мысль, как если бы она родилась вчера в мозгу нашего современника. Отречение сатирика от «высокой», «чистой» литературы по достоинству оценено только в наше время. Это отречение — одна из причин того, почему жив и будет жить среди нас Щедрин, «советский сатирик Салтыков-Щедрин», как полушутя, вернее совсем не шутя, называет замечательного писателя наше поколение.

Николай Огнев

В Москве есть памятники Толстому и Достоевскому — проповедникам «нравственного закона». Почему гневный сатирик, носитель боевого революционного духа — бесконечно более близкий нам художник — не воплощен до сих пор в камне? Непонятно.

Десятилетним мальчиком я принял — наряду со «Страшной мезьей» и «Гекком Финном» — «Пошехонскую старину» как увлекательное чтение. Начинаящим писателем я вновь открыл это изумительное произведение как непревзойденный художественный документ эпохи. И только в качестве советского педагога, развернув перед подростками потрясающие картины крепостного права на фоне свиного помещицкого быта, в третий раз я увидел «Старину» по-настоящему: эта книга — последний, но самый сильный и убедительный художественный аргумент, брошенный больным, умирающим писателем в лицо политическому врагу.

Какая сила мозга! Какое разнообразие приемов! Какая богатая палитра! И все направлено к одной цели... уничтожить (да, именно уничтожить) врага — крепостнические пережитки, пронизывавшие всю русскую жизнь и охранявшие их самодержавие. Художественно уничтожить. Литературно раздавить. Публицистически прикончить, чтобы духу больше не было.

Взгляд Щедрина на идеологическую действенность, результативность литературы жил в нем до конца, до последней минуты, вплоть до знаменательной фразы в завещании сыну: «Паче всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому». Конечно, идейного литератора. Так и только так мог понимать это звание великий сатирик и замечательный художник.

Все это влезло в меня с детства; я рос с Щедриным под подушкой. Можно ли говорить о мировоззренческом или литературном влиянии — о такого рода влиянии, как, например, влияние Дос-Пассоса на некоторых наших молодых писателей? Нет, это глубже; это что воздух. Без воздуха мне нельзя было вырасти и без Щедрина тоже. Тем более что гнусный головлевский быт окружал меня плотным кольцом.

Сейчас этот быт разгромлен до основания, но все еще не уничтожен. Как всякая частность, он носит в себе черты и признаки целого. Это целое — капитализм, индивидуализм, фашизм — все, что противостоит социализму у нас и за рубежом. В нас самих еще не до конца изжиты иные индивидуалистические черты.

Не говоря уже о крупном зарубежном враге, достойном сатиры советских продолжателей Щедрина, среди нас еще живут и двигаются прямые наследники его героев.

Щедринские рукосуи и губошлепы существуют в Советской стране наравне с

головотяпами: мы их получили в наследство от города Глухова. Поэтому и щедринская сатира жива и советским сатирикам есть чему поучиться у старика. Но даже тогда, когда социалистическое наступление уничтожит в своем победоносном ходе последнее отрицательное наследство старой России, своеобразная галерея политических и бытовых уродцев будет существовать в назидание потомству, как ленинградское пугало Паоло Трубецкого⁶, как некий музей восковых фигур. Сейчас эти фигуры еще распространяют зловещее дыхание, потому что старый и косный быт не сдался до конца, потому что не добит еще классовый враг, потому что идет еще последняя борьба. Но настанет время, и оно не за горами, когда образы Щедрина будут просто смешны и дикы, когда читатель-экскурсант с удивлением и сомнением будет останавливаться перед литературными экспонатами Салтыкова:

— Да полно... Были ли они в действительности?

И социалистическое время скажет ему в ответ: были... и быльем поросли.

Пантелеймон Романов

Салтыков-Щедрин стоит совершенно особняком в русской литературе. Это публицист-художник. Он не подходил ни к одному из существовавших литературных канонов. А это всегда пугает современников. Появившись в момент самого яркого расцвета дворянской литературы, он, естественно, казался слишком грубым, его образы — преувеличенными, слишком окарикатуренными. А главное, что они не служили чистому искусству, врываются в самое действительность, издевались над ней и возмущали эстетов своей прямолинейностью. Но они перестраивали жизнь, пока, может быть, только в сознании, а не в реальности. И после сатир Щедрина уже стало невозможно добродушно или с почтением и трепетом взирать на власть имущих царской России. Благодаря им даже среднему обывателю стала ясна гниль царских сатрапов и всего сатрапского строя, а главное — смешна. Смех — жестокое орудие. Если писатель, обладающий даром смеха, приклеит самому страшному человеку ярлычок смешного, то все страшное в этом человеке мгновенно теряет силу.

Нужен ли нам смех, нужна ли сатира?

Смех нужен, нужна самая жестокая сатира, так как много еще людей или по невежеству, или из шкурных интересов вставляет палки в колеса великой стройки. Нам нужна сатира не эстетическая, для приятного развлечения и пищеварения. Нам нужна сатира, облитая слезами и желчью злости против негодных и скверных людей, предающих интересы народа, охваченного великой идеей великого строительства и создания нового общества. Нам нужна сатира, прямо бьющая в языки действительности. А этих язв еще много.

Образец этой сатиры — Салтыков-Щедрин. И не случаен теперешний интерес к нему. Он дождался своего времени: мы его оценили по заслугам. Если его сатира была слишком груба для эстетических ушей дореволюционной аудитории, если она оскорбляла слишком большим «практицизмом», то нам такая сатира и нужна. Нужна сатира, делающая дело, непосредственно влияющая на перестройку действительности, железным кнутом выбивающая всякую гниль из нового общества, которая все еще держится кое в каких щелях и покрывается семью покрывалами.

Нашей молодежи есть чему поучиться у Салтыкова-Щедрина, а главное, его острому глазу и безжалостному микроскопу его творчества, который незаметные на первый взгляд вещи сразу делает доступными для каждого глаза.

Юрий Слезкин

Обращение «Литературного наследства» застало меня за чтением Салтыкова-Щедрина. Это не случайное совпадение. Книги Щедрина теперь мои настольные книги. Подчеркиваю — теперь, потому что когда-то я проходил мимо них равнодушно.

⁶ Имеется в виду памятник Александру III работы известного скульптора П. Трубецкого. — С. М.

В дни моей юности и ранней пробы пера в поисках укрепы, поддержки, учителя-друга я прикинул ухом и сердцем то к одному, то к другому классику, но Салтыков-Щедрин не был в числе их.

Спрашиваю себя — почему?

И вспоминаю тогдашнее «ощущение» от этого писателя. Оно, это «ощущение», было навязано извне, действовало как табу, похоже было на внушенное матерью своему ребенку: «Этого не едят».

— Он не художник,— говорили все вокруг меня о Щедрине.

Великое дело среда, ее табу.

Ешь изумительный плод — душистый, полный живоносных соков,— а кажется, что жуешь резину. И только потому, что стоящие вокруг тебя люди морщатся пренебрежительно и брезгливо.

Преодолею я этот гипноз много позже, когда окреп как писатель, но и тогда, отдавая должное блестящему уму, остроте глаза, яду нашего сатирика, я все еще не в полной мере ощущал аромат и свежесть его исключительного по образности, гибкости, предельной ясности языка.

И только когда при ярком свете заново осмысленных дней и дел я многое из дорогого мне раньше выбросил за дверь как ненужное, вредное, только когда я сам попытался взглянуть на прожитое и найти истоки болезни разгромленного класса, загнивания его культуры и принялся за свой роман «Отречение» (империалистическая война) — только тогда, когда, снова ища среди классиков собеседника для творческой схватки и взявшись за испытанного любимейшего учителя Толстого, я внезапно почувствовал, что сейчас речь его для меня звучит не в том регистре, идет наперекор моему чувству, только тогда я потащил с полки сначала один том Щедрина, за ним другой, и вот уже многие годы книги его лежат на моем рабочем столе. Щедрин проверяет, судит, направляет меня в моем трудном деле преодоления себя, учит, как должно видеть правду даже там, где эта правда бьет по самым глубоким привязанностям. Щедрин неумолимо ждет от меня слова-оружия, слова-скальпеля, направленного твердой и верной рукой хирурга, знающего, куда и как вонзить его в зараженное тело.

За эти годы я научился любить и понимать красоту слова хирурга-художника, несравненного мастера и борца Салтыкова-Щедрина.

Никто лучше его из художников слова мировой литературы не показал, что не просто «дурное» и «хорошее» в человеке определяет его общественное значение, а социальная среда, его породившая и воспитавшая, среда, которой он служит и которую выражает.

Откройте «Пошехонскую старину». Вот перед вами Затрапезная Анна Павловна — глава дома и семьи. Она вовсе не отрицательный тип вообще. Как представительница своего класса Анна Павловна скорее положительный тип. Она не засекала своих дворовых девок, не бесчинствовала, не развратничала и хотя была стяжательницей и скопидомкой, но, в ее собственном сознании, во благо своей семьи, своего рода. Она ни в какой мере не Салтычиха, какой обычно нас пугают, когда хотят показать жестокость крепостничества. Но она показательна своими социально-типическими чертами: ее индивидуальные качества, данные писателем во взаимодействии со средой, обращаются против нее. Так пишет Щедрин, и так он убеждает.

Этому его мастерству следует поучиться нашим молодым писателям, если они хотят всерьез оттолкнуться от идеализирующего показа человека в своих социалистически направленных произведениях. Не рисуйте злых фашистов, а показывайте их классово направленную деятельность, и тогда никакая их доброта, которую они могут обнаруживать, допустим, в семейных отношениях, не спасет их от нашей ненависти.

Внимательно изучив Щедрина, и критики перестали бы в наших произведениях искать во что бы то ни стало «гадких буржуазных дядей».

Салтыков-Щедрин — большой художник, мастер и учитель еще и поныне не раскрыт до конца. Долг марксистской критики приблизить Щедрина к советскому читателю, рассказать всю правду об этом нашем далеком, но верном друге, а уж он сам заставит нас полюбить его.

Павел Сухотин

Первое знакомство мое с произведениями Салтыкова-Щедрина произошло в дортуаре пансиона Лазаревского института восточных языков. Там я в первый раз прочел «Пошехонску» старину».

Перед отпуском на летние каникулы учитель русского языка — чистенький, желтый дворянчик, впоследствии и очень рано достигший директорского поста, — поучал нас, как вести себя летом, и закончил свое поученье с улыбочкой той фразой, которую повторял ежегодно всем классам, где обучал:

— А вообще увеселяйтесь сообразно вашему возрасту и общественному положению. Не забывайте, конечно, и книжечки..

— А можно читать Щедрина? — спросил я.

— Читать Щедрина, — ответил учитель, — это все равно что читать старые газеты.

Слово «газеты» — конечно, с презрением.

— А Глеба Успенского?

— То же самое...

Но я читал и того и другого. И тот и другой неразрывно связаны в моем представлении даже портретной близостью: те же навывкате глаза, суровые, много знающие, выпертые из орбит не базедовой болезнью, а страдающим и ищущим духом. И такая же в лицах общая непреклонность...

Салтыков-Щедрин, также и Успенский — это совесть людей, познавших социальные пороки своего времени. Ведомые этой совестью, один избрал своим орудием борьбы с ними бич сатирика, другой взял в руки посох странника-очеркиста. Оба, обладая высоким художественным даром, отказались от чисто художественных исканий и устремили свое внимание только к тому, что вело к цели прямым путем, а цель у них была одна: разбудить и внутренне организовать в обществе отношение к всесокрушающей машине самодержавного «утеснения» и «ужатия» человеческого достоинства, ума и сердца.

В этом направлении писатели выработали свои разные стили. Это совсем (и никогда) не значит, что один стиль был выше, другой ниже. «Хороший стиль, — сказал Бальзак, — это искусство заставить себя слушать и быть слышимым».

А Салтыков-Щедрин, как и Глеб Успенский, заставляли слушать себя и были слышимы русским обществом. Слышимы они и сейчас, наши великие учителя.

Николай Гелешов

Совмещаая в себе гоголевский юмор и грибоедовскую вражду к тем, кто «хотел бы навеки задержать народ наш в состоянии младенчества», Салтыков был в моих глазах не только классическим русским писателем, но и крупнейшим представителем мировой сатирической литературы. К именам Рабле и Свифта присоединяют имя Салтыкова; это мне кажется верным только в смысле огромного литературного значения Салтыкова, его ценности и его общего с ними жанра — сатиры.

Одиночество, обособленность, отчужденность Салтыкова стала ходячей истиной, и это, в сущности, послужило и ему и нам на пользу, иначе Щедрин не был бы Щедриным и не входил бы достойным членом в славную когорту творцов и представителей великой русской литературы, не был бы для нас художником беспощадной сатиры, каков он, в сущности, есть. Своеобразие щедринского таланта настолько велико и его общественная позиция настолько непримирима, что литературные враги его — они же и политические — нашли возможным отрицать за его творчеством художественное значение. Но отрицание факта не есть еще отсутствие факта, и целые поколения литераторов и общественников воспитывались на сочинениях Салтыкова, **ялв**, по литературному его наименованию, Щедрина.

Вспоминаются мне чудесные щедринские «Сказки», несомненно, высокохудожественные и увлекательные, не говоря уж об иных достоинствах. В них использован фольклор, но под сказочной формой наивной народной фантастики, даже с традици-

онным зачином «жил-был», разверзаются глубины холодного и изощренного рассудка. И не в этом ли тайна щедринского своеобразия, чарующей художественности его «Сказок»? У Салтыкова, к слову сказать, здесь был предшественник, и ему-то, этому предшественнику, прежде всего протянул бы руку свою Салтыков, хотя бы их и разделяли целых два с половиной столетия. Но даже и в этом разрыве времени есть нечто знаменательное: здесь как бы переключаются две эпохи — закрепощения крестьян и их раскрепощения. В данном случае я говорю об анонимном авторе знаменитой сатиры на современное ей московское судопроизводство XVII столетия, о «Повести о Ерше Ершовиче сыне Щегинникове», ябеднике и гутанике, который своими проделками восстановил против себя все рыбе царство.

Я отлично помню огромное впечатление, произведенное на читателей щедринскими «Сказками», когда они появились впервые, примерно полвека назад, и думаю, что я один из немногих свидетелей этого, оставшихся в живых среди писателей.

Вспоминается также «История одного города»... В свое время правильно говорилось, что наша литература знает лишь два подобных «летописных» произведения — «Историю государства Российского от Гостомысла...» А. К. Толстого и щедринскую «Историю одного города» — города Глупова. Одно из них — остроумная, изящная безделушка, другое — тяжелый, монолитный монумент тысячелетнему безобразию отечественной истории. Кстати сказать, щедринские повествования о Глупове и глуповцах почти совпали, и вряд ли непреднамеренно, с тысячелетним юбилеем Руси — 862—1862 годы. Перо Салтыкова всепоражающе и неумолимо; никто не убежал, ничто не скрылось от него, всякий услышал свой приговор, над всеми взвился тяжелый и гибкий хлыст его сатиры. Он был сыном своего века, и, может быть, более чем кто иной, но это ничуть не противоречит его обособленному положению. Своим творчеством он как в зеркале показал своему веку его образ, но это не значит, что Салтыков потерял хотя бы кроху своего значения для нашего времени. Наоборот: это зеркало минувшего времени есть истинное литературное наследство, над которым интересно и полезно поработать нынешнему поколению. Не напрасно он говорил в свое время от имени совести, которой все стали тяготиться: «Отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори передо мной его сердце чистое и схрони меня в нем! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит... да и в люди погом со мной выйдет — не погнушается». Так и случилось: нашли маленькое дитя и в чистом сердце его схоронили до поры до времени совесть. И вот растет маленькое дитя, вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть.

«И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама».

Несомненно, Салтыков был вождем определенного общественного направления, вокруг которого группировались молодые литературные силы, и влияние его на мировоззрение тогдашней молодежи было значительно. Ясно помню огромное впечатление, произведенное в 1884 году постановлением четырех министров о закрытии журнала «Отечественные записки», редактором которого был Салтыков.

«Правительство,— говорилось в этом постановлении,— не может допустить дальнейшего существование органа печати, который не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ...»

Помню также небольшую литографированную брошюрку с тремя сказками Щедрина — «Вяленая вобла» и какими-то другими. Но главное — это краткое предисловие, всего лишь на одной страничке, воззвание к русскому обществу по поводу закрытия «Отечественных записок». Насколько помнится, с беспощадной горячностью упрекалось общество в слепоте и глухоте, когда вокруг совершается беззаконие и насилие. Во всяком случае, это был определенный революционный призыв, яркий и пылкий по тогдашнему времени. Кроме того, интересна была обложка этой брошюры: во всю страницу нарисован был пером полуоткрытый — от правого верхнего угла к левому — занавес. На приоткрытой части занавеса нарисованы картины русской действительности по произведениям Щедрина — кулаки, кабаки, заушения, взят-

ки и прочее, а на переднем плане жандарм в каске и свинья стараются скорее задержать этот занавес от взглядов читателя. Трогательное единомыслие и сотрудничество свиньи и жандарма были весьма вразумительны. Этот редкий экземпляр передан был мною несколько лет назад в Музей Революции.

Никакого нет для меня сомнения в том, что творчество и деятельность Салтыкова-Щедрина в наше революционное время должны быть изучаемы. Богатое литературное наследство, оставленное писателем теперешнему поколению, как нельзя более пригодится ему и в смысле общественном и в смысле художественном.

Алексей Толстой

Посреди XIX века возвышается мало до сих пор изученная, мало до сих пор понятая суровая фигура великого русского сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

Прежде всего он — народный писатель. В нем ничто не искривлялось и не смягчалось во имя благополучия. Он суров и беспощаден, он не страшится смело взглянуть в лицо социальным противоречиям. Вот отчего, сколь оживленно ни хватали его за фалды представители разных либеральных школ и направлений, он, этот гигант, не влезал ни в одни либеральные ворота. Он был лютым врагом либерализма. Он был истинным демократом, великим мастером социальной сатиры, сатиры беспощадной, глубокой, разящей насмерть. Он боролся, как титан, во имя того, чтобы народу в страстно любимой им России было хорошо, но он не знал, что только рабочему классу дано возглавить долгожданную им народную революцию и довести ее до победы. И мы не осуждаем его за это незнание.

Его сила — в сатире, в проникновенном знании сокровенных глубин жизни, в его бесподобном владении русским языком. Его очерки, сатирические рассказы, хроники, статьи, романы и пьесы — одно громадное полотно, в котором правдиво отражен процесс разложения дворянско-крепостнического общества и начало русского капитализма. Но мы никак не можем рассматривать это прошлое России и сатиру Салтыкова-Щедрина как нечто музейное, отошедшее. Европейский капитализм в наши дни и процесс разложения буржуазного общества, вся глубина противоречий, подошедших к грани мировой войны, где фашизм уже ставит себе целью истребление рабочего класса, кровавый всемирный потоп — это действительность наших дней. И она находит отклик в сатире Салтыкова-Щедрина. Его сатира в основном как бы сделала свое дело у нас и обратила свое жало на капиталистический Запад, где те же социальные процессы, что некогда происходили у нас, но лишь размер их и напряжение их в миллионы раз больше.

Константин Тренев

По условиям своего отрочества и юности мне пришлось поздно знакомиться с литературой.

Лет в восемнадцать я очень увлекался Писаревым. У него же я впервые встретил имя Щедрина, как известно, с весьма отрицательной аттестацией. Это было причиной моего игнорирования Щедрина. Уже давно Писарев — хулитель Пушкина был отвергнут мною, я проходил уже высшую школу, а Щедрина читал очень мало. И это несмотря на то, что в то время Щедрина знали и любили неизмеримо больше, чем теперь. Понятно почему: теперь Щедрин и его герои — история, а тогда он — властитель дум и чувств, выразитель ненависти и презрения к тем самым героям его, которые были «героями» нашей дореволюционной действительности. В школах Щедрин не изучался. Но, может быть, потому-то его так тщательно изучали, с такой любовью и остротой воспринимали вне школы. И так щедро любили цитировать, как, пожалуй, ни одного писателя.

Я, как сказал уже, познакомился со Щедриным полностью сравнительно поздно, но тем сильнее было впечатление от него. В Щедрине меня поражал прежде всего изумительный художник слова, потом уже публицист.

Имел ли Щедрин на меня литературное влияние? Свою литературную деятельность я начал как публицист, очень мало места отводя художественной работе. Писал злободневные фельетоны, очерки, и эта моя работа совпала как раз с увлечением Щедриным.

Естественно отсюда громадное влияние Щедрина не только на склад моего общественного мирозерцания, но и на методы работы.

Позже, когда я перешел к чисто художественной работе, Щедрин уступил место другим влияниям, но это, конечно, не могло вытравить влияния Щедрина.

Как всякий великий художник, Щедрин создал галерею «бессмертных» типов. Щедринских героев в нашей действительности лопатой не перевернешь. Нужды нет, что они перекрашиваются в советский цвет. Они давно ждут советских сатириков с надлежащей широтой и глубиной охвата.

Само собой разумеется, наша сатира должна воспитываться на величайшем из наших сатириков. Это ее настоящий путь. Но надо сделать так, чтобы путь этот был достаточно широк, чтобы опыты советской сатиры не терпели на своем пути мелочных, мертвящих придилок.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДУБРОВИН

★

«ТРЕБУЕТСЯ НОВАЯ СИЛА И СМЕЛОСТЬ...»

Заметки о типическом в нашем искусстве

Современное изучение проблем художественного метода советского искусства, во многом чрезвычайно плодотворное, в какой-то мере напоминает, если несколько схематизировать картину, работу двух бригад проходчиков, с разных сторон пробивающихся в высокой горе тоннель и успешно продвигающихся навстречу друг другу. Один из таких сближающихся путей — осмысление идейного единства социалистического реализма. Другой — характеристика его творческого многообразия.

Кажется, вот-вот две встречные линии, прокладываемые в толще исследуемого материала, сомкнутся. Направление движения «близко к расчетному» и еще больше уточняется. Когда находишься по одну сторону, то слышно, как ведутся работы с другой. Обе «бригады» действуют с единой целью и как бы по общему плану, мало того — часто одни и те же люди с большой отдачей трудятся то в одной, то в другой из них.

И все-таки полное, органичное соединение происходит не сразу.

С одной стороны, разрабатывается вопрос об общих принципах нашего искусства, о его исходных позициях. С другой стороны, все больше расширяются представления о его конкретных художественных возможностях.

Всякая проходка требует точности и умения, чтобы не осыпалась порода, не просочились грунтовые воды. Есть свои сложности и в путях научной «проходки», связанной с исследованием единства и многообразия у нас в искусстве. Если забыть о таких сложностях, единство начнет смахивать на унификацию, а многообразие — на неразборчивость.

Отстаивая общность самых коренных

идейно-нравственных устремлений художников, нужно в то же время хорошо помнить об опасности той узкой регламентации, что предписывает сверяться в искусстве со сковывающим инициативу реестром догматических нормативов, доктрин, канонов.

Говоря же о широте творческих исканий, следует не упускать из виду, что широтой иной раз именуется расплывчатость, отсутствие определенности. А такая определенность нужна: не только в общемировоззренческом, но и в собственно эстетическом отношении «искусство социалистического реализма имеет свои берега, в пределах которых надо изучать стили, художественные формы, творческий метод. Вне этих берегов метод перестает быть тем качественно новым типом реализма, который с полным основанием можно характеризовать как реализм социалистического, коммунистического искусства»¹. Не железные обручи, не препоны, не шоры, не давящие стены, но берега. Без них самая быстрая река затормозила бы свой бег, самая глубокая обмелела бы.

Расширение представлений о палитре социалистического реализма нельзя не приветствовать.

Однако неизбежен вопрос: каковы перспективы этого расширения? Или важно лишь одно-единственное требование: пусть искусство будет правдивым? Но ведь в правдивости нельзя отказать и творчеству великих художников прошлого; выходит, своих собственных эстетических параметров у социалистического реализма вообще нет?

Сторонники мнения, будто берега этого метода столь широки, что совпадают с бе-

¹ А. Егорова. Проблемы эстетики. М. «Советский писатель», 1974, стр. 389.

регами всякого правдивого искусства, вправе спросить: если это не так, то где же тогда они проходят? Ведь нередко бывает так, что как только ответ на это становится более или менее конкретным, он тут же теряет свойства всеобщности и ограничивает эстетические возможности метода нашего искусства лишь опытом какой-то одной ветви художественной мысли.

Однако неизбежно ли это? Опыт показывает, что нет, что существуют такие черты типизации, которые охватывают собою все многоцветие и многоголосие искусства социалистического реализма и в то же время свойственны лишь ему, выделяют его из прочего правдивого искусства.

Какие же это черты? Тут недостаточно говорить о «мировоззренческом единстве» и «богатстве художественных форм». Не пришло ли время попытаться определить, какому эстетическому единству подчинено в искусстве социалистического реализма громадное многообразие форм, стилей, образных решений, индивидуальных манер, художественных школ, творческих почерков?

Один из важнейших аспектов этого вопроса — своеобразие типизации. К сожалению, тема типического в искусстве как-то отступила в тень в ряде эстетических работ последнего времени.

Как обычно характеризуют художественную типизацию? Приблизительно так.

Во-первых, нельзя, говорят, сводить образы к голому, абстрактному выражению сущности, к одним лишь обнаженным законам; действительность надо рисовать в живых, целостных картинах, где есть не только костяк, но и та ткань, которой он обрастает, не только главное, но и второстепенное, не просто квинтэссенция жизни, а художественный аналог ее реального богатства, включающего в себя как центральное, так и побочное, как глубинное, внутреннее, так и внешнее, как необходимое, так и случайное.

А во-вторых, нельзя при всем том и терять существенное, закономерное в хаосе случайностей, а следует, воспроизводя целое, все-таки открывать и выделять, подчеркивать, высвечивать в нем наиболее важное, закономерное, объективно необходимое.

Причем если второстепенные черты могут быть в типических образах самыми разными (в результате чего общая картина оказывается либо правдоподобной, «как в

жизни», либо явно рожденной воображением, подчеркнуто условной), то необходимое, существенное в обоих случаях обязательно передается верно, адекватно реальности, иначе это уже не будет художественной правдой, не будет реалистичностью типизации.

Правильно ли такое объяснение? В общем, более или менее правильно.

Но все эти положения приложимы и к реализму досоциалистическому.

К реализму в целом относится и знаменитая формула Ф. Энгельса из его письма к М. Гаркнесс, гласящая, что правдивости деталей еще мало для должной реалистичности, что, поскольку речь идет о характерах и обстоятельствах, «достаточно типичны» должны быть не только характеры, но и те обстоятельства, «которые их окружают и заставляют действовать»².

На это замечание ссылаются часто. Хотелось бы, говоря о типизации, сослаться и на другую мысль Ф. Энгельса, правда высказанную не в связи с литературно-эстетическими вопросами, однако же имеющую, думается, существенное значение и для проблемы типического и для проблемы художественного метода.

Вот эта мысль. «Необходимость и случайность» отнесены Ф. Энгельсом к числу тех «главных противоположностей, которые, если их рассматривать раздельно, превращаются друг в друга. И тогда должны прийти на помощь «основания»³.

По какому «основанию» искусство делит все вокруг на необходимое и случайное? Реализм Толстого — по одному «основанию», реализм Горького — во многом по другому, хотя оба писателя типизируют и тот и другой прозревают необходимое среди множества случайного. Нелепо было бы сводить отличие реализма Толстого от горьковского подхода к художественному освоению жизни только к заблуждениям автора «Войны и мира», считая его, так сказать, «недореалистом» по сравнению с Горьким.

Конечно, на творчество классиков прошлого накладывала отпечаток и историческая ограниченность прежнего искусства, но в этом ли весь вопрос? Не забудем, что главное в Толстом — его потрясающая правдивость, его могучий реализм. Когда мы го-

² «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». М. «Искусство». 1967, т. 1, стр. 6—7.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 20, стр. 531.

ворим, что реализм социалистический явился дальнейшим этапом в художественном процессе, то имеется в виду прежде всего не количественный момент («более реалистичен»), а рождение качественно нового метода.

Между тем мы подчас ограничиваемся такой примерно констатацией: Горький (или другой социалистический реалист) с исторической прозорливостью выделял исторически необходимое из массы случайного... И все. Верно? Верно. Достаточно? Нет.

Да, выделял необходимое. Но необходимое для чего, необходимое в каком отношении? Да, видел, что то-то и то-то является всего лишь случайным. Но в каком отношении случайным? Мы как бы не допускаем, что одно и то же может быть и случайным и по-своему необходимым, что все зависит от того или иного «основания», что в этом-то вся соль.

Не отдается ли неволью в таких случаях некоторая дань той метафизике, над которой Ф. Энгельс издевался со всей едкостью и беспощадностью? Он так излагал «аргументы» тех, кто не видит диалектического соотношения двух категорий — случайности и необходимости, тех, кто, запутавшись, недоумевает: «Как возможно, что обе они тождественны, что случайное необходимо, а необходимое точно так же случайно?.. Какая-нибудь вещь, какое-нибудь отношение, какой-нибудь процесс либо случайны, либо необходимы, но не могут быть и тем и другим. Таким образом, то и другое существует в природе бок о бок; природа содержит в себе всякого рода предметы и процессы, из которых одни случайны, другие необходимы, причем все дело только в том, чтобы не смешивать между собой эти два сорта»⁴.

Этой-то плоской, однобокой логике, высмеянной Ф. Энгельсом, и противостоит диалектика, говорящая: одно является объективно необходимым, важным, существенным в одной связи, другое — в другой.

Даже обычная житейская практика каждодневно подтверждает это.

Когда Анатолия Карпова спросили, как он относится к Роберту Фишеру, он, если память мне не изменяет, ответил так: «Как шахматиста я его уважаю».

Как шахматиста! Это существенно в определенном отношении. А в другом отношении существенны, скажем, экстравагант-

ные черты характера, не связанные прямо с пристрастием именно к шахматам. А в третьем отношении существенны идеалы человека, его принципы, круг его духовных запросов, общественная позиция или отсутствие таковой...

Словом, существуют разные ракурсы, разные разрезы, разные «основания» для выделения существенного.

Это касается не только людей, но и обстоятельств, событий, предметов, любых конкретных явлений. По К. Марксу, «конкретное потому конкретно, что оно есть синтез многих определений, следовательно, единство многообразного»⁵.

Типизирующий художественный образ синтетичен, но он не повторяет механически существующей в жизни целостности, охватываемой «синтезом многих определений». Из свойств, к которым относятся эти определения, выбираются лишь некоторые, причем они группируются и синтезируются по-новому, с тем чтобы эмоционально впечатляющими и оставляющими след в душе человека оказались те из них, которые существеннее всего в нужном художнику отношении. В каком же? Это как раз и зависит во многом от творческого метода.

Искусство социалистического реализма в основу такого отбора и акцентировки кладет принцип коммунистической партийности. Приняв во внимание ту диалектику необходимого и случайного, существенного и несущественного, о которой только что было сказано, легче станет уяснить, как партийность определяет сам эстетический механизм типизации, организуя весь образный строй произведений.

Что в произведении, проникнутом марксистско-ленинской партийностью, становится художественным центром тяжести, «костяком», стержневым началом, несущей конструкцией, а что — той тканью, которой этот костяк обрастает? Здесь недостаточно, как мы видели, деления на главное и второстепенное, более важное и менее важное, необходимое и случайное; поскольку само это деление может производиться по разным, хотя и одинаково истинным «основаниям», о которых говорил Ф. Энгельс, то первостепенное значение обретает выбор, таких «оснований».

Это не прагматический подход к правде (дескать, давайте именовать правдивым то, что выгодно). «Правда,— писал В. И. Ле-

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 20, стр. 532—533.

⁵ Там же, т. 12, стр. 727.

нин,— не должна зависеть от того, кому она должна служить»⁶. Это справедливо и по отношению к правде художественной.

Другое дело, что искусству, как и науке, истинное знание о мире не дается в руки сразу, целиком, в абсолютном и всеобъемлющем своем выражении, а складывается из открытий относительных, частных, конкретных. На какие же объекты нацелить художнику прожектор правды в первую очередь? Как расположить и направить этот прожектор, как именно ляжет свет, какие стороны постигаемой жизни выхватит он прежде всего? В каком ракурсе должны предстать освещаемые предметы? И в одном ли только ракурсе?

Прежде всего социалистический реализм, типизируя, обобщая реальные процессы, призван открывать и подчеркивать не просто существенное и необходимое, а существенное и необходимое в разных отношениях, выделять важное не по одному, а по многим «основаниям», видя существенное богатство жизни. И чем ближе мы к коммунизму, тем с большей полнотой это должно осуществляться. Почему? Наша партийность — коммунистическая, а коммунизм предполагает, как известно, универсальное развитие человека и общества, все больше познающего и использующего возможность природы в бесчисленном разнообразии ее проявлений. Это первое.

И второе: когда говорится, что должно уделяться внимание этому многообразию существенного, то отнюдь не имеется в виду, что надлежит всему уделять одинаковое внимание. Коммунизм — цель, а путь к нему связан прежде всего с политическим курсом партии нового типа, ведущей за собой рабочий класс, трудящиеся массы. Поэтому социалистический реализм особое внимание уделяет необходимому и существенному в определенном отношении — в отношении той научно обоснованной и подтверждаемой практикой политической линии, которая выражает коренные интересы народа и объективные тенденции, закономерности самой истории.

Итак, множественность «оснований» для выделения существенного в типических образах — и вместе с тем доминирующее, главное «основание», внутренне связанное с магистральным курсом нашей политики; широта общечеловеческих интересов (определяемая грядущим ориентиром — коммуни-

стическим строем) — и недвусмысленность, конкретность классовых политических позиций в сегодняшней мировой борьбе за этот ориентир.

Эти два момента теснейшим образом связаны между собою, хотя на первый план может выдвигаться то один, то другой из них. Дело в том, что наша политика гораздо органичнее сообщается с другими сферами, не политическими, гораздо больше «прорастает» в иные области деятельности, чем любая другая политика: ведь политическая линия коммунистов, будучи высоким выражением классовой борьбы, ведет к бесклассовому обществу на всей планете, обществу без политики и без борьбы социальных лагерей, и закладывает у нас основы такого общества, кладет все новые кирпичи в его здание.

«Если понимать политику в смысле старом, то можно впасть в большую и тяжелую ошибку. Политика — это борьба между классами, политика — это отношения пролетариата, борющегося за освобождение против всемирной буржуазии. Но в нашей борьбе выделяются две стороны дела...» — подчеркивал В. И. Ленин уже в 1920 году в речи на Всероссийском совещании Политпросветов и пояснял: первая из них — «задача разрушить наследие буржуазного строя, разрушить попытки раздавить Советскую власть, повторяемые всей буржуазией»; вторая же, на которую переносится центр тяжести, — «задача строительства»⁷.

В наши дни задачи строительства — и хозяйственного и культурного, — задачи созидательные, охватывающие и материальную и идеологическую сферы, стали настолько обширны и разнообразны, что переплетение политического и неполитического начал стало еще во много раз теснее.

В числе лучших произведений наших художников много таких, которые отмечены прямым пафосом утверждения внутренней и внешней политики партии и Советского государства. Искусство социалистического реализма — высокая трибуна, подымаясь на которую художник с гордостью ощущает себя «агитатором, горланом-главарем», и это не ограничивает его образный арсенал, а, наоборот, вливает в образы могучую эстетическую силу.

В то же время, именно исходя из целей нашей политики, искусство социалистического реализма не может ограничиваться

⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 446.

⁷ Там же, т. 41, стр. 406.

освоением лишь собственно политической проблематики. Бесконечно богатый мир природы и человеческих отношений, формирующий личность и формируемый ею, жизнь общественная и жизнь частная, круг эпохальных и повседневных интересов и забот — все это социалистический реализм охватывает и типизирует под углом зрения строительства нового мира и воспитания всесторонне развитого нового человека. Актуальностью тех или иных задач такого жизнестроения и определяется в конечном итоге, что и в какой степени сможет становиться в типических образах тем ядром, которое наращивает на себя всю художественную ткань, организует ее. становится ведущим началом в искусстве. Если такая внутренняя соотнесенность решения даже самых, казалось бы, камерных тем с общественными задачами существует, то перед нами не аполитичность, а выполнение социалистическим искусством своих благородных функций.

Все, что здесь было сказано как о многообразии акцентов, так и о главных, преобладающих акцентах, не обязательно должно проявляться в любом произведении, речь шла об искусстве социалистического реализма в целом (хотя иной раз в строении отдельного произведения может как бы повторяться соотношение разных начал в масштабах всей нашей культуры, но это частный случай).

Вообще отдельно взятая картина, стихотворение, соната и т. п. не всегда дает возможность судить о творческом методе во всей полноте. Здесь надо учитывать и состояние всего художественного «хозяйства», частицей которого является произведение, и совокупность субъективных и объективных факторов. Если мы видим, допустим, пейзаж, но не знаем духовного мира автора в целом, то будет слишком смело судить о его партийности (можно лишь судить о том, не противоречит ли произведение партийности, не исключает ли ее): надо учитывать и результат творчества и его побудительные мотивы. Разумеется, и знания одних этих мотивов тоже недостаточно — важно, реализуются ли они и как именно реализуются.

Не следует изолированно рассматривать не только отдельные произведения, но и все творчество того или иного художника. То, что было сказано о принципах выделения существенного, необходимого в процессе типизации в искусстве социалистического

реализма, относится ко всему процессу развития этого искусства, а не обязательно к отдельно взятым его проявлениям. Но, разумеется, это в конечном итоге касается и каждого художника: ставя перед собой творческую цель, отвечающую его индивидуальным способностям и пристрастиям, он одновременно не может не соразмерять личные свои замыслы с тем, что сделано и чего не сделано другими творцами, не может не заботиться о решении общих задач нашей художественной культуры в соотвествии с потребностями общества.

При всем том, повторяю, переплетение политической и неполитической проблематики может происходить и часто происходит не только в масштабах всего нашего искусства, но и на «территории» того или другого отдельно взятого произведения. Постараюсь показать это на одном лишь примере, остановившись на нем подробнее.

Пример этот — кинокартина В. Шукшина «Калина красная». Назвать ее фильмом политическим было бы натяжкой. Это произведение о гуманности и о совести, о честности перед трудовым обществом и перед самим собой, о личности и свободе — не о политических свободах, а о свободе как празднике для сильной и самобытной души. Но в общечеловеческих проблемах, которые ставит В. Шукшин, есть аспекты, которые, если вдуматься, имеют серьезное значение с точки зрения нашей политики. И именно к этим аспектам приковывает внимание образная типизация.

Уже само сопоставление некоторых эпизодов, сама их переключка служат вычленению проблемы свободы и несвободы. И решается она с ясных и твердых гражданских позиций советского художника. Произведение острое, но острием своим оно направлено в защиту доброго трудового общества. В нем нет и тени жалостливой спекуляции на тюремной теме: не кто-то по злой воле лишил людей свободы, а власть по праву ограждает общество от тех, кто поправил его законы. Об этом В. Шукшин говорит со всей ясностью, презрительно и брезгливо показывая воровское болото, которому дал когда-то засосать себя Егор Прокудин, а главное, видя неизбежность драмы героя — поскольку в нем живы человечность и совесть — и того нравственного суда, каким он в конце концов сам себя судит.

Произведение говорит нам: если есть в жизни болевые точки, то не кивай на кого-

то, не вали все на фатальные обстоятельства, на какие-то неодолимые силы. Фильм сделан по-хозяйски и обращен к хозяевам, кузнецам своей свободы и счастья. Будем умелыми, талантливыми хозяевами, призывает он, обращаясь к нашему чувству ответственности за себя и свою судьбу. Мы еще, может быть, и сами не подозреваем, как много в наших руках, стоит поразмыслить над нашими собственными человеческими ресурсами, над богатством, которым мы иногда так неумело распоряжаемся, — вот к каким чувствам взывает эта картина.

Самые первые кадры ее таковы: идет в клубе колонии самодеятельный концерт, на сцене бывшие рецидивисты. Люди, которые сами виноваты в своей неволе, с бесконечной тоскою тянут «Вечерний звон». Впечатление, рожденное и этим угрюмым хором, и одинаковыми тюремными робами, и однообразием стриженных под одну гребенку — точнее, под одну машинку — голов, лишь отменяют мелькающие броские плакаты на стенах, претендующие на духоводъемность, и иронически поданный автором фильма стиль конферанса:

— В группе «бом-бом» участвует тот, у кого заканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним. Прошу!

Казенный дом, казенные слова. И за рамки этих стен рвется мечта о свободе, от которой эти люди сами себя так нелепо отсекали. Мечта о воле, о радости, о празднике — это любимое слово героя фильма Егора Прокудина.

И как же эта мечта о вольной воле осуществляется, когда Егор выходит наконец из заключения? Как распоряжается человек своей свободой?

Есть деньги в кармане, есть и охотники до устройства развлечений более чем сомнительного свойства.

— Я вам устрою! Я поселю здесь разврат и опрокину этот город во мрак и ужас, — разглагольствует Егор и действительно организует, по словам официанта Михалыча, «нечто вроде, ну, такого пикника», но...

— Нет, Михалыч, это не праздник, — вынужден признать Егор. И невесело размышляет: — Слушай, а он вообще-то есть в жизни?.. Праздник-то?

Кажется — ну что за вопрос! Вскоре нам позывают, к примеру, как поют люди в ярких нарядах, как собралась послушать их публика, — чем не праздник?

Дело происходит в совхозном клубе. Опять на сцене хор, теперь радостный. Да

только Егор не очень-то ликует, не захватывает его этот праздник. Да и праздник ли? Тот, о котором мечталось?

— Концерт, что ли?

— Смотр.

— А...

Почему же так иронично у Егора Прокудина это «а...»? Может, он просто не умеет радоваться вместе со всеми, не всегда ценит хорошее вокруг себя? Есть и это. Есть и другое: гложет совесть, гложет боль, что не загладить ничем прежнюю вину, и оттого ему не до радости.

Но только ли оттого? Не напоминают ли, если вдуматься, кричащие краски костюмов на сцене о тех мелькнувших красках плакатов, что в начале фильма не слишком-то бодрили людей? И нет ли во второй сцене самодеятельности под официальной рубрикой «смотри» какой-то очень уж гладкой заученности, отрепетированности? Не маловато ли задорной, смелой импровизации? И голос ведущей — не переключается ли он в какой-то мере с казенным голосом того, первого конферансье? Спели задорную песенку: «Рубить буду комара, рубить буду комара...» Тут бы и разыграться лихо народному празднику, но строгая ведущая неожиданно выдает такой текст:

— Многое изменилось с тех пор, когда русский мужик в союзе с рабочим свергнул власть царя... Народ стал слагать новые песни. Послушайте песню Аедоницкого «Русские края».

Это называется «народ стал слагать!» Так сквозь проходную для фильма тему самодеятельности художественной начинается прорисовываться проблема самодеятельности из двух корней, говорит, если вслушаться в него, о деятельности самостоятельной, инициативной, свободной, связанной с раскрытием личности, а не просто о выполнении каких-то предписанных функций, пусть даже самых правильных. А бывает ведь и профанация самодеятельности, ее втискивание в шаблонные рамки сочиненных кем-то сценариев вроде тех, что помещают в сборничках «В помощь клубному работнику» (или что-то в этом

роде). И если бы дело касалось только концертов и конференсов! Проблема куда серьезнее.

Широчайшая самодеятельность — это о ней, предсказывая неизбежность пролетарской революции и победы коммунистических отношений, писали К. Маркс и Ф. Энгельс: «Только на этой ступени самодеятельность совпадает с материальной жизнью, что соответствует развитию индивидов в целостных индивидов и устранению всякой стихийности. Точно так же соответствуют друг другу превращение труда в самодеятельность и превращение прежнего вынужденного общения в такое общение, в котором участвуют индивиды как таковые»⁸.

Вопрос о самодеятельности напрямую связан, таким образом, с целостным развитием индивидуальности каждого в общении людей, объединенных совместным свободным трудом.

У Егора Прокудина задатки незаурядной индивидуальности богатейшие, но развиваться они могут по-настоящему не в антиобщественных действиях (которые ему и самому-то осточертели), а в общении с людьми, объединенными добрыми целями и доброй работой. Но это должна быть действительно бьющая ключом самодеятельность, с простором для таланта, без нивелировки, «такое общение, в котором участвуют индивиды как таковые». А им следует сознательно помогать развиваться, недаром К. Маркс и Ф. Энгельс говорят в этой связи об «устранении всякой стихийности».

Опыт социалистической революции, опыт советской жизни многократно подтвердил: расцвет общественной, политической, трудовой самодеятельности связан с организующей ролью партии и государства. И большую помощь в этом деле может оказать и оказывает искусство. В. И. Ленин говорил об «организованной самодеятельности самих заинтересованных широких трудящихся масс»⁹. И он же подчеркивал важность организующей роли советского искусства¹⁰. Помогать партии организовывать, пробуждать, направлять общественную инициативу и самодеятельность с а м и х масс —

вот одна из почетных задач искусства социалистического реализма.

Произведение В. Шукшина объективно подводит к этой проблеме.

Я сознательно употребил осторожное слово «подводит», чтобы перспективы дальнейшего развития художественного процесса не выдавать за готовый итог. Не было бы ничего более противоположаемого имени и памяти Василия Шукшина, чем такая самоуспокоенная остановка.

О чем задумываешься, осмысливая судьбу Егора Прокудина? О том, как драгоценен талант человеческий и как важно его раскрытие для счастья (недаром в народном употреблении «талантливый» и «счастливый» почти синонимы). О том, как тянутся к нему люди и как при его появлении предстает обедненным все, чему такого таланта недостает. О том, как щедро общество, как щедр, доверчивы наши люди по отношению к этому таланту. О том, что вне этого общества, в противопоставлении ему гибнут талант и счастье: бесталанная у Егора судьба, и зовут-то его Горем. Все это — в центре произведения, все — в ядре образов, типизирующих реальность. Но могло в это ядро попасть и другое: мысль о дальнейшем совершенствовании общественных обстоятельств, о том, что хотелось бы видеть в окружающей жизни не только Егору Прокудину, но и нам, и как этого добиться. И, думается, размышления эти не идут вразрез с художническими поисками В. Шукшина, а продолжают их.

Нынешнее широкое обсуждение наследия писателя порой заставляет вспомнить горькие слова Маяковского о тех поклонниках Есенина, что после его кончины понесли «к решеткам памяти» кучу елейных слов, оскорбляющих живую душу его поэзии, враждебной «березкам дохлым», всяческой омертвляющей канонизации. Иные из тех, кто при жизни Шукшина не сумел оценить значения его творчества, теперь готовы забальзамировать с причитаниями чуть ли не каждую его запятую. Меж тем сам он, честнейший писатель-коммунист, относился к своему труду крайне взыскательно, с постоянной самокритичностью, со святым недовольством собою, с мучительно напряженными поисками нового.

«Что собираюсь делать дальше? — отвечал он на вопросы корреспондента «Правды» вскоре после выхода фильма «Калина красная». — Ясное дело, работать. Искать какую-то новую ступеньку. Пока конкрет-

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 3, стр. 68—69.

⁹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 445.

¹⁰ См. «В. И. Ленин о литературе и искусстве». Изд. 4-е, М. «Художественная литература». 1969, стр. 431.

но про ту ступеньку знаю мало. Догадываюсь: надо порвать с собственными пристрастиями... Теперь надо выходить на дорогу более широких размышлений, требуется новая сила и смелость, требуется мужество открывать новую глубину и сложность жизни»¹¹.

Какой же должна быть у нас в искусстве та «новая ступенька», о которой мечтал В. Шукшин и на которую предстоит подняться другим художникам, верным столь дорогому ему принципу неустанного движения вперед? Какие возможности углубления типизации подсказываются принципом коммунистической партийности, если говорить об освещении тех насущных вопросов, к которым обращена «Калина красная»?

Когда фильм только вышел, некоторые зрители говорили, что автор идеализирует режиссера. Нет, преступлений В. Шукшин не прощает, как не прощает их себе и сам герой. Автор говорит — и говорит очень сильно и верно — об ответственности героя за себя и перед собой. Но есть в жизни и другой аспект самосознания и самодеятельности: ответственность твоя за устройство общества, гражданином которого ты являешься. И это может и должно становиться художественной доминантой типических образов, становиться одним из тех «оснований», по которым происходит выделение необходимого, существенного.

В критике подчас недооценивают такой разрез жизненных явлений. О той же «Калине красной», случается, рассуждают так: стал бы Егор честным, благопристойным, как рабочие совхоза, как окружение Любы и ее родителей, — и все было бы прекрасно. Так ли? Опять вспоминается поэтический некролог Есенину, в котором Маяковский давал отповедь подобным благостным рецептам:

Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.

Да, общество влияет на Егора Прокудина. Но разве, в свою очередь, окружению нечего позаимствовать у Егора? Разве он не мог бы внести в их жизнь еще и блеск своего таланта, неуспокоенность самобытной личности? Да и вносит, только стихийно и ненадолго.

¹¹ «Правда», 22 мая 1974 года, стр. 6.

Интересны в этом смысле записи, которые вела на съемках «Калины красной» кинокритик Н. Лордкипанидзе. Снималась сцена, где Егор Прокудин, чтобы как-то защитить себя от недоверчивых и недружелюбных вопросов отца Любы, сам неожиданно переходит в атаку — достаточно наглую, но при этом поражающую остроумием и находчивостью.

«Если представить эпизод в виде схемы, — пишет критик, — получится так: сначала старик встречает Егора как чужого и говорит с ним прописями, банальностями («отработанными», по Шукшину, словами). Егор это понимает и решает поставить старика на место. «Ах, ты так? Ну я тогда тебе покажу, что можно сделать живыми словами. В демагогии я посильней тебя, враз обратаяю».

По-егорову и получается; но старик не в обиде. Наоборот — он игру разгадал и принял. А вместе с ней принял и Егора»¹².

Да и как тут не примешь, если столько изобретательности и юмора в прокудинской агрессивности, в его словах — нахальных, но действительно «живых». Старик не верит, что Егор лишь по недоразумению «получил срок», и тот отвечает:

— Вот тебе бы опером работать, отец. Цены бы тебе не было.

И тут же рождается в лихой его голове неожиданный, ошеломляюще дерзкий ход:

— Колчаку не служил в молодые годы, нет? В контрразведке. Только честно...

Не успел поперхнувшийся старик возразить что-то членораздельное, как Егор вошел в роль:

— Ну, а чего мы так сразу смутились, а? Дальше — больше:

— Ну-ка, в глаза мне. В глаза мне. В трудные годы колоски с колхозных полей воровал?

Обвинения, чтоб совсем уж не добить старика, идут по нисходящей, но прокурорский пафос обвинительной тирады, наоборот, все взвинчивается, и в контрасте этом, и в несопоставимости самих обвинений, и в молниеносных переходах от пассажа к пассажу, и в искусстве находчивого пародиста-импровизатора, не боящегося «кощунственно» задеть «неприкосновенные» понятия, — во всем этом и комизм и удаля, которые зрителя захватывают совершенно.

— На колхозных собраниях часто выступаем? — грозно допрашивает он старика, а потом произносит целую речь: — Ишь как

¹² «Искусство кино», 1974, № 10, стр. 115.

мы славно пристроились жить. Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна, люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения. Люди начинают даже заикаться от напряжения, покрываются морщинами на Крайнем Севере. И вынуждены вставлять себе золотые зубы. А как же? Нужно. Но в это же самое время находятся люди, которые из всех достижений человечества облюбовали себе печку! Вот как! Славно, славно...

Мать Любы простодушно пытается защитить мужа:

— Да он с десяти годов работает, он с малолетства на пашне.

— Реплики потом,— отрезает Егор.

— Он...

— Потом реплики. А то мы все добренькие, когда это не касается наших интересов, нашего, так сказать, кармана.

И тогда старик взрывается:

— Да я стахановец! Вечный! У меня восемнадцать похвальных грамот!

Н. Лордкипанидзе рассказывает, как В. Шукшин репетировал это место с артистом И. Рыжовым, исполняющим роль Любиного отца. Нужно, говорил ему режиссер, «этого трепача осадить». Но как осадить? «Демагогией, как он, вы не сможете, значит — искренней обидой, праведным гневом. От этого и интонация должна меняться. От этого и еще оттого, что умный старик разгадал Егора и думает про себя: «Мордует, сволочь», причем думает не без восхищения»¹³.

Восхищение это разделяют и автор и зрители.

Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.

Отец Любы не умеет «загибать», как Егор. Он не мог бы так «мордовать» другого, он не «трепач», он не способен к демагогии. Все так. И об этом жалеть ни к чему.

Но о чем можно пожалеть, так это о том, что ведь и «осадить трепача» Любин отец тоже не может. И состязаться с ним в той игре, которую он, старик, «разгадал и принял», он не в состоянии. «Живых слов» у него не хватает. Не хватает тех качеств, о которых сам он «думает не без восхищения». И слишком часто не хватает их и другим людям, потому так и притягивает

Егора всякое действительно яркое пятно в жизни вроде той песни, что поет не ради официального «смотра», а просто от полноты души какой-то незнакомый ему гость в доме у Байкаловых.

Вот об этом — о нехватке яркости как о проблеме отнюдь не частной — герои фильма думают мало. Женщина-следователь в отличие от старика умеет отбросить Егора, однако не умеет увидеть в нем тех качеств, которых недостает чересчур многим людям вокруг. Сразу полюбились эти качества чуткой и по-женски мудрой Любе, но она думает о Егоре и о себе, не до других ей сейчас, не до общих проблем, это же понятно.

А проблема касается всего — большая, общественная. И ее заострение могло бы стать одним из центров типических образов. Как добиться, чтобы меньше было в жизни «прописей», чтобы во всем, включая и главные дела, люди проявлялись не менее самостоятельно и ярко, чем Егор Прокудин в своем умении «загибать»? Делать жизнь все более захватывающей — это посложнее, чем заученно петь хором по знаку конферансье, ведущего программу очередного «смотра», какую-нибудь апробированную песню, сочиненную за тебя пусть даже самым что ни на есть знаменитым композитором.

Все отдать такой цели — для этого нужен иной герой, чем Егор Прокудин. А в оценке таких, как Егор, типизация под этим углом зрения может открыть и еще одну уязвимую сторону характера. В той же беседе с корреспондентом «Правды» В. Шукшин объяснял, почему герой его так легко идет на верную гибель: когда Егор понимает, «что никогда уже его больная совесть не заживет», в него «вселяется некое безразличие ко всему, что может отнять у него проклятую им же самим собственную жизнь». Но если поразмыслить, это безразличие к себе оборачивается одновременно безразличием и к судьбе Любы, чье горе после его смерти — мы чувствуем — неизлечимо, и к жизни других людей, в которой талант его был бы так необходим. Егору хотелось праздника. Он был враг будничности, обыденщины, прописей. Но насколько празднична повседнежность — это могло бы зависеть и от него.

Вопрос о будничности и яркости жизни особенно остро встает не в переломные, бурные, кризисные моменты: тогда никто не может пожаловаться на отсутствие драматических событий, на то, что все слишком

¹³ «Искусство кино», 1974, № 10, стр. 115.

тихо и привычно; острые противоречия вырываются в такие годы из глубин на поверхность, захватывая своим водоворотом всех и каждого. Когда же приходит время ровное, стабильное, приносящее известное равновесие, — вот тогда проблема будничного и праздничного нередко становится актуальной.

Сама по себе устойчивость, надежность — великое благо. Мир, покой, уверенность — об этом человечество всегда мечтает и к этому стремится. Но стабильность не то же самое, что статичность. Застой был бы чреват катастрофами, единственно надежная стабильность — динамическая, полная прогрессивных перемен, сильная безостановочным свободным развитием. Социалистическое общество не только самое стабильное, но и самое динамичное. Оно дает все больше объективных предпосылок для того, чтобы и на работе и в быту уничтожить монотонность, стандарт, серость. Но автоматически, само собой это не происходит. Слишком сильна зачастую инерция шаблона, плакатного трафарета, «правильной», «идейно выдержанной», но оттого не менее «утомительной и длинной» — напомню снова стихотворение «Сергею Есенину» — тяготины, той самой, что догматики хотели бы навязать литературе, на что Маяковский язвительно отвечал:

Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!

Коммунизм навсегда покончит с инерцией такой скуки и однообразия, обеспечит каждому возможность быть в чем-то единственным и неповторимым. Путь к этому прокладывается теперь. Развитое социалистическое общество не может в этом отношении лишь уповать на будущее.

В. Шукшин видел несостоятельность «отработанных» штампов, прописей. Прописи нужны ребенку, который учится писать по линейкам, — взрослому, зрелому, грамотному человеку они не нужны. Не нужны они становятся и обществу. Чем более развитым, зрелым является социалистическое общество, тем менее нуждается оно в прописях вроде тех, с которых начал было Любин отец. И тем богаче оно должно быть «живым словом», тем больше сил оно в состоянии уделить тому, чтобы в повседневной жизни, в буднях проявлялась радующая динамичность, смена впечатлений, многокрасочность, враждебная будничной монотонности и благоприятная для творче-

ского, праздничного, разностороннего и оригинального развития каждой индивидуальности в едином организованном коллективе, посвятившем себя свободной, созидательной самодеятельности.

Не случайно, видимо, В. Шукшин на репетиции добивался от исполнителя роли отца Любы, чтобы играл он «умного старика», у которого праведность гнева сочеталась бы с умением разгадать игру Егора и включиться в эту игру. В этом направлении шла эволюция типического образа от сценария к экранному воплощению.

Всякое значительное произведение — ступень в развитии искусства в целом. Что не под силу Любиному отцу, окажется под силу другим героям. Нужны новые образы сознательных жизнестроителей, думающих о яркости жизни конструктивно, полных кипучей, вольной, праздничной энергии и инициативы, столь характерной для дела социалистической революции. Наряду с такими героями, каких мы увидели в «Калине красной», нужны еще и герои, похожие больше на самого Василия Шукшина, чем на Егора Прокудина.

Судьба Егора поучительна. Как личности выделиться, не затеряться, выжить? Расстаться и обжечь других? Этот путь герой «Калины красной» испытал и отверг. Родиться в рубашке? Не всякому дано; счастливчика, удачника, баловня судьбы из Егора не вышло. Ждать, что все рано или поздно выйдет само собой? К сожалению, пока не всегда так выходит, часто нужна для этого особая одаренность, а иногда, если угодно, героизм. Природным даром Егор Прокудин не обижен, этим автор щедро поделился с ним, а вот героизм... Для героического подвига необходима большая цель. Такая цель была у Шукшина, сгоревшего в творчестве, устремленного не просто к самовыявлению, а к тому, чтобы еще светлее было вокруг. У Егора Прокудина нет такой цели.

Прожить жизнь, как Шукшин, — это подвиг.

А по-прокудински погибнуть? Горько, больно за человека, и все-таки не высшее это геройство.

Сделать жизнь
значительно трудней.

Безвременная смерть как-то сблизила в глазах многих людей судьбу Шукшина с судьбой его героя. Но идеал жизни у автора и созданного им персонажа не одинаков. И смерть художника была совсем иной: это

гибель солдата, все отдавшего перестройке мира ради всеобщего вольного и прекрасного трудового братства. Той самой перестройке, что как раз и составляет пафос искусства социалистического реализма.

Я остановился лишь на одном из многочисленных примеров, дающих пищу для размышлений о том, какие грани действительности выступают на первый план в результате художественной типизации. Не все в одинаковой степени интересует художника социалистического реализма, не все он ставит в центр эмоционально-образного исследования, но круг самых разнообразных явлений и закономерностей, которые требуют такого исследования, необычайно обширен. Порой совершенно неожиданные вопросы повседневной жизни и развития человеческой индивидуальности способны под лучом типизации выявлять свое гражданское, государственное значение. Партийность нашего искусства охватывает широкий спектр гуманистических интересов, и, надо полагать, в ходе исторического и художественного процесса все более полно будет раскрываться ее смысл.

Понять единство общечеловеческого и классового в искусстве социалистического реализма (а партийности, как известно, высшее проявление классовости) помогает идейная концепция ленинской статьи «Партийная организация и партийная литература». Напомню, что в ней отнюдь не снимается проблема искусства, выражающего интересы всенародные, общечеловеческие, более того — именно в таком искусстве будущего «социалистического внеклассового общества» В. И. Ленин видит перспективу художественного развития, являющегося частью развития общественно-исторического. Но путь к обществу, где утвердится это искусство, состоит — такова диалектика истории! — в усилении классовой, политической, партийной борьбы за рабочее дело, за дело народное самыми различными способами и средствами, в том числе и средствами литературы. Провидя грядущее бесклассовое искусство, Ленин решительно отрицает возможность искусства надклассового, отрицает мнимую свободу художника буржуазного общества от классовых интересов:

«Свобода буржуазного писателя, худож-

ника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания».

И мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, срываем фальшивые вывески, — не для того, чтобы получить неклассовую литературу и искусство (это будет возможно лишь в социалистическом внеклассовом обществе), а для того, чтобы лицемерно-свободной, а на деле связанной с буржуазией, литературе противопоставить действительно-свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу»¹⁴.

Писатели, художники социалистического общества — наследники и продолжатели традиций той пролетарской литературы, о которой писал В. И. Ленин. Они выражают идеи передового рабочего класса, ставшие у нас господствующими, сплачивающими весь народ. И в мировой идеологической борьбе наша художественная интеллигенция произведениями своими отстаивает позиции марксизма-ленинизма, являющегося знаменем как содружества государств, где рабочий класс возглавил строительство социализма, так и революционного пролетариата других стран, выступающего против капиталистической и любой иной эксплуатации, против всех реакционных классов. В этом смысле наше искусство продолжает быть классовым, проникнутым духом самой революционной политики.

Но дружественные, единые в главных своих устремлениях классы нашего общества ведут такую созидательную работу, в которой уже зримо проступают очертания завтрашнего мироустройства без всяких классовых различий. Работа эта ведется под руководством партии, и коммунистически-партийное искусство не может не участвовать в ней.

Вот эту диалектическую связь классово-политического и всечеловеческого следует иметь в виду при характеристике четкой целенаправленности искусства социалистического реализма и широты его возможностей и задач.

Тех задач, значение которых с особой ответственностью осознается в канун такого этапного события в жизни народа, каким явится XXV съезд ленинской партии.

¹⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 104.

ВИЛЬ БЫКОВ

★

ПО СЛЕДАМ ДЖЕКА ЛОНДОНА

К 100-летию со дня рождения

На его родине

Я в Калифорнии, на родине Джека Лондона. Тревожно и радостно. Ровно пятнадцать лет назад я был здесь — изучал жизнь и творчество этого писателя. На этот раз, продолжая свой путь по Соединенным Штатам, я прибыл в Калифорнийский университет в соответствии с соглашением о научном обмене между нашими странами. Еще в Мэдисоне мне сообщили, что для меня подготовлена комната в университетском городке, в ай-хаузе — международном доме. Ай-хауз — это общежитие для студентов, преимущественно иностранных. Именно в нем жил я и прежде. Но теперь мне отведена не студенческая, а гостевая комната на втором этаже.

Наутро я встал рано. Завтрак в студенческой столовой — за доллар: апельсиновый сок, рисовые хлопья с молоком, яичница, кофе, хлеб с маслом и джемом. Для внешней Америки доллар за завтрак недорого. В обычной закускойной все это стоило бы раза в два дороже.

Иду в Окленд, в город, где провел детство и долгое время жил Джек Лондон. А в Калифорнийском университете, в Беркли, он учился. Недолго, всего один семестр.

Телеграф-авеню начинается от кованых университетских ворот и идет в Окленд, почти до самого залива. В субботу и воскресенье квартал Телеграф-авеню, примыкающий к университету, превращается в пестрый базар. Молодые парни и девушки устраиваются на тротуарах с лотками, на которых выставлены изделия их рук — дамские украшения из ракушек и полудрагоценных камней, ремни и тяжелые пряжки, глиняная посуда, всевозможные изделия молодых умельцев. Раньше ничего подобно-

го не было. В середине дня улица начинает наполняться туристами.

Телеграф-авеню застроена двух-, трех-, четырехэтажными домами. Она мало изменилась за эти годы. Первые два квартала в нижних этажах — магазины, кафе, банки. А далее магазины все реже. Начинаются частные особняки с маленькими двориками и газончиками. Мимо мчатся машины. Я прошагал мила три. Еще столько же осталось. Дома стали реже и реже. Справа почти у горизонта виден Сан-Франциско: высокие светло-серые в дымке зубцы небоскребов на холмах и россыпь зданий у их подножия.

Сразу же за бетонным хай-веем, который уводит потоки машин на мост во Фриско и в Ричмонд, начинается Окленд. Он раскинулся на пологой равнине, плавно ниспадающей в залив. Телеграф-авеню здесь шире. По краям тротуара посажены молодые деревья, некоторые в кадках. Чувствуются крепкие южные запахи кипариса, туи и чего-то еще, похожего на лавр.

Продолжаю свой путь. Церковь святой Троицы, невысокое здание со шпилем, обитое гесом, выкрашенное в бордовый цвет. Оно живописно стоит на зеленом травяном ковре, окаймленном туей, под тенью гигантских вязов. Эта церковь — современница Джека Лондона.

Где-то здесь рядом проживал он в 1904—1905 годах. Тот дом по адресу Телеграф-авеню, № 1216 не сохранился. Жил Лондон также короткое время перед уходом в плавание на «Снарке» неподалеку, на 27-й улице. А в доме 1321 по 22-й авеню, это далеко отсюда, на юго-востоке, ближе к водам залива, был написан Лондоном его первый рассказ «Тайфун у берегов Японии». В Окленде можно было бы насчитать

с десятков домиков, где жил писатель и его семья. Сохранились из них единицы. В прошлый раз с помощью американских друзей мне удалось разыскать три таких домика. Здесь, в Окленде, родился Лондон-писатель, и с этим городом связана судьба многих его героев. Например, где-то на Телеграф-авеню жил и главный герой романа «Мартин Иден». По Телеграф-авеню он провозжал Руфь Морз после их последней встречи, когда она пришла к нему в гостиницу, чтобы признаться в любви. Уставший от борьбы за место в жизни, Мартин уже был психически надломлен, он был накануне конца. Здесь же, на углу 14-й улицы и Бродвея, Мартин встретился с Марией, женщиной, поддержавшей его в трудную минуту.

А в западном Окленде жили Билл и Саксон — герои романа «Лунная долина», там происходила забавовка, кровавое столкновение бастующих со штрейкбрехерами, избивание полицией рабочих — события, с беспощадным реализмом изображенные Джеком Лондоном в романе. Реальной основой при написании этих сцен в десятой главе второй части «Лунной долины» послужили действительные факты.

Посредине центральной площади Окленда, на которую и выходит Телеграф-авеню, высится дуб Джека Лондона. Дуб был посажен почитателями таланта писателя 16 января 1917 года, в годовщину его рождения, на том самом месте, где Джек Лондон когда-то выступал с антикапиталистической речью и был впервые арестован. С тех пор, как я видел этот дуб в последний раз, он заметно подрос, далеко вширь разбросал крепкие ветви. А под ним на зеленой лужайке появилась поросль молодых дубов. Над площадью возвышается величественный Сити-холл — здание муниципалитета. Окленд, в общем грязный и неблагоустроенный город, в центре чист и красив. Невысокие, четырех-пятиэтажные дома, сверкающие красками витрины магазинов и начищенные до блеска двери кафе и кинотеатров. Замечу, кстати, что здесь, как и по всей Америке, отметил я угасающий интерес к кино. За пятнадцать лет в США закрылось немало кинотеатров. В Нью-Йорке, Чикаго, Детройте и тут, в Окленде, я увидел помещения кинотеатров, приспособленные под рестораны и магазины. Некоторые из уцелевших теперь целиком специализируются на порнографических фильмах.

Вот наконец и цель моего путешествия. Виден щит «Площадь Джека Лондона». Основную ее часть занимает платная автостоянка. Напротив, у самой воды, сооруженный на сваях ресторан «Морской волк» и стоянка яхт-клуба; по другую сторону, он остается у меня по левую руку, построен «Джек Лондон инн» («Заезжий двор Д. Лондона» — гостиница). На углу автостоянки в ореоле зелени, глубоко укрытый ее тенью от лучей слепящего солнца, — бюст Джека Лондона.

Все сооружения на площади — это поздние постройки, появившиеся много лет спустя после смерти писателя, главным образом после 1951 года, когда руководящим советом порта Окленда было принято решение назвать этот участок именем выдающегося писателя. Но есть здесь, в дальнем конце площади, постройка, «видевшая» Джека Лондона. Это салун, «первый и последний шанс Хейнолда», — небольшой, похожий на сарай кабачок. Всего два окна и дверь, выходящие на площадь. Домик почти по окна утонул в земле. Ему не менее восьмидесяти лет. Когда-то отсюда начинался мост на остров Аламеда, где размещалась глубоководная сторона оклендского порта. Для моряков это был первый и последний шанс выпить. Завсегдатаями здесь были грузчики, извозчики и вернувшиеся из дальних плаваний «морские волки» — любители рассказывать удивительные истории, в которых неизвестно чего больше — вымысла или правды. Сюда в поисках острого сюжета забредали журналисты и писатели. Любил бывать в салуне и Джек Лондон. Имеется поблизости и еще одно строение, которое, по преданию, знало Джека Лондона. Буквально в нескольких шагах от салуна стоит бревенчатая хижина. Судя по ветхим бревнам, ей тоже не менее восьмидесяти лет. На самом деле это самая молодая постройка на площади. Ей всего лишь четыре года. И с ней связана романтическая история совсем в духе Джека Лондона.

В 1967 году одному из канадских поклонников творчества Лондона, Дику Норту, стало известно, что существует автограф писателя на обломке дерева. Норт принялся за розыски. Он отправился в Доусон, на Аляску. Здесь ему удалось выяснить у старожилов, что последний аляскинский почтальон Джек Маккензи, развозивший почту на собаках вверх по Юкону, давным-давно нашел надпись, сделанную Дже-

ком Лондоном на бревне внутри хижины, что стояла на ручье Гендерсон, и будто бы почтальон вырезал кусок с этой надписью.

Маккензи сообщил Норту, что автограф Лондона он подарил одному из друзей, несколько лет назад умершему. Старый почтальон заверил, что хижина Лондона должна быть цела, так как сделана она была из крепких бревен, правда, в последний раз он ее видел лет двадцать назад.

Норт взял собачью упряжку и устремился на поиски хижины. Ему пришлось пройти на собаках более ста миль, но хижину он все же нашел. Она стояла вблизи участка № 54, на который в Доусоне была сделана заявка Джеком Лондоном.

Вскоре нашелся и автограф Лондона. На кусочке, вырезанном из бревна, написано: «Джек Лондон, рудокоп, автор, 27 января 1898 года». Автограф показали дочери писателя Джоан Лондон, биографу Ирвингу Стоуну и экспертам по почерку. Все они единодушно заявили, что надпись сделана рукой Лондона.

Новая экспедиция подтвердила, что дощечка с надписью Лондона действительно вырезана из бревна хижины.

Хижина Джека Лондона стояла на левом притоке ручья Гендерсон в восьми милях выше устья и в семидесяти пяти милях от Доусона. Внутри нашли сковороду для выпечки лепешек, юконскую печку, банку изпод ружейного масла и лопату.

После поездки экспертов на хижину Лондона стали претендовать две страны: Канада, на территории которой она стояла, и Соединенные Штаты. Было найдено компромиссное решение: соорудить две одинаковые копии, используя в каждой половину оригинального материала. Одна была поставлена в Доусоне, другая на родине писателя.

Я заглядываю внутрь. Две табуретки, стол. Прямо напротив нары, на них брошена меховая шуба. У входа справа печка из листового железа. Возле дрова. На печке стоит кастрюля, сковорода, луженый чайник и горшок. Сзади в печку вмазан котел. Присмотревшись, на полу обнаруживаю кирку, лопату, топор, плетеные лыжи для ходьбы по снегу. На стене висят северные мокасины и капканы. Под потолком — в железном подсвечнике свеча. Вся эта утварь подлинная, она вывезена с Аляски. Устроители стремились воссоздать нехитрый быт золотоискателей Клондайка.

Потомки Джека Лондона

Вечером за мной заехал Барт Эббот, внук Джека Лондона. У Лондона было двое детей — дочери от первого брака. Барт — единственный сын старшей, Джоан. По телефону он сообщил, что будет ждать меня у входа в ай-хауз в 17.00, я узнаю его по седым волосам и крупной фигуре. Спустившись к дверям международного дома, я сразу нашел его у входа: пышная седая шевелюра подчеркивает загар лица. Профиль римского воина, голубые глаза, яркая цветная гавайская рубашка, завязанная на животе. Ему за пятьдесят. Года два назад, попав в аварию, Барт ушел на пенсию, от пенсионной жизни он становится несколько грузным.

Знакомимся. Собственно, заочно мы уже знаем друг друга. Барт звонил мне в Москву, когда умерла его мать, а затем прислал приглашение приехать разобрать архив Джоан Лондон. С его матерью, замечательной женщиной, я встречался во время прошлого визита в США и с той поры до самой ее смерти вел переписку. А после кончины Джоан на мои письма отвечала жена Барта Элен.

— Ну что, сразу узнали? Я же говорил! — смеется Барт.

У него звучный баритон с бархатными глубокими полутонами. Он ведет меня к своей машине — это крохотный темно-красный немецкий «фольксваген» — и везет домой, в дальний край Окленда. Его дом стоит в самом конце ущелья, поросшего лесом и густым кустарником, у подножья крутой Берклийской горы. Точнее, здесь два домика: бунгало повыше Барт уступил сыну Элен от первого брака. А чуть ниже, метрах в пятнадцати, с террасой, нависшей над оврагом, — бунгало Барта и Элен. У Барта пять дочерей. Две от первого брака и три от последнего. Дочери живут отдельно. Самой младшей, Тэрнел, двадцать один год. Средней, Чэни, двадцать три года. Ее мы и застаем у Барта. Первое, что вижу, — голубые глаза и печальный взгляд, правильные красивые черты лица, короткая стрижка, простое серое платье хорошо сидит на стройной фигуре. Пожалуй, она похожа на прабабушку — жену Лондона Бесс, — но и на прадеда тоже. Имя ей дали в память прапрадеда. Чэни училась в Калифорнийском университете, она филолог. Она принимала активное участие в леворадикальном студенческом движении,

в борьбе за мир. Теперь студенческое движение переживает спад. Чэни разочарована результатами, считает, что открытые массовые демонстрации на улицах неэффективны. Молодые люди, говорит Чэни, не знают, что делать, чтобы добиться коренных изменений в системе. Во многих странах мира проходят радикальные преобразования, а в США сдвигов нет. Скорее, по ее мнению, есть признаки возрождения реакции. Разочарованная Чэни вместе со своим другом Джерри собирается покинуть Америку и поселиться в Канаде.

Этот случай эмиграции из США по политическим мотивам далеко не единичен. В период участия Соединенных Штатов во вьетнамской войне только в знак протеста против несправедливой акции правительства из страны, отказавшись от призыва в армию, эмигрировало более 50 тысяч человек. Как свидетельствуют социологические опросы, довольно высокий процент американской молодежи предпочитает Америке жизнь в таких странах, как Канада, Англия, Швеция.

Чэни признается, что с детства ей странно было слушать, когда люди говорили, что она правнучка Джека Лондона. Ей хочется, чтобы о ней судили по ней самой, а не по ее предкам. Она читала рассказы Лондона, повести «Зов предков», «Белый Клык», роман «Межзвездный скиталец», и ей они не очень нравились.

Чтобы прояснить причины сложного отношения потомков к своему прадеду, настало время сообщить некоторые семейные обстоятельства.

Взаимоотношения между Джеком Лондоном и его первой женой Бесс до и после развода складывались конфликтно. Все свое состояние и литературные права Джек Лондон завещал второй жене, Чармиан. А Бесс с детьми имела некоторое время только небольшую ежемесячную сумму. От второго брака у Лондона не было детей. После смерти Чармиан все наследство писателя перешло к его племяннику, Ирвингу Шепарду, сыну сводной сестры Элизы. Ныне И. Шепард владеет обширной фермой и писательскими правами, а потомки писателя не имеют даже достаточно средств на образование своим детям. И этот факт не может не рождать горечи, не накладываться отпечатка на отношение потомков к своему выдающемуся предку.

Но вот в гости к отцу приехала младшая дочь Барта Тэрнел с мужем и сыниш-

кой Рейлп, очаровательным ребенком двух с половиной лет. Праправнук Джека Лондона удивительно активен. Он все время занят какими-то своими важными делами и отвлекается только на вопросы к маме или папе. Своей сосредоточенной деятельностью Рэйли поминутно вызывает восторженные восклицания Барта, который, судя по всему, очень любит внука. Приезжает и Дэрси, старшая сестра. Чернобровая красавица. Ей двадцать шесть, немного она похожа на бабушку, Джоан Лондон. Плавный овал лица. Черные волосы до плеч. Приятный грудной голос. Длинное ситцевое платье. При разговоре с ней я убедился, что это человек глубоко чувствующий.

Тэрнел и Дэрси обе активные участницы антивоенных молодежных демонстраций в Калифорнии. Они унаследовали от своего прадеда интерес к прогрессивным идеям. Несколько лет назад девушки с бригадой «Венсеремос» («Мы победим») были на Кубе, помогали кубинцам убирать урожай. Этот поступок требовал мужества, так как поездка осуществлялась вопреки запрету госдепартамента. Члены бригады встречались с Фиделем Кастро, с представителями революционной молодежи разных стран. Дэрси и Тэрнел вернулись вдохновенные, полные желания бороться за справедливый строй в Америке. «В Бен-Тре,— рассказывает Тэрнел,— я разговаривала с девушкой из Ханоя. Ей было двадцать два года. Мы беседовали о ее и моей семье. Она была очень взволнована и растрогана. Она взяла меня за руку. Мы говорили и все время улыбались. Ее брат тоже был там. Она сказала, что я для нее как сестра и что после того, как в США совершится революция, мы должны приехать в гости во Вьетнам. Я чуть не заплакала». Следует иметь в виду, что встречи американской и вьетнамской молодежи, описанные в дневнике Тэрнел, произошли на кубинской земле в дни ожесточенных сражений во Вьетнаме.

Вся семья Эбботов участвовала в антивоенных демонстрациях в Калифорнии. В частности, в том получившем огласку шествии, которое преградило в Окленде путь поезду с военным снаряжением.

Дэрси — медицинская сестра, ее муж — плотник-строитель. Речь заходит о молодежно-студенческих движениях протеста 60-х годов в США. «Много сил было отдано молодежью,— говорит Дэрси,— борьбе за коренные преобразования в стране. Мы все

ожидали перемен в течение нескольких лет. Но отсутствие реальных сдвигов привело к тому, что теперь молодежь нашего возраста менее активна. Протестующими молодыми людьми было потрачено много энергии, а результаты оказались ничтожны. Перемены в этой стране совершаются слишком медленно... Это все равно что биться головой об стену». «Не видя результатов,— подтверждает мнение сестры Тэрнел,— молодежь пала духом, разочаровалась. Протестующая молодежь не потерпела поражения,— подумав, добавляет она,— но, может быть, наши ожидания были слишком большими». Чэни считает, что некоторые молодые лидеры оказались нестойкими, отошли от движения. Ее друг Джерри, объясняя спад движения, подчеркивает, что не следует забывать и о репрессиях властей, о полицейских провокаторах, засланных в молодежные радикальные организации для их разложения.

Дэрсн активно работает в профсоюзе: «Наш профсоюз еще молодой и слабый, но мы стараемся укрепить его». Чэни берет в руки балалайку — мой сувенир, привезенный Барту,— с любопытством рассматривает, пробует струны. Как сейчас я жалею, что не могу настроить инструмент и сыграть что-нибудь. В беседе участвуют уже все члены семьи. Элен жарит на плите бифштексы. Они уже аппетитно потрескивают. Плита здесь же: дом однокомнатный. Барт вначале помакивает, поскольку речь идет о молодежных проблемах. Он демократичен по отношению к дочерям. В его коротких репликах ум и большой жизненный опыт. Иногда усмешка. Лишь один раз его голубые глаза сверкнули гневом и обидой, когда Дэрсн в ответ на его вмешательство сердито бросила, что желает говорить без подсказок, сама за себя.

Барт считает, что движение протестующей молодежи оказало огромное влияние на население и привело к некоторым изменениям в стране. Он был восхищен решением дочерей поехать на Кубу. И думает, что для таких серьезных разочарований, которые ныне переживают в прошлом активные юноши и девушки, нет оснований. Раньше люди в конгрессе (так он именует конгрессменов) не интересовались, что мы думаем об этой войне. Они готовы были голосовать за новые и новые миллионы. Теперь — шутишь. Стойкости нужно учиться у вьетнамского народа, который

сорок лет боролся за свою свободу и не пал духом, а стоял насмерть. Борьбе посвящают жизнь. Наша семья, говорит он, всегда принимала участие в борьбе, и это свидетельство умственного здоровья. Если ты устал, отойди, отдохни. Но всегда нужно быть преданным идее освобождения человечества. В спокойных, уверенных словах Барта звучат мысли, высказанные семьдесят лет назад его великим дедом. В молодости и позже, в зрелые годы, Барт был горячим борцом. Впервые он был арестован четырнадцать лет за участие в забастовочных пикетах. «Меня спросили, какую религию я исповедую. Никакой, ответила я». Барт смеется. Сейчас, когда я пишу эти строки, я вновь ставлю магнитозапись нашей беседы и слышу, как рокочет красивыми глубокими полутонами его баритон.

Барт обращается к Тэрнел с вопросами о произведениях Джека Лондона. Тэрнел категорически отрицает предположение, будто она с предубеждением относится к творчеству своего предка. Она с интересом читала «Мартина Идена», северные рассказы и могла понять Мартина Идена. «Белый Клык», «Зов предков» она тоже читала. Книги Лондона будоражили ее ум. Он умеет увлечь. Но теперь мало времени и много книг, ее увлекает современность: «Все время что-то происходит». Барт считает, что Лондон великолепно умеет строить сюжет, динамически развертывать ситуацию. Однако, по мнению Барта, его дед не понимал женщин, и роман «Маленькая хозяйка большого дома» он считает подтверждением своей мысли. Я пытаюсь возразить, ссылаясь на факт большой популярности этого романа у молодых женщин. Но для Барта это не аргумент. Он заявляет, что Лондон не принимал всерьез ум женщины, не мог спорить с ней на равных. Именно поэтому у Джека Лондона ничего не получилось с Анной Стрункой, которая требовала равенства. С Чармиан другое дело. Она была партнером в игре, в боксе, верховой езде, но не в интеллектуальном споре. «Я вовсе не осуждаю Джека Лондона за то, что он ушел к ней,— говорит Барт,— он поступил правильно».

Говоря о женских образах Джека Лондона, Барт, возможно неумышленно, объяснял главную причину расторжения первого брака писателя. Дело было не столько в том, что Лондон не понял женщину, когда изображал ее в своих романах, он

не понял особенности ее интеллекта в жизни, он не согласен был признать ее равной мужчине.

Мы сели за стол. Все не уместилось. Джим, Тэрнел и Рэйли устроились рядом на диване. Барт угощал красным калифорнийским вином. Ели бифштексы, салат, вкусно приготовленные по-японски спагетти. Элен рассказывала о поездке Джоан Лондон в 30-х годах в СССР. Джоан привезла оттуда хорошие воспоминания и немало сувениров. Один из сохранившихся — огромное керамическое блюдо — Элен показала мне.

В Лунную долину

На следующий день Барт вез нас в Лунную долину. Его крохотный «фольксваген», кроме меня, вместил также Тэрнел, Джима и Рэйли. Мы выехали в Беркли на хай-вей, миновали Ричмонд и пересекли по мосту пролив, соединяющий Сан-Францисский залив с заливом Сан-Пабло (тут когда-то чуть не утонул Джек Лондон), и вдоль побережья залива Сан-Пабло (он справа), мимо городков и полей с люцерной устремились на север. Но вот, после того как мы пересекли реку Петалула, местность стала холмистой, слева все выше вырастают покрытые травой горы, а потом они начинают проглядывать и справа. Мы въезжаем в легендарную Лунную долину. На карте она, словно полумесяц, простирается с юга на север вдоль реки Сонома, опираясь нижним концом на залив. Географическое ее название — долина Сономы. Это Джек Лондон, узнав, что «сонома» в переводе с одного из индейских наречий означает «луна», возродил поэтичное ее имя.

Здесь простор, легко дышится. Так и хочется предложить Барту остановить машину и погулять по этим полянам, взобраться на манящие свежей травой холмы, чтобы оглядеть эти великолепные дали с городками и фермами, склоны, покрытые виноградниками, присесть на зеленом ковре и просто подумать. Но выходить здесь нельзя. Вдоль дороги идет ограда из колючей проволоки. Вся земля — частные владения. И хотя большая часть ее пустует, на ней нельзя гулять посторонним. Чтобы ни у кого не было на этот счет сомнений, на столбах надписи «прайвэат», что буквально означает «частная собственность». Можно перевести и так — «запрещено».

Интересна история этих мест. Милях в

двадцати пяти отсюда, точно на западе — Тихий океан. Там залив Бодега. Американские историки утверждают, что в 1812 году в заливе высадились русские. Тогда Калифорния считалась испанским владением. И с этого времени русские охотники промышляли на юге вплоть до Сан-Франциско, а на западе доходили до долины Сономы, в которой жили индейцы. Зверя и птицы в этих краях было видимо-невидимо. Русские — их было немного, десятка три, — свободно вели здесь свой промысел вплоть до 1841 года. С тех времен существует на берегу океана форт Росс, и до сих пор здесь одна из рек, впадающих в Тихий океан, носит название Русская река. Первые американцы появились в этих местах лишь в 1830 году. Все новые и новые партии предприимчивых авантюристов прибывали с востока, вытесняли индейцев, а в 1846 году американский отряд блокировал местный гарнизон и, сбросив мексиканский флаг, водрузил в Верхней Калифорнии американский.

Барт уверенно ведет свою машину.

Вот за поворотом дощатый навес, а вдоль дороги, отступая от нее, — изгородь из колея. На них повешены бутылки с янтарной жидкостью. Надписи возвещают, что здесь вы можете выпить натуральный, без примесей, виноградный сок. Скоро мы будем в Глен-Элене, маленьком городке, в котором — впрочем, тогда это была деревушка — летом 1903 и 1904 годов снимал с семьей дачу Джек Лондон, а год спустя неподалеку отсюда он купил участок земли, построил дом, ферму и прожил до конца своих дней.

Надпись на щите сообщает, что мы въезжаем в Глен-Элен. Здесь есть «деревня Джека Лондона». Это старый центр селения. В ней несколько сохранившихся с тех времен построек — двухэтажный, срубленный из бревен старинный магазин, такой же бар, последний уцелевший из одиннадцати, водяная мельница, винный заводик. Отдаленно, пожалуй совсем отдаленно, они могут напомнить декорации, которые видел я в американских вестернах. Но значительно проще, без театральной аффектации. Вы можете записаться здесь провизией, посидеть за столиком, отведать калифорнийского вина, передохнуть от мелькания придорожных столбов и вибрации автомобиля.

Начинается «деревня Джека Лондона» с небольшого строения, на котором вывеска:

«Мир Джека Лондона», — интереснейшее место для поклонников таланта писателя. Перед входом полка со старыми изданиями книг Лондона. Входим. За прилавком милостивая пожилая женщина. Поздоровавшись, начинаем рассматривать литературу на стойках. Последние издания романов и рассказов Лондона. Книги о нем, открытки с портретом писателя. Фотографии Лондона и его родителей, на стенах афиши кинофильмов, снятых по его произведениям (их в США было снято 43). Это музей и магазин одновременно. Хозяйка поглядывает на нас, она хоть и рада, что приехали новые покупатели, но занята с ранее прибывшими молодыми людьми. Барт и Тернел ходят вдоль стеллажей. Здесь есть что посмотреть.

Владелец этого музея Рус Кингман писал мне в Москву, высылал каталоги имеющихся у него книг. Осмотрев литературу и увидев, что хозяйка освободилась, подхожу и вежливо спрашиваю, где директор. «В каком-то смысле, — говорит женщина, — это я». «Вы знаете, кто это пришел к вам?» Женщина явно смущена. Она всматривается туда, где стоит с книгой в руках Барт. Пытается что-то вспомнить. «Правнучка Джека Лондона и его внук», — говорю я. «Ну конечно же, — покраснев, произносит она. — Я чувствую знакомое лицо». Женщина вызывает хозяина Руса Кингмана. Рус и Вини — так зовут хозяйку — муж и жена, они знакомы с моими публикациями в американском журнале «Джек Лондон ньюслеттер». Они вдвоем заправляют «Миром Джека Лондона». Рус с гордостью показывает нам свое хозяйство: первые издания и собрания сочинений Джека Лондона, книги с его автографами, газеты и журналы с первыми публикациями его рассказов. Рус проводит нас в заднее помещение. Оно-то и является музеем. Здесь по фотографиям писателя, его близких и знакомых можно проследить эпизоды жизни Лондона, составить представление о его окружении и о литературном мире того времени. Вот под стеклом газеты с репортажами Джека Лондона о русско-японской войне, которые он прислал в 1904 году из Кореи и Маньчжурии, вот оригиналы его писем, страницы рукописей, портреты знаменитых калифорнийцев — писателей Амброза Бирса, Джоакина Миллера, поэта Джорджа Стерлинга, журналиста Джима Уитейкера. Вот издания на других языках. Но среди них я не вижу ни одного, опубликованного в

Советском Союзе. Очень кстати привез я в подарок Русу Кингману свою монографию, посвященную Лондону, и опубликованный издательством «Прогресс» на английском языке томик повестей «Зов предков» и «Белый Клык». Рус и Вини довольны. Книга сразу же помещается на стенд под стекло.

Рус рассказывает об экспонатах музея. Статуя Джека Лондона. Ее дал ему Барт. Она до конца дней находилась у Джоан. Большой портрет матери писателя Флоры Лондон, очень редкая фотография. Она подарена племянником Лондона Джонни, сыном его сводной сестры Айды. А вот пишущая машинка, на которой начиная с 1904 года печатались все произведения Лондона. Она была с ним во время путешествия на «Снарке» и на «Дириго».

Не без гордости рассказывает Рус о том, что ему удалось достать шкатулку Флоры Лондон с ее брачным свидетельством, личными очками и полицейским знаком отчима писателя Джона. Он носил его, когда работал в полиции. Все это выставлено в музее. Вот на стенде книга по астрономии, написанная отцом писателя Уильямом Чэни. А вот книга Майнера Бруса «Аляска», которую брал с собой Джек Лондон, отправляясь за золотом на Клондайк. «Не эта точно, — добавляет Кингман, — ту он оставил на Аляске, а точно такая же». В ней описано все: и что взять с собой, и как добираться, где найти тес и как соорудить лодку, дана точная картина маршрута, указано, каким способом преодолевать пороги, вплоть до того, какого берега на данном участке реки держаться и с какой стороны огибать остров.

Рус увлеченно рассказывает о том, как разыскал очень редкий экземпляр журнала «Оул» («Сова») за 1897 год с первой публикацией рассказа Лондона «Два золотых бруска». Этот рассказ был напечатан за два с лишним года до новеллы «За тех, кто в пути», которую обычно считают более ранним рассказом Лондона. Мне известна история рассказа. Писатель не знал о его публикации, так как был в это время на Аляске. В 1912 году, отредактировав этот рассказ, он опубликовал его в журнале «Монсли мэгезин» под заглавием «Капитан «Сьюзан Дрю»». Любопытна дальнейшая судьба рассказа. Десять лет спустя, в 1931 году, журнал «Физическая культура» под названием «Груз мака» вновь на-

печатал рассказ, объявив его сенсационным открытием, неопубликованной рукописью, обнаруженной недавно на ранчо Джека Лондона на дне его морского сундука. Рус вручает мне ярко иллюстрированную морскими сценами копию этой публикации. В своей двухтомной «Книге о Джеке Лондоне» Чармиан называет еще одно заглавие этого рассказа — «Смоленый горшок». В Советском Союзе этот рассказ не печатался.

С уважением, я бы сказал даже, с благоговением рассказывает Рус о полученном им письме от Джоан Лондон, в котором она сообщила ему об обнаруженной на Аляске хижине, в которой жил старатель Джек Лондон. Барт говорит, что он советовал Джоан поехать, чтобы осмотреть хижину, и готов был сопровождать ее. Она уже неважно себя чувствовала. «Я думаю, это было бы полезно для ее здоровья». Но поездка не состоялась. Джоан не дожидая до того дня, когда хижина была установлена в Окленде.

За пять лет, с тех пор как он стал интересоваться Джеком Лондоном, Рус Кингман проделал огромную работу. Он подвел нас к своей картотеке, в которой собрана библиография произведений Лондона и литература о нем. Рус считает, что в его картотеке 800 единиц материалов, многие не упомянуты в томе всеобщей библиографии, составленной Вудбриджем, Лондоном и Твини. Рус также собирает фото и ксерокопии всего написанного Лондоном. Это в целях исследований. Он копит материал сразу для нескольких книг. Интересующие его проблемы: биография Лондона, Лондон и его друзья, Лондон и христианство, смерть Джека Лондона.

Мы поговорили о некоторых публикациях, появившихся за последнее время в американских научных журналах. Я сообщил ему о курьезе — солидный журнал «Американский литературный реализм, 1870—1910» (1973, № 1) перепечатал недавно рецензию Джека Лондона на роман Ф. Норриса «Спрут», утверждая, что это малоизвестное и малоизвестное его произведение, поскольку опубликовано оно было в 1901 году. Между тем эта рецензия Лондона печаталась не так уж давно в хорошо известной антологии Ф. Фонера «Джек Лондон — американский бунтарь».

Показав мне свою комнату с полками редких книг, Рус предлагает поработать

здесь и даже пожить дня два или неделю. Я искренне благодарю его за гостеприимство. Конечно, поработать здесь, в Глен-Элене, — это мечта. Но времени нет. Я давно уже пытаюсь продлить свою визу, госдепартамент все тянет с ответом.

По просьбе Барта Рус звонит на ранчо Лондона Ирвингу Шепарду. Тот готов нас принять после трех часов.

И вот малолитражка Барта, резво подпрыгивая на стыках асфальта, забирает в гору, несет нас в мемориальный парк Джека Лондона. Сейчас около двух, а мы хотим еще успеть осмотреть руины «дома Волка», пообедать и пойти на могилу писателя. Все это до визита к Шепарду.

Мемориальный парк, сорок акров земли, — это часть ранчо Джека Лондона, переданная И. Шепардом штату под музей писателя. Он в двух милях от Глен-Элена. Идем к руинам «дома Волка», величественным останкам сгоревшего в 1913 году дома Лондона. Строительство только что было закончено. Хозяин не успел туда даже переехать. Дом трехэтажный. Стены слеплены из огромных валунов и обломков скал, собранных на ранчо. Пустые коробки комнат и гостиной, широкие проемы окон. Посередине сооружения, напоминающего букву «ш», — бассейн. Каминные входы на втором и третьем этажах. Остатки водопроводных труб. Время начинает разъедать эти величественные и трагические руины. Некоторые стены скреплены металлческими скобами. Дом обнесен решеткой. Сделаны проходы для туристов. «Большой дом, — как описывал его проект Джек Лондон, — носил на себе отпечаток испанского стиля... Просторен, но не суров, красив, но не претенциозен... Его длинные горизонтальные линии, прерываемые лишь вертикальными линиями выступов к ним, всегда прямоугольных, придавали ему почти монастырскую простоту; и только ломаная линия крыши оживляла некоторое его однообразие. Эта низкая, словно расплывшаяся постройка не казалась приземистой: множество нагроможденных друг на друга квадратных башен и башенок делали ее в достаточной степени высокой, хотя и не устремленной ввысь».

Когда Джек прискакал, разбухший глубокой ночью, к этому дому, он уже весь был охвачен пламенем.

Тэрнел с Джимом впервые видят руины. Барт объясняет: «Джек был очень госте-

примен. Любой мог приехать сюда и сказать: «Эй, Джек, ты помнишь меня?» «Нет,— отвечал Джек,— не помню, но ты можешь остановиться у меня». Поэтому он и строил такой просторный дом, чтобы всем хватило здесь места и всем было удобно, как друзьям, которых он узнал, так и тем, кого он не узнал». Барт говорит, что где-то в «доме Волка» была спланирована комнатка для хранения рукописей. Предположительно останавливаемся на двух возможных помещениях, сделанных из бетона, одно наверху, другое в нижнем этаже. «Чармиан приглашала меня на ранчо,— говорит Барт.— Мы с женой как-то провели здесь приятный вечер и целый следующий день. Это было году в сорок втором. Она тепло приняла нас. Она была деятельна и всегда занята. Выступала с лекциями, путешествовала».

Мы идем к могиле Джека Лондона. Она в другой стороне парка. Спускаемся в овраг, пересекаем речушку. Кругом лес, но Барт помнит дорогу. Вот она, могила,— обломок скалы, на котором выбито два слова: «Jack London». Теперь она обнесена деревянной оградой. Грустный стоит Барт, задумалась Тэрнел. Джим поднял на руки Рэйли. На лице у Барта сложное выражение. Но это не траур. Скорее, как мне кажется, оно выражает недоумение и чуть-чуть обиду. Дед был большим, но не совсем справедливым к своим потомкам человеком.

Уже четыре. Нам давно пора к Шепарду. Мы снова в машине и через пять минут, взобравшись по склону, подъезжаем к воротам имени Шепарда. Вот знакомый мне камень с бронзовой доской, сообщающий, что это ранчо Джека Лондона. Вот аллея посаженных Лондоном эвкалиптов, поворот и на пригорке дом Шепарда. Кругом ни души. Кажется, что и дом безлюден. На шум мотора нашего «фольксвагена» никто не вышел. Барт стучит в окно. И через минуту появляется Ирвинг Шепард. Ему далеко за семьдесят. Он сухощав. Лицо в морщинах, загорелое. Он улыбается, здоровается и приглашает на террасу. Барт представляет Тэрнел и внука, говорит о здоровье общих знакомых. Шепард припомнил мой прошлый визит пятнадцать лет назад. Время промелькнуло быстро. Даже бутылка «столичной», привезенная тогда мной, еще не допита. Он вынес фотографии, запечатлевшие момент открытия мемориального парка-музея. Высту-

пающую на торжествах Анну Струнскую, друга и соавтора Джека Лондона. Рассказывает о планах кинематографистов начать работу над фильмом из жизни его выдающегося предка. Я преподношу ему свою последнюю книгу о Лондоне и деревянную кружку работы русских мастеров. Шепард советует перевести и напечатать в СССР те новые рассказы, очерки и письма Лондона, которые за последние годы он опубликовал в США, а также роман «Бюро убийств». Говорит, что существует диктофонная запись голоса Джека Лондона. Но она в плохом состоянии и попытки реставрировать ее не дали удовлетворительных результатов. Они с литературоведом Лейбором собираются написать книгу о ранчо Д. Лондона. За двенадцать лет со дня открытия парк-музей посетило уже более миллиона человек. Шепард доволен таким успехом.

Мы вышли из застекленной террасы на улицу. Там душно, а здесь в тени деревьев нет-нет да и повеет ветерком с гор. Барт прилег на траву. Наш водитель утомлен дорогой. С этого пригорка хорошо видно ранчо Джека Лондона — хозяйственные постройки и знаменитый дом писателя с застекленными верандами и кабинетом-пристройкой. В нем начиная с 1906 года написано большинство его вещей. Там он и умер в ноябре 1916 года. Теперь этот дом — в нем живет сын Шепарда — и территория несколько запущены. Большая часть вещей перекочевала оттуда в дом Чармиан, где ныне открыт музей. Библиотека же Джека Лондона и более половины его рукописей проданы в Хайтингтонскую библиотеку, которая находится в городке Сан-Марино под Лос-Анджелесом.

Еще по пути к Шепарду у нас возникла идея искупаться в пруду на ранчо. Барт обращается к хозяину с просьбой разрешить нам это купание. Шепард говорит, что пруд зарос и его надо бы почистить. В ответ на настойчивые просьбы с улыбкой разрешает.

И вот, оживленно переговариваясь, в предвкушении освежающей прохлады мы гурьбой втискиваемся в нашу малолитражку и, петляя по грунтовым дорогам, едем к пруду. Барт пытается найти к нему дорогу по памяти. Мы направляемся в сторону предгорья, заезжаем в лес и пробираемся по лесной дороге. Дважды мне приходится вылезать из машины и оттаскивать упавшие деревья. Барт отъезжает, разгоня-

ет машину. Взревев, она перескакивает через ствол дуба, со скрежетом цепляя днищем за сучья. Я тревожусь за машину. Барт наконец решает: «Нет, это не та дорога». Мы возвращаемся к постройкам фермы, едем к дому Джека Лондона. Я предлагаю спросить дорогу у Шепарда. Барт упрямо не хочет. Мы пыгаемся с ним найти кого-нибудь в доме Лондона. Стучим, кричим, заглядываем в стеклянную дверь и в окна. Ни души. Хотя мы видели, пять минут назад сюда проехал кто-то на тракторе. Ведь вот трактор стоит у ворот. Все же мы возвращаемся к дому Шепарда. Он показывает нам дорогу и предлагает идти к пруду пешком, так как наша букашка может застрять в грязи.

Конечно же, мы поехали не по той дороге. Путь идет в гору. Отсюда еще лучше видно ранчо, дивные округлые холмы, долины и роции. Прямо внизу дом писателя. Дом с длинной верандой и множеством окон; за ним скотный двор, ближе, правее, дом Шепарда. Но руин и дома Чармиан не видно, они дальше, за лесом. Мимо мансанитовых зарослей мы поднимаемся вверх по склону. Джим несет сына на плечах. Поминутно останавливаемся. Зной. Барт отстал. Слева посевай. Справа лес, и деревья все выше. Это секвойи. Среди них сосна, клен, лавр. Мы с Тэрнел впереди. Нам не терпится скорее найти заветный пруд. Вот я вижу впереди высокую бетонную стену. Оттуда потянуло сыростью, запахом воды. Это дамба. Мы кричим «ура», криком подбадривая отставших. Трехметровая (в самом высоком месте) бетонная дамба, воздвигнутая Джеком Лондоном почти семьдесят лет назад, в прекрасном состоянии. Перегородив узкую долину и русло протекавшего здесь ручья, она создала миниатюрное водохранилище — живописный пруд в лесу.

Мы уже на дамбе и пробуем воду. Вода — восторг. Солнце — все то же благодатное солнце — хорошо прогревает ее. Кроме Барта, из нас никто не бывал здесь раньше. Да и Барт купался тут всего один или два раза. Трогаю ногой воду и бросаюсь первым, за мной Тэрнел и следом Барт. Ох, какая вода после жаркого дня! Полчаса мы барахтаемся в этой дивной воде, не обращая внимания на водоросли и дружный хор лягушек, который, сливаясь со стрекотом цикад, мощно звучит с противоположного края пруда. Царственные вершины сосен образуют широкий круг над

головой, в котором повисли редкие комочки облачков, и в дальнем конце — серая гряда гор.

Тэрнел с Джимом и Рэйли ушли к деревянной хижине, сооруженной справа на берегу. Мы с Бартом то вылезаем на дамбу, то вновь плюхаемся в ласковые воды. Не хочется выходить из этой нежной воды в окружении прекрасной природы — дикой и романтической, немного таинственной и пугающей глубокими тенями глухого леса, безмолвием, безлюдьем, густым хором цикад и лягушек.

Барт что-то напевает, ахает, похохатывает. Он в восторге от купания. Это здорово, что мы приняли такое решение и добрались сюда. Чудесные минуты! Но я вижу, что эти минуты не только радуют Барта, но и печалят. Не может он не чувствовать здесь себя посторонним. Когда он спрашивал у Шепарда разрешение на купание, то сказал, конечно, в шутку: «Надеюсь, ты не будешь в нас стрелять». И в этой шутке мне послышалась горечь. Я заметил, какие при этом были у него глаза.

В этом пруду купался Джек Лондон. Здесь удили рыбу. Сюда он приходил с друзьями, и они ныряли, кажется, вот отсюда. Да, именно тут была закреплена широкая доска — трамплин для ныряльщиков. Я отлично помню это место по фотографии. Там Джек Лондон сидит на этой доске.

Бетонная дамба была гордостью Лондона-строителя, любимым детищем. Джоан Лондон рассказывала в своей книге: когда его нашли утром 22 ноября 1916 года умирающим, то долго и упорно боролись за жизнь писателя. Кто-то из ближних решил, что, возможно, самыми действенными будут тревожные слова о том, что ему особенно дорого, и он крикнул: «Джек, дамбу прорвало!»

Иду к хижине, ее почти не видно с той стороны — она стоит в глубокой тени высоких секвой. Старые, почерневшие от времени бревна. Внутри она перегороджена на кабины. Здесь есть где переодеться и укрыться на случай плохой погоды. Неподалеку сложена печка.

Эти места изобразил Джек Лондон не только в романе «Лунная долина». Именно здесь где-то неподалеку скрывались революционеры в «Железной пяте». Приведу несколько строк из описаний этих мест. Говорит героиня этого романа Эвис Эвер-

гард: «Я пустилась вперед по прогалине, тянувшейся меж двух лесистых холмов и густо заросшей кустарником и диким виноградом. Прогалина вела к обрывистому берегу ручья, который питался родниками и не пересыхал даже в самое знойное лето. Кругом в живописном беспорядке высились такие же лесистые холмы,— казалось, они были разбросаны здесь по прихоти какого-то титана... Поднимаясь на несколько сот футов в высоту, они сплошь состояли из вулканической лавы — знаменитого сономского краснотема».

Живой Джек Лондон

У Джека Лондона было двое детей — две дочери: Джоан и Бесс. С Джоан я встречался в прошлый мой приезд.

Джоан — мать Барта. Теперь он вез меня к своей тете — младшей дочери Джека Лондона. Она живет в Окленде, на Флеминг-стрит. И фамилия ее по мужу Флеминг, Бесс Флеминг. У дочери Джека Лондона седые волосы. Она похожа на отца, особенно в профиль. Несмотря на возраст (ей семьдесят два года), это энергичная, подвижная женщина, говорит она быстро. Я не все успеваю понять. Но со мной надежный спутник — магнитофон. Бесс (Барт называет ее Бекки) поделилась своими воспоминаниями об отце:

«Был в Окленде большой парк развлечений. Когда мы были маленькими, отец нас брал туда с сестрой Джоан. Первое мое воспоминание — это катание на маленьком поезде. Имелся там также небольшой зоопарк, но туда мы никогда не заглядывали. Папа не любил — и мы тоже — смотреть зверей в клетках. В парке был такой аттракцион — вниз-вверх, дух захватывает! После катания Джоан с облегчением сказала: «Ну наконец-то кончилось!» «Тебе не понравилось? Почему?» — спросил отец. «Страшно». «Мои дети ничего не должны бояться». Он купил много билетов, на все деньги, и мы снова начали кататься вверх-вниз. Катались до изнеможения, пока Джоан не сказала: «Ох, теперь я не боюсь». А я полюбила этот аттракцион.

Папа обращался с нами как с равными, — говорит Бесс. — Это было не похоже на обращение других, и нам очень нравилось. Его интересовало, как мы учимся, в какие игры играем, какие книги читаем. Когда мы ходили с ним в театр или ресторан в

Окленде или Сан-Франциско, его узнавали окружающие. Джоан была ближе к матери. Мне мама нередко говорила с упреком: «Если бы я не была беременна тобой, я бы не потеряла отца». Мать была сильной личностью. Мне не хотелось быть учительницей, но мать настояла. Но потом я нашла в себе силы послушаться и стала стенографисткой. По совету адвоката виновницей развода, которого требовал отец, мать объявила Анну Струнскую. Эта неправда оскорбила отца и еще более отдалила родителей. После развода отец писал нам мало. Джоан писала ему под диктовку матери, не понимая, какую, возможно, обиду приносят отцу ее письма. Если бы мама не мешала, отношения между Джеком Лондоном и его дочерьми были бы нормальными. Мы бы чаще виделись, ездили бы к нему и были бы близкими друзьями». «Какая книга отца вам больше нравится?» — спрашиваю я. «Это очень трудно сказать. Мой любимый роман — «Лунная долина». Люблю я «Межзвездного скитальца». Хорош «Морской волк», но «Мятеж на «Эльсиноре» мне нравится больше. Само собой, «Зов предков». Особенно люблю я его рассказы, и больше других — о Калифорнии. «Железную пята» я прочла еще ребенком. Особенно запомнился мне этот роман из-за примечаний. Они придают ему колорит фантастики. Джек Лондон написал много научно-популярных и фантастических произведений: «Межзвездный скиталец», «Любимцы Мидаса», «До Адама», «Сила сильных», «Тень и вспышка». «До Адама», как мне сказал профессор антропологии, — это лучшая научно-популярная книга по антропологии. «Маленькая хозяйка большого дома» тоже фантастична. В ней воплощена мечта отца о преобразовании своего ранчо, об образцовых условиях жизни».

Я интересуюсь судьбой Мэйбл Эплгарт — первой любви Лондона, которую он так впечатляюще изобразил в «Мартине Идене». «Джек Лондон обожал ее, — говорит Бесс, — но они были очень разные. Она рафинированная интеллигентка, англичанка. А он грубый парень, моряк». «Они были из разных классов», — подсказывает Барт. «Отец молодым очень много читал, но плохо говорил, и Мэйбл, с которой его познакомил ее брат, давала ему уроки английского языка и вместе с братом учила правилам хорошего тона. «Мартин Иден» — реалистическая и автобиографическая кни-

га. Мэйбл умерла совсем молодой, где-то около 1914 года от туберкулеза».

Во время войны, говорит Бесс, в Окленде был построен торговый корабль и назван «Джек Лондон». Она присутствовала на церемонии спуска его на воду.

Бесс приносит семейный альбом с фотографиями матери — она была интересной в молодые годы, — отца, Флоры (ее бабушки) и с множеством снимков ее и Джоан. Фотографии, где они маленькие, сделаны отцом. Джек Лондон отмечал каждый шаг своих любимых дочерей. На минуту в комнате воцаряется молчание.

А потом разговор заходит о приближающейся столетней годовщине со дня рождения писателя. Я говорю о большой популярности Джека Лондона в Советском Союзе. Тот факт, что его романы и рассказы переведены на 32 языка народов СССР, вызывает удивление моих собеседников.

Мы фотографируемся с Бесс на крыльце ее дома, тепло прощаемся. Она оживлена, шутит, машет нам с порога, когда «фольксваген» Барта набирает скорость по Флеминг-стрит.

В воскресенье я пригласил семью Эбботов посетить выставку «Советская молодежь», открывшуюся накануне в Сан-Франциско в парке Голден-гейт (Золотые ворота). Барт, Элен и Тэрнел с готовностью откликнулись на мою идею. Дэрси не могла поехать — медицинские сестры района Сан-Францисского залива начали забастовку. Чэни готовилась к отъезду в Канаду.

С неподдельным интересом ходили потопки Джека Лондона по павильону выставки. Барт всматривался в лица советских юношей и девушек на фотографиях, восхищался изделиями их рук — сложными приборами, электроникой, «летающим мотоциклом». «Ты посмотри! Нет, ты посмотри, Элен, что они делают!» — восклицал Барт. Элен, художница по профессии, подолгу простаивала у палехских шкатулок, хрустальных ваз, картин и рисунков. А потом, совершив круг по трем залам выставки, вновь возвращалась к разделу искусства. Узнав, что Тэрнел — это правнучка Джека Лондона, ее взял в плен художник выставки Олег Вишняков. Он усадил Тэрнел в угол, развернул мольберт и принялся рисовать ее портрет. Олег прекрасно говорит по-английски, и у них нашлась общая тема: оба были на Кубе.

Пробыв на выставке более двух часов,

мы возвратились в Окленд. Портрет Тэрнел уже красовался на экспозиции среди пятнадцати портретов других американцев, нарисованных Олегом в других городах США.

Накануне я спрашивал Элен об обстоятельствах кончины Джоан Лондон. Теперь, в машине, она попросила мой блокнот и написала в нем следующее:

«Джоан умерла от рака горла. Она спросила у доктора, сколько она проживет. Она настаивала на точном ответе. Он сказал ей: «Восемь дней». (Ей нужно было теперь это знать, поскольку она уже примирилась с фактом своей неизбежной смерти.) Мы находились в клинике в Мехико. Я полетела с ней в Окленд в госпиталь Кейзера. Там она уговорила доктора пролить ей жизнь дня на два, чтобы она смогла дожить до дня своего рождения, в этот день должна была также появиться в «Сан-Франциско кроникл» рецензия на ее книгу «То и пожнешь», написанную в соавторстве с Генри Андерсоном. В этот же день книга должна была появиться в книжных магазинах. Доктор вынужден был согласиться и сделал трахеотомию. Я рассказываю вам об этом как о примере ее мужества».

А по дороге из Мехико в Окленд она была очень озабочена тем, чтобы «хорошо» выглядеть, поскольку в аэропорту ее должны были встречать внуки. Поэтому она положила на лицо толстый слой крема, напудрилась, покрасила губы, ресницы и брови. Попросила меня повязать ей на голову бархатную черную ленту и выбрала меня, пока я не уложила ее на волосах так, как нужно. Она хотела выглядеть энергичной, оживленно разговаривала, была центром внимания, отказалась от кислородной подушки, которая была ей необходима. Она так вдохновилась, что готова была отказаться и от госпиталя, в котором умерла девять дней спустя».

Это случилось 18 января 1971 года. За три дня до этой даты Джоан минуло семьдесят лет. Элен начертила мне план местности в Йосемитском национальном парке, где в долине у подножия огромного дерева ею захоронен прах дочери Джека Лондона.

«Всю свою сознательную жизнь, — писала в некрологе рабочая газета Калифорнии, — Джоан была борцом за дело трудящихся. В борьбе за экономическую и со-

циальную справедливость она была достойной дочерью своего отца. До конца дней она продолжала сражаться за права сельскохозяйственных рабочих».

Отношение к Джеку Лондону на его родине неоднозначно. В годы «холодной войны» и маккартизма реакционеры третируют и всячески принижали заслуги прогрессивного писателя, симпатии которого всецело были на стороне угнетенных. Буржуазные идеологи до сих пор не могут простить ему социалистических взглядов и призывов к революции.

Однако за последние годы демократические силы одержали верх. Большую роль сыграл и факт широкого международного признания творчества Джека Лондона, появление переводов его произведений в самых отдаленных уголках мира. По данным американских библиографов, которые не полностью учитывают переводы в СССР, книги писателя изданы на 68 языках народов земного шара. Ежегодно повести и романы, отдельные сборники рассказов Лондона выходят в США. Там же недавно опубликованы малоизвестные произведения писателя и ряд новых работ о нем.

В Калифорнии открыто три музея Джека Лондона, началась подготовка к столетней годовщине, которая исполняется в январе этого года.

Оклендская публичная библиотека недавно создала зал-музей Джека Лондона. Сюда привезли меня оклендский старожил, поклонник Лондона Тони Бубка и аспирантка Калифорнийского университета Кэролин Уилсон, работающая над диссертацией «Джек Лондон — социалист». С Оклендской библиотекой — но тогда она размещалась не в этом светлом современном здании, а в крохотном, с узкими окнами, — с Оклендской библиотекой связаны юношеские годы Лондона. Отсюда притаскивал он домой груды книг, которые поглощал ночами. В витринах на стеллажах и на стенах зала Д. Лондона экспонируются его книги, фотографии, рисунки к его произведениям, вырезки, рукописные страницы Лондона. Среди фотографий, рассказывающих о жизни знаменитого калифорнийца, много редких. Вот молодой Джек, еще не писатель, дома за книгой. Вот он снова с книгой на даче в Уэйк-робин-лодж. Вот Лондон на заре литературной деятельности за чтением рукописи. А на этой фотографии писатель за работой в своей ком-

нате в Окленде: стопка бумаги под рукой, книги на конторке, на столике, на полу, а корзина для бумаг у его ног доверху набита скомканными страницами. Джек и Чармиан на яхте «Снарк». Джек на больничной койке после операции аппендицита. И тут он с карандашом и бумагой. Джек и Чармиан в коляске, запряженной парой лошадей. Снимок, по-видимому, сделан на ранчо в Луиной долине. Переодетый бродягой писатель в трущобах Ист-энда английской столицы. Лондон в Маньчжурии.

Под стеклом афиша биографического фильма «Джек Лондон», снятого в 1943 году. В главных ролях Майкл О'Ши, Сюзан Ховард и Вирджиния Майо. Последние две — известные американские актрисы. В другой витрине фотографии домов в Окленде, где жила семья Лондона. А здесь книги писателя, изданные за рубежом. Среди них одна, опубликованная в Советском Союзе. Демонстрирует экспозицию инициатор создания зала Лондона, ныне его директор Лаура Дюмонт. Она гордится своим детищем и обеспокоена сокращением фондов: дают о себе знать экономические трудности в стране. Лаура Дюмонт сердечно благодарит за преподнесенные в подарок мои книги о Джеке Лондоне. Дьявольские искорки забегали в глазах миссис Дюмонт, когда она подвела нас к кинопроектору и, взглянув на меня, сказала: «А сейчас я покажу вам недавно разысканную документальную ленту, снятую на ранчо Джека Лондона».

Это действительно была сенсация. Всего три минуты, но — живой Джек Лондон в ноябре 1916 года. Вот он подсаживает Чармиан на коня, и конь несет ее вскачь. Он сам на телеге, запряженной двумя красавцами тягачами, везет сено. Вот он улыбающийся с поросятами на руках. Они вырываются, а он с хохотом прижимает их к груди. Лондон гордился своим хозяйством. В следующем кадре он чистит скакуна, ласково поглаживает его по шее. Вот его кабинет, где он работает. Джек Лондон оживлен, у него хорошее настроение, но выглядит он нездоровым, лицо кажется отекающим. Титры говорят, что кинооператор делал съемки за три дня до смерти писателя. Навсегда остаются в памяти последние кадры. Джек Лондон крупным планом в белой рубашке, при галстукe что-то говорит с экрана, смеется, машет рукой,

потом сдергивает с головы свою широкополую шляпу и ею машет нам.

Лаура Дюмонт, прищурившись, смотрит на нас. Она довольна произведенным впечатлением. Я прошу пустить пленку еще раз. С нетерпением переживаю, когда солдаты промаршируют по какому-то европейскому городу (документальные кадры первой мировой войны), потом идут сцены футбольной игры. И вот... титры: «Глен-Эллен, Калифорния. Джек Лондон — всемирно известный путешественник и писатель умер. Снято нашим кинооператором за три дня до смерти».

О существовании этой ленты ничего не было известно. По словам Лауры Дюмонт, пленку обнаружили совсем недавно. Сохранилась она только потсму, что была похищена, сейчас у нее нет собственника. Да,

миссис Дюмонт согласна предоставить ее мне для съятия копии.

Тарахтя винтом, вертолет несет меня над бухтой. Впереди белые небоскребы Сан-Франциско, за ними в серой дымке Тихий океан. И вот уже виднеется аэропорт, откуда турбореактивный лайнер помчит меня в Лос-Анджелес, а оттуда в Нью-Йорк. Слева остров Аламеда, там тоже жила семья Лондонов, когда он был ребенком, а за ним площадь Джека Лондона. Постройки Окленда убегают вдаль, к обрывистой возвышенности, где-то там домик Бесс и у подножия обрыва бунгало Барта и его семьи — замечательных людей, простых американцев, пытливых, беспокойных и гордых, сохранивших глубоко в сердце заветы своего выдающегося предка.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Финк. Путешествие за край факта.— **Владимир Канторович.** Детопись современности.— **Б. Ростоцкий.** Станиславский и мировой театр.— **А. Зверев.** Где улица корчится безъязыкая...

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Ефимов. Партия — руководитель экономики.— **Л. Смирнов.** Борьба с антисоветским подпольем.— **А. Дружинин.** Мрачный мир.

Литература и искусство

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА КРАЙ ФАКТА

Владимир Жуков. *Бронзовый ангел.* Повесть. «Октябрь», 1975, № 7.

6 апреля 1966 года командир военного самолета капитан Борис Владиславович Капустин со своим штурманом старшим лейтенантом Юрием Николаевичем Яновым пролетали над Берлином. Внезапно остановился мотор, и машина начала катастрофически падать. Расстояние между самолетом и землей стремительно сокращалось, и у летчиков для решения своей судьбы оставались считанные секунды. Можно было спастись — стоило только воспользоваться катапультой. Но тогда брошенная машина гигантским камнем съалилась бы на жилые кварталы, вызвала бы пожар и гибель многих людей. Коммунисты Капустин и Янов не стали такой ценой спасать свою жизнь. Вступив в поединок с неисправной, почти неуправляемой машиной, они сумели дотянуть до небольшого озера Штессензее и только тогда рухнули вниз...

Один из свидетелей их подвига, немец Карин Зендеман, сказал советскому журналисту: «Это очень печальная авария. Но и аварии бывают разные. В одном случае пилоты теряют голову, и им ничего не стоит ради собственного спасения сбросить куда попало водородные бомбы, как это было вблизи Паломареса с американским самолетом. В другом — они идут на верную смерть

ради жизни других». Борис Капустин и Юрий Янов смертью своей, на которую они пошли сознательно и, видимо, без всяких колебаний, спасли десятки, быть может, сотни людей. И сделали они это отнюдь не потому, что были мрачными аскетами, обрекавшими себя на вериги и власяницу. Наоборот, один из их сослуживцев рассказывает:

«Любил капитан Капустин лес, любил собирать грибы, из незатейливых корешков делал сынишке Валерию причудливые фигуры зверей. Постоянно чувствуя себя частицей удивительного мира, в котором живут книги, идут дожди, поднимаются подснежники, искрится вино, он, кажется, просто не мог не поделиться с людьми своей радостью».

Капустину и Янову было по тридцать пять лет.

Курсанту Павлу Шкляруку только двадцать. Через два месяца после трагического эпизода в берлинском небе, он повторил подвиг Капустина и Янова. Местом события были окрестности большого волжского города.

Павел Шклярук, спокойно передав своему инструктору тревожное сообщение: «На втором развороте отказал двигатель», про-

должал полет. Конечно, летчик мог спасти. Земля ему приказала покинуть самолет. Он ответил: «Высота 300 метров. Подойдут заводские корпуса и жилые кварталы. Поэтому катапультироваться не могу. Планирую на реку».

Один и тот же героический поступок, видимо, не случайно дважды повторился весной одного года.

Незадолго до гибели Капустина и Янова люберецкий шофер Михаил Николаевич Митрофанов буквально телом своим затормозил скользивший под откос автобус и спас больше полсотни пассажиров. Его дочери Ирина и Лена растут теперь без отца, но скольких бы детей ждало сиротство, если бы не его мужество! Митрофанов остановил чужой, случайно встреченный автобус, спас опять-таки совершенно чужих ему людей, и решение свое он принял также в считанные секунды. Вряд ли героическое поведение Капустина и Янова, Шклярука и Митрофанова объясняется исключительностью их личных качеств. В этом сказалось проявление социального характера, воспитанного всей нашей действительностью, в том числе и нашей литературой.

Рассказывая о Капустине и Янове работникам искусств, маршал А. А. Гречко спросил: «Разве такие люди не достойны восхищения и самого яркого художественного отображения как пример изумительного героизма для воспитания нашей молодежи?!»

Герои, совершившие подвиг, могут стать героями книг. На их примере будут воспеивать новые героические характеры, точно так же как их самих воспитывали книгами о Данко и Павле Корчагине, об Алексее Маресьеве и молодоговардейцах.

На сложную двустороннюю связь жизни и искусства и хочется еще раз обратить внимание читателя. Тем более что есть для этого новый, вполне достаточный повод: Павел Шклярук обрел свое второе бытие под именем Славки Широкова в повести В. Жукова «Бронзовый ангел».

В прологе этой повести мы узнаем, что памятник Славке стоит посреди города Аринска, и «когда солнце опускается за вокзальную башню с часами, на гипсовое лицо ложатся острые тени, и оно, до этого темное, покрывается бронзовым отсветом. И тогда кажется, что Широков улыбается». На кладбище около этого подмосковного городка «среди старых, заброшенных могил» сохранился и самый доподлинный

«бронзовый ангел», когда-то обычное провинциальное украшение. Но о нем давно забыли, и сам он, словно ощущая свою ненужность, норовит «сорваться наконец с гранитного постамента». Зато Славку Широкова все жители Аринска от пенсионеров до ребятишек почитают как своего истинного ангела-хранителя. Здесь часто вспоминают его последний полет, его мужественную смерть. Вот только «никто из аринцев не знает, каким был Славка». Повесть Владимира Жукова и призвана рассказать об этом.

Такую задачу можно решать по-разному. Не секрет, что нередко еще у нас появляются произведения прямолинейно-иллюстративные, описательные. И как раз в жанре социально-психологического портрета описательность и эмпирика — болезнь весьма распространенная. В Жукову удалось избежать этой опасности — он нашел такое сюжетно-композиционное решение повести, которое позволило ему предложить читателю самому распознать характер Широкова и одновременно задуматься над многими актуальными проблемами нашей общественной жизни.

В момент нашего первого знакомства со Славкой мы смотрим на него глазами другого героя повести — авиационного техника Антона Сухарева. Профессиональная близость позволяет Сухареву с особой пристальностью взглянуть в судьбу и характер Широкова.

В Аринске Сухарев оказался, в общем, неожиданно для себя. Он расстался на несколько дней со своим дальним северным гарнизоном ради того, чтобы походить по московским магазинам, купить себе мотоцикл, а заодно порадовать жену, ожидающую ребенка, столичными подарками.хлопотливое быденное дело, в котором, однако, раскрываются вполне симпатичные черточки его характера — заботливость, житейская непрактичность, преданность семье, душевная открытость.

В облике Антона В. Жуков подчеркивает его обычность. Больше того, для характеристики Антона могло бы подойти и менее безобидное слово — заурядность. В этом видится мне смелость художника, стремящегося выявить нравственную красоту в ее быденных, внешне неброских проявлениях. Да, в нравственной жизни Антона Сухарева повседневное, «мелочи быта» играют немалую роль. Человек отзывчивый, внимательный к нуждам близких, всегда жаждущий

удовлетворить их желания, он и сам долгие годы лелеет мечту скромную и для авиационного техника очень понятную: хороший мотоцикл. И вот, накопив денег, правда не на новый, а хотя бы на старый, подержанный образец, он отправляется в Москву, надеясь, что там, если понадобится, помогут ему сестра и муж ее Толик, давний обладатель отличной машины. Но в уютной московской квартире его ждет малоприятный сюрприз: Тамара решила разойтись с мужем, отвергла привычные «сухаревские» нормы, исключавшие всякое легкомыслие в вопросах семейной морали. Конечно, есть на свете немало людей, которые, оказавшись в такой ситуации, рассудили бы просто: забот у меня хватает, а свободных, отпускных дней — как пальцев на одной руке, так что переночую я у вас сколько требуется, а свои дела устраивайте по собственному разумению. Но Антон Сухарев стал героем повести именно потому, что ему совершенно чуждо обывательское безразличие, которое все еще кое-кому кажется здравым смыслом. Проведя маелтную, бессонную ночь, Антон утром узнает, что соблазнителем и виновником развода является какой-то кинорежиссер Оболенцев, и немедленно решает: «Вы мне не можете толком пособить, так я вам...»

Кирилл Оболенцев снимает свою новую ленту близ Аринска, и Антон устремляется в маленький подмосковный городок, где и скрещиваются наконец жизненные пути всех трех героев повести — известного режиссера и двух скромных лейтенантов с голубыми петлицами.

Один из центральных эпизодов будущей ленты Оболенцева — гибель летчика. Режиссеру нужно отснять кадры, которые показали бы мастерство и талант современных авиаторов, и командование рекомендовало киногруппе Широкова — «пилотагу особого, с талантом», отличавшегося к тому же «умением мгновенно погрузиться в чужие дела, как в свои».

Антону, случайно встретившему Славика, делового его качеств узнать не пришлось. Он становится свидетелем его частной жизни, выслушивает его страстную исповедь о любви к замужней женщине и мысленно объединяет Оболенцева и Широкова — «субчиков», которых «тянет на готовенькое», всегда готовых «увести чужую жену».

Лишь значительно позже, когда Славик уже погибнет, а спасенные им жители Аринска будут с ужасом смотреть на иско-

реженные куски металла и задыхаться от керосиновой вони, Антон узнает правду. Широков вовсе не был гарнизонным ловеласом, а любимая им Светлана в трудные и мучительные дни своего семейного разлада опиралась на его бескорыстную поддержку, даже не подозревая, что движет Широковым личное, мужское чувство.

Вот здесь-то, пожалуй, заурядность Антона и сыграла с ним злую шутку. Он оказался не в состоянии разгадать сложность ситуации, оценить серьезность и глубину переживаний Славы Широкова. Но к чести для Антона, он понял этот жизненный урок. И мы верим, что в нем зреет более чуткий подход к другому человеку, умение вникнуть во всю сложность его переживаний, во все тонкости его особенной жизненной ситуации.

Сухарев серьезно ошибся, поспешив объединить Оболенцева и Широкова. На самом деле они настолько контрастны, что именно их противостояние составляет основной конфликт повести, причем конфликт, построенный необычно. Кинорежиссер и летчик ни разу на всем протяжении сюжета не выступают как противники, нет между ними ни одного столкновения. Писатель идет путем сличения их характеров и поступков, находя многозначительное завершение в финале.

Последний полет Широкова был запечатлен на пленку и вошел в ленту Оболенцева, имевшую большой успех. Среди многочисленных рецензий и восторженных зрительских откликов в почте кинорежиссера оказалось и горькое письмо Антона. Со свойственным ему прямодушием он спрашивал, как мог Оболенцев вставить в картину последние мгновения жизни Славы: «Он ведь серьезно падал, Широков, по-настоящему. Зачем же вы так, а?»

Смерть Широкова подарила кинорежиссеру несколько эффектных кадров, и честный Антон не может понять беззастенчивости Оболенцева, жесткую логику его иждивенчески-безответственного отношения к жизни. Это еще один штрих, отлично найденный Жуковым для прояснения характера Сухарева, а одновременно и для завершения социально-психологического портрета Оболенцева.

Кирилл, пожалуй, самая сложная фигура в повести. Наивному Антону мерещится, что его сестру развращает какой-то безжалостный и легкомысленный прожигатель жизни. А на самом деле Оболенцев — трудолюбив-

вый и способный человек, который и дело любит и работает энергично. Только вот во имя чего работает? У Оболенцева нет ясных, определенных принципов, нет морального стержня — он плывет по течению, подчиняясь воле случайных обстоятельств, он не хочет и не может отстаивать свои идеи и замыслы. Недаром кинооператор, который с ним постоянно трудится, сказал ему однажды: «Старик, ты слишком легко соглашаешься». Таков он и в отношениях с женщинами, когда идет на поводу у очередного мимолетного чувства. И поэтому возникает естественный вопрос: а есть ли они у него, собственные принципы, нравственные нормы, истинная любовь?

Одно рассуждение Оболенцева очень помогает понять истоки его нравственной ущербности. «Действительно, думал Оболенцев, это интересно и впечатляюще — идти в фильме не от разных там переживаний, споров и столкновений персонажей, от любви и нелюбви, а вот от этих костюмов, шлемов и трубок, свисающих с бедра, от стеклянной будки на крыше высотного домика и тонко звенящих антенн, от стоянок, рулежек, КП и бетонных плит взлетной полосы, от самолетов, турбин и радиолокаторов».

Как очевидно, что увлечением технической экзотикой здесь маскируется полное равнодушие к человеку. И, видимо, не случайно Оболенцев так холоден и в своих любовных приключениях. Разве не выявляет он собственной духовной скудости в скептических размышлениях о том, что «время комнатных историй, встреч в полусонных электричках... прошло»? Как можно быть художником, если так вульгарно судишь о человеческих отношениях, которые веками воспринимались как высокие, светлые, радостные, поэтические. Да и восторг перед техникой — это скорее не позиция, а поза, эквилибристика модной фразеологией. Оболенцеву очень хочется, чтобы его считали современным, и все, что он делает, диктуется жадой приспособиться к преходящим сезонным вкусам. Он отнюдь не крупный хищник, а всего лишь приспособленец, но повесть убедительно показывает, как эта «конформность» по своим последствиям бывает не менее опасна, чем обнаженный циничный эгоизм.

Думается, что автор «Бронзового ангела» совершенно прав, привлекая наше внимание к социальному типу беспринципного соглашателя, рассказывая о том, что склонность к компромиссам и конформизм губят

талант. Очень убедительны и финальные страницы, где рассказано о том, как Кирилл приезжал в Аринск, «долго стоял возле памятника в вокзальном скверике, хмурился, уходил и появлялся снова, как будто хотел что-то спросить у Славика Широкова». В Оболенцеве все-таки дремлет художник, и, видимо, превратив чужое горе в эффектные кинокадры, он теперь уже не сумеет уйти от укоров собственной совести.

Однако завершение повести представляется несколько облегченным. Вернувшись из Аринска, Антон обнаруживает, что в доме сестры внезапно наступили «лады». Тамара накануне его возвращения «весь вечер редела и все приговаривала», что любит одного мужа, что лучше его никого нет и не может быть.

Выслушав от счастливого зятя это внезапное сообщение, Антон подумал, что «говорить с Толиком сделалось неинтересно, и он сказал, сплевывая на окурок, гася его: «Ладно, живите».

Значит, понапрасну израсходовал Антон и время и силы. Остался он теперь без мотоцикла, а проку от всех его хлопот вышло маловато. Точнее, и вообще ничего не вышло, потому что «лады» в семейной жизни Тамары наступили без его помощи. Так не слишком ли просто «вылечил» В. Жуков супругов Гушиных от сердечной боли? Не покажутся ли они мелковатыми, приземленными? Есть в финале этой семейной распри определенная житейская достоверность и даже некая поучительность: надо думать о будущем дочери, надо уметь прощать. Но в еще большей степени во имя того же будущего нужно быть способным к духовному росту, нужно уметь извлекать нравственные уроки из общения с другими людьми, из своих и чужих радостей и ошибок.

Да, мы твердо уяснили, что для Антона Славик Широков надолго останется нравственным образцом, что его мерками он будет теперь измерять свое повседневное бытие. А возможен ли духовный и нравственный рост для Оболенцева? Сумеет ли он когда-нибудь понять, что нравственная ущербность — почти неизбежная причина его поражений в искусстве? Избавится ли Тамара от той простоты, что похуже воровства? Поднимется ли она над вульгарной упрощенностью своих взглядов на жизнь и людей? Научится ли она ценить те духовные и нравственные ценности, которые ничем не измерить? В решении этих вопросов В. Жуков мог бы и больше помочь чи-

тателю. Но замечание мое частное. Общий строй повести серьезный, аналитический. Ясно сказав о том, как надо и как не надо жить, В. Жуков предлагает основательно поразмыслить над тем, как же совершается переход от прозы *объединности* к поэзии повседневного подвига, от уродливой эгоистической узости к нравственной красоте Широкова, который был так привлекателен своим участием к другим, был человеком «для всех».

Реальный подвиг Павла Шклярука в повести «Бронзовый ангел» бесконечно осложнился. Он оказался лишь одним из событий

художественного мира, созданного писателем во имя разрешения многих сложных и волнующих проблем нашей общественной и нравственной жизни.

Автора повести «Бронзовый ангел» вдохновляют поиски истины. Поэтому он и оказался так активен в поэтическом преображении известных фактов. И как бы ни были они красноречивы сами по себе, повесть сказала значительно больше.

Л. ФИНК,
доктор филологических наук.

Куйбышев.



ЛЕТОПИСЬ СОВРЕМЕННОСТИ

Шаги-74. Выпуск первый. Ежегодник Союза писателей СССР. Составители первого выпуска В. Богданов, А. Злобин, Е. Лопатина, А. Старков. Главный редактор Ю. Онлянский. М. «Известия». 1975. 352 стр.

Для многочисленного круга читателей, глубоко заинтересованных в художественно-публицистическом осмыслении действительности, выход в свет первого выпуска «Шагов», ежегодника очерка и художественной публицистики, — событие радостное, многообещающее.

Мне приходилось отмечать в печати растущий в последние годы поток читательских писем, адресуемых газетам, журналам, авторам актуальных книг. В нашей писательской почте исключительное место занимают отклики на всевозможные проблемы жизни, затрагиваемые литераторами в их произведениях, читательские письма подчас сами превращаются в публицистические «трактаты». Все это свидетельствует о том, как сильна у читателей потребность в свежем аналитическом слове художника-публициста.

Так называемые думающие читатели, безусловно, с интересом прочтут «Шаги-74». Я имею в виду весь тот слой читателей, вовсе не равнодушных и к прозе и к поэзии, которые тянутся к художественной публицистике, любят и постоянно читают очерки — исследования жизни, эссе, «заметки писателя», мемуарную и документальную литературу. Притом читают эти книги «сотворчески», или, если угодно, «критически», — не для того, чтобы убить время.

Читателю практически невозможно следить за всем потоком публицистики; значит, он рискует пропустить наиболее значитель-

ные и талантливые произведения этого жанра. Тут на помощь ему пришли «Шаги». Просмотрев около ста комплектов газет и журналов, редакторы и составители ежегодника выполнили функцию некой «обогачительной фабрики», произвели отбор всего, как им представлялось, лучшего в публицистической литературе за год-полтора.

Первый же выпуск ежегодника художественной публицистики оказался весьма содержательным и интересным (хотя книжный фонд, даже серия «Писатель и время», выпускаемая «Советской Россией», при этом остался незатронутым). В сборнике мы находим много талантливых очерков, острых, темпераментных размышлений публицистов-художников, оставивших след в читательской памяти, занявших существенное место в литературном процессе. Отражены в сборнике разнообразные стороны жизни нашей страны в годы девятой пятилетки, проблемы, ожидающие разрешения. Писатели-публицисты выступают в нем не в роли информаторов и популяризаторов, а скорее исследователей жизни, активных борцов за социальный прогресс и справедливость. Возможно, все эти очерки, портреты, эссе, нашедшие себе место под одной красочной обложкой «Шагов», производили менее сильное впечатление, когда читались порознь... Теперь избранная художественная публицистика, распределенная по тщательно продуманным разделам ежегодника, воспринимается как единое целое. Литературные тек-

сты публицистов перемежаются с чисто информационными заметками, помещенными в обзорах «Шаги пятилетки», «Литературная хроника», «Из вышедших книг» (наши издательства выпустили 250 публицистических книг за полтора года!).

Не сомневаюсь, что по мере выхода последующих сборников значение ежегодника как летописи современности, как литературных свидетельств об эпохе будет возрастать. Ведь по трем — пяти сборникам мы получим еще большее право судить о действительности, отражаемой художественной публицистикой. Отчетливее выявится поступь общества, «идущего вперед никем еще до него не проторенными дорогами», как сказано в обращении «К читателю». Можно будет следить за тенденциями, которые проявляются в каждом пятилетии или десятилетии, за эволюцией типичных характеров, сменой проблем, волнующих общество, проблем прежде всего нравственных, подхватываемых художниками-публицистами.

Но, конечно, не следует упускать из виду и другое назначение ежегодника. «Шаги» призваны собирать на своих страницах выдающиеся публицистические произведения — те, которые живут не только сегодня, но пополняют ряды долго не меркнущих произведений художественной литературы.

От художественной публицистики я протянул нить прямо к художественной литературе, и в этом нет ни малейшей натяжки. Справедливо сказано в статье Георгия Маркова «Писатель и пятилетка», открывающей ежегодник 1974 года, что публицистичность свойственна самому типу мышления советского писателя. Она органически пронизывает всю нашу литературу, все ее жанры, указывая на активный характер связей советской литературы с жизнью, на непосредственное участие художников в преобразовании страны.

Публицистика идет в этом смысле в первых рядах литературы, которая стремится привлекать сердца читателей прежде всего к деятельным людям. Один из очерков в «Шагах» посвящен Петру Чеканову, человеку с недюжинной волей. Молодой солдат лишился на фронте обеих ног, левого глаза, много лет лежал в госпитале, подвергся десяткам операций... И когда Чеканов говорит: «Я это преодолел, я это перенес...» — становится ясно, что слова его относятся не к госпитальным мукам, а ко всей его жизни, поистине героической. «Там,— пишет Ва-

сий Субботин,— где другие останавливаются, он только начинал. Где другие, кажется, были бессильны что-либо изменить — он смог, он сумел. Оказалось, что после того, что произошло с ним тогда, в том последнем для него бою, в том сорок третьем году, вся его большая и удивительная человеческая биография и судьба была еще впереди...» Петр Чеканов не поддался беде, научился пользоваться протезами (каждый весом восемь килограммов!), стал комбайнером, десятки лет добывается рекордов на уборке урожая у себя в колхозе, а потом еще на полгода выезжает работать на целину. Пионеры из Курска, приглашая Петра Филипповича в гости, заканчивают свое письмо словами: «Очень просим вас, дорогой наш Маресьев, отзовитесь!» А дома у него выросли отлично воспитанные сыновья, и им он доверяет штурвал своего комбайна — это, может быть, самая большая награда за жизненный подвиг, за все то, что он преодолел.

Об остроте и плодотворности нашей публицистики говорит и Константин Симонов в очерке «Люди и дело». «Некоторые наиболее сильные публицистические выступления наших товарищей по работе представляются мне,— пишет Симонов,— как бы лакмусовой бумажкой, которая делает каким-то неловким для нас, литераторов, снабженное всеми внешними атрибутами художественности плетение словес и вышивание гладью...» Сила настоящей публицистики, по мнению Симонова, двойная: она и привлекает внимание к тому, что конкретно названо, и подталкивает к сравнениям, заставляет задуматься над своим делом и своей ответственностью перед обществом. Как пример этому Симонов приводит очерк «Безнаказанность» покойного Георгия Радова — произведение, которое мы, в свою очередь, найдем на страницах ежегодника. Радов привлек наше внимание не только к понятию «наказание», но и к русскому выражению «казнить себя», к наказанию совестью за то, что ты сделал дурно или хотя бы недостаточно хорошо...

Совесть, чувство ответственности — не пустые слова, они вошли в плоть и кровь советского человека. В очерке Симонов рассказывает о двух работниках, лишившихся высоких должностей. Один из них потерял вместе с тем и чувство долга перед обществом; за короткое время он даже внешне изменился, сжался, как игрушка

«уйди-уйди», из которой выпустили воздух. А другой проявил себя иначе, отказался от предложенной ему спокойной и, в общем, почетной работы, попросил дать ему самый отстающий совхоз в республике. Год за годом он работал в этом совхозе не покладая рук. Проводил каналы, сажал сады. Сотни гектаров этих садов зазеленели в безводной и сухой когда-то степи. «Для него,— заключает писатель,— долг был главным, а должность — второстепенным, и он до конца жизни там, в совхозе, оставался человеком на своем месте».

В липецкой газете писатель прочитал о героическом поступке монтажников, которые демонтировали металлическую площадку, установленную на огромной высоте над куполом домы. Рабочие не имели опоры, чтобы поставить ногу, все семнадцать часов они трудились, подвешенные на поясах. Симонов вспоминает, что авиаконструктор О. К. Антонов точно определил героизм как «достижение необходимой обществу цели в условиях, когда все обычные средства для достижения этой цели исчерпаны». Но в данном случае газета и словом не обмолвилась о тех людях, скажем, проектантах или администраторах-строителях, действия которых заставили монтажников идти на героический риск. Писатель утверждает, что любая победа должна быть расследована объективно, чтобы было открыто сказано не только благодаря чему и кому, но и вопреки чему и кому победа была достигнута. Вообще, пишет он, в интересах социалистического строительства публицистика не должна делиться на жанры — «во здравие» и «за упокой». Публицист всегда должен стремиться к справедливому анализу всего хода события.

Образцом такого глубокого и точного расследования событий, отнюдь не лишнего присущей этому автору страстности, служит очерк Анатолия Аграновского «Вишневый сад». В нем рассказано о том, как бригадир Доброжан запугивал мальчишку, попавшегося на краже фруктов из колхозного сада, и как это отразилось на психике ребенка. Очеркист осуждает умонастроение местных работников — они всем скопом вступились за Доброжана, потому что «бригадир полезен» хозяиству и «разбрасываться честными специалистами» невыгодно. Но не только об этом идет речь в очерке. Ко многим важнейшим этическим и организационным обобщениям подвел нас Ан. Аграновский. «Если в корень смотреть,— читаем

мы у писателя,— все беспорядки в вашем саду проистекают оттого, что хозяин в нем один — бригадир. При такой постановке дела в одном (администраторе.— В. К.) развиваются куркульские черты, во всех остальных — черты поденщиков». И еще так размышляет автор, завершая очерк: «Кто спорит, нужен урожай, и дело надо делать, но не любой ценой. Нужны деловые люди, но люди! И благосостояние нам необходимо, да ведь оно не одна сытость. Как ни важно повышать производство продукции на душу населения,— куда важнее для нас производство самой этой души. И будут центнеры, килограммы и рубли, но, бог ты мой, это же вишневый сад!..»

Коснусь еще очерков Ольги Чайковской и Павла Шестакова, в подзаголовке которых встречаешь слово «детектив». Читатели «Литературной газеты», конечно, запомнили этот репортаж о шайке ростовских грабителей, о неслыханной в наше время перестрелке в центре Ростова, повлекшей за собой смерть, ранения, переполох в большом городе. Перечитав в ежегоднике очерк Чайковской, я понял, что только в первую минуту автор увлекает читателя небывало закрученным (самой жизнью) детективным сюжетом. Свое почетное место в ежегоднике очерк заслужил потому, что талантливо, достоверно воспроизвел психологию, нравственную силу тех людей, которые с риском для жизни вступали в единоборство с вооруженными бандитами. Павел Шестаков, присутствовавший на суде, сосредоточился на раскрытии опаснейшей идеологии двух главарей шайки, братьев Толстопятовых, таких «сильных личностей», противопоставлявших себя «невежественному человечеству».

Первый выпуск публицистического ежегодника «Шаги» сложился из сорока пяти произведений. Я коснулся пока малой их части, но выбрал те, в которых проявляются черты, на мой взгляд, характерные именно для художественной публицистики 70-х годов. Она выдвигает на первый план этические (социальные) и психологические (индивидуальные, человеческие) аспекты жизни нашего общества. У одного из авторов сборника так и сказано: «Мы не можем отделить в своем сознании время от человека и не в состоянии понять время иначе, как через человека».

В разделах ежегодника «Портреты и силуэты», «Я и Мы» мне бы хотелось выделить несколько материалов. К наибольшим

у задач я причисляю очерк неординарного, но еще мало знакомого всесоюзному читателю автора Имманта Зиедониса «О Блуме-председателе и других» (по нему создан интересный документальный фильм). Этот председатель придерживается кредо, которое еще никогда не подводило в работе: «...нужно быть строгим, но нельзя быть злопамятным». У председателя Блума целая школа. У каждого из бывших помощников теперь есть хозяйство вдвое большее, чем блумовское, но тот же характер: они загораются, приступая к делу. Интересен и очерк Эдуарда Поляновского «Талант». Он посвящен юной балерине Наде Павловой, но особенно живо автор изображает воспитательницу Нади Л. П. Сахарову, замечательного педагога Пермского хореографического училища. Хорошо написан «очерк нравов» Леонида Кокоулина. Рассказано в нем о строителях, прокладывающих линии электропередач в безлюдной тайге; в подобных условиях спасение — во взаимной вырубке, в истинном рабочем братстве, иначе пропадешь! Нина Ивантер нашла для рассказа о семейном конфликте не совсем обычные слова. Герои ее произведения, даже «отрицательные», вовсе не одноплановые, жизнь, описанная автором, не укладывается в готовый шаблон. Еще хотелось бы отметить теплый, опирающийся на конкретные наблюдения очерк А. Старжева «Воробьиная история» — о добром отношении к птицам, животным, растениям, вообще о добре и зле. Все перечисленные выше произведения (к разделу «Я и Мы» относятся также очерки Чайковской, Аграновского, о которых сказано выше) проникнуты духом гуманности, гражданственности, а это, как я уже говорил, характерная черта публицистики 70-х годов.

Напомню по этому поводу работу социолога А. В. Баранова. Подвергнув так называемому контент-анализу тексты «Известий» за тридцать с лишним лет начиная с 1919 года, ученый установил, что мотивировка, объяснение разносторонней деятельности, личностных поступков людей, о которых писала в разных заметках газета, расширились за три десятилетия в четыре раза; иначе говоря, картина жизни в изображении печати становилась все шире, все реальнее. Опыт «Шагов-74» подтверждает, что процесс этот непрерывно развивается.

Характерно для 70-х годов, что все более общественно значимыми, все более «чело-

вечными» становятся проблемные статьи и эссе публицистов. Кстати, произведения этого типа — писательские размышления — занимают более половины нашего ежегодника. Именно художественная публицистика, а не очерки (если уж разделять эти жанры), формирует наиболее выигрышную часть «Шагов». Меня этот факт, пожалуй, огорчает: все-таки очерк есть «непосредственный» жанр художественной литературы — часто он прямо рассказывает о живых людях, что имеет большое значение, да и представляет он всегда исследование, выполненное художественными средствами. Но и художественная публицистика, «забывающая» очерк, ныне совсем особенная. О чем она? Я опять перечислю несколько лучше других запомнившихся и, следовательно, наиболее удачных и значительных произведений.

Скажем, отличная статья П. Волина «ВАЗ — это стиль!» посвящена актуальнейшей проблеме современности — системе управления хозяйством. Автор опирается на опыт Волжского автозавода, одного из передовых в Европе. Оселок проблемной статьи, вокруг которого располагается материал авторских наблюдений, таков: современное индустриальное предприятие способно создать перспективу продвижения и повышения квалификации молодых людей, хотя до поры до времени они работают на монотонных конвейерных линиях. О той же человеческой проблеме толкует и автор другой статьи, бывший генеральный директор ленинградской станкостроительной фирмы Георгий Кулагин. Этот хозяйственник, давно и плодотворно выступающий вместе с писателями в их дискуссиях, выдвигает как первоочередную — проблему повышения статуса советского рабочего. Далеко не всегда работник на станке и конвейере превращается в ученого или инженера, как любят представлять дело «поспешные оптимисты» в газетах. Между тем у рабочих 70-х годов совсем иная структура личности, чем у массовых их предшественников «до-НТРовского» периода! О новых проблемах надо серьезно думать, находить для них решения, декларациями здесь не обойтись. Виталий Моев в статье «После эксперимента — перед экспериментом» занят тем же кругом «человеческих» вопросов, когда подвергает анализу разные опыты в области управления на Щекинском и других предприятиях. Автор подходит к этим экспериментам с точки зрения психологического эффекта, который несут прогрессивные стимулы труда, отнюдь

не ограничивающиеся материальным поощрением. В серию проблемных статей закономерно врывается острый фельетон Ан. Злобина «Этот младенец Акопян», где мы встречаемся со «специалистом» по вытягиванию отстающих предприятий из прорыва, пользуясь методами, для которых разными статьями Уголовного кодекса зарезервированы наказания, хотя в личном стяжательстве он и неповинен.

Хотелось бы упомянуть еще и другие отличные произведения нашей художественной публицистики, вошедшие в первый выпуск нового ежегодника. Например, убедительный очерк Ивана Васильева «Удельщина» — об одном из опасных пережитков «функционалки» (очерк перепечатан из журнала «Волга»); или оригинальную публицистику Г. Раудвера «И физики вышли на хлебное поле»; или «Грани Армении» Рамиля Хакимова, которые интересно прочитать даже на фоне памятных армянских очерков Ивана Катаева, Василия Гроссмана, Андрея Битова. Блестящий очерк А. Кривицкого «Ужин с миллионером» — один из трех, посвященных «Шагами» международной теме.

В обращении «К читателю» редакция справедливо признает, что оценки отбираемых для сборника очерков не могут не быть субъективными; решения даже весьма авторитетной коллегии необязательно бывают бесспорными. Я и не подумаю оспаривать включение одних конкретных произведений и невключение других в первый сборник. Но хотелось бы заметить, что с любой точки зрения в ежегодник проникли произведения (хотя их и немного), которые никак не могут быть отнесены к самому лучшему, что создала публицистика за полтора года. Нет, это неплохие в конечном счете произведения. Но все же до уровня ежегодника они явно не доросли.

Мне представляется, что в качестве критериев отбора соперничали два принципа. Один — чтобы представить возможно полное все поле деятельности нашей публицистики, все стороны жизни страны, замечательные успехи, связанные с выполнением пятилетнего плана. Другой — показывая разные жанры публицистики, собрать в ежегоднике все лучшее, наиболее значительное и талантливое. Скажем, как пройти в первом же выпуске «Шагов» мимо великой Байкало-Амурской магистрали? Но пока о начинающейся стройке, видимо, не написаны оригинальные, выдающиеся произ-

ведения, а в том, что опубликовано, преобладает информация. В текущей прессе — газете, журнале — такой материал прочтут с интересом. А ежегодник? По-моему, включать в него можно только вполне отстоявшееся, не рядовое по мыслям и исполнению произведение. Ведь «Шаги» не простые сборники, их будут в будущем перечитывать как художественные летописи. В обращении «К читателю» сказано по этому поводу не слишком определенно, что редакторы при составлении сборника старались «не упустить из виду такой немаловажный принцип, как принцип качества, художественной полноценности, добротности сделанного». «Не упустить из виду» — этого, признаюсь, мало, и тут я распознаю причину, почему часть текстов, выбранных для первого выпуска ежегодника, кажется не вполне отвечающей общему высокому уровню сборника.

Свое критическое замечание я отношу в первую очередь к разделу «Портреты и силуэты». По библиографической справке, помещенной в «Шагах», видно, что ежегодно выходят из печати многие десятки сборников, публикующих литературные портреты ударников труда, но далеко не все из этих сборников по качеству исполнения достойны стать предметом внимания широкого читателя. В журнале «Литературное обозрение» (1974, № 7) рабочий-интеллигент Сергей Антонов о таких вот ремесленных зарисовках писал: «Заголовки: «Я — рабочий», «Гордое имя» и т. п. А прочтешь — пустота, однообразие... Убогость мысли!» Не стану утверждать, что подобной оценки заслуживают даже наименее удачные из портретных зарисовок, помещенных в «Шагах», — бог милостив, редакторы постарались! Но некоторые из этих набросков, действительно посредственные, не стоило бы включать в избранную публицистику.

Мне кажется, что в последующих выпусках должны быть шире представлены разновидности художественной публицистики. В частности, ее философско-эстетический и лирический пласт. В 1974 году опубликованы, например, незаурядные произведения: Н. Н. Михайлова («Черствые именины»), Б. Агапова («Воспоминания о Японии. 1945—1946 годы»), эссе Г. Козинцева, Евг. Богата, очерки Александры Горобовой о пустынях и другие; изданы добротные публицистические книги, например в сериях «Писатель и время», «ЖЗЛ». Особый интерес представляют также высказывания рабочи-

интеллигентов, скажем, И. Гудова, В. Ермилова, С. Антонова, А. Солипатрова. И никак не нужно опасаться, что отбор вещей по признакам наибольшей значительности и яркой талантливости помешал бы всестороннему отражению жизни. Напротив, для публицистического ежегодника это самый верный путь, чтобы подвести итоги достижениям девятой пятилетки и привлечь внимание к новым задачам, выдвигаемым жизнью.

Хочу заметить с удовлетворением и даже с известной гордостью, испытываемой публицистом, что тип нового, нужного стране издания найден с первой же попытки. Эта оценка относится как к содержанию, так и к оформлению сборника. Ежегодник худо-

жественной публицистики занял уже определенное место в нашем читательском обиходе. Удачно избран формат для большого тома объемом в сорок пять печатных листов. Создана красочная, спокойная, внушающая доверие графическая обложка, подобраны шрифты, графика. Художники, работая с рисунками, снимками, фотомонтажами, убрали полутона, отчего самое изображение становится лаконичнее, выразительнее.

Словом, мы, читатели, с нетерпением ждем последующих выпусков ежегодника очерка и художественной публицистики — «Шаги» — 1975, 1976 и т. д.

Владимир КАНТОРОВИЧ.



СТАНИСЛАВСКИЙ И МИРОВОЙ ТЕАТР

Н. Н. Сибиряков. Мировое значение Станиславского. М. «Искусство». 1974. 264 стр.

Какое место занимает К. С. Станиславский — основатель Московского Художественного театра, выдающийся режиссер и актер, реформатор сценического искусства, теоретик, педагог — в развитии мировой театральной культуры? Какое воздействие оказал он на современный театр? В чем истоки его влияния? Такие вопросы неизбежно возникают перед каждым, кто задумывается о путях развития театра нашего времени. Вполне закономерно они привлекают и внимание исследователей. Однако в нашей литературе о театре еще не было опыта обобщающего изучения этой проблемы, попытки суммирования уже сделанных наблюдений, их последовательного развития. Пионером в этом важном и трудном деле выступает Н. Н. Сибиряков — автор книги, четко определивший тему уже в самом названии — «Мировое значение Станиславского».

В 1967 году выходила книга Н. Н. Сибирякова «Станиславский и зарубежный театр». Новое исследование представляет собою значительно обогащенное и пополненное продолжение первого опыта. Достоинство книги прежде всего в верной постановке проблемы. Для того чтобы осветить тему мирового значения Станиславского, необходимо было уяснить место Станиславского в русской предреволюционной и советской культуре, его связь с историческими обстоятельствами времени. Именно так и поступает Н. Н. Сибиряков.

Первая часть книги носит подзаголовок «Станиславский и его театральная эпоха». В ней кратко характеризуется сущность художественного метода Станиславского, начавшего деятельность последователем критического реализма, а закончившего великим мастером новой, социалистической культуры. Автор книги не отделяет формирование творчества Станиславского, создание его прославленной «системы» от мировой театральной культуры. Но в то же время вполне обоснованно отстаивает ту точку зрения, что в своей реформаторской деятельности, положившей начало новому этапу в развитии театрального искусства, Станиславский «сознательно и последовательно опирался на передовую русскую театральную культуру, на ее реалистические традиции». Говоря о неразрывной связи Станиславского — художника и теоретика с М. С. Щепкиным, с передовой русской демократической культурой, с идеями русских революционных демократов, автор книги раскрывает истоки его силы воздействия на мировой театр.

Н. Н. Сибиряков выступает против нередко встречающихся в зарубежной литературе по театру попыток представить Станиславского «западноевропейским», оторвать его от богатейшей культуры своего народа, лишить духовного родства с ним.

Важной положительной чертой подхода автора к творческому наследию Станиславского является та полемическая настроен-

ность, которая проявляется особенно наглядно в заключительной, третьей части книги (она называется «Мировое значение учения Станиславского»). Глава «Банкротство критиков системы» целиком посвящена опровержению высказываний буржуазных идеологов западноевропейских и американских, либо напрямую выступающих против «системы Станиславского», против всей совокупности его творческих идей, либо «приспосабливающих» наследие великого реформатора сцены к своему пониманию и, по сути дела, его искажающих. В борьбе мнений вокруг Станиславского автор книги справедливо видит отражение той идейной борьбы, которая идет в современном мире.

На ряде убедительных примеров Н. Н. Сибиряков показывает, что, «ниспровергая» или «адаптируя» на свой лад Станиславского, буржуазные идеологи прибегают к излюбленным ими диверсиям, «одной из форм которых является борьба с передовыми теориями и взглядами в искусстве, формирующими духовный облик людей».

Распространенной вариацией такого рода «приспособлений» Станиславского служит, например, попытка изобразить Станиславского после Октября человеком, жившим якобы «двойственной жизнью». В книге приведены высказывания такого рода, принадлежащие западногерманскому критику Ф. Торну, который не постеснялся написать о Станиславском, что создатель спектакля «Бронепоезд 14-69», «увлеченный символизмом и сюрреализмом», будто бы «не принимал тенденциозной советской драматургии».

Мы знаем, что такого рода несостоятельные попытки приписать самым выдающимся советским художникам «двойную» жизнь, не новость в буржуазном искусствознании и литературоведении. Они принимались по отношению и к Маяковскому и к Мейерхольду. Вполне закономерно, что этой участи не избежал и Станиславский, внесший столь важный, имеющий решающее значение вклад в становление социалистического театра.

Во второй части книги, кстати сказать, самой большой, «На пути к мировому признанию», автор старается показать читателю, как постепенно усиливалось воздействие творческих принципов Станиславского на передовое сценическое искусство за рубежом. При этом Н. Н. Сибиряков стремится рассмотреть тему в последовательно-историческом плане, выделяя два главных этапа — первые зарубежные гастроли Мос-

ковского Художественного театра и гастроли 1922—1924 годов. Автор использовал большой фактический материал, характеризующий суждения и оценки деятелей различных национальных театров, отражающие усиление влияния принципов Станиславского на их собственные искания, на укрепление передовых реалистических тенденций в театральном искусстве их стран.

В одной из глав этого раздела — «Творческое воздействие учения Станиславского на мировое сценическое искусство» — использованы данные, свидетельствующие о влиянии Станиславского на театры ряда стран уже в последнее время. Здесь читатель найдет разделы, посвященные Англии, Финляндии, Скандинавским странам, Италии, Японии, краткие сведения, относящиеся к Индии и Вьетнаму.

И хотя приводимый материал очень интересен, в его отборе сказывается недостаточная систематичность. Совершенно очевидно, что в одной книге невозможно не только исследовать, но даже просто кратко рассказать о сложном влиянии Станиславского на различные театры мира, о проникновении его идей в многообразные национальные театральные культуры. Но в самом отборе фактов читателю хотелось бы видеть четкие критерии. Нам показалось, что такой определенности, точности, свидетельствующей об основном принципе отбора, этим страницам книги недостает.

Например, рассказывая о контактах Станиславского с польскими театральными деятелями, относящихся ко времени до Октябрьской революции и в какой-то мере к 20-м годам, автор не касается вопроса о влиянии наследия Станиславского на театр Польской Народной Республики. Жаль, что Н. Н. Сибиряков не обратил внимания на статью известного польского режиссера и теоретика театра Богдана Коженевского «Посмертная трагедия Станиславского». Эта статья, появившаяся в середине 50-х годов, была важным документом времени. Преодолевая догматические влияния в подходе к творчеству Станиславского, деятели театра вновь обращались к его наследию, открывая в нем новые для себя грани, черпая идеи для творческого движения вперед. Статья польского режиссера была документом, имевшим значение не только для польского театра. Несомненно, обильный ценный материал для анализа могла дать автору книга Ирэны Шиллер «Станиславский и польский театр», посвященная взаимоотношениям Станислав-

ского и театральных деятелей Польши. Но книга только упоминается Н. Н. Сибиряковым. Между тем это вообще первая специальная монография, в которой обстоятельно исследуется проблема контактов между Станиславским и одной из национальных театральных культур Европы.

Важнейшая тема—Станиславский и становление сценического искусства стран социалистического содружества в пору после второй мировой войны—почти не затронута в книге. А жаль! Так, рассказав о значении, которое имела для болгарского театра деятельность продолжателя Станиславского в Болгарии Н. О. Массалитинова, автор ограничивается лишь краткими данными о театре социалистической Болгарии. Приводя в книге (и вполне обоснованно) отклик на гастроли МХТ в Германии в начале 900-х годов, автор в то же время не останавливается ни на деятельности Театра Максима Горького в Берлине (ГДР), ни на практике педагогической работы Театральной высшей школы в Лейпциге, хотя такой разговор был

бы чрезвычайно плодотворен для избранной темы.

Впрочем, упрекая автора, мы не должны забывать, что освещаемая им тема поистине неисчерпаема. Заслуга Н. Н. Сибирякова состоит в том, что он эту тему поставил принципиально верно и сделал важный шаг в ее разработке. Исследование должно быть продолжено и коллективными усилиями, о чем справедливо говорится в предисловии, предпосланном книге, и дальнейшими усилиями автора. Станиславский и поныне продолжает оставаться в центре внимания театральной общественности мира. Каждый день приносит все новые и новые данные о воздействии его творческих идей. Между тем автор книги в основном не выходит за пределы середины 60-х годов. Это и недостаток в целом полезной и нужной книги, и одновременно возможность продолжать плодотворное исследование огромной и глубоко современной темы.

Б. РОСТОЦКИЙ,
доктор искусствоведения.



ГДЕ УЛИЦА КОРЧИТСЯ БЕЗЪЯЗЫКАЯ...

Джеймс Болдуин. Если Бийл-стрит могла бы заговорить. Роман. Перевод с английского Н. Волжиной. «Иностранная литература», 1975, № 7.

Навещающая в тюрьме своего жениха Фонни, девятнадцатилетняя Тиш, продавщица из косметического отдела нью-йоркского универмага, разговаривает с ним по телефону через звуконепроницаемую стеклянную перегородку. Для глаза эта перегородка почти незаметна, но к ней вовек не привыкнет душа: через стекло не дотянешься, не дотронешься, не услышишь живой голос. И нужно все время напоминать себе: смотри не на трубку, на человека, для которого ты сюда пришла. Он не на другой планете; близкий, недостижимый, он совсем рядом. Всего лишь по ту сторону тюремного стола.

Позднее из обрывочных рассказов Фонни, из наркотического бреда отсидевшего два года Дэниела Карти возникнет страшная картина американской тюрьмы, где с методической последовательностью в человеке разрушают личность. И все равно, думая о тюрьме, Тиш прежде всего будет вспоминать стеклянную перегородку на столе — барьер между любящими, которые разделены словно крепостным рвом. Антигуманность, насилие, кричащая жестокость, которые сломали Дэниела и вот-вот сломят Фон-

ни, для нее, «цветной», привычны — чуть ли не условия бытия. Сопrotивляемость насилию воспитана в Тиш всей унаследованной ею негритянской историей. И той же самой историей воспитан в ней страх перед изоляцией, одиночеством, непониманием — всем тем, что в социологии именуется отсутствием человеческой коммуникации и что так обостренно переживают персонажи Джеймса Болдуина, как бы ни складывалась их судьба.

«Как мне хочется, чтобы никому никогда не приходилось смотреть сквозь стекло на того, кого любишь». Это Тиш. Это и сам Болдуин, это мог бы сказать любой из его персонажей.

Всем им с детства они знакомы — видимые и невидимые миру перегородки и барьеры, непробиваемая стена отчуждения от белого мира, а часто, слишком часто и друг от друга. Социальные барьеры — отверженность «цветного» в обществе «равных возможностей», несправедливость на каждом шагу, бесправие, самый высокий уровень безработицы, самая низкая ступень нищеты. И барьеры психологические — се-

годня, когда таблички «Только для белых» исчезли даже в Алабаме, они особенно мучительны.

С несправедливостью, уготованной в американском обществе детям негритянских кварталов, Фонни столкнулся впрямую — сфабрикованное обвинение в изнасиловании и арестантская куртка, история старая, как сама Америка. Но совсем не обязательно стекло должно предстать перегородкой в тюремном зале для посетителей. Можно прожить свой век и «благополучно», стать, например, знаменитым актером, как Лео Праудхаммер, герой предыдущего романа Болдуина «Скажи, давно ли ушел поезд».

Только ведь и «счастливчиком» стекло — «метафизическая реальность расы», как выразился Болдуин в одном из интервью, — обязательно напомнит о себе. Если не полицейским насилием, то непризнанием в человеке индивидуальности — негр это негр, символ этнической группы, «темное начало» или олицетворенное страдание, только не личность в ее неповторимом облике. Если не выпадом расиста, то презрительной снисходительностью либерала или истерикой «кающегося» интеллигента, готового из кожи вылезть, лишь бы все удостоверились в его способности стать выше предрассудка. Если не исковерканной биографией, то ранней духовной травмированностью, этим неизбежным следствием атмосферы гетто с его инстинктом самозащиты любой ценой, с его чувством обреченности, с его убогим идеалом законопослушной «незаметной» жизни или болезненным и разрушительным национализмом.

Бийл-стрит, ни разу не поименованная в повествовании гарлемская улица, стала истинным главным героем романа Болдуина, вобрав в себя и растворив в калейдоскопе своих характерных типов темнокожих Ромео и Джульетту сегодняшнего Нью-Йорка, в смене своих коллизий и ситуаций — светящуюся нежностью историю их нелегой любви. Бийл-стрит, негритянское гетто начала 70-х. Все та же причудливая и грустная гамма красок «цветного» предместья: нищета, боль, пронзительная поэзия братства отверженных, грязь, страх. Жестоко разрушаемые иллюзии. Человеческие крушения, горечь.

Сколько раз пытались бежать из этого предместья, выжигали в себе сформированный им комплекс страха перед миром, открывающимся за стенами гетто, болдуиновские персонажи и их предшественники, ге-

рой крупнейших негритянских писателей Америки Ричарда Райта, Ральфа Эллисона. И непременно развязка оказывалась трагической. Вступала в дело неизбежная, «метафизическая» реальность расы. Реальность отчуждения. Реальность психологического барьера, вырвавшегося между беглецом и оставленным им негритянским микрокосмом, между беглецом и белой Америкой, даже если она не обращала против «выскачек» ярость встревоженных расистов. Между беглецом и другими, озлобившимися или опустившимися, бесконечно одинокими бунтарями.

Выхода не находилось. Экзистенциалистская безнадежность написанных Болдуином в молодости книг о блудных детях Гарлема сменилась вымученными, продиктованными отчаянием компромиссами с идеологией «черной исключительности», которые после стольких лет борьбы против левацкого экстремизма «черных мусульман» и «черных пантер» вдруг обнаружили в недавней публицистической книге Болдуина «И имени его не будет на площади». Рецензенты забили тревогу — не без причины: слишком типичной для болдуиновского поколения негритянских интеллигентов выглядела эта эволюция, слишком многих одаренных писателей привела она к тупику.

В «Бийл-стрит» она запечатлена эскизно, но выразительно. Приятель Фонни Дэниел Карти проходит тот же самый путь: сначала «травка», чтобы подавить чувство опустошенности и тоски в «родном» гетто, потом два года за угон машины, которую он не угонял (полиции достаточно, что он черный, да еще и наркоман), а в итоге: «Белый — это сатана. Белый уж точно не человек».

Двадцать лет движения за гражданское равенство переворосили веками складывавшийся уклад жизни негритянской Америки, перевернули все ее миропонимание. Безболезненными такие перевороты не бывают. На улицах сегодняшнего гетто Дэниел Карти — фигура не менее примечательная, чем Тиш. Эдридж Кливер с его лозунгами расового сепаратизма явился столь же закономерным, сколь Мартин Лютер Кинг, повторявший снова и снова: «Ненавистью не победить ненависть, и только доверие способно ее преодолеть».

Между этими полюсами Болдуин метался долгие годы; «Бийл-стрит» зафиксировала определенный итог происходившей в нем жестокой внутренней борьбы. «Простая и

трогательная повесть о любви», как охарактеризовала ее романистка Джойс Кэрол Оутс, эта книга наполнена раздумьями о мучительных проблемах национального самосознания, об истинных и тупиковых путях национального освобождения. «Цветной» квартал выглядит в ней знакомым и непривычным. Он рождает отчаяние, но рождает и любовь, истинную, «шекспировскую» любовь Тиш и Фонни, пронесенную через все страдания, не угасшую среди грязи Гарлема и ужасов тюремного ада. Рождает психологический надрыв, духовную и нравственную пришибленность, но рождает и высокую солидарность рядовых его обитателей, которых не пригнуло к земле чувство неизбежности поражения и сплотила решимость защищать свое право на человеческую жизнь.

В литературе Болдуин дебютировал романом «Скажи это на горе» — полной щемящей «блюзовой» лирики и дышавшей безысходностью книгой о гетто. Два десятилетия спустя он возвращается на негритянскую окраину, словно бы с новой страницы начиная исследование центральной проблемы своего творчества: какой тип сознания создает «цветное» предместье? какой духовный багаж дает оно своим сыновьям? Травмирует и душит индивидуальные устремления, обрекает на одиночество, вечно напоминает о расе, чтобы за ней не выступила личность? Или, может быть, в минуты самых тяжелых жизненных испытаний становится не домом-темницей, а родным домом, землей для негритянского Антея, триста лет не уступающего в своей неравной схватке с феноменом расизма?

Болдуин — художник слишком правдивый и слишком обостренно видящий противоречия и контрасты негритянской жизни, чтобы односложно отвечать на эти вопросы. Стеклопанная перегородка потрясает Тиш именно потому, что ей, совсем юной, приходится не раз и не два наталкиваться на такие перегородки между людьми — и не только в универмаге, где она единственная «цветная», но и на Бийл-стрит, где нет ни одного белого. Любовь в этой повести о любви потому так и захватывает, что это больше, чем любовь-страсть, любовь-близость, любовь-драма, — это труднейшая проверка способности разрушать перегородки, вырваться из плена изоляции и отчужденности, к чему стремились и все прежние герои Болдуина, а сумели только Тиш и Фонни. И нет во всей биографии Тиш дня горше, чем тот, когда она почувствовала: тюрьма

вот-вот сломит Фонни — не его мужество и не сознание своей правоты, а веру в то, что между ним и Тиш нет, действительно нет стекла.

Их много в компактном романе Болдуина — людей, признавших «метафизическую реальность» вековой, быть может, никогда и не пытавшихся разрушить стеклянную стену. Есть разный счет расизму — счет за его преступления, очевидные для всех, и счет за порожденную им ущемленность духа, за невосполнимые нравственные жертвы, к которым он склоняет. Не только за погубленную жизнь Дэниела Карти, но и за комплекс негритянской неполноценности, с которым свыклись сестры и мать Фонни. И за моральную апатию пуэрториканца Пьетро Альвареса с его жалкой, а в изображенных Болдуином обстоятельствах и преступной философией напуганного конформиста: «Оставьте нас в покое. Нам больше ничего не нужно — только чтобы нас оставили в покое».

Счет за витающую над Бийл-стрит безнадежность и раннюю усталость от жизни, за разгородившие ее перегородки. Каждое утро по пути в универмаг Тиш проходит мимо слепого старика нищего, сидящего на углу. Наверно, он сидит здесь много лет, но Тиш не замечала его, пока своя беда не заставила думать о драме других. Он никому не нужен, просто часть пейзажа. Как и собирающиеся напротив четверо ребят, все наркоманы. Как мужчины в субботний полдень; не зная, куда себя деть, они «передают друг другу бутылку, заходят в ближайший бар, загрызают с девидей за стойкой, затевают драку, а попозже только тем и заняты, что приводят в порядок свои выходные костюмы».

Об этой скуке повседневности, ее безликой механистичности, о человеческой изоляции, «компенсируемой» контактами за стойкой да пережевыванием газетных новостей, в Америке написан не один десяток сильных, порой безысходных книг. Но у Болдуина скука — не от сытости, механистичность — не от духовной пустоты. На Бийл-стрит «сама смерть была проще простого, и то, что вело к ней, тоже было проще простого — вроде чумы. Ребятам говорили, что они ни хрена не стоят, и все вокруг подтверждало это. Они боролись, они боролись, но падали замертво, как мухи, и клубились на мусорных кучах своих жизней тоже как мухи». На Бийл-стрит всех и каждого придавливает, «укорачивает» со-

знание своей приписанности к гетто, своего наперед известного удела, который «метафизическая реальность» делает общим для всех, но который не может создать подлинной человеческой общности — разве лишь общность отчаяния, рожденную неволей. Не может создать подлинной духовной субстанции жизни — разве что ее суррогаты вроде негритянской церкви с ее эмоциональной иступленностью, коллективным надрывом и воплями о спасении в бурном море; что же, «за что только ни цепляешься, чтобы выстоять ужас, когда ужас окружает тебя со всех сторон». Не может создать подлинного понимания причин и следствий, всего «устройства» предуготовленной негру судьбы — разве только растревлять ненависть к ней и чувство обреченности.

Помните, из «Облака в штанах»:

Пока выкипчивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

«Варево из любвей» — не для характеристики Болдуина, любовь в его книге истинная и высокая, святая; и никто о нем не скажет, что он пиликает рифмами. А все-таки внимательно русскому читателю «Бийл-стрит» Маяковский должен вспомниться. Ведь тема, глубинная и важнейшая тема романа, едва ли не та же самая: трагическая «безъязыкость», молчание распинаемой улицы.

Ибо кому дана речь, кто повествует в книге? Тиш? Но «я» героини — чистая условность; даже не обратив внимания на тот факт, что, оставаясь на Бийл-стрит, это «я» не могло наблюдать ни Фонни в тюремной одиночке, ни Пьетро Альвареса в Сан-Хосе, уж непременно отметишь такое богатство расцветивающих прозу (и очень точно переданных в переводе Н. Волжиной) оттенков и музыкальных нюансов, какое девятнадцатилетней продавщице из Гарлема попросту недоступно. Болдуин? Но для чего тогда повествование от первого лица, искусно стилизованные (опять-таки воспроизведенные Н. Волжиной с безукоризненным вкусом и чувством меры) характерные словечки, грамматические вольности, ругательства человека из гарлемской толпы? Для чего сам этот непривычный у Болдуина персонаж, для чего писатель стремится скрыть свое присутствие, словно растворяясь в толпе и отказываясь от роли демиурга?

Если Бийл-стрит могла бы заговорить! Если бы могла. Тиш доверено вести рассказ от ее имени, однако это «если» ошугимо от первой до последней страницы. В том-то, может быть, и заключается для Болдуина трагизм негритянской ситуации, что триста лет «улица молча муку перла», прет и сегодня, и нет у нее языка — человеческой общности и значимых для каждого символов национальной духовной культуры, — чтобы сказать об этой муке, деля ее на всех и противодействуя ей миром, а не в одиночку.

А если бы она могла заговорить, она сказала бы о вечно повторяющейся драме негритянского народа и о его неубывающей способности все выдержать, преодолеть, перетерпеть, не поступаясь гордостью и храня свою самобытность. И тогда осознанной, «говорящей» стала бы та великая сила упорства, которую негры наследовали от поколения к поколению, ею одной отстаивая право на жизнь и на собственный уклад бытия. «Ты давай роди нам ребенка. Слышишь?.. Мы не позволим, чтобы этого ребенка держали в цепях». Должно быть, сама не сознавая, мать героини Шерон и говорит о том, что упорство да способность уцепиться пусть за самый краешек надежды только и спасали негра в самых безвыходных обстоятельствах.

Надежда обманывала, детей держали в цепях, как прежде дедов, — менялись лишь цепи, не сущность. И обстоятельства оставались все такими же безвыходными, перетасовывались, не улучшаясь. Но еще где-то на заре американской истории сформировался тип стоического сознания, и в Шерон он проявился так же отчетливо, как был выражен в ее предках, сумевших вынести и рабство, и расправы клановцев, и узаконенную сегрегацию, и взрывы бомб в школах для «цветных».

Нить преемственности — духовной, нравственной — протягивается из негритянского сегодня в далекие колониальные времена, придавая целостность исторической биографии черной Америки. Тиш, Фонни — поколение начала 70-х, им знакомы лозунги движения за равноправие, и свое место в мире они понимают совсем не так, как понимал некогда дядя Том, и даже не так, как их родители. А в их истории, такой обычной и такой негритянской, есть отзвуки очень старой драмы, действие которой началось в трюмах первого невольничьего судна, взявшего курс к Новому Свету.

И может быть, Ромео и Джульеттой их прозвали в родном квартале не потому лишь, что такой удивительно чистой, поэтичной была эта любовь, зародившаяся на гарлемском школьном дворе. Может быть, уже предчувствовали, что любовь обернется жестоким потрясением, даже знали это: ведь десятки, сотни раз против таких же романтиков оборачивались, словно рикошетом от стены, их самые светлые порывы.

Все традиционно. Даже «урок», вынесенный героями из их испытания, традиционен: бороться за жизнь, совершить «прыжок с вышки отчаяния», пусть этот прыжок кажется смертельным. Разбить стекло, какие бы глубокие порезы ни оставило оно на руках.

Все традиционно, но это не значит — все повторяется. История движется вопреки всем «метафизическим реальностям», и ее движение лишь делает их особенно непереносимыми. Подспудно, «молча» осуществляется процесс наследования, и вместе с памятью наследуются мечта, и боль, и муки одиночества, и ощущение стеклянной стены, и жажда солидарности. Они дремлют где-то в сокровенных глубинах созна-

ния, немотствующего сознания Бийл-стрит; необходима катастрофа, чтобы произошло открытие этих прочнейших отслоений исторического опыта. Необходима минута великого напряжения душевных сил, когда пригоршней праха становится все наносное в человеке и высветляется его неистребимая гуманная суть.

Вот обо всем этом и рассказала бы Бийл-стрит, если бы она могла говорить. Речь, которую дал ей Болдуин, повествовательная условность; улица все так же безъязыка. Но болдуиновское «если бы» больше, чем мечта о недостижимом; за этим «если бы» понимание острейшей потребности в языке, в коде общения, которого, пусть полусознанно, ищет сегодня пробужденное проповедью Кинга и выстрелами в негритянских лидеров «цветное» предместье. За этим «если бы» — безошибочно увлеченный художником психологический сдвиг, то приобщение к творящей жизнь этической традиции народа, которым завершилась история гарлемских Ромео и Джульетты. И за которым, сметая стены, приходит, должно прийти Слово.

А. ЗВЕРЕВ.



Политика и наука

ПАРТИЯ — РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

А. И. Рогов. Руководство КПСС экономикой зрелого социализма. М. Политиздат. 1975. 384 стр.

В необъятной сфере общественных отношений, имя которой политика, Коммунистическая партия отводит центральное место политике экономической. Любые самые благородные пожелания так и остаются пожеланиями, если они не касаются материальных основ жизни миллионов трудящихся. Сила марксистско-ленинской идеологии, ее глубочайшая научность и огромная популярность в том и состоит, что она учит не только против кого и как надо бороться, но и дает верный ключ для перемен в самой важной области — в области экономических отношений.

Сотни миллионов людей убедились в том, что КПСС мастерски сумела организовать трудящихся на штурм политических бастилий, на ликвидацию эксплуататорских классов. С таким же мастерством она сплотила народ для гигантской и планомерно слаженной работы на поприще производства, направленного на благо трудящихся,

ознакомившись с рецензируемой книгой, читатель получит ясное представление о том, насколько широка и глубока деятельность партии, формирующей экономическую политику и проводящей ее в жизнь.

Ленинская мысль о том, что вопросы хозяйственного строительства имеют для Советской республики «значение совершенно исключительное»¹, всегда определяла практическую деятельность нашей партии, неизменно выдвигавшей вопросы экономической политики на первый план. Ярким свидетельством этого является даже сама периодизация истории КПСС, отмечающая такие кардинальные этапы хозяйственного строительства, как индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства, послевоенное восстановление народного хозяйства, период строительства материально-технической базы коммунизма.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 341.

А. И. Рогов показывает, что на каждом этапе хозяйственного строительства партия умело выделяет центральные вопросы, от решения которых зависит успех дела. Читатель получает цельное представление о руководстве партией деятельностью масс в повышении эффективности общественного производства, совершенствовании форм и методов управления народным хозяйством. Особый интерес представляют главы, раскрывающие деятельность партии по развитию творческой инициативы масс, по укреплению социалистической экономической интеграции и повышению народного благосостояния, являющегося главной целью политики партии.

Как решается выдвинутая партией исторической важности задача — органически соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства?

Автор книги прослеживает многогранную деятельность Центрального Комитета КПСС, Центральных комитетов компартий союзных республик, обкомов, райкомов, партийных организаций научно-исследовательских и проектных институтов, крупнейших научно-производственных объединений в организации научно-технического прогресса. Так, он упоминает о том, что организованная Красноярским крайкомом КПСС научно-техническая конференция позволила выработать практические рекомендации по внедрению достижений науки и техники в производство. Под руководством краевой партийной организации на предприятиях и стройках края обсуждаются узловые вопросы научно-технического прогресса, выявляются резервы применения новой техники, повышения уровня технологии и культуры производства.

Автор рассказывает также об опыте Днепропетровского обкома КП Украины, который систематически анализирует выполнение тематических планов научно-исследовательскими институтами, контролирует внедрение научных разработок в производство. В книге рассказано также о деятельности партийных организаций Москвы, Ленинграда, Киева, Горького, Закавказья, Средней Азии...

С особым интересом читаются страницы, где раскрывается опыт партийных организаций в борьбе за более рациональное использование трудовых ресурсов. Актуальность этой проблемы станет особенно ясной, если напомнить, что четыре пятых прироста на-

ционального дохода обеспечивается за счет повышения производительности труда.

Читатель найдет в книге богатейший фактический материал, показывающий, как упорно и последовательно партийные организации министерств, объединений, предприятий борются за осуществление комплексной механизации и автоматизации трудоемких процессов. Так, на Челябинском тракторном заводе благодаря усовершенствованиям технологии производства производительность труда выросла на 15—20 процентов. Весьма поучителен также опыт коммунистов Московского производственного объединения ЗИЛ. В постановлении ЦК КПСС «Об инициативе коллектива Московского автомобильного завода им. И. А. Лихачева (производственное объединение ЗИЛ) по организации социалистического соревнования за ускорение внедрения в производство достижений науки и техники и увеличение на этой основе мощностей по выпуску продукции высшего качества» (1974) отмечается инициатива коммунистов, выступивших зачинателями борьбы за повышение общественной производительности труда и улучшение качества продукции.

Затрагивая проблемы улучшения форм и методов управления народным хозяйством, автор пишет об осуществлении принципов хозяйственной реформы, переходе к отраслевому принципу управления на основе создания объединений, сокращении звеньев управления промышленностью и строительством.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О некоторых мероприятиях по дальнейшему совершенствованию управления промышленностью» (1973) подчеркивается важная роль комбинатов в современных условиях. Созданные объединения осуществляют свою деятельность под непосредственным руководством партийных организаций. Коммунисты объединений находят новые формы и методы руководства производством, опираясь на современную технику, на достижения науки управления.

Значительный интерес представляет освещенная автором проблема повышения роли партийного руководства в области совершенствования планирования и экономического стимулирования. Декабрьский (1973) Пленум ЦК КПСС поставил задачу всемерного совершенствования механизма хозяйствования, преодоления силы инерции старых привычек, более гибкого подхода к вопросам планирования и экономического

стимулирования. Коренной вопрос совершенствования планирования и экономического стимулирования — это приведение в соответствие форм и методов планового руководства с достигнутым уровнем развития производительных сил и значительным усложнением хозяйственных связей.

Рост технической и производственной мощи страны предполагает дальнейшее улучшение организации социалистического соревнования, распространение передового опыта, развитие творческой инициативы масс. В современных лабиринтах циклопических технологических установок, мощнейших атомных реакторов, сложнейшей вычислительной техники роль человека неизмеримо возросла. Какой бы умный автомат ни был изготовлен, какими бы сказочными возможностями и исполинской силой ни наделила наука орудия труда, человек был, есть и останется главной производительной силой. Именно от его заинтересованности в итогах труда, от его отношения к делу и стремления с меньшими затратами добиться лучших результатов зависит многое.

Вопросы социального развития коллектива становятся ныне неотложными. В этой связи автор напоминает высказывание А. Н. Косыгина о том, что планирование — «не просто экономическая деятельность, как часто многие считают. Это разработка социальных проблем, проблем, связанных с повышением уровня жизни народа. План мы рассматриваем как комплекс экономических и социальных задач, которые предстоит решить в плановом периоде, как комплекс всех вопросов, связанных с жизнью человека»².

В тесной связи с рассмотрением вопросов социального характера автор выдвигает проблемы улучшения экономического образования трудящихся. Давать рабочим знание объективных экономических законов, управляющих народнохозяйственным комплексом, это не просто проводить просвети-

тельную работу. Экономическое обучение кадров осуществляется в тесной связи с практикой, с задачами производства и способствует развитию творческой энергии и инициативы рабочих, служащих, ученых.

Эпоха развитого социализма характеризуется превращением социализма в мировую систему, закономерностью которой стала экономическая интеграция. Автор отметил рост международной хозяйственной деятельности социалистических стран и подробно изложил деятельность КПСС и других братских партий по осуществлению комплексной программы социалистической экономической интеграции.

Книга завершается главой, посвященной осуществлению политики неуклонного роста благосостояния народа. Действие основного экономического закона социализма представляет собой тот фундамент, на котором строится вся деятельность нашей партии по обеспечению дальнейшего роста жизненного уровня народа. Повышение заработной платы, дальнейший рост общественных фондов, улучшение жилищных условий, санитарного состояния городов и рабочих поселков, развитие народного образования, сближение уровня жизни трудящихся города и села — вот далеко не полный перечень тех многообразных задач, которые решает партия.

КПСС руководит экономикой зрелого социализма. Она формирует планы нашего хозяйственного строительства, организует трудящиеся массы на борьбу за выполнение этих планов. Ее деятельность пронизана величайшей заботой о благе советских людей. Миллионные массы трудящихся в ответ на заботу партии еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета и прилагают все усилия для того, чтобы неуклонно росло политическое, экономическое и оборонное могущество нашей великой Родины.

В. ЕФИМОВ,

доктор экономических наук.

² «Плановое хозяйство», 1965, № 4, стр. 3.



БОРЬБА С АНТИСОВЕТСКИМ ПОДПОЛЬЕМ

Д. Л. Голиннов. Крушение антисоветского подполья в СССР (1917—1925 гг.). М. Политиздат. 1975. 704 стр.

Девять лет, о которых пишет Д. Голиннов в книге «Крушение антисоветского подполья в СССР», были временем становления и утверждения советской власти в

ожесточенной борьбе с внешней и внутренней контрреволюцией.

Победоносное шествие Великого Октября по всей стране показало, насколько пра-

вильными были ленинские предначертания грядущей пролетарской революции, какой глубокий отклик и поддержку нашли принятые II Всероссийским съездом Советов ленинские декреты о мире и о земле, какой могучей силой, объединяющей ранее угнетенные царизмом народы, стала принятая Совнаркомом 2 ноября 1917 года «Декларация прав народов России».

Уже первые месяцы советской власти показали, что созданная Лениным партия коммунистов, закаленная в борьбе с самодержавием и победоносно прошедшая через тяжчайшие испытания, является достойным хранителем и продолжателем лучших революционных традиций прошлого. Она предстала перед трудящимися не только как организатор революционного свержения ненавистного народу буржуазно-помещичьего строя, но и как строитель нового общества, раскрывающего невиданные человечеством перспективы.

«Свержение буржуазии осуществимо лишь превращением пролетариата в господствующий класс, способный подавить неизбежное, отчаянное сопротивление буржуазии и организовать для нового уклада хозяйства все трудящиеся и эксплуатируемые массы»¹. Жизнь показала всю правильность этих слов, написанных вождем пролетарской революции еще до победы Октября, в глубоком подполье, на страницах бессмертной, актуальной и в наши дни книги «Государство и революция».

Как правильно указывает Д. Голиков, в первые месяцы после свержения Временного правительства попытки реакции противодействовать победоносному шествию Октября носили характер безнадежных авантюр. «Реакционные слои,— пишет он,— не могли сколько-нибудь успешно бороться с превосходящими силами народа. Лишь на окраинах страны (Донская область, Южный Урал, Украина, Средняя Азия, Закавказье) сложились более благоприятные условия для контрреволюции, но и там трудящиеся к марту 1918 г. сломали вооруженные антисоветские выступления».

Это не значит, конечно, что и в то время буржуазия, обладавшая значительными материальными ресурсами, располагавшая опытными хозяйственными и военными кадрами, вступившая в союз со своими правосоциалистическими пособниками и всячески поддерживаемая извне, не действо-

вала методами тайных заговоров, террора, организованного саботажа, не пыталась задавить революцию «костлявой рукой голода».

В рецензируемой книге названы многочисленные контрреволюционные организации от «Комитета спасения родины и революции» до «Союза защиты Учредительного собрания» и «Совета союза казачьих войск». Уже в ноябре 1917 года заметно активизировали свою подрывную деятельность официальные дипломатические представители буржуазных государств.

Наряду с подготовкой вооруженной интервенции шла невидимая работа по созданию подпольных контрреволюционных организаций. Те самые оборонцы, которые заявляли о готовности «вести борьбу с Германией до победного конца», переходили к союзу с кайзеровской Германией, готовые продать родину за утверждение «порядка и спокойствия» путем беспощадных репрессий.

Уже в первые месяцы советской власти среди ее активных врагов появились имена тех людей, которые через много лет вновь показали свое истинное лицо, поступив в услужение к гитлеровским захватчикам и японским империалистам. В их числе генерал П. Н. Краснов. Его первое выступление против революционного Петрограда было подавлено 31 октября 1917 года. Краснова тогда отпустили «под честное слово», что он не будет заниматься антисоветской деятельностью. Воспользовавшись великодушием советской власти, Краснов пробрался на юг и в 1918 году был избран атаманом так называемого всевеликого войска Донского, после чего немедленно установил тесные связи с немецкими оккупантами Украины. В верноподданническом письме к германскому кайзеру он просил Вильгельма содействовать ему в расчленении Советской России, обещая взамен не препятствовать немцам в разграблении Дона и Украины. Так завязались связи Краснова с самыми реакционными кругами кайзеровской Германии. Позднее, в годы Великой Отечественной войны, Краснов вместе с давними своими сообщниками командиром «дикой дивизии» Султан-Гиреем Клычем и Шкуро совершит в форме генерала «СС-ваффен» зверские преступления на временно оккупированном гитлеровскими захватчиками юге России. И только в январе 1947 года по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР Краснов, Шкуро, Султан-Гирей и другие

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 26.

военные преступники были осуждены к смертной казни и повешены.

В 1917 году из Петрограда на Дальний Восток уехал молодой есаул Г. М. Семенов. Так же как Краснов, он стал беспощадным карателем и вешателем. 4 января 1920 года «верховный правитель России» адмирал Колчак назначил тогда уже генерал-лейтенанта Семенова главнокомандующим вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа, передав ему «всю полноту военной и гражданской власти».

Участник интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке американский генерал Грэвс писал позднее о Семенове, что тот оказался «убийцей, грабителем и самым беспутным негодяем. Семенов финансировался Японией и не имел никаких убеждений, кроме сознания необходимости поступать по указке Японии»². Ближайшего помощника Семенова — Калмыкова Грэвс характеризовал так: «Калмыков был самым отвязленным негодяем, которого я когда-либо встречал, и я серьезно думаю, что если внимательно перелистать энциклопедический словарь и посмотреть все слова, определяющие различного рода преступления, то вряд ли можно будет найти такое преступление, которого бы Калмыков не совершил... Там, где Семенов приказывал другим убивать, Калмыков убивал своею собственной рукой, и в этом заключается разница между Калмыковым и Семеновым»³.

С разгромом Колчака Семенов остался таким же верным слугой японского империализма, организуя убийства, диверсии и шпионаж против Советского Союза из марионеточного Манчжоу-Го. И только после разгрома Квантунской армии Советскими Вооруженными Силами Семенов и его сообщники были захвачены, осуждены Военной коллегией Верховного Суда СССР к смертной казни через повешение и казнены.

Перечень имен предателей, заклеивших себя преступлениями в годы гражданской войны, а затем совершивших злодеяния, за которые их постигло справедливое возмездие, можно было бы продолжить.

Понимая, что новое общество не может утвердиться без ожесточенной борьбы с буржуазией, советская власть тем не ме-

нее проявляла великодушие и гуманизм (иногда неоправданно широкий) даже к тем ее захваченным с оружием в руках врагам, которые дали обещание не выступать на стороне контрреволюции.

4 ноября 1917 года в речи на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Ленин говорил: «Нас упрекают, что мы арестовываем. Да, мы арестовываем... Нас упрекают, что мы применяем террор, но террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем применять... так как за нами сила. Когда мы арестовывали, мы говорили, что мы вас отпустим, если вы дадите подписку в том, что вы не будете саботировать. И такая подписка дается»⁴.

Д. Голиков совершенно прав, когда утверждает, что эти слова Ленина «как нельзя более точно» характеризуют деятельность советских органов борьбы с контрреволюцией в первые послеоктябрьские дни, и приводит многочисленные примеры такого великодушия. Эту мысль можно было бы удачно проиллюстрировать также ссылкой на книгу Альберта Риса Вильямса «Путешествие в революцию». Беспартийный американский журналист, оказавшийся в России вместе с Джоном Ридом в «десять дней, которые потрясли мир», присутствовал затем на первых заседаниях трибуналов и народных судов. Квакер по религиозным убеждениям, человек от природы гуманный и деликатный, он тем не менее недоумевал по поводу крайне мягких приговоров трибуналов, в частности трибунала, рассматривавшего дело известного черносотенца и погромщика Пуришкевича.

Вмешательство международного империализма во внутренние дела Советской страны резко активизировало все группы антисоветского лагеря. Весною и летом 1918 года объединенные силы внутренней контрреволюции и международного империализма раздирали Советскую Россию, используя в своих преступных целях голод и хозяйственную разруху.

Усиление карательных мер против контрреволюции стало жизненной необходимостью.

«Нельзя забывать ни на минуту,— писал Ленин в апреле 1918 года,— что буржуазная и мелкобуржуазная стихия борется

² Грэвс. Американская авантюра в Сибири (1918—1920). М. 1932, стр. 63.

³ Там же, стр. 67.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 63.

против Советской власти двояко: с одной стороны, действуя извне, приемами Савиновых, Гоцов, Гегечкори, Корниловых, заговорами и восстаниями, их грязным «идеологическим» отражением, потоками лжи и клеветы в печати кадетов, правых эсеров и меньшевиков; — с другой стороны, эта стихия действует изнутри, используя всякий элемент разложения, всякую слабость для подкупа, для усиления недисциплинированности, распушенности, хаоса»⁵.

В книге Д. Голикова подробно и интересно рассказано об образовании и начале деятельности советских органов борьбы с контрреволюцией и общеуголовной преступностью. Мало известно, например, что первый советский народный суд возник в Петрограде через несколько дней после победы Октября. В ноябре 1917 года в доме № 33 по Большому Сампсониевскому проспекту на Выборгской стороне состоялась первая сессия этого народного суда, созданного районным Советом рабочих и солдатских депутатов, бюро профессиональных союзов и другими районными рабочими организациями. Первым председателем нового суда был рабочий-большевик с завода «Новый Леснер» И. В. Чакин.

В Нарвском районе Петрограда также действовал суд в составе нескольких рабочих-путиловцев. В те же дни в другом районе Петрограда, в зале Горчаковского дворца начал работу народно-революционный суд в составе представителей профессиональных союзов и Совета рабочих и солдатских депутатов.

Таким образом, первые народные суды советской власти были созданы еще до появления ленинского декрета о суде № 1, принятого 22 ноября (5 декабря) 1917 года и сломавшего до основания всю старую судебную систему от верховного судебного органа — правительствующего сената до мировых судов.

В статье 8 декрета указывалось: «Для борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих лиц, учреждаются рабочие и крестьянские революционные трибуналы в составе одного председателя и шести очередных заседателей, избираемых

губернскими или городскими Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Для производства же по этим делам предварительного следствия при тех же Советах образуются особые следственные комиссии»⁶.

Однако судебно-следственные учреждения, сложившиеся в первое время после Октябрьской революции, как вскоре выяснилось, не обеспечивали эффективной борьбы с контрреволюцией и другими видами наиболее опасных преступлений. Потребовалось создание иных органов, быстрых и гибких, способных, опираясь на поддержку и содействие трудящихся, своевременно выявлять и пресекать подготавливаемые буржуазией преступления. Так были созданы сперва Комитет по борьбе с погромами, а затем Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

6 декабря 1917 года на заседании СНК под председательством Ленина был обсужден вопрос о возможности забастовки служащих в правительственных учреждениях во всероссийском масштабе. Совнарком постановил: «Поручить т. Дзержинскому составить особую комиссию для выяснения возможности борьбы с такой забастовкой путем самых энергичных революционных мер, для выяснения способов подавления злостного саботажа»⁷.

7 декабря СНК утвердил персональный состав ВЧК. Он был очень немногочислен. Старый чекист М. Я. Лацис писал, что в первые месяцы работы ВЧК в Москве в ее аппарате было всего 40 сотрудников, включая сюда и шоферов и курьеров. Даже к моменту восстания левых эсеров в Москве число сотрудников ВЧК доходило лишь до 120 человек. «Почти все крупные заговоры, — продолжал он, — были раскрыты указанием населения. Первая нить бралась от них, этих добровольных и бесплатных сотрудников от населения и потом уже разматывалась аппаратом ВЧК»⁸.

С самого начала своего существования ВЧК стала надежным орудием партии, разящим мечом пролетарской революции в борьбе с опасными и опытными врагами советской власти — отечественными контр-

⁵ «Декреты Советской власти». М. 1957, т. 1, стр. 125—126.

⁷ «Из истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. 1917—1921 гг.». Сборник документов. М. 1958, стр. 72.

⁸ «Пролетарская революция», 1926, № 9, стр. 90.

⁵ Там же т. 36, стр. 196.

революционерами и засылавшимися из-за рубежа агентами иностранных разведок.

В то же время ВЧК никогда не была слепым орудием, безжалостным к виновным и невиновным. Широко известны указания Ленина чекистам о точном установлении вины заподозренных лиц. Возглавивший ВЧК верный ленинец Ф. Э. Дзержинский требовал от чекистов большого такта, объективности, вежливости. Автор книги приводит одну из инструкций Ф. Э. Дзержинского сотрудникам ВЧК, датированную 1918 годом. В этой инструкции Дзержинский писал:

«Вторжение вооруженных людей на частную квартиру и лишение свободы повинных людей есть зло, к которому и в настоящее время необходимо еще прибегать, чтобы восторжествовали добро и правда. Но всегда нужно помнить, что это зло, что нашей задачей — пользуясь злом, искоренить необходимость прибегать к этому средству в будущем. А потому пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить человека свободы и держать в тюрьме, относятся бережно к людям арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить, что он представитель Советской власти — рабочих и крестьян и что всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость — пятно, которое ложится на эту власть»⁹.

Борьба обострялась, и мягкость, проявленная советской властью в первые месяцы после победы Октября даже по отношению к ее злейшим врагам, становилась недопустимой. Впервые смертная казнь была применена ВЧК 26 февраля 1918 года не к политическому преступнику, а к авантюристу и бандиту, самозваному князю Эболи и его сообщнице Бритт за ряд грабежей, совершенных ими под видом обысков от имени советских органов.

В опубликованной «Известиями» 6 ноября 1918 года беседе с заместителем председателя ВЧК Я. Х. Петерсом говорилось:

«Вопрос о смертной казни с самого начала нашей деятельности поднимался в нашей среде, и в течение нескольких месяцев после долгого обсуждения этого вопроса смертную казнь мы отклоняли как средство борьбы с врагами. Но бандитизм раз-

вивался с ужасающей быстротой и принимал слишком угрожающие размеры. К тому же, как мы убедились, около 70% наиболее серьезных нападений и грабежей совершались интеллигентными лицами, в большинстве бывшими офицерами. Эти обстоятельства заставили нас в конце концов решить, что применение смертной казни неизбежно, и расстрел князя Эболи был произведен по единогласному решению».

Начало применения смертной казни к контрреволюционерам относится к концу мая 1918 года, когда по решению ВЧК были расстреляны бывшие офицеры Семеновского полка братья А. А. и В. А. Череп-Спиридовичи за государственную измену.

Репрессии против классовых врагов были усилены также и революционными трибуналами. 16 июня 1918 года в «Известиях» было опубликовано подписанное П. Стучкой (ставшим впоследствии первым председателем Верховного Суда РСФСР) постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР, в котором говорилось: «Революционные Трибуналы в выборе мер борьбы с контрреволюцией, саботажем и проч. не связаны никакими ограничениями...»¹⁰.

21 июня 1918 года вновь учрежденный Верховный революционный трибунал при ВЦИК в открытом судебном заседании вынес первый приговор с применением смертной казни, осудив к расстрелу за антисоветскую деятельность бывшего начальника Балтийского флота контр-адмирала А. М. Щастного.

За последние годы был издан ряд работ, рассказывающих о ликвидации контрреволюционных заговоров против молодой советской власти. Однако только в книге Д. Голикова история борьбы с антисоветским подпольем столь обстоятельно систематизирована. Автор показал, как антисоветская деятельность внутренней контрреволюции на всех главных своих направлениях была связана с агентурой реакционных империалистических сил, субсидировалась и направлялась внешней контрреволюцией. В работе Д. Голикова, по существу впервые в одном издании, рассказывается о разоблаченных и ликвидированных тайных заговорах и антисоветских выступлениях на Кавказе, в Средней Азии, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Эта антисоветская деятельность усилива-

⁹ «Исторический архив», 1958, № 1, стр. 5—6.

¹⁰ «Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства», 1918, № 44, стр. 536.

лась по мере вторжения на территорию России войск иностранных интервентов и активизации боевых действий белых армий. Над Советским государством нависла смертельная опасность. Трудности были усугублены надвинувшимся голодом. В деятельности антисоветского подполья шпионаж, диверсии, подготовка вооруженных восстаний все более переплетались с актами индивидуального террора против руководителей советской власти, и в первую очередь против В. И. Ленина.

Как известно, II Всероссийский съезд Советов отменил смертную казнь. Однако жизнь показала, что в борьбе с контрреволюцией обойтись без применения смертной казни невозможно. Выше упоминалось, что она стала применяться как по решению чрезвычайных комиссий, так и по приговорам революционных трибуналов. Применение смертной казни по приговорам судов вызвало особенно озлобленные вопли со стороны всех врагов революции. В связи с этим на V Всероссийском съезде Советов 5 июля 1918 года Ленин говорил: «...Чем труднее наше положение, чем острее продовольственный кризис, тем более усиливается борьба капиталистов против Советской власти. Вы знаете, что чехословацкий мятеж — это мятеж людей, купленных англо-французскими империалистами. Постоянно приходится слышать, что то там, то здесь восстают против Советов. Восстания кулаков захватывают все новые области. На Дону Краснов, которого русские рабочие великодушно отпустили в Петрограде... из-за предрассудков интеллигенции против смертной казни. А теперь я посмотрел бы народный суд, тот рабочий, крестьянский суд, который не расстрелял бы Краснова, как он расстреливает рабочих и крестьян. Нам говорят, что когда в комиссии Дзержинского расстреливают — это хорошо, а если открыто перед лицом всего народа суд скажет: он контрреволюционер и достоин расстрела, то это плохо. Люди, которые дошли до такого лицемерия, политически мертвы. Нет, революционер, который не хочет лицемерить, не может отказаться от смертной казни. Не было ни одной революции и эпохи гражданской войны, в которых не было бы расстрелов»¹¹.

Автор дает представление о том, как осуществлялась связь с контрреволюционным подпольем многочисленными разведчиками

¹¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 503.

империалистических государств. Например, французская миссия поддерживала связь с Б. Савинковым через дипломата Готье, с монархистскими заговорщиками — через графа де Шавиньи, с меньшевиками — через бывшего депутата-социалиста Шарля Дюма, с эсерами — через Эрлиха. Кроме того, в составе миссии находился профессиональный диверсант «масрье Анри» — морской капитан Вертимон, готовивший диверсии на железных дорогах.

Этот «масрье Анри» был связан с направленным в Россию одним из искуснейших специальных агентов английской Интеллидженс сервис Сиднеем Рейли. Позднее, уже после изобличения и расстрела Рейли, другой английский шпион, Р. Локкарт, в книге «Буря над Россией» рассказал и о своей подрывной деятельности и о карьере друга Б. Савинкова одессита Розенблюма, оказавшегося во время войны в Англии, завербованного там английской разведкой и принявшего фамилию Рейли (в честь своего тестя К. Рейли). Под именем Сиднея Рейли он и прибыл в Россию.

Активную работу против Советской республики вели также агенты США во главе с послом Д. Френсисом. Автор рецензируемой книги приводит и другие факты непосредственной связи иностранных разведок с антисоветским подпольем.

В книге показано, как в ответ на белый террор и терроризм Антанты советская власть была вынуждена применить против своих врагов оружие красного террора.

Замышляя обезглавить пролетарскую революцию, физически истребив ее вождей, и в первую очередь В. И. Ленина, антисоветское подполье совершило первое покушение на Владимира Ильича 1 января 1918 года. Тогда же, в январе 1918 года, была раскрыта контрреволюционная организация, готовившая новое покушение на жизнь вождя пролетарской революции.

20 июня 1918 года в Петрограде неизвестным был убит комиссар по делам печати В. Володарский. 30 августа 1918 года в Петрограде бывший юнкер Канегиссер убил председателя Петроградской ЧК М. Урицкого.

В тот же день в Москве на бывшем заводе Михельсона (ныне завод имени Владимира Ильича) несколькими выстрелами отравленными пулями эсерка Каплан тяжело ранила В. И. Ленина. Это вызвало бурю народного гнева.

Рабочий класс по своей инициативе начал массовый террор против врагов революции.

2 сентября 1918 года ВЦИК по предложению Я. М. Свердлова принял резолюцию по поводу покушения на Председателя СНК В. И. Ленина. Эта резолюция заканчивалась такими словами: «На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов»¹².

5 сентября 1918 года Совнарком постановил, что все лица, причастные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам, подлежат расстрелу.

Красный террор был направлен против изблеченных врагов советской власти, в первую очередь против монархистов. Так были расстреляны бывший директор департамента полиции С. Белецкий, министр внутренних дел А. Хвостов, министр юстиции И. Щегловитов, ряд сотрудников царской охраны.

Д. Голиков сумел показать самоотверженную и умную деятельность чекистов по разоблачению заговоров контрреволюции, в частности в разделе «Заговор «трех слов», рассказывающем о смертельно опасном поединке чекистов Эдуарда Берзиня, Яна Буйкиса и Яна Спрогиса с опытными профессиональными английскими разведчиками Кромби, Р. Локкартом, С. Рейли. Таков же раздел, посвященный краху савинковщины, когда под руководством Ф. Э. Дзержинского и В. Р. Менжинского ОГПУ силами контрразведывательного отдела (КРО), возглавлявшегося А. Х. Артузовым, осуществило «вывод Савинкова из Парижа на советскую территорию» и ликвидацию его резидентуры. Действия участника этой операции старшего оперуполномоченного КРО ОГПУ А. П. Федорова являются образцом мужественной и умелой борьбы с опаснейшим врагом советской власти, о злодеяниях которого подробно рассказано в книге.

В пределах рецензии невозможно даже в самом кратком виде пересказать содержание фундаментального труда Д. Голикова. Хотелось бы привлечь внимание читателей, в частности, к таким разделам: «Ликвидация «Тактического центра», «Стрекопытовщина», «Народный союз защиты родины и свободы» на службе международного империализма», «Взрыв в Леонтьевском переулке», «Голод и контрреволюция», «Разгром басмачества», «Разгром основных сил петлюровщины. Крах махновщины», «Базаров-

ско-незнамовская авантюра». Во всех этих главах даже читатель, хорошо знакомый с историей борьбы с контрреволюцией, найдет много нового для себя.

Книга Д. Голикова говорит не только о борьбе с контрреволюцией. Вместе с тем это рассказ о высоком гуманизме советской власти. Одним из примеров этого высокого гуманизма является то, что уже 17 января 1920 года ВЦИК и СНК по представлению Ф. Э. Дзержинского приняли решение об отмене смертной казни.

Выступая 2 февраля 1920 года на первой сессии ВЦИК седьмого созыва с докладом о работе ВЦИК и СНК, Ленин говорил: «Вы знаете, что тотчас же после главной победы над Деникиным, после взятия Ростова, тов. Дзержинский, руководящий ВЧК и Наркомвнудел, внес предложение в Совнарком и провел его у себя в ведомстве, чтобы всякое зависящее от ЧК применение смертной казни было отменено...»

Террор был нам навязан терроризмом Антанты, когда всемирно-могущественные державы обрушились на нас своими полчищами, не останавливаясь ни перед чем. Мы не могли бы продержаться и двух дней, если бы на эти попытки офицеров и белогвардейцев не ответили беспощадным образом, и это означало террор, но это было навязано нам террористическими приемами Антанты. И как только мы одержали решительную победу, еще до окончания войны, тотчас же после взятия Ростова, мы отказались от применения смертной казни...»¹³.

В выступлении В. И. Ленина была выражена надежда на то, что ВЦИК «единогласно подтвердит это мероприятие Совнаркома и разрешит его таким образом, чтобы применение смертной казни в России стало невозможным». Вместе с тем Ленин предупреждал, что всякая попытка возобновить приемы войны «заставит нас возобновить прежний террор».

Известно, что активная враждебная деятельность реакционных сил за границей и внутри страны, направленная на свержение советской власти, вынудила наше государство вновь применить смертную казнь.

Однако после окончания Великой Отечественной войны Президиум Верховного Совета СССР 26 мая 1947 года принял Указ «Об отмене смертной казни» за все преступления в мирное время.

Антигосударственная подрывная деятель-

¹² «Декреты Советской власти». М. 1964. т. III, стр. 267.

¹³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 100—101.

ность империалистической реакции, действовавшей наиболее коварными и жестокими преступлениями — шпионажем, диверсиями, террором, — вынудила в 1950 году восстановить смертную казнь сначала за некоторые особо опасные государственные преступления, затем за отдельные тяжкие преступления, в особенности против жизни, и за особо крупные хищения — преступные посягательства против экономической основы советского строя — социалистической собственности.

Но и в данное время смертная казнь не значится в статье 21 Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик, говорящей о видах наказания. Ей посвящена статья 22 Основ «Исключительная мера наказания — смертная казнь», самое название которой подчеркивает исключительный временный характер этой меры. О том же говорит и диспозиция статьи: «В виде исключительной меры наказания, впредь до ее полной отмены (разрядка моя.— Л. С.) допускается применение смертной казни».

Практически применение смертной казни сведено к минимуму: по особо опасным государственным преступлениям (шпионаж, измена Родине, диверсия, террор, действия карателей во время Великой Отечественной войны) или таким преступлениям, как убийство при отягчающих обстоятельствах, бандитизм, наиболее опасные посягательства против социалистической собственности.

Смертная казнь вообще не может быть применена к несовершеннолетним, женщинам, находящимся в состоянии беременности во время совершения преступления или к моменту вынесения приговора, к женщинам, находящимся в состоянии беременности к моменту исполнения приговора.

Эта юридическая справка выходит за пределы рецензируемой книги. Однако мы считаем нужным дать ее, для того чтобы показать вынужденный для Советского государства характер такой меры борьбы с наиболее опасными видами преступности, как смертная казнь.

Книга ограничена во времени периодом с 1917 по 1925 год (кстати, стоило бы подумать о расширении рамок исследования). В 20-х годах Д. Голиков был молодым работником органов, которые вели борьбу с антисоветским подпольем. Жизненный опыт подсказал автору правильный путь поисков. Книга написана на основе скрупулезного изучения громадного числа литературных

источников. Многие из книг, на которые ссылается автор, были выпущены по свежим следам событий и больше не переиздавались. Другие книги, изданные республиканскими и областными издательствами, также известны далеко не всем читателям. Наконец, широко использованы автором архивные материалы. Книга достоверна. Написана хорошим, ясным и точным языком, свободным от бюрократических оборотов, которые, к сожалению, еще нередко проникают в работы юристов. Вместе с тем Д. Голиков не пытается «олитературить» свой рассказ. Книга свободна от тех «жалких и громких» слов, от которых предостерегал юристов классик русской юриспруденции А. Ф. Кони.

Д. Голиков говорит о событиях, ставших уже далеким прошлым. Однако этот строго документированный рассказ о крахе антисоветского подполья в СССР, о героической борьбе молодой советской власти со злейшими ее врагами, пытавшимися потоками крови, тайными заговорами и террористическими убийствами подавить великую социалистическую революцию, глубоко актуален и в наши дни.

Империалистическая реакция делает ставку на короткую память человечества. В годы мирного наступления Советского Союза, борьбы за разрядку напряженности в отношениях между государствами с различным общественным строем активизируются не только миролюбивые силы, но и их враги, в частности на идеологическом фронте. За последние годы за рубежом изданы десятки книг, фальсифицирующих историю, — от прославления последних Романовых до апологетики кадетов, эсеров, меньшевиков.

Актуальность книги Д. Голикова в том, что она правдиво показывает методы преступной деятельности вражеского подполья, истинное лицо контрреволюции, всегда связанной с наиболее реакционными силами из-за рубежа. Раскрывая процесс утверждения советской власти в борьбе против коварных и жестоких врагов, автор одновременно показывает высокий гуманизм рождавшегося социалистического общества.

Приводимые в книге неопровержимые факты являются как бы ответом всем тем, кто пытается фальсифицировать историю борьбы с контрреволюцией в нашей стране и клеветать на карательную политику Советского государства.

Л. СМЕРНОВ,

Председатель Верховного Суда СССР.

МРАЧНЫЙ МИР

Юрий Жуков. Отраватели. Poleмические заметки о буржуазной идеологии и пропаганде. М. «Молодая гвардия». 1975. 272 стр.

Цель этой книги ясна из авторского вступления, которым она открывается: познакомить советского читателя с некоторыми важными явлениями в духовной жизни капиталистического Запада, и прежде всего Соединенных Штатов; используя фактический материал, помочь ему «нагляднее представить себе во всей неприглядности духовный мир капитализма, который его пропагандисты рекламируют как рай земной, и глубже понять значение идеологической борьбы с этим мрачным миром».

Такова задача, которую ставит перед собой видный советский публицист, автор книги «Отраватели» Юрий Жуков. Пожалуй, трудно было бы подобрать более точное название для этой работы. Ведь речь в ней идет действительно о страшной отраве — отраве духовной, идейной, разрушающей мораль и коверкающей мировоззрение миллионов людей в капиталистических странах, о тех, кто направляет отравленное пропагандистское оружие против всего прогрессивного, в первую очередь против идеологии и политики стран социализма, самих устоев социалистического строя.

Представляется вполне закономерным, что автор начинает книгу главой, содержащей подробный разбор идей и «теорий», вышедших из-под пера наиболее известных представителей довольно многочисленного племени так называемых экспертов по делам коммунизма в Соединенных Штатах Америки. Ведь именно в США, этой самой экономически мощной стране капиталистического мира, существует наиболее разветвленная сеть различного рода «институтов», «исследовательских организаций» и «центров» по «изучению коммунизма». Именно в США правящий класс имеет возможность наиболее щедро оплачивать услуги теоретиков антикоммунизма всех мастей, начиная от бывшего консультанта госдепартамента, а ныне нью-йоркского профессора Збигнева Бжезинского и «футуролога» Германа Кана до отступника от марксизма и ярого ревизиониста, духовного раслителя молодежи Герберта Маркузе. Каково бы ни было словесное оформление их концепций, будь то идея «технотронного глобального общества» или теория «декоммунизации марксизма», убедительно доказывает Ю. Жуков, классическая сущность антикоммунистических док-

трин остается одна, и она сводится к откровенным попыткам дискредитировать марксизм, к мечтам о «политических переменах» в Советском Союзе и других социалистических странах.

Апологеты империализма, подобные тем, с которыми знакомит читателя Ю. Жуков, достаточно сильны и влиятельны в современной Америке. Идеологическая отравка, создаваемая на многочисленных «думающих фабриках» и в американских «мозговых трестах», специализирующихся на антикоммунизме, распространяется далеко за пределы США, становясь практическим пособием и руководством к действию для контрреволюции. Автор четко прослеживает прямую связь между «теоретическими» вылазками врагов коммунизма и отнюдь не теоретической попыткой антисоциалистических сил расчистить в 1968 году путь контрреволюции в Чехословакии. Он ясно показывает, что «академические» доктрины Бжезинского, Кана, Маркузе, У. Росту используются для раскола рабочего движения на Западе, для подрыва классовой борьбы трудящихся, а порой и для провокаций, подобных той, на которую пошли в мае — июне 1968 года в Париже сторонники неизвестного «левака» и анархиста Даниэля Кон-Бендита.

Глубокой озабоченностью судьбами молодежи на Западе проникнуты страницы книги Ю. Жукова. Кто они, эти «новые левые»? Кому служат «мятежники» и борцы против «истэблшмента», о которых так модно говорить сейчас в США и Англии, во Франции и ФРГ? В чем их идейный багаж, и действительно ли они представляют собой ту надклассовую силу и играют ту революционную роль, которую приписывают им теоретики антикоммунизма? Книга «Отраватели» дает исчерпывающие ответы на эти вопросы.

К приведенным автором примерам, как идеологическая отравка особенно сильно действует на умы молодежи, как буржуазия стремится изуродовать классовое самосознание молодого поколения, пытаясь направить его энергию в русло анархии, бессмысленных погромов, а иной раз и обычной уголовщины, пожалуй, нечего добавить. И все же мне хочется рассказать об одной истории, свидетелем которой мне довелось

стать, правда с помощью телевидения, во время моего пребывания в Соединенных Штатах Америки в сентябре 1975 года. За полтора года до описываемых событий таинственно исчезла дочь крупнейшего американского газетного магната Рэндольфа Херста Патриция Херст. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что она была то ли похищена членами известной левацкой организации, так называемой «свободной освободительной армии», то ли добровольно вступила в нее. В течение многих месяцев телевидение и пресса держали в напряжении американцев, интригуя «делом» Патриции Херст. «Освободительная армия» потребовала у папы-миллионера выкуп за дочь — солидную сумму для «помощи бедным». Революционный лозунг потряс воображение «левых». Обыватели негодовали по поводу террора «революционеров». Однако все кончилось просто: агенты ФБР выследили и арестовали в Сан-Франциско Патрицию Херст и несколько ее друзей по «освободительной армии». Было установлено ее участие в вооруженном ограблении банка и в некоторых других уголовно наказуемых деяниях «освободительной армии». Обыватели торжествовали: ведь они всегда утверждали, что революция — это террор, грабеж, насилие. Буржуазная пропаганда не замедлила подхватить этот мотив, а саму Патрицию поспешили выгородить, объявив ее ни в чем не повинной жертвой «террористов», подвергавшейся чуть ли не пыткам в застенках «освободительной армии»...

Разумеется, Ю. Жуков отнюдь не склонен, что называется, стричь всех «левых» под одну гребенку. «Я далек от того, чтобы всех ультралевых зачислять в категорию провокаторов», — пишет он в своей книге. — Уверен, что среди них есть немало честных молодых людей, увлеченных р-р-революционной фразеологией... Но, объективно или субъективно, деятельность ультралевых США помогла буржуазной пропаганде устроить среднего американца призраком «насильственной коммунистической революции», расколоть и ослабить прогрессивные силы Америки».

Большое место Ю. Жуков отводит рассказу о тех каналах, по которым духовная отравка распространяется по всему капиталистическому миру, — о буржуазных средствах массовой информации. Огромный профессиональный опыт, острый глаз публициста помогли ему сделать эти страницы одними из наиболее ярких в книге. Размыш-

ления о так называемой свободе печати на Западе, о роли, которую играют западные газеты, телевидение, радио в качестве послушных инструментов в руках отравителей, интересный рассказ о войне в эфире, которую ведут против стран социализма подрывные радиостанции, щедро финансируемые из фондов иностранных разведок, — все это подкреплено впечатлениями от многочисленных поездок автора по странам Запады, от его встреч и бесед с газетными издателями, обозревателями, рядовыми журналистами в США, Англии, ФРГ, Франции.

Так, приводит красноречивое признание известного обозревателя газеты «Нью-Йорк таймс» Джеймса Рестона о том, что журналист на Западе, подобно врачу, имеет возможность отравить своего пациента, с той лишь разницей, что он может отравить больше людей и сделать это быстрее, чем врач. «Поистине страшен и чудовищен мир, где врач может отравить своего пациента и где печать превращается в средство духовного отравления миллионов людей!» — пишет Ю. Жуков.

Способы этого духовного отравления могут быть различными. Одним из них — и наиболее действенным — является пропаганда насилия в печати, в кино, на телевидении. Любой советский человек, которому пришлось какое-то время прожить в США или в некоторых других капиталистических странах, может засвидетельствовать точность картины, нарисованной автором книги «Отравители», картины, показывающей, как откровенная пропаганда насилия, садизма, жестокости буквально захлестывает страницы газет и телевизионные экраны. Цель, которую преследуют правящие классы, раздувая эту пропаганду, ясна и достаточно убедительно вскрыта Ю. Жуковым. Остается лишь добавить, что безудержное восхваление и показ насилия средствами массовой информации на Западе вот уже в течение ряда лет создает поистине чудовищные проблемы, которые обернулись против самого же буржуазного общества. Американские социологи, например, убедительно доказали прямую связь между показом насилия по телевидению и стремительным ростом преступности в стране. В США известно немало судебных процессов над преступниками, действовавшими точно в соответствии с рецептами ограблений и убийств, заимствованными из телепередач, кинобоевиков, детективов-бестселлеров.

Вспоминается 1970 год, когда мне дове-

лось участвовать в работе специального семинара ЮНЕСКО в Париже по вопросам искоренения пропаганды насилия на телевидении. В выступлениях его участников звучала глубокая тревога в связи с поистине безграничным распространением духовной отравы средствами массовой информации Запада. Вспоминается и более близкий пример. Сентябрь 1975 года. Смотрю в Нью-Йорке специальную телепередачу компании Си-би-эс о втором за семнадцать дней покушении на жизнь президента США Форда. На экране промелькнули кадры, рассказавшие о событиях в Сан-Франциско. И тогда известнейший в Америке комментатор Уолтер Кронкайт обратился к находившемуся в студии своему коллеге обозревателю Эрику Севарейду с вопросом: «Насилие порождает насилие. Не вызывает ли показ насилия по телевидению цепную реакцию нового насилия? Не несем ли мы большой доли вины за то, что происходит сейчас в Америке?» Этот вопрос остался без ясного ответа. А между тем ответ ясен: да, именно буржуазная пропаганда, именно западная так называемая массовая культура — «культура» фильмов-боевиков, телепередач, смакующих насилие, книжонок, живописующих похождения агента «007», имеющего своего рода «лицензию» на убийства, — и несет тяжкую ответственность за моральное отравление миллионов американцев и жителей других капиталистических стран. Книга Ю. Жукова убедительно доказывает это.

К сожалению, рамки рецензии не дают возможности остановиться на некоторых других интересных проблемах, поднятых в книге «Отравители». Задача, поставленная ее автором, безусловно достигнута. Книга помогает полнее представить во всей его неприглядности духовный мир капитализма и глубже понять значение идеологической борьбы с этим миром.

Не исключено, что у иного читателя, перевернувшего последнюю страницу книги Ю. Жукова, может возникнуть такой вопрос: как совместить идеологическую войну, подрывную деятельность, которую империалистические круги ведут против стран социализма, с заявлениями политических

деятели ведущих капиталистических государств об их готовности идти курсом разрядки и мирного сосуществования? Но в том-то и состоит логика современного международного развития, что разрядка, потепление мирового политического климата отнюдь не ослабляют борьбы идей и остроты классовых противоречий. «КПСС исходила и исходит из того, что классовая борьба двух систем — капиталистической и социалистической — в сфере экономики, политики и, разумеется, идеологии будет продолжаться, — говорил Л. И. Брежнев в докладе о пятидесятилетии СССР. — Иначе и быть не может, ибо мировоззрение и классовые цели социализма и капитализма противоположны и непримиримы».

Идеи разрядки действительно все увереннее пробивают себе дорогу. Программа мира, принятая XXIV съездом КПСС, успешно претворяется в жизнь, и это принесло уже такие плоды, как поворот от противоборства к сотрудничеству в американско-советских отношениях, как успешное завершение общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству, открывшего новую страницу в истории народов Европы. Благодаря усилиям Советского Союза, других социалистических стран разрядка постепенно наполняется материальным содержанием и принцип мирного сосуществования государств, лежащий в основе мирной политики стран социализма, получает все более широкое международное признание.

«В области идеологии, как и в других сферах, социализм находится в наступлении, а капитализм в обороне, — пишет Ю. Жуков. — Но чем яснее это становится, тем ожесточеннее сопротивление сил старого мира и тем яростнее развивают они свои контратаки, все более явственнее перенося центр своей деятельности на подрывные акции против стран социализма, причем главное острие направляется на Советский Союз».

Злободневность книги Ю. Жукова в том и состоит, что она призывает не забывать о контратаках старого мира, о том, что в идейной борьбе с ним нет и не может быть компромиссов и уступок.

А. ДРУЖИНИН.



КОРОТКО О КНИГАХ



ЧИНГИЗ ГУСЕЙНОВ. Угловой дом. Повести и рассказы. Перевод с азербайджанского. М. «Советский писатель». 1975. 256 стр.

В книге Ч. Гусейнова есть сквозной образ, наделенный особым, едва ли не символическим смыслом,— дверь.

Двери здесь могут быть распахнуты из дома — в мир. Но могут служить и знаком тесноты глухого, разгороженного быта. К примеру, среди обитателей старого бакинского дома возникло поветрие коммунальных размежеваний, и они принялись дробить на ячейки крытую галерею, опоясывающую двор. Самодеятельность жильцов наблюдает герой-повествователь. И ему кажется, что галерея, «разделенная разноцветными заплатами дверей... вот-вот рухнет и завалит двор».

Героем другого рассказа владеет такое чувство, будто он стоит между «двумя закрытыми дверьми». За одной дверью то, что происходило вчера; за другой — что будет завтра. Но не с ним. А с человеком интригующе необычной судьбы, которая с детских лет тревожила воображение героя-рассказчика, но была ему известна лишь обрывочно, без начала и продолжения. Рассказ этот назван «Слепые двери».

Героям книги Ч. Гусейнова — молодым рабочим, интеллигентам, ветеранам войны — важно нащупать протяженность связей как причинных, так временных, связей в границах единичной судьбы и в рамках собирательных «биографий» — семейного «клана», того же двора с нависшей галереей, улицы.

Вес частности или фрагмента здесь зависит от их отзывчивости на движение целого.

Оглядываясь на пору своего детства, «доверенный» герой автора стремится обнажить самые ранние истоки нынешнего опыта души: вот первая радость, рядом первая забота, первые слезы, первая обида, первая жестокость (этими экскурсами к дальним рубежам памяти открывается книга). Старый бакинский двор для него начальная школа общения, и ее облик заведомо не пристали черты разобщенности (перегородки, «слепые двери»). Из клубка семейных преданий, относящихся к 20-м годам, он старательно вытягивает нить романтической дружбы молодой азербайджанки Ламии и русского парня Алексея, угадывая за этой историей общезначимое — конец власти восточного домостроя.

Преодоление замкнутости, выход человека за черту ограниченного (узконационального, в частности) опыта в мир широких от-

ношений, деловых и культурных контактов, определяющих единый строй и ритм нашей сегодняшней жизни,— основная тема и ведущий пафос прозы Ч. Гусейнова.

Состав книги в этом смысле показателен. Первая ее часть — «Бакинские рассказы», вторая — «Московские рассказы». Причем географический признак здесь до известной степени условен хотя бы потому, что герой, объединяющий оба цикла, не теряя ни азербайджанского, ни бакинского первородства, давно живет, что называется, на два дома. Во всяком случае, Москва и русская культура для него свой, обжитой мир.

Сознаю, что в сказанное мной о жизни «на два дома» проник комический оттенок. Но проник «по вине» самого Ч. Гусейнова, который, исследуя ситуацию широких смещений героя от родных «истоков», обнаруживает скрытые в ней неожиданности и побочные эффекты, подчас комические.

Присматриваемся к некоему «неназванному» бакинцу, курсирующему по делам службы между Баку и Москвой (повесть «Не назвался»): и хоть бы отдаленный намек на «восточную» неспешность, традиционную пластику движения, словно хранящего память о покое. Он не движется, а сует. В одном лихорадочном темпе и по городским и по междугородным линиям. Его будни — сплошная тряска, словно на вибростенде: то поминки, то свадьба, то салон реактивного лайнера, то застолье в незнакомом доме, куда попал, перепутав горяча адрес. Да и «внутренний жест» персонажа под стать внешнему: мелькание и толчея мотивов, недодуманных мыслей... В общем, пресловутый «темп времени» поглотил человека. Или по-другому: человек позволил себя «поглотить».

Не в пример «неназванному» центральный герой книги располагает отличным противоядием от затягивающей «текучки» — крепкой гражданской закалкой, широкой подхода к социальным, нравственным основам нашей сегодняшней жизни. И не только сегодняшней. Герой книги чутко прислушивается к скрытым переключкам и «сотрудничеству» эпох, в особенности военного четверыхлетия с нынешним мирным днем...

Иными словами, по внутренней установке и характеру активности герой Ч. Гусейнова — собиратель (звеньев исторического опыта, культурных традиций) и противник барьеров («слепых дверей») на пути людского единения, которые особенно прочны там, где безоглядно врастают в быт.

Этот мотив единения определяет и весь строй авторской речи, и характер нашего, читательского отклика на интересную работу азербайджанского прозаика.

В. Камянов.



ИГОРЬ ВОЛГИН. Шесть утра. Стихи. М. «Московский рабочий». 1975. 80 стр.

Игорь Волгин в своих первых книгах довольно отчетливо заявил о себе как о приверженце традиционных поэтических правил и ценностей. Схематический круг основных интересов молодого поэта можно определить так: Москва, история, любовь, поэзия. В работе над своей третьей книгой «Шесть утра» Игорь Волгин, пожалуй, стремился не столько расширить диапазон своего творчества, сколько углубить эти главные темы и прояснить их звучание. В новой книге гораздо яснее и задачи, которые ставит перед собой автор, и его мироощущение, и характер его лирического героя. «Шесть утра» представляет собой прямое продолжение предыдущей книги Волгина «Кольцевая дорога», и не только в тематическом плане: примерно четверть стихов нового сборника перепечатана из «Кольцевой дороги».

Замечу, правда, что далеко не все стихи, перенесенные И. Волгиным в «Шесть утра» из предыдущей книги, достойны этого. К разряду поэтических откровений и открытий труднее всего отнести уже известные читателю стихи поэта о прошлом. Они написаны в свойственной Волгину спокойной и ровной манере и, как говорится, со знанием материала. Но именно это спокойствие и входит подчас в противоречие с трагической сущностью явлений, о которых пишет автор. Такие стихи, как «Солдаты потешных полков...» и «Народоволец», могли бы служить хотя и колоритными, но все же иллюстрациями к учебнику истории, не более того.

Гораздо острее воспринимает Волгин недавнюю историю, события которой совпали с началом его собственной жизни. В стихах, осмысливающих жизнь столицы и страны в военные годы, в стихах о послевоенном детстве ему удается передать живую атмосферу общенародного горя, гнева и мужества. Одно из лучших стихотворений этого ряда говорит о молодой ленинградке, родившейся в блокаду. Здесь автор нашел своеобразный и верный подход к современному решению этой трагической темы, совмещающий в границах единого поэтического образа облик города и судьбу его людей:

У тебя все, как видно, в порядке.
Никаких потрясений в судьбе.
Элегантна, как все ленинградки,
и красива — сама по себе...

И ничуть никого не заботит,
как, поставив еду и питье,
ты украдкой, будто наркотик,
вновь глотаешь лекарство свое.
Но, когда, леденев от боли,
ты идешь, запахнув пальтецо,
бог войны, что на Марсовом поле,
отвращает в смятенье лицо.

Поэтическая система, которой придерживается Игорь Волгин, такова, что и лучшие

и менее удачные страницы его книги подтверждают как нельзя более открыто старую и добрую истину: точность слов производна от глубины и выстраданности чувств и мыслей автора. Особенно наглядное подтверждение этому находим в пейзажной и любовной лирике поэта, занимающей большую часть новой книги. Там, где коллизии и сюжет стихов Волгина прямо связаны с его личным опытом, появляются и выношенные строки, убедительные образы.

Но обращаясь к масштабным темам, к «болевым точкам» человеческого бытия, Волгин далеко не всегда достигает уровня своих стихов «интимного» плана. Такие темы требуют более резкого, глубокого дыхания строки, большей энергии и емкости стихотворной речи. Порою спокойный ритм его строк отдает холодностью, бесстрастностью. С формальной точки зрения в них почти не бывает просчетов, шероховатостей. Но подчас так хочется, чтобы они были! Ведь поэзия — это не только профессиональное, мастеровитое владение пером. В некоторых стихах Игорю Волгину изменяет чувство меры, он перенасыщает строки литературными и историческими реминисценциями, перегружает стих старинной лексикой.

И все же новая книга поэта производит впечатление внутренней цельности. К числу творческих удач И. Волгина хочется отнести «Банальную балладу», где поэт светло и образно отражает мир переживаний своего молодого современника, стремящегося к духовной гармонии. Наиболее удачные страницы книги «Шесть утра» отмечены желанием поэта пристально взглянуть в мир, в судьбы своих героев, донести до читателя облик родного города, зримые черты времени.

Станислав Золотцев.



АЛЬБЕРТ УСОЛЬЦЕВ. Светлые поляны. Повесть. «Молодая гвардия», 1975, № 7.

Неторопливо и просто рассказывает Альберт Усольцев о своих героях. Погружает нас в повседневность послевоенной зауральской деревни Черемховки, знакомит с людьми совсем «негероической» наружности и поступков. Но за этой внешней неброскостью открываются вдруг и душевная сила, и доброта, и особая, «от корней земли», крепость натур, привлечших внимание писателя.

В повести как будто не происходит никаких остродраматических событий. Приезжает в Черемховку бывший фронтвик Семен Астахов, тяжело раненный и одинокий человек. Привозит сыну погибшего друга — Витьке Черемухе — землю с могилы отца. Случайно из-за болезни остается в деревне, а выздоровев, постепенно ощущает жизнь окружающих как нераздельную со своей собственной, включается в ее ритм, в ритм главной их работы — растить хлеб — и остается в Черемховке навсегда.

Таков незатейливый сюжет «Светлых полян». Но за ним ясно видится мысль о врачующей силе мирного труда, об ощущении

человеком связи с природой, об отношении его к своему месту на земле. Размышляют об этом и Астахов и подросток Витя Черемуха.

Знакомя нас с неустроенной, подточенной разрухой жизнью деревни, автор наполняет повествование деталями, зримо напоминающими о недавно прошедшей войне. Это и заклеенное бумагой стекло керосиновой лампы в избе Витькиной бабки, и босые, разбитые в кровь ноги Шурика, друга Витьки, и новый долгоджданный «ЗИС», наконец-то полученный колхозом. Но рядом с правдивой точностью мелких бытовых штрихов и деталей живет в повести Усольцева гораздо более важная точность — точность рассказа о времени, точность памяти о войне.

Тема войны, памяти о погибших черемховцах органически входит и в сюжет и в эмоциональную атмосферу «Светлых полей». Не случайно начинается повествование с появления фронтовика Астахова с горстью священной земли с могилы Ивана Черемухи, а завершается сценой у памятника, который поставили колхозники своим погибшим односельчанам в возрожденном Смородинном колке. В разговоре Астахова с ребятами у подножия простого обелиска вновь возникает тема памяти об отцах, звучит мысль о преемственности поколений.

И не случайно вспоминается вдруг другая повесть — «Шопен, соната номер два» Евгения Носова — и другая сцена, где мальчишки-оркестранты читают дрянный список имен погибших на сером гранитном обелиске. И такая перекачка тем у разных авторов может только радовать, потому что в ней верность времени, верность главному в человеке.

С темой памяти о прошедшей войне тесно сплетается в «Светлых полях» тема связи человека с родной землей, с природой. «Безмятежность» манеры А. Усольцева, конечно же, весьма относительна. Достаточно сослаться на ключевую сцену повествования, когда Витька Черемуха и девочка Донька, отправившись за березовым соком в заповедный для черемховцев Смородинный коллок, увидели, как зверски он порублен. И, наблюдая затем Витькино неистовство на базаре, где «фашистка» Сиренчикова, сгубившая Смородинный коллок, торгует березовым соком, мы разделяем гнев мальчишки. Ведь для него, как и для взрослых жителей Черемховки, Смородинный коллок — символ всей родной земли, символ ее животворящей силы.

Люди Черемховки не произносят таких высоких слов. Они просто крепко стоят на земле, трудятся на ней, ощущают себя ее хозяевами. И это чувство «хозяина земли» одушевляет образы героев Усольцева от Астахова и председателя колхоза Макара Блина до мальчишки Витьки Черемухи и его друзей.

Характеры подростков вылеплены А. Усольцевым особенно выпукло. Жаль, но не всем взрослым героям писателя столь же повезло: здесь встречается временами бег-

лость и непрописанность характеров «вглубь». Так же как с подвижным, пластичным письмом прозаика, чуткого к жизни природы, умеющего точно схватить оттенок душевного движения, нередко соседствуют явные словесные стереотипы. Но эти частные, хотя и очень огорчительные, недостатки не лишают новую повесть Альберта Усольцева обаяния простоты и искренности.

Н. Беккерман.



ВЕЛЬКО ПЕТРОВИЧ. Избранное. Перевод с сербскохорватского. М. «Художественная литература». 1975. 416 стр.

Югославский писатель Велько Петрович (1884—1967) принадлежит к тому сегодня уже довольно редкому типу европейских художников слова, творчество которых не только исключительно плодотворно, но всеохватно и актуально. Этот масштаб не сразу, а только к концу жизни оказался приложим к литератору, начинавшему как типичный писатель своего родного, весьма захолустного края — Воеводины. Шаг за шагом Петрович завоевал авторитет в сербскохорватской литературе, постепенно достигнув и европейской славы. Положение Воеводины в бывшей Австро-Венгрии было трагическим, сербы вели упорную и справедливую борьбу за права малой нации, желавшей сохранить самобытность. Для Петровича провинциальная Воеводина стала моделью социальных и политических столкновений целого континента. Но, разумеется, не только тот отдаленный от наших дней период доминирует в творчестве Петровича. Вереницы разнообразных судеб большой временной протяженности проходят в его рассказах и повестях. Настоящий сборник (хотя произведения Петровича и раньше были знакомы советскому читателю) представляется очень удачным, потому что дает творческий путь писателя в ретроспективе — от небольших ранних рассказов до остропсихологических произведений на тему Сопротивления.

В. Петрович — тот талант, щедрости которого не перестаешь удивляться. У него вроде бы нет вещей, написанных в одной тональности. Рассказы объединены в тематические циклы «Молох», «Земля» и др., но в каждом из них исследуется своя, особая грань действительности, новая грань человеческой души, иная форма человеческих отношений. Необыкновенно богата палитра писателя (в чем можно убедиться и по переводам, среди которых выделяются работы Т. Вирты): изысканные импрессионистические зарисовки («Одуванчик»), чеховский психологизм («Невеста покойника» — новелла, которую можно смело отнести к лучшим образцам этого жанра), психоанализ («Самец»), неторопливая традиционная описательность... Приемы, которые Петрович использует, не самоцель, они всегда подчинены точному, проникновенному видению художника-реалиста.

В. Петрович — летописец Воеводины. Но, подобно Фолкнеру и некоторым другим пи-

сателям нашего века, сосредоточенно исследовавшим одну — порой вымышленную — географическую область, он создал свою «мифологему» жизни, перерастающую внешние границы. Петрович объективен, но не бесстрашен, он философствующий художник, но не привязан к одной художественной концепции. Он художник гибкой мысли, не устремленной к истине «в последней инстанции». Если есть для него такая инстанция, то это разум. Молох истории в произведениях Петровича выбивает людей из привычной колеи, но они не теряют надежды, сопротивляются, ищут опору в понятиях, питаемых именно разумом и долгим человеческим опытом. Высокое сознание ответственности перед жизнью автор нередко вкладывает в слова своих героев. «Кто же создает культуру и цивилизацию? Кто является подлинным человеком? Тот, что рычит, как задранный зверь, или то вертикально стоящее создание, которое мыслит, видит дальше своей смерти?.. Дальше смерти вселенной?..» — спрашивает и одновременно отвечает на этот вопрос герой рассказа «Дни и ночи в Банице», участник Сопротивления.

Оптимистически отвечает на этот вопрос и все созданное Велько Петровичем. Видение «дальше смерти вселенной» остается девизом его творчества.

А. Кузнецов.



А. В. КОШУРИН. Так живем и работаем. Заметки директора завода о социалистическом соревновании. Лениздат. 1975. 150 стр.

О социалистическом соревновании написано немало книг и брошюр. Среди авторов — публицисты, социологи, журналисты... Большую ценность, на наш взгляд, представляют свидетельства, суждения и выводы непосредственных организаторов социалистического соревнования — людей, постоянно думающих о том, как лучше, эффективнее, с обоюдно полезной и для своего коллектива и для государства использовать мобилизующую и воспитательную силу соревнования.

К таким работам следует отнести и книгу директора ленинградского завода «Красный выборжец» А. Кошурина. Опираясь на практические дела коллектива, на свои наблюдения, руководитель известного всей стране завода (на «Красном выборжеце» родился первый договор о социалистическом соревновании) как бы раздумывает вслух, делится своими мыслями о возможностях повышения действенности и эффективности социалистического соревнования.

Книга А. Кошурина дает читателю представление о том, как организовано социалистическое соревнование красновыборжцев, какие «движущие пружины» трудового соперничества помогают добиваться неуклонного роста производства, укрепления коллективизма, товарищества и взаимопомощи, повышения ответственности людей за порученное дело.

Упомянув о том, что в нашей стране накоплен огромный опыт организации соци-

алистического соревнования, автор справедливо замечает: «Но, как ни странно, это богатство не собрано воедино. Я пытался искать, но не нашел серьезных работ, обобщающих методы соревнования, раскрывающих его морально-этические стороны и экономические результаты».

А. Кошурина беспокоит мысль о том, что в практике распространения лучшего опыта преобладает понятие «дай» и почти не существует понятия «на», «возьми». Суть в том, что у некоторых хозяйственных руководителей еще не выработалась привычка делиться своим опытом, заботиться о том, чтобы все ценное, найденное и примененное «у себя», становилось достоянием других.

Несомненный интерес вызовет у читателя верные суждения директора «Красного выборжца» о поисках внутренних резервов. «Потери — не резерв, а бесхозяйственность. Электрические фонари, горящие без толку, — не резерв, а недосмотр. Снижение прогулов — не резерв, а элементарный закон дисциплины, результат повышения требовательности в коллективе».

Вывод автора заставит многих задуматься: резервы невозможно использовать до конца, потому что все время возникают новые. Сказать «исчерпаны резервы» значит признать, что мы перестали мыслить...

В дни, когда в стране широко развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу XXV съезда КПСС, книга А. Кошурина приобретает особую актуальность.

А. Чистов.



О. ДАРУСЕНКОВ, Б. ГОРБАЧЕВ, В. ТКАЧЕНКО. Куба — остров созидания. М. Политиздат. 1975. 255 стр.

Революционная Куба с первых лет своего рождения пользовалась особой любовью у советских писателей и журналистов. Подвиг героев, штурмовавших крепость Монкаду, высадка с легендарной «Гранмы», партизанская эпопея в горах Сьерра-Маэстра, восхищение смелостью кубинцев, тревога за судьбы революции — все это давало богатый материал для повестей, стихотворений, драматургических произведений, журналистских репортажей. Мы постепенно открывали для себя далекий остров, воспринимая рассказ о кубинской революции через своеобразную призму тропической экзотики. Писать о Кубе без упоминания голубой глади Мексиканского залива, красочных закатов и восходов солнца, белых небоскребов Гаваны, крон вечнозеленых пальм считалось чуть ли не дурным тоном.

Однако времена меняются. Ныне вместо экзотических атрибутов в нашей печати все чаще и чаще на первом плане оказывается серьезный, объективный анализ опыта кубинской революции. Социально-экономический колорит страны, ее специфическая роль в общей системе социализма настолько важны и интересны, что они оттеснили былые штампы.

Успехи кубинской революции в строительстве новой жизни, нерушимая совет-

ско-кубинская дружба — вот основная тема новой книги «Куба — остров созидания». Читая ее, как бы совершаешь путешествие по стране.

В апреле 1961 года, когда на Плайя-Хирон были разгромлены банды наемников, этот район провинции Матансас был на Кубе одним из самых отсталых. Сегодня на месте болотных топей выросли плантации цитрусовых, построены новые поселки, школы. Примеров созидательного труда в книге много. Увлеченно авторы рассказывают о механизации уборки сахарного тростника, о развитии металлургической промышленности, энергетики, о новостройках Аламара, Нуэвитаса, Никаро и Моа.

Опыт Кубы еще раз показал, что в строительстве нового общества нет легких путей и возведение фундамента социализма идет не под праздничные фанфары, а требует преодоления многих объективных трудностей, концентрации всех духовных и физических сил народа. И, знакомясь с героями книги, приходишь к выводу, что преграды, встающие на пути молодой революции, преодолимы, особенно если рядом надежные друзья.

«Праздником открытых сердец» назвала кубинская печать визит на Кубу Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в январе—феврале 1974 года. Вместе с авторами мы еще раз воскрешаем в памяти гигантский митинг на площади Революции в Гаване, торжественное открытие школы имени В. И. Ленина, снова и снова оцениваем весомость советско-кубинской декларации.

«Читая эту книгу,— пишет в предисловии второй секретарь ЦК Компартии Кубы, министр Революционных вооруженных сил Рауль Кастро Рус,— видишь, что исторический опыт кубино-советских отношений оказывает и будет оказывать свое положительное влияние на другие страны американского континента. Этот опыт является одним из маяков, освещающих наш путь к социализму».

В. Волков.



ГЕВОРГ ЭМИН. Век. Земля. Любовь. Стихи. Перевод с армянского. М. «Советский писатель». 1974. 206 стр.

Не фотография поэта глядит на нас с обложки этой небольшой книги, но лицо взрастившей его земли — пейзаж Армении, воссозданный Сарьяном. Прекрасна эта трудная и суровая земля. И лучшее в поэзии Геворга Эмина то, что корнями связано с ней. Недаром одно из самых сильных в сборнике — стихотворение «Гегард».

Нет легких храмов на моей земле,
Вспарить готовых,—
Сгинули б в веках...
Гегард давно бы превратился в прах.
Когда бы не был вырублен в скале.

Этот храм, лишенный внешнего блеска, скрытый от бесчисленных врагов в каменной плоти родных гор, но поражающий взор изнутри,— словно образ этой много испытанной земли. Ее суровое достоинство ложится отсветом на стихи поэта.

В поэзии Г. Эмина звучит и характерное для его земляков острое чувство истории: каждый ощущает свою сопричастность всему тысячелетнему пути народа, у каждого в крови — память о набегах Семирамиды, персидских орд, арабов и сельджуков...

В стихах Эмина есть размах, масштабность. Но она не враждебна сердечности. Есть философские размышления о XX веке — веке скоростей, высот и контрастов. А рядом — такая теплая, почти будничная интонация:

Каждое утро: «Доброе утро!» — говори старикам.

Наполовину ушедшие в ночь,
Каждое утро радуются старики,
Что в это утро
Вышли из ночи они.

В книге есть и привкус горечи и порой недовольство собой, и острый спор с противником, и язвительная притча. Но выше всего простые истины: жить так, «чтобы не был печален никто по соседству с тобой». Ближе всего поэту мудрые и прекрасные уроки природы: «... корень учит за землю свою держаться... Гора меня учит не склонять головы, если беда подкрадется. Бабочка учит меня каждым днем дорожить, даже самым коротким...».

Автора философских стихов всегда подстерегает опасность отвлеченной риторики. Поэт сам отдает себе в этом отчет:

Человечество я воспевал,
О наивный пророк,—
Человека не знал я...

Чтобы не впасть в грех холодной высокопарности, поэт не должен никогда отрываться от своей каменной, суровой и прекрасной земли, от живых человеческих забот. И у Г. Эмина — воспользуюсь образом из его стихотворения «У Ниагарского водопада» — шумящая громада Ниагары не заслоняет неприметно дрожащей капли, человеческой слезы.

Среди тех, кто донес к нам голос поэта Армении, надежные имена: Д. Самойлов, Б. Слуцкий, М. Петровых, Л. Озеров. Возможно, будь Г. Эмин переведен одним предельно близким ему по художественному строю переводчиком, тогда более цельным предстал бы в переводе его поэтический облик. Теперь же слишком заметны перепады от размеренных, классических строф Е. Николаевской до свободной, раскованной интонации Ю. Левитанского. И все же большинством переводчиков бережно донесено до русского читателя поэтическое слово Геворга Эмина.

Э. Кузьмина.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Избранные произведения. В 3-х тт. Т. 2. Март 1917 — ноябрь 1918. 826 стр. Цена 1 р. 46 к.

Л. И. Брежнев. О внешней политике КПСС и Советского государства. Речи и статьи. Издание 2-е, дополненное. 879 стр. Цена 1 р. 29 к.

А. И. Микоян. В начале двадцатых... Воспоминания. 383 стр. Цена 97 к.

А. Амвросов. Социальная структура советского общества. («Развитой социализм») 121 стр. Цена 21 к.

И. Бирюнов. Ольстер — горящая земля. («Актуальные вопросы международной жизни») 96 стр. Цена 16 к.

Ван Мин. Полвека КПК и предательство Мао Цзе-дуна. Послесловие Мэн Цин-шу. 310 стр. Цена 98 к.

А. Левандовский. Сердце моего Марата. Повесть о великом французском революционере. («Пламенные революционеры») 478 стр. Цена 87 к.

Ленинская теория социалистической революции и современность. Сборник статей. Издание 2-е, дополненное. 535 стр. Цена 2 р. 7 к.

Н. Семашко. Незабываемый образ. Воспоминания о В. И. Ленине. Издание 2-е, дополненное. 22 стр. Цена 4 к.

Справочник партийного работника. Выпуск 15. 543 стр. Цена 1 р. 8 к.

Ю. Турищев. КПСС — живой, развивающийся политический организм. 224 стр. Цена 85 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Брайнина. На старой Планине. Встречи с Волгарией. Издание 2-е, дополненное. 479 стр. Цена 1 р. 12 к.

Н. Ваншенкин. Как соловей лета. Рассказы и повесть. 159 стр. Цена 21 к.

День поэзии. 1975. Главный редактор Е. Винокуров. 223 стр. Цена 72 к.

День поэзии. Ленинград-75. 464 стр. Цена 1 р. 79 к.

Е. Добин. Искусство детали. Наблюдения и анализ. 191 стр. Цена 49 к.

И. Кашежева. Всегда. Стихи. 80 стр. Цена 24 к.

А. Кривоносов. Горы, горы ясно. Повести. 408 стр. Цена 82 к.

А. Кронгауз. Холсты. Лирика. 112 стр. Цена 30 к.

Я. Кросс. Между тремя поветриями. Исторический роман о Балтазаре Руссове. 487 стр. Цена 94 к.

С. Марков. Тамо-рус Маклай. Повести. 208 стр. Цена 33 к.

А. Метченко. Кровное, завоеванное. Из истории советской литературы. Издание 2-е. 487 стр. Цена 1 р. 32 к.

Л. Мириджанян. К морю. Стихи. Перевод с армянского. 111 стр. Цена 31 к.

Л. Пасенюк. Глаз тайфуна. Рассказы и повести. 447 стр. Цена 86 к.

Г. Ременин. Очерки и портреты. Статья о еврейских писателях. 423 стр. Цена 1 р. 6 к.

Ю. Сбитнев. Костер в белой ночи. Роман и повести. 527 стр. Цена 96 к.

С. С. Смирнов. Месяц в Перу. Очерки. 256 стр. Цена 44 к.

В. Цыбин. Закрома лета. Новая книга лирики. 118 стр. Цена 37 к.

Л. Хаустов. Главное в жизни. Книга стихов. 168 стр. Цена 38 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Балтанис. Подземные реки. Стихотворения. Перевод с литовского. 253 стр. Цена 57 к.

Р. Блауман. Весенние заморозки. Рассказы. Перевод с латышского. 269 стр. Цена 37 к.

В. Боков. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Стихотворения. 270 стр. Цена 1 р. 7 к. Т. 2. Стихотворения. — Песни. — Над рекой Истермой. Записки поэта. 334 стр. Цена 90 к.

В. Быков. Повести. Перевод с белорусского. 448 стр. Цена 98 к.

Единство. Сборник статей о многонациональной советской литературе. Выпуск 2. 366 стр. Цена 1 р. 8 к.

А. Исаакян. Избранные произведения в 2-х тт. Перевод с армянского. Предисловие Н. Тихонова. Т. 1. Стихотворения. — Поэмы. — Легенды и баллады. — Васни. 380 стр. Цена 49 к. Т. 2. Рассказы. Стихотворения в прозе. — Сказки. — Легенды и предания. 318 стр. Цена 61 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 29/X 1975 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 30/XII 1975 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 02382. Тираж 185.000 экз. Зак. 3755.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 0199

Цена 70 коп.

70636